ИЕР. ЯСИНСКИЙ

РОМАН МОЕЙ ЖИЗНИ

КНИГА ВОСПОМИНАНИЙ





ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
МОСКВА 1926 ЛЕНИНГРАД

ПРЕДИСЛОВИЕ.

«Книга воспоминаний» — это роман моей жизни, случайно растянувшийся на три четверти века и уже в силу одного этого представляющий некоторый социальный и психологический интерес. Я родился в разгар крепостного ужаса. Передо мною прошли картины рабства семейного и общественного. Мне приходилось быть свидетелем постепенных, а под конец и чрезвычайно быстрых перемен в настроениях целых классов. На моих глазах разыгрывалась борьба детей с отцами и отцов с детьми, крестьян с помещиками и помещиков с крестьянами, пролетариата с капиталом, науки с невежеством и с религиозным фанатизмом, видел я и временное торжество тьмы над светом. Наконец, я дожил до победоносной пролетарской революции. Там, где держали власть в своих руках мертвые души, проклятые Гоголем, все больше и больше укрепляется рабоче-крестьянская власть — власть живых душ. В течение этих долгих лет я не играл крупной общественной роли, я не был передовым бойцом и активным революционером и, вероятно, я утонул бы в скучных мелочах житейской обыденщины, не видящей ничего дальше своего носа, если бы не та же случайность, одарившая меня долголетием, не одарила меня также темпераментом художника, наблюдательностью и способностью к критическому анализу. Сознание есть продукт бытия — справедливо сказано, и в этом отношении я отдал дань веку в зависимости от его подъемов и падений; но, с другой стороны, и приобретенное сознание имеет свойство отбрасывать на бытие свой свет и отрицать в нем то дурное, что в нем заключается. Не тут ли коренится наше вечное недовольство настоящим и неугомонная жажда итти вперед и добиваться светлого будущего ценою разрушения неудовлетворяющего нас настоящего?

В «Романе моей жизни» читатель найдет правдиво собранный моею памятью материал для суждения об истории развития личности среднего русского человека, пронесшего через все этапы нашей общественности, быстро сменявшие друг друга, в борьбе и во взаимном отрицании и, однако, друг друга порождавшие, чувство правды и нелицеприятного отношения к действительности, какая бы она ни была. Этот средний русский человек — я говорю в данном

случае о себе — уже потому заслуживает некоторого внимания к себе, к своим признаниям, к книге своих воспоминаний, к роману своей жизни, что он описал более или менее беспристрастно, как подсказывала ему его совесть, свой жизненный путь между двумя отдаленнейшими полюсами нашего исторического бытия. В самом деле, с одной стороны, — беспросветный и страшный своим угнетением варварский режим царизма, поддерживаемого феодалами и капиталистами, с другой, — на противоположном полюсе, на расстоянии семидесяти пяти лет, — предел, за которым расстилаются светлые перспективы безмерно прекрасной человечности, коммунистического быта, свободы личности в ее неиссякающем общении с вселенским коллективом, вечно растущие богатства духа и безболезненное материальное счастье!

Стою у этой грани, у врат восходящей вечности, завоеванной нашим народом, и радуюсь тому, что я — живой свидетель нашего колоссального роста и обладания такими возможностями, которые еще недавно казались немыслимыми и причислялись к утопическим мечтаниям.

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

1850 — 1854.

Мое первое впечатление: я на руках; рядом — белокурая голова, и тут же черноволосая, обе показывают зубы; прямо, на поющем ящике, перед окном, вертится человечек в красной курточке.

Потом все погасло.

Я не знал, что́ именно я видел, но ярко запомнилась картина.

И только впоследствии, оглядываясь назад, я расчленил ее: белокурая голова — был мой отец, черноволосая — мать; они улыбались; человечек в красной курточке — мартышка, плясавшая на шарманке.

Мать изумлялась, когда я спрашивал ее, уже будучи большим мальчиком:

— Что это был за человечек?

Она возражала:

— Но тогда тебе было полтора года.

Происходило это в Харькове, где я родился 18 апреля 1850 года.

Снова проснулось мое сознание приблизительно через полгода (отец с матерью переезжали из Харькова в сельцо Подбелово, Черниговской губернии, Мглинского уезда): я на руках опять у белокурого, делавшего страшные гримасы. В ответ слышу свой пронзительный крик и звук от града шлепков, сыпавшихся на мою спину.

В комнате — полумрак. На стене такой же белокурый человек держит мальчика, широко раскрывающего рот и багрового от натуги, и шлепает его.

С потолка спускался какой-то огромный желтый паук — древняя люстра. Трясли и шлепали мальчика в зеркале. Я крайне заинтересовался и на время замолчал.

И опять все погасло. Пожалуй, года на полтора.

Начиная же с трех лет я помню себя почти без перерыва. И незначительные куски жизни стали выпадать из моей памяти только после пятидесяти лет.

Впрочем, предметная память никогда у меня не ослабевала, а имена собственные и числа запоминались и запоминаются туго.

Чувство же личности — в ее непрерывности — началось у меня во сне.

Около четырех лет было мне, когда приснилось озеро, на котором плавали ветряные мельницы, и вместо крыльев на них были зонтики, которые складывались и распускались. Стало страшно. Я закричал, и отец взял меня к себе в постель.

А утром посадил впереди себя в седло и поскакал по гористой дороге. Направо блеснуло озеро, и я все ждал, что увижу мельницы и те же зонтики. Но, вместо фантастических мельниц, увидал водяную, с колесом, по которому с шумом бежала вода, и вертела его. Совершенно белый, точно вырезанный из мела, мужик спустился по лесенке навстречу отцу, снял меня, выпачкал мукою и принял лошадь. Я очутился с отцом в залитой солнцем комнате. Отец был ласков с мельником и с высокой полногрудой девушкой, которая взяла меня на руки и целовала.

В первый раз я увидел разницу между собою и взрослыми: все они были такие великаны.

Когда мы прискакали домой, то и собаки тоже оказались необычайной величины. И свиньи и коровы стали необъяснимо громадны. Я начал сторониться и бояться.

Маленький деревенский домик с сенями, которые летом превращались в столовую; небольшой фруктовый сад, где по торжественным дням отец зажигал разноцветные фонарики, и скотный двор с великанами — свиньями и баранами — были колыбелью моего раннего детства.

Раза два в год меня чуть свет будили, одевали в шелковую рубашечку и везли в церковь, а затем кормили сластями. Раза два в году у нас бывали гости. По аллеям, озаренным цветными огнями, ходили господа в высоких галстуках, с острыми белоснежными воротничками, упиравшимися в бритые щеки, и дамы в модах начала пятидесятых годов: в легких платьях, в лифах с мысами и юбках с воланами, в буклях, в локонах, в больших черепаховых гребнях над затылком.

Развлекали меня и казались забавными еще ссоры отца с матерью, происходившие почему-то большею частью за столом. Мать хватала тарелку и разбивала ее у себя на голове; отец брал другую тарелку и чрезвычайно искусно поступал с нею так же трагически. Таким образом погибала иногда не одна пара тарелок. Как-то меня до того заняла эта игра с тарелками, что я в восторге закричал: «Еще, еще»... и получил первую затрещину.

Думают, что маленькие дети, занятые собою, своим детским мирком, и крохотными детскими интересами, ничего не видят, ничего не замечают, не переживают впечатлений, которые достигают до них из мира взрослых. Конечно, мир этот не целиком преломляется в душе у ребенка, но во всяком случае, своеобразно, и степень его преломляемости зависит еще от качества призмы.

В Подбелово приезжала к нам кн. Урусова, крестившая сестер моих — Катю и Сашу. С появлением на свет этих прелестных девочек сопряжено мое воспоминание о пребывании в доме нашем страшной женщины в зеленом капоте, с руками в крови и с движениями летучей мыши. Когда она исчезала, появлялась, как добрая фея, кн. Урусова, благоухала, светло улыбалась, одаряла мать игравшими радугою шелковыми материями — «ризками», а малюток — золотыми крестиками на розовых лентах. На кухне бойко стучали ножи, в сенях, на льду, вертелись мороженицы.

В теплые месяцы всей семьей в присылавшемся за нами рыдване езжали мы гостить к кн. Урусовой на целую неделю.

У ней дом был залит солнцем, украшен картинами, статуями, мебелью с бронзовыми накладками; в зале белели колонны с золотыми капителями, сверкали хрустальные люстры; сама она была красивая, полная, всегда в белом платье и в локонах. Гремела музыка, плясали нарядные гости.

На паркете со мною однажды случилось несчастье: я поскользнулся и упал. Меня схватили ласковые руки и унесли.

Так как мне дома все грозили розгами, хотя еще не принимались сечь (секли только прислугу), то я вообразил, что меня несут, наконец, пороть, и разревелся. Но меня заласкали, закормили конфетами, умыли, причесали и в столовую вывезли на высоком стуле на колесиках.

Вернувшись домой, я все мечтал о высоком стульчике, пока княгиня, узнавши об этом, не прислала мне его в подарок. Вместе с несколькими игрушками это было моей первой собственностью. Игрушки умирали и исчезали бесследно, а высокий стул долго хранился...

Знаменательно, что страх перед розгами в усадьбе княгини Урусовой, повидимому, был не чужд и не одному только мне. Отец за столом рассказал матери, что княгиня, когда он бывает у ней один, любит лежать в постели, в алькове, полураздетая, а он декламирует ей стихи или играет на фисгармонии, и так он понравился княгине, и так она на него смотрит, что он чуть не сделал ей «декларации», но боится: «а вдруг она сочтет за дерзость и велит меня высечь на конюшне». «И я поэтому остаюсь тебе верен, душенька», заключил отец.

Мамаша была женщина в высокой степени нравственная в том смысле, в каком понималась нравственность в ее кругу; но ей лестно было бывать в аристократических домах, и она не осудила княгиню, как часто осуждала дворянок попроще за тот или иной фальшивый шаг, и даже отцу не поставила в вину его легкомыслие.

Тогда было две нравственности. Гражданский брак мамаша считала чуть не подлостью и от всей души презирала девушек, вступивших в союз с любимым человеком без благословения церкви. В то время иногда уже заключались такие союзы, вольные, а чаще всего невольные. Гувернантки, чуть не девочками приезжавшие

из института в дворянские берлоги, часто становились жертвами помещичьего каприза, может-быть, и чувства. Грешницам, все равно, пощады не было. Но не грешникам. Отец с матерью не стеснялись, напр., бывать в селе Ущерпье, во дворце графини Завадовской, великолепный управляющий которой, тоже граф, жил во внебрачных союзах с целым гаремом.

Точно также в открытых внебрачных связях с наемными барышнями и с собственными крестьянками, предварительно хорошо воспитанными, состоял такой барин, как Иван Петрович Бороздна, кум мамашин, известный в то время поэт, о котором благоприятно отзывался Белинский. Бывать у него мать тоже не считала зазорным.

Вообще было странное время, во многих пунктах теперь уже непонятное. В самых порядочных дворянских домах — средней, впрочем, руки — было принято присылать девочек-подростков, а иногда и постарше, к заночевавшим гостям — «чесать пятки». В числе послеобеденных развлечений не считалось предосудительным, возмутительным и гнусным кушать на балконе усадебного дома мороженое, курить пахитоски и смотреть вниз на то, как на некотором расстоянии от балкона секут розгами самым постыдным образом лакея или горничную. Те неистово кричат, а дамы, как ни в чем не бывало, возбужденно и весело беседуют на смеси французского с нижегородским, а иногда и на настоящем французском, быть-может, о Жорж Данд, о Мюссе или о других литературных и художественных новинках.

Родители, возя меня с собою по усадьбам (из любви ко мне или по другим соображениям, боялись одного оставить дома, чтобы я не стал обижать сестер или не подвергся «развращающему» влиянию нашей мелкой дворни), не подозревали, что в моей детской душе откладывается и накопляется таким образом запас впечатлений, так или иначе болезненно отражающихся на мне.

Эти впечатления становились еще болезненнее в тех случаях, когда отец, по просьбе матери, брал меня с собою, уезжая куда-нибудь один без нее. Повидимому, у мамаши был расчет стеснять мною родителя, которого она до того часто обвиняла, шутя и серьезно, с истерикой и без истерики, в «бабничестве», что я, наконец, уже в пятилетнем возрасте стал понимать до некоторой степени значение этого странного термина, и по временам, капризничая, ругал нашего старого слугу Михеича «бабником».

Тут я должен пояснить, кем был и что делал мой отец, помимо владения маленьким имуществом, которое было взято им, в конце концов, в приданое за матерью.

По происхождению он был поляк и, как все поляки, разумеется, с длинной родословной. Его предки ходили на Москву с Сапегою, причисляя себя к литовцам. Имение их с «будинком», который они называли зáмком, находилось в местечке Свиринтах Виленской губернии. В числе предков были сеймовые депутаты, судьи и, между прочим, принявший православие, отец известного киевского митрополита и духовного писателя Варлаама Ясинского. В ближайшем родстве состоял отец и с Якубом Ясинским — был его племянником. Якуб Ясинский — польский сатирик и сподвижник генерала Костюшки. А еще раньше, если верить родословной, бытие роду Ясинских дал боярин Ясыня, упоминаемый историей и служивший у Даниила Галицкого (или, может-быть, даже половец Ясин, убивший Андрея Боголюбского).

Все эти данные преисполняли моего отца великим польским чванством, что не помешало ему многие знаменитые семейные документы держать на чердаке, а родословную, на пергаменте, переплетенную в книжку, подарить профессору Рейпольскому, прославившемуся в Харькове в сороковых годах своими чудачествами. Как теперь помню, дипломы на толстой бумаге, снабженные огромными висячими печатями, кудревато подписанные Александром I, которые получал мой дед и которые возвещали награды чинами и деньгами за особые услуги, оказанные им по управлению западными почтовыми дорогами во время нашествия Наполеона. Эти документы и другие расхищались дворовыми мальчиками, как никому не нужные, и мне из них клеили змеев.

Впоследствии, взысканный милостями Александра I, дед мой, в польское восстание 1831 года, оказал, в свою очередь, важные услуги революционной армии Дембинского и Хлопицкого и в своем доме в Волковыске оборудовал госпиталь, а в обширном каменном подвале этого дома долго скрывал каких-то польских героев и за это был сослан в Чугуев простым почтмейстером.

И вот почему отец мой очутился в Харьковском университете, мало-по-малу обрусел и, имея вечерние занятия в канцелярии генерал-губернатора князя Долгорукова и бывая у него на балах, на который возили оканчивающих институток, встретился и сошелся с Ольгою Максимовною Белинскою, дочерью харьковского помещика, артиллерийского полковника Максима Степановича. Максим Степанович Белинский долго не хотел выдавать дочь за моего отца. Но что-то случилось, для меня не ясное — мать не все рассказала мне, — что повлекло за собою увоз девушки через окно; и венчанье с нею на скорую руку, без соблюдения обычного в то время свадебного пиршества, положило тень на всю последующую жизнь мамаши, как она горько жаловалась мне.

Отец был медик, но женитьба не позволила ему окончить университет.

Будучи студентом и назначенный дежурить при царе Николае I, когда тот приехал в Харьков и посетил университет, отец обратил на себя внимание генерал-губернатора, и, в виду его бедности, ему предоставлена была переписка по вечерам каких-то бумаг, — отец к тому же обладал калиграфическим почерком. Когда же он женился, и надо было содержать жену, генерал-губернатор совсем определил его к себе в канцелярию младшим чиновником.

Мое рождение примирило кое-как Максима Степановича с дочерью, и ей дано было приданое, хотя далеко не такое, какое получили другие сестры мамаши. Отец же, поселившись в Подбелове, по приказанию генерал-губернатора был сделан становым приставом, на обязанности которого лежали в то время какие-то неудобоносимые бремена. Он был начальником полиции огромного участка и начальником кордона (что-то в роде таможенной заставы), и судьею, и следователем, и посредником между крестьянами и помещиками, и статистиком, и чуть ли не жандармом. У него был конный отряд и целая сеть полицейских подчиненных — помощников приставов, сотских, десятских; но он нагонял страх только, разумеется, на мещан и на крестьян и находился сам во власти у дворянства.

Хотя он не кончил курса, но славился в уезде, как искусный «доктор»; даже уездный врач приглашал его на консилиумы, и, может-быть, в самом деле у него был дар угадывать сразу болезнь. Лекаря говорили, что он диагност по призванию и далеко пошел бы, если бы не бросил университета.

Вообще же у него было несколько призваний: он был великолепным танцором, участвовал в любительских балетах, пел тенором и баритоном, превосходно играл на флейте и мог целые часы острить и импровизировать — так и сыпал рифмами, одушевляемый дамским обществом.

ГЛАВА ВТОРАЯ.

1854 — 1855.

Когда мы из Подбелова перебрались в Клинцы, в большой каменный дом, пиры следовали у нас за пирами, гости не переводились. Кроме соседей и разных уездных и губернских властей, посещавших расточительного отца, любившего радость, свет, женщин и пышную, не по средствам, жизнь, у нас перебывали все офицеры, шедшие со своими полками в Севастополь. Дом дрожал от грома мазурок и духовой музыки.

В гостиной сидят, бывало, в пышных шелковых и тарлатановых платьях дамы, любительницы мороженого и крепостных спин, и весело щебечут, а отец «волочится», как тогда выражались: лежит на ковре у очаровательных ножек — сам хваставший изящно обутою в бархатную ботинку маленькою ногою — и говорит стихи собственного «внезапного» сочинения. . .

Но кроме того, что он был светским молодым человеком, ухаживателем, администратором, судьей, он был еще хорошим адвокатом: о нем говорили, как о человеке выдающихся способностей — «у Ясинского царь в голове» — и все крупные и даже мелкие дела в уезде проходили через его руки. Он мог похвастать еще другими талантами: метко стрелял и любил охоту на красную и болотную дичь, а его акварельные портреты в зализанной манере, какая тогда нравилась, можно было найти в любом помещичьем доме. Все он делал легко, с налета, быстро огорчался и скоро утешался. То принимается за наведение порядка в хозяйстве, ворчит и брюзжит, то сам все опрокидывает, переиначивает и до конца не доделывает; то накупит картин и царских портретов, то все это относится на чердак, и «хороший тон» требует уже, чтобы на стенах висели только гравюры; надоедали одни экипажи, покупались другие, менялись лошади, прислуга, бонны — то польки, то немки, то русские — и все хорошенькие, и кончалось быстрым изгнанием их, при чем мать набирала новый штат и тоже на короткое время — отцу не нравился педагогический вкус мамаши.

Одно время у меня был учителем немец, повидимому, малограмотный, старавшийся говорить по-русски; он ловко снимал щипцами нагар с сальных свечей и, вместо «сейчас», произносил «чичас», манеры имел тихие и пел «Под вечер осенью ненастной», коверкая слова, и пропадал в девичьей, как только уезжали родители. «Нашла» его мать и, убедившись в его негодности, долго, однако, терпела его; отец подтрунивал.

Владея голосом, отец устраивал у себя в зале католические богослужения, когда из губернского города наезжали ксендзы, а православная мамаша не признавала ксендзов, и отец называл нас москалями и кацапами. Впрочем, религиозные распри с семьей продолжались до тех пор, пока на глазах вертелись ксендзы, а как только они уезжали, в доме начиналось обрусение: мать выкуривала католический ладан православною смолкою и многочисленными лампадками, а отец учил меня каждый вечер православным молитвам. Я, как попугай, читал «Деворадуйся» и «Отче наш, ижеси».

С отцом я исколесил, пожалуй, половину Мглинского и Суражского уездов. У нас были чудные лошади и крепостной кучер, которого заменил потом цыган Филипп, мрачный, никогда не улыбавшийся красивый брюнет, с серебряной серьгой в ухе, в плисовой поддевке.

В холостых помещичьих домах, у купцов, торгующих лесом на пристани, у разных подрядчиков, у графских управляющих отец не прочь был «перекинуться в картишки» — выигрывал и проигрывал большие деньги, просиживал целые часы за зеленым столом; глаза его становились красными, безумно страстное выражение разливалось по всему его белокурому лицу. Случалось, он пил, его тошнило.

Вообще тогда любили напиваться. Не один он, и прочие персонажи холостой компании, куда я попадал, перегружали себя спиртными напитками, в особенности, шампанским. И никогда я не видал столько золота, серебра и бумажных денег, как в то

время; должно-быть, огромные суммы переходили из рук в руки; проигрывали мальчиков, девочек, взрослых людей, целые имения. Помещик Коровкевич поставил на карту даже дочь и сошел с ума. Играли в карты и женщины; были картежницы, не спавшие по ночам, исступленные, неряшливые, ездившие по ярмаркам вместе с шулерами и, большею частью, погибавшие в вихре этого безумного безделья.

Обыкновенно, видя, что я плачу от скуки, отец отсылал меня к попу или оставлял у какой-нибудь сердобольной помещицы. Таким образом, я, в качестве маленького надоедливого гостя, перебывал в различных домах, где на меня скоро переставали обращать внимание, где я нарушал законы дворянских приличий, убегал «на деревню», сливался с дворней, ночевал в избах. Меня разыскивали, находили, приводили в первобытное состояние, и я попадал вдруг в блестящую обстановку, с лакеями, с музыкой, с кадрилями и польками, с мазурками и галопами.

С самого раннего возраста, благодаря моей прирожденной наблюдательности, я узнал многое из того, что, обыкновенно, для иных благовоспитанных детей скрыто надолго, если не навсегда. При мне взрослые дворяне и дворянки жаловались на распущенность и безнравственность крепостных мужиков, а мужики жаловались на господ и обвиняли их в разных несправедливостях и гнусностях. Если что оставалось туманным, подробно разъясняли мне дворовые мальчики, не потому, что они были порочны, а потому, что были сведущи в животной жизни и двуногих и четвероногих созданий.

Религиозная мать, озабоченная моим воспитанием, едва я возвращался домой, принималась обрабатывать мою душу легендами и житиями угодников. Приходили книгоноши, и мать накупала целые груды сереньких книжечек. А так как я уже в четыре года, рассматривая «Северную Пчелу» и только иногда справляясь, что означает та или иная буква, выучился, играючи, читать и даже слегка писать, то в Клинцах меня забросали этой святой литературой. Я жадно стал проглатывать то преподобного Неофита, не расстававшегося с чортом всю жизнь и до самой праведной кончины своей боровшегося с ним, то Филарета Милостивого, раздававшего бедным свое имущество и никак не имевшего возможности раздать его («С умом раздавал», поясняла мне старая няня Агафья), — то блаженного Антония, которому являлись бесы в образе очаровательных девушек, а пуще всего опасался я, чтобы не повторилось со мною то, что однажды случилось с каким-то преподобным пустынником: он осудил брата своего и вечером, ложась спать, увидел, что около него лежит чудовище, похожее на крокодила, широко раскрывшее пасть, и стучит зубами,—я же не только осуждал брата, но, случалось, и поколачивал его. Литература эта довела меня до бреда.

Однажды с дворовою девочкой Химкой я забрался в бурьян. Мы с нею там легли навзничь и стали смотреть на небеса. Был полдень, клубились облака. И вот они расступились, и показался Николай Угодник во всех своих доспехах, даже в митре, и погрозил мне пальцем. Химка не видела Николая Угодника, но стала креститься.

В другой раз с этой девочкой, проникнутой ко мне благоговением, мы забрались на сеновал и в раскрытые двери смотрели на звезды. Тут уже и ей и мне привиделся огромный огненный змей, который глотал звезды и, наконец, рассыпался сам на множество звезд и погас, так что стало темно, потому что вместе с ним погасли и небеса.

Мы очнулись, когда няня Агафья нашла нас и осыпала Химку ударами по чем попало.

Вскоре после этого я заболел чем-то в роде нервной горячки. Сначала стал бояться теней и стариков, похожих на праведников, бредил чудовищем, похожим на крокодила, и видел человека со страшной головой, в огромной шляпе с потолок величиною. Мать говорила потом, что я лежал без памяти больше месяца.

У отца была, как у бывшего медика, медицинская библиотека; первою светскою книгою, прочитанною мною, была «Народная медицина» Чаруковского. Когда, по тому или другому случаю, у нас бывали врачи, я вмешивался в их разговор, и мне стали предрекать, что я буду доктором. Но как-то я заговорил о «любострастной болезни» — так назывался у Чаруковского сифилис, и мать ударила меня по губам.

Следующими книгами были том Пушкина со сказками и Уваровская «Хрестоматия», которая стала моей любимой книгой. Обыкновенно, стихи я произносил нараспев и подбирал к ним мотивы, под влиянием музыкального отца, который каждый день упражнялся на флейте часа по два, когда бывал дома. Обниму собаку Норму, заберусь с нею на чердак, лежу на какой-нибудь запасной перине и пою: «В шапке золота литого» или «Луна, печальный друг» и довожу себя до слез, а Норма начинает жалобно подвывать.

Мне было пять лет, когда умер Николай I. Отец, как официальный местный властодержец, собрал в своем доме именитых граждан посада Клинцов. Случайно присутствовал и помещик Бороздна. Он «отмахнул мух» от груди и произнес растревоженно: «Что же теперь будет с Россией?». Очевидно, он искренно был огорчен смертью человека, который так, можно сказать, самоотверженно стоял на страже интересов бесчисленных русских деспотов, мучителей и грабителей. Именитые граждане в ответ вздохнули. Были они, большею частью, раскольники, а потому преследовались при Николае. Помню, у нас в подвале скрывалось два толстейших мужика в подрясниках; вечером они выходили из своего убежища и на виду у отца, потешая его, тягались друг

с другом держась за толстую железную кочергу, пока она не гнулась, — силы были непомерной. Полагать надо, отец недаром скрывал их у себя и недаром пользовался в посаде репутацией доброго начальника.

Когда Бороздна опечалился и произнес: «Что теперь будет с Россией», я, схватившись за юбку матери, заплакал. Перед тем у нас постоянно гостили офицеры, со жгутами на плечах, вместо погон, с крестами на шапках, в кафтанах без ясных пуговиц, съедали и выпивали все запасы в доме и пугали меня, что могут притти англичане, французы и турки и взять нас в плен. Я вообразил, что предсказание ополченцев немедленно сбудется, и вместе с Россией погибну и я. Меня стали целовать за проявление столь патриотического чувства, и, чтобы утешить, отец подарил мне золотой полуимпериал. А в задней комнате работал тогда бродячий портной, молодой еврей, пользовавшийся моею симпатией. Немецкий учитель, о котором я уже рассказал, чувствуя, что его позиция в доме колеблется, хотел укрепить ее, признавшись мамаше, что он был закройщиком в Чернигове, и лишь несчастные обстоятельства заставили его очутиться в Клинцах и взяться за гувернерство. Мать поручила ему пальто из куска дорогого плюша. Учитель потребовал мелу, глубокомысленно расчертил материю и так изрезал ее, что вместо пальто или «манто» получилась, по определению папаши, поповская риза. Немца прогнали, а странствующему еврейчику поручили перекроить плюш, но портной объявил, что может выйти только кофта, уселся на столе в полутемной комнате за девичьей и занялся шитьем. Меня очень занимало, как он наматывал на иголку нитку у себя на лацкане кафтана: совсем восьмерка, или еще собачонка так бегает, когда играет. Получив золотой, я побежал к портному и подарил ему монету. На другой день за расточительность меня выдрали, а от портного золотой, к стыду моему, отобрали. Таким образом, смерть Николая I мне особенно памятна.

Точно также памятен мне день восшествия на престол Александра II. С няней Агафьей я и сестра Катя были с утра в соборе. Дорогу местные фабриканты устлали красным сукном, по которому шествовали власти: ополченский генерал Езерский, древний старец, с петушиными перьями на голове, отец в треуголке с огромною сияющею на солнце кокардою, его помощники, разные офицеры и именитые граждане. Кругом гремела музыка, трещали барабаны, двигался развод, а вечером горели плошки, зажжены были фонарики, на воротах нашего дома горел большой транспарант.

Мы смотрели на улицу из раскрытого окна. Степенно катились экипажи местных богачей, запряженные сытыми лошадьми, а в экипажах сидели нарядные купчихи. Мамаше было обидно, что очень немногие раскланиваются с нею. «До чего зазнались»,

вполголоса говорила она нашей бонне, белокурой польке Винценте, которую она сделала своею наперсницею.

Был конец августа, и рано смеркалось. Улица скоро опустела. Но вдруг показалась толпа народа. Послышалось нескладное пенье, крики «ура» и безумные визги. Мать крепко прижала меня и Катю к себе. Толпа приближалась; Винцента охала и готова была упасть в обморок. «То, наверно, мужики бунтуют».

Надо заметить, что уже тогда шли толки о неизбежности «воли», и ходили слухи, что французы, победивши нас, потребуют освобождения крестьян, чтобы «унизить Россию», говорили помещики.

Зарево от пылающих плошек и от нашего транспаранта осветило толпу, и впереди ее мы увидели отца. Он шел в расстегнутом мундире, в треуголке на затылке, и белелась его, выпущенная поверх брюк, сорочка.

— Боже мой, они его выпороли! — ужаснулась мать.

Но ужас ее был напрасен. Отец был более чем весело настроен, даже не владел собою. С именитыми гражданами он обедал в ратуше, там его напоили, и он, в подражание им, поступил со своим бельем, как того требовала клинцовская мода (Клинцы были населены бежавшими из Москвы от политического преследования еще во времена Анны Иоанновны староверами).

Отец, войдя в дом с провожавшими его патриотами, громко потребовал вина, а мать увела нас в детскую и заперла там. Я долго слышал, как гости дико и нестройно пели, как ревел отец, и как возились по полу и как ломали кочергу беглые попы.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ.

1855 — 1856.

Из гостей, часто бывавших у нас в доме, отмечу на первом месте уже упомянутого Ивана Петровича Бороздну. Имение его, Стодола, лежало в нескольких верстах от Клинцов. Приезжал он всегда в огромной карете на красных колесах, с казачком, с лакеем, с форейтором. Было ему немногим больше тридцати лет — длинноносый, выхоленный, в остроконечных воротничках, упиравшихся в бритые щеки, душистый и любезный.

Повидимому, он нуждался в деньгах и, ведя роскошный образ жизни и делая безумные траты, перехватывал, где мог. Приходилось слышать, как отец говорил матери: «А куманек опять взял у меня пятьсот рублей». Бороздна крестил брата Александра и сестру Ольгу и подносил куме ценные подарки.

Над его «дворцом», окруженным тенистым садом, отражавшемся в зеркальном пруде, возвышался золоченый шпиц (наподобие Адмиралтейской иглы). Дом был удивительно светлый,

и стены были увешаны гравюрами и рисунками, при чем было много его личных портретов.

Бороздна спросил как-то отца: «А Ольге Максимовне не родственник вот этот?» и указал на карандашный профиль человека с длинными волосами. Это был портрет великого критика, благосклонно отозвавшегося о стихотворениях Ивана Петровича.

Меня привозили в Стодолу, чтобы радовать автора произнесением наизусть его стихотворений. В кабинете поэта висели портреты многих других писателей, — все под стеклами и в красивых паспарту с тисненными углами. У Бороздны были свои переплетчики, столяры, свой крепостной балет, небольшой оркестр и домовая церковь. Совсем владетельная особа и «пан на всю губу», как в нашем крае называли богатых помещиков. Была у него еще «слабость»: он покупал, где только мог, красивых женщин и мужчин, женил их и разводил «породу». Приставленный ко мне для услуг казачок, водя меня однажды по саду и угощая незрелыми сливами, сообщил, что у «барина» триста шестьдесят пять крахмальных сорочек, и, когда он ложится в постель, то засыпает с конфетой во рту, а горничные рассказывают ему сказки.

Мать редко, но бывала у холостого Ивана Петровича. Бороздна же перестал ездить к нам после какого-то возвращенного ему матерью стихотворения, присланного в роскошном переплете.

Приезжала к нам чета Атрыганьевых. То были богатейшие люди. Атрыганьев только-что приобрел имение Ляличи, принадлежавшее какому-то царскому фавориту. Рассказывали, что когда фаворит впал в немилость, то, опасаясь конфискации драгоценностей, он замуровал в стены дворца золотые, серебряные и фарфоровые сервизы, и сокровища пролежали там целые десятилетия. Новый помещик все это нашел и, можно сказать, приобрел имение даром.

Николай Алексеевич Атрыганьев задавал тон уезду. На его пиры собиралось человек двести гостей. Конечно, у него тоже были свои оркестры и балетная труппа, и множество ливрейных слуг. Был парк в десять верст в окружности, в парке озеро, а на озере корабль. Обстановка была изумительная, и вкусом он обладал артистическим, а также миллионами, которые достались ему от отца, занимавшегося в Сибири откупами и золотыми промыслами.

На вид он был изнеженный, сухопарый, слегка застенчивый аристократ, с длинными лощеными ногтями. Когда он садился и клал ногу на ногу, из-под его брюк, над замшевыми ботинками с лакированными носками, выставлялось пышное шелковое розовое белье, — была такая мода. Отец из подражания Атрыганьеву тоже завел розовый шелк, но мать из экономии велела только подшить розовым фуляром окончания его кальсон.

Жена Атрыганьева была маленькая, редкой красоты дама. Обыкновенно я не отставал от нее: вопьюсь в ее лицо и смотрю.

Отец потом передразнивал меня.

«У нас ужасно невоспитанные дети», жаловался он. И для улучшения наших манер нанимались гувернантки. Отец сам привозил их из губернского города, и, как я уже упоминал, судьба их была непостоянна.

Осталось у меня в памяти еще Ущерпье, принадлежавшее какой-то графине и управляемое паном Гловацким, тоже, кажется, графом. Дом блистал обветшалой роскошью, копоть времени лежала на картинах и их тяжелых золоченых рамах, на массивной красного дерева мебели, с драконами и полногрудыми сфинксами и с бронзовыми накладками. На этом сумрачном фоне сверкали нагие мраморы. Гловацкий, щипавший в присутствии ребенка горничных девочек за щеки или иначе, велел надевать статуям, в ожидании дам, фартучки. Был стыдлив. В спальне графини, в которой он опочивал, когда она проживала в Петербурге, и за границей, стояли ширмы из янтаря; уверяли, что они были неимоверно дороги, но — представляю себе их теперь — более безвкусной вещи я не видел на своем веку, а гостей, обыкновенно, водили любоваться ширмами. Привлекали меня в Ущерпье колоссальные глобусы в огромной библиотеке, половина которой, по словам Гловацкого, была съедена мышами и книголюбивыми насекомыми.

Таковы были, так сказать, самые яркие оазисы дворянской культуры, попавшие в поле моей детской наблюдательности. Но кроме «афин», щеголявших роскошью, просвещением и утонченностью рабовладельческих нравов, оба уезда — Мглинский и Суражский, как и вся Черниговская губерния, как и вся Россия — изобиловали дворянскими гнездами в стиле усадеб, описанных Тургеневым и возведенных им в перлы создания. По совести должен отметить, однако, что среди ангелоподобных персонажей, скользивших по паркету, начиная с институтской скамейки и вплоть до гробовой доски, с неподражаемой грацией, не было ни одного нежного и воздушного создания, которое не проявляло бы за кулисами светской жизни зверской истеричности или даже бесчеловечности. Иная барышня заливается слезами, узнавши, что кого-нибудь из слуг порют на конюшне или на скотном дворе, и тут же сама таскает за ухо или за волосы или бьет по щекам горничную, чем-либо не угодившую ей. В помещичьих домах средней руки царили грубые нравы, едва прикрытые флером «аристократической» благовоспитанности. Что же касается рабовладельческих клоповников, а нигде их не было так много, как в малороссийских губерниях, где помещиками и дворянами легко становилось мелкое чиновничество — крапивное семя, и прочая мелюзга, добиваясь блаженства владеть человеком всякими неправдами, то о них и говорить нечего...

Как-то к отцу приехала с жалобой на своего родителя молодая девушка. Мать сначала насмешливо посмотрела на нее, когда

она влетела к нам и сняла шляпку, при чем оказалось, что у нее пробор на голове сбоку, а волосы кудрявые и подстриженные, и во всем наряде что-то неприятное и скорее простое, чем модное.

Она кончила в прошлом году институт, и ее отец, хромой отставной полковник, страдавший болезнью мочевого пузыря в такой сильной степени, что его присутствие в гостиной считалось неудобным, на первых порах баловать дочь, выписывал книги для нее, и она стала поклонницей Жорж Занд под влиянием какой-то одинокой вдовы, их соседки. «Хромой Чорт», как мамаша прозвала полковника, начал требовать от дочери чего-то невозможного, и к физическому отвращению, которое он внушал окружающим, присоединилась в душе молодой девушки еще нравственная гадливость к нему. Наконец, взбешенный ее непослушанием, «Хромой Чорт» запер девушку в пустую баню и морил голодом, грозя розгами. Соседка помогла ей убежать, несколько дней держала у себя и надоумила ее отправиться к становому; она же дала ей экипаж.

Отец горячо было взялся за дело и донес о случившемся исправнику Слепушкину. Тогда административные лица служили по выборам от дворянства. Слепушкин, большой друг отца, приехал. «Грязный случай, душа моя, грязный, — сказал он, выслушав девушку:—но ведь вы, душа моя, живете не в Жорж-Зандии. Если хорошенько посмотреть, то с вами ничего еще дурного не сделал почтенный родитель. Иероним Иеронимович (моего отца звали так же, как и меня), в сущности, не имел права принимать вас к себе. Что он за попечитель? Я переговорю с предводителем, а пока мы вас отправим обратно. Нет, у нас не Жорж-Зандия».

Как ни плакала девушка, и как ни обнималась она с матерью, которая тоже прослезилась, бедняжку посадили в нетычанку (старинный экипаж, в котором разъезжали мелкие помещики и духовные особы) и увезли для «водворения на местожительство» (рассказы мои «Не в Жорж-Зандии», «В зарослях Чортополоха», «Стадион»).

Немудрено, что в этом крепостном раю водились и разбойники. Помещицу, обливавшую водой на морозе голых баб, крестьянин убил оглоблей. А когда приехало «временное отделение» — чиновники — производить следствие, засели в усадьбе и кстати напились до положения риз, крестьяне подожгли дом. Под другую усадьбу, тоже известную своими мучительствами, был подложен боченок пороху, и она взлетела на воздух вместе с помещиком, продавшим несколько подростков в дальние губернии, разлучив с родителями. Тогда людей продавали с описанием их примет, как скот. Разбойники нередко брали на себя и роль мстителей. Такие карательные отряды внезапно наскакивали на помещичьи усадьбы и производили неистовства и насилия над владельцами: жгли им пятки, выкручивали пальцы, распарывали животы. Но они скоро попадались, их ловили и предавали «торговой казни»,

т.-е. драли плетьми, клеймили им лбы и щеки и ссылали на каторгу. Особенно много таких случаев было во второй половине пятидесятых годов. Большие баре ездили вооруженные и с конвоем, иначе их останавливали на дорогах и не щадили ни пола, ни возраста.

Отец славился неустрашимостью, с какою он гонялся за разбойничьими шайками, настигал их и ловил в пустых лесах, окружавших Клинцы. Легенды создавались вокруг его подвигов. Охотился он и на контрабандистов. Губернаторы благодарили его. Один из губернаторов с женою даже нанес ему визит после благополучной ревизии. Но эта слава отца быстро склонилась к закату после первой неудачи. Им была поймана огромная контрабанда, которую сопровождали нанятые контрабандистами молодцы, вооруженные ножами и кистенями. Стычку с отрядом отца они проиграли и были перевязаны, при этом беглый каторжник Лукин в борьбе изгрыз лицо солдату. Поставленная у контрабанды стража, меж тем, в отсутствии отца, поскакавшего в Клинцы торжествовать победу, перепилась — может-быть, контрабандисты подсунули ей вина с дурманом. Вернувшись из Клинцов, отец застал своих людей в состоянии полной невменяемости, а товары наполовину расхищенными, и очутился под судом.

Грабители и разбойники, гремя цепями, часто сидели у нас в большой передней на ларях в ожидании допроса. Они казались мне огромными и страшными, и, в самом деле, в их коренастых фигурах было что-то сказачное, — так они были не похожи на франтовски одетого и изящного отца, с гладко выбритым лицом и с серебристо-розовыми ногтями на красивых руках. Любопытство влекло меня к ним, и тот самый Лукин, о котором я уже знал, что он загрыз солдата, притянул меня к себе, поцеловал в голову и сказал: «Знай, мальчик, что твой отец — тиран».

Кучеру Филиппу я рассказал о Лукине и спросил, что значит тиран. Цыганские брови Филиппа сошлись у переносицы. Он долго молчал и, завернув в бумажку горсть табаку, сказал: «Бросьте ему, тоже и ему хочется покурить. А он потому и разбойник, что есть на свете тираны», глубокомысленно изрек Филипп, вообще скупой на слова.

От вольнолюбивых цыган, которые, в качестве конокрадов, по пути в острог попадали к следователю и допрашивались не всегда без пристрастия, я тоже не раз слышал это слово «тиран» и скоро уразумел его смысл.

Несмотря на то, что я рано стал, что называется, выезжать в свет, и должен был бы стать бойким и развязным мальчиком, во мне упрямо таился дух застенчивой непокорливости, мечтательной дикости. Я боялся отца, матери и пользовался малейшим предлогом и случаем, чтобы удрать из дому, забрести куда-нибудь в бурьян, который я называл лесом, потому что он был выше меня ростом, или на чердак, или даже на крышу.

*

Так, однажды рано утром я с двенадцатилетним Степкою, сыном дежурного сотского — у отца под рукой был целый легион разных мелких исполнителей его воли — вышел за ворота, и великодушный Степка, на имевшийся у него капитал в пять медных копеек, раскутился: угощал меня семечками, дал мне половину пряника, мы пили грушевый квас из одной кружки и все дальше и дальше вовлекались в сутолоку посадской жизни. А жизнь кипела, по обеим сторонам улицы шли люди с медными бляхами на груди и вертели оглушительными трещотками.

— Что это? — спросил я у Степки.

— А значит, его уже везут.

— Кого везут?

— Лукина.

Хлынули толпы народа, побежали и мы. Теснее сплотились люди, и мне трудно было что-либо видеть. Степка поднял меня. Шумели трещотки, но молчала толпа. Вдруг выехала высокая колесница, и на ней, спиной к лошадям, сидит с выбритой до половины головой Лукин в арестантском халате и кланяется направо и налево. Я ему тоже поклонился. Мы очутились на посадской площади, где возвышался помост с высоким черным столбом. На крышах двухъэтажных домов, всюду, где только можно было, теснились люди. Лукина взвели на эшафот и что-то читали над ним. Человек в красной рубахе и в поддевке щелкал в воздухе ременной, похожей на белокурую девичью косу, плетью. Народ на помост кидал со всех сторон деньги. Когда началась казнь, и загремел барабан, Степка не выдержал и бросил меня наземь, а сам вскарабкался на ближайший подоконник к земляку. Страшное зрелище таким образом ушло из моего поля зрения, и я даже не слышал, кричал ли Лукин. Говорили, что он не издал ни одного стона, потому что деньги, накиданные народом, смягчили палача, и он бил не больно.

Отвратительные сцены публичной казни еще потом происходили на моих глазах. Я видел, как прогоняли сквозь строй солдата, как наказывали старуху... Бывало, отец приезжает со мною в Чернигов, куда он являлся к высшему начальству по делам службы; ведет меня за руку по тротуару. Дело к вечеру. Тихая погода, и солнце светит. А за каждым забором крики о пощаде. Это кого-нибудь секут... Да и в домах драли не только прислугу.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.

1856 — 1857.

Убегание из дому, за которое жестоко нам доставалось — мне и сестре Кате, вошло у нас в обычай, стало бытовым явлением нашей детской.

Взявшись за руки и с собачкой Нормой, мы проваливались сначала в бурьян, перебирались по кладочкам через ручей и заходили в первую попавшуюся избу, в мещанский или рабочий домик. Попадали к немецким ткачам и к русским. И, может-быть, из уважения или, вернее, из страха перед властью отца, а, может-быть, и искренно, из детолюбия, принимали нас радушно, и до того ласкали, что и теперь приятно вспомнить, какими бы мотивами ни руководствовалось гостеприимство. Я писал письма рабочим под их диктовку, читал им «Северную Пчелу» и «Сын Отечества» и пристрастился к пусканию бумажных змеев, что было любимым занятием у всех посадских.

Как-то к нам на двор залетел оборвавшийся колоссальный змей, построенный ткачами и украшенный фольгой, картинками и шелковыми лентами; мочальный хвост его был перевит серебряной канителью, а к концу хвоста привязывался фонарь. Едва смеркалось, змей взвивался над Клинцами, и гудок его трещал баритонным звоном, подобно тому, как теперь гудят самолеты. Тогда была большая строгость по части огня. Полиция боялась пожара; на улице нельзя было даже курить. Фонарь на фоне темного неба беспокоил отца. Нельзя было дознаться, кто именно пускает змея, и кому он принадлежит. Я и Катя знали секрет, но молчали, да нас и не спрашивали. С некоторых пор за нами утвердилась кличка «убоищ», как и за Машкою — Рябая-Форма, которая украла у матери плюшевую кофту, убежала с этим злополучным сокровищем, была поймана в лесу и жестоко наказана на конюшне. Однажды удалось змея взять в плен. Отец обрадовался случаю, и змей хранился в беседке. Вечером Филипп запустил змея для удовольствия домочадцев. Отец только приказал отвязать фонарь. Я же, по наущению тайно подосланного ко мне рабочего мальчика, незаметно перерезал шпагат, когда змей взвился и загудел, и он внезапно замолк, закивал своей нарядной головой, свернулся и упал там, где его уже подстерегали верные люди. На другой день змей уже летал, неуловимый и победоносный, над самым нашим домом. Отец послал ему несколько пуль, но змей даже не дрогнул. Освобождение змея было первым из немногих политических преступлений, совершенных мною на жизненном поприще.

На короткое время, всего на один день, меня в наказание за неприличное братание с уличными мальчишками и за то, что я, «кажется», люблю няню Агафью больше, чем мать, отдали в приходское училище, откуда я вернулся вечером в слезах и с распухшими, как подушки, ладонями. Целый день в училище раздавались крики: «держи, держи», плач мальчиков и хлопанье линейкою: раз, раз, раз. Юноши лет пятнадцати и старше мужественно выдерживали удары и, в свою очередь, щедро раздавали их направо и налево, как только учитель, криворотый и с пора-

зительно красным носом, уходил за перегородку перекусить и отдохнуть от педагогических трудов.

Ужас, внушенный мне линейкой, был так велик, что я сделался ниже травы, тише воды. Да и линейка привилась у нас в доме. «А, вот чем его можно пронять!». Нанят был дьякон, и, когда он жаловался отцу, что я не знал, например, кого родил патриарх Исаак, линейка гуляла по моим ладоням. Ритм таблички умножения тоже вколачивался в меня линейкою. — Пятью пять — двадцать пять — верно... Семью пять — тридцать шесть... Хлоп и хлоп по обеим рукам. Мать тоже усмотрела некоторое удобство в расправе линейкою, но у ней не было выдержки и, производя экзекуцию, она сама начинала плакать и нервно бить, по чем попало, отчего линейка часто отказывалась служить.

Мне было семь лет, когда мамаша взяла меня в Киев на богомолье. Путешествие решено было совершить возможно скромнее. Пара лучших лошадей была запряжена в новую кибитку, крытую рогожей, на дрогах, чтобы не было тряски. Филипп сел на козла, и, конечно, я рядом с ним. Приятно разделять кучерские обязанности. С мамашей села наперсница ее, Винцента, с которою возникали у нее уже ссоры. Взяла она ее с собою почти против ее воли. А у ног, на веревочном переплете расположилась Маша Беленькая с двухлетним братом моим Александром. Она умела ухаживать за ребенком и одевать барыню и готовить. Отец благословил нас, и мы тронулись в путь.

Несколько дней были мы в дороге, а теперь кажется, будто — ужасно долго, потому что множество впечатлений, воспринимаемых детским мозгом, требует времени для того, чтобы внедриться в нем на всю жизнь и занять побольше места. Таинственно пела телеграфная проволока, мелькали полосатые версты (я вел им счет), тянулись бесконечные обозы, скакали тройки и поднимали пыль тяжелые и легкие кареты, с восседавшими в них барами, с лакеями и горничными на запятках.

Мы останавливались и ночевали на постоялых дворах. На одном из них только-что было совершено убийство, и рассказ о разбойниках повергал нас в трепет. Приказано было Филиппу всю ночь дежурить у дверей с ружьем, которое он захватил с собою по совету отца.

Дворянские усадьбы выступали на горизонте синими пятнами своих парков и белыми очертаниями стильных фасадов. Иногда совсем близко к дороге выдвигались усадьбы, и на их воротах свирепо раскрывали рты зеленые львы.

Незадолго перед нашей поездкой Бороздна подарил мне хорошенькую записную книжку и порекомендовал вести дневник. Я принялся записывать карандашом путевые впечатления. Но как трудно писать правду! Она отражалась в зеркале моей наблюдательности верно, но потом уже преломлялась в разных, внушенных сказками и книжками, фантазиях и окрашивалась их цветами. Мы не ехали, а «летели», кибитка стала «колесницей», кнутик, которым снабдил меня Филипп, превратился в «копье», зеленые и желтые львы на усадебных воротах — в страшных тигров и чудовищ, стерегущих заколдованных принцесс в волшебных замках. Мать прочитала во время остановки страничку моего дневника и сказала: «Что ты наврал тут?». Я принялся рисовать. К концу путешествия дневник никуда, разумеется, не годился. Но любопытно, что сестра Катя и другие дети, бывавшие у нас в гостях, приходили потом в восторг от моих рисунков и решительно всё понимали в них. Дети всегда понимают детей, юноши — юношей, взрослые — взрослых и старики — стариков; редко случается, чтобы отцы и дети взаимно понимали друг друга, одновременно вращаясь на жизненном пути.

На одном постоялом дворе, уже под Киевом, наша демократическая кибитка сошлась с аристократическим рыдваном, на дверцах которого блестели гербы с зубчатыми коронами. Мы приехали раньше и заняли лучшую, да, кажется, и единственную комнату. Был приготовлен обед, зажарены цыплята, у баб куплена земляника и густые сливки. Маша Беленькая смастерила еще суп. Когда карета въехала во двор, и мать увидела, что в карете сидит почтенная седая дама и с нею молоденькая нарядная девушка, она через хозяйку послала карете предложение не стесняться — места хватит, и пожаловать, кстати, разделить трапезу. В ответ вошла молоденькая девушка, из тех очаровательных «принцесс», которые томятся в волшебных замках. Какое-то изысканно-нежное оранжерейное создание, с узенькими кистями лилейных рук, с застенчивым румянцем на благородном овале большеглазого милого лица. Она была без шляпки, и прическа ее густых волос, озаренных солнечным светом, украшена была полевым цветком. Ласково, с непринужденным поклоном обратилась она к мамаше.

— Графиня благодарит, — начала она: — но мы уже пообедали в Киеве и ужинать будем в Козельце у себя, а графиня предпочитает отдохнуть в карете. Сейчас она даже, кажется, дремлет, и просила меня ее не беспокоить.

— Ну, что делать! — сказала мамаша со светской любезностью. — В таком случае вы, конечно, не откажетесь хотя бы от земляники?

Девушка взглянула на землянику, улыбнулась; я тогда в первый раз увидел красивую улыбку, а до тех пор не обращал внимания на улыбающиеся рты. Потом девушка села на пододвинутый ей мамашею стул.

Графиня оказалась с громкой фамилией. Девушка успела перекинуться со мною несколькими словами и по-детски рассмеяться, пробежав мой дневник и мои рисунки. Мамаша, неизменно любезная, подала ей чашку кофе и спросила:

— А вы приходитесь графине родственницей?

— Нет.

— Компаньонкой? — несколько другим тоном спросила мамаша.

— Нет. Я — крепостная графини.

Мамаша вдруг выпрямилась во весь свой небольшой рост. Я испугался, увидев выражение ее глаз. Красными пятнами покрылось ее белое, обыкновенно привлекательное лицо. Молния гнева и несказанной обиды сверкнула в ее глазах. Она возвысила голос:

— Как же ты, моя милая, осмелилась сидеть при мне? И неужели же за мою любезность графиня захотела так унизить меня? Или это тебе пришло в голову разыграть роль барышни? Ступай вон!

Девушка побледнела и ушла, не сказав ни слова.

Какой был удар для меня! Горем закипело мое сердце. Была совершена несправедливость, мучительно оскорбившая меня. Уж лучше бы избить мне руки линейкой так, чтобы ладони обратились в пузыри. Я бросился за девушкой. Мать схватила меня за ухо, но не удержала. Я догнал девушку у кареты, окна которой закрыты были зелеными занавесками. Девушка прислушалась и повернула в ворота, выйдя в поле. Там я припал к ее руке и стал целовать, но не мог объяснить ей, что̀ со мною. Она с удивлением посмотрела на меня и потом погладила по голове. От такого счастья я разрыдался. Положительно, это была моя первая любовь. Настоящая детская, внезапная, страстная любовь.

Мы углубились в рожь, и там бедная принцесса моя задумчиво рвала васильки вокруг себя, а я сидел у ее колен и предательски рассказал ей все, что я узнал на своем коротком веку — о полицейских трещотках, о белых ременных косах, о линейках, о Машах — Рябых Формах, о великолепном змее, освобожденном мною из-под ареста, о Химках, о Степках, о тиранах, о дворцах. И эта исповедь так заняла и растрогала красавицу, что она поцеловала меня и сказала:

— Я тебя тоже жалею. Мужа графини, который еще в Сибири, царь простил, и он скоро приедет, чтобы вместе с другими хорошими людьми освободить народ от неволи, и никого больше не будут тиранить и презирать.

Я пустился в расспросы о сибирском графе, но она спешила: графиня уже, наверное, проснулась.

Совсем новый мир открылся мне.

Мы застали у кареты мамашу. Она объяснялась с графиней и, конечно, жаловалась. Но, должно-быть, графиня сухо приняла ее. Заметив, что мы входили, мамаша сердито крикнула:

— А ты все бегаешь? Мы сейчас едем.

И, овладев моей бессильной особой, потащила за собой.

— Ну, и графиня, — говорила она Винценте: — до чего у нее распущены слуги!

Я же, в качестве «убоица», пока закладывалась наша кибитка и укладывались вещи, кинулся на двор. Но карета уже тронулась.

Графиня остановила кучера и поманила меня к себе. Лицо у нее было бесцветное, с седыми локонами, с свинцовыми глазами. Я получил коробку конфет.

— Возьми на память.

Я не узнал, как звали мою первую любовь. Но это к лучшему. Она стала для меня на много лет образом светлого создания, к которому устремлялись и мои отроческие порывы. Она была моим «голубым цветком». Даже на старости лет не кажется мне смешным это мгновенное, ребячье, но глубокое увлечение, пережитое мною.

Уезжая, долго из опущенного окна кареты приветливо махала мне девушка узенькой беленькой ручкой.

ГЛАВА ПЯТАЯ.

1857 — 1858.

Рано утром на другой день мы увидели сказочно красивый Киев. Где-то под облаками блестели золотые маковки церквей и белелись песчаные обрывы его гор.

Киев был еще наполовину опустошен историческими бурями. Части города отделялись друг от друга пустырями. На перекрестках стояли у крошечных полосатых домиков будочники в киверах и с алебардами. Такие алебарды можно видеть теперь только в театрах. Мостовые были выложены огромными камнями. В извозчичьем фаэтоне было мучительно двигаться по каменным ухабам.

Мамаша остановилась где-то на Подоле, и мы стали странствовать по магазинам и по святым местам. Чего только не было накуплено: и наколок, и шляпок, и перстней великомученицы Варвары, и запонок, и брошек, и материй. Мы побывали в ближних и дальних пещерах и приложились ко всем мощам, а их было очень много. Нетленные счастливцы лежали на спине, со сложенными на груди руками, покрытые парчею, жирною от поцелуев. Один святой зарыл себя в землю по грудь, да так и умер. Он должен был опуститься весь, с головой, к моменту второго пришествия, а пока требовалось класть монаху, сидевшему около него, деньги на тарелочку. В закоптелых сводах подземных галлерей несколько раз сверху капнула сырость мне на лицо. Было душно и угарно от горевших восковых свечей и лампадок. В одном месте монах дежурил у желтого черепа, плававшего в масле с блаженной улыбкой на оскаленных челюстях. Масло тут же разливалось в пузырьки и продавалось. Народу за нами и впереди нас было много. Шла бойкая торговля.

Католичка Винцента отказалась итти с мамашей. Братишку Александра несла на руках Маша Беленькая. Он весело покри-

кивал и бил богомольцев восковою свечкой. А когда монах строгим голосом заметил ему, что надо вести себя иначе, он обиделся и заголосил благим матом. Мамаша сказала Маше Беленькой:

— Унеси его.

Но итти назад не было возможности, легко было заблудиться. Пришлось двигаться вперед. Так как было еще несколько детей, то все они присоединили свои голоса. Под этот общий крик мы, наконец, вышли на белый свет. Мать взяла извозчика и отправилась со мною на Крещатик к портнихе за тарлатановым платьем. Маша Беленькая должна была пешком отнести Александра на квартиру. Но велик был испуг матери, когда, вернувшись на Подол, она застала одну Машу Беленькую в слезах. По «встретившейся надобности» она перед отходом из лавры дала ребенка подержать какой-то приличной женщине и не могла ее больше найти. А Лавра кишела нищими, и о них ходили легенды, быть-может, даже правдоподобные, что они крадут детей и калечат их в целях умножения даровых себе помощников и работников по части эксплуатации человеческого сердоболия. Уже к вечеру стало ясно, что братишка пропал, и квартальный надзиратель, приглашенный мамашею, не опровергал этой возможности, хотя и утешал нас.

Ночь прошла в слезах. Мать стояла перед образом и молилась:

— Ты спишь, убоище?

Я был стащен с постели и повержен на пол.

— Молись. Ты — маленький! Авось!

Я стал молиться.

— Деворадуйся... Жезаны... Чаю в воскресенье...

Но и более осмысленные обращения срывались у меня с языка.

— Мамаша, а Винценты тоже нет! — заметил я.

В самом деле, мамашина наперсница еще утром хмурилась и куда-то собиралась. Требовала денег, не заплаченных ей за несколько месяцев. Но денег не получила.

— Ложись, дурачок, спать, — приказала мамаша. — Винцента, неблагодарная тварь, никуда не денется.

Квартальному было обещано сто рублей, если будет разыскан Александр.

Сейчас за Лаврой лежало предместье, населенное нищими. Между ними были даже домовладельцы. Розыски производились там. А Маша Беленькая, чуть свет, побежала в Лавру.

Часам к одиннадцати пришел квартальный с докладом, что к приставу поступила жалоба от дворянки Винценты такой-то на притеснения, оказываемые ей дворянкой такой-то, которая не платит ей жалования, оскорбляет словами и грозит оскорбить действием, морит голодом (мать только всплескивала руками) и препятствует ей устроить свое личное счастье выходом замуж за любимого человека. Мамаша даже вышла из себя.

— Боже! — закричала она. — Расчет она может получить немедленно. Ела она, сколько влезет! Если бы вы видели ее, то

обратили бы, конечно, внимание на ее полноту. А если третьего дня я не послала за ветчиной, то потому, что был постный день. Это даже подло с ее стороны. Что же касается ее замужества, то я в первый раз слышу. Интересно, где ее суженый. Хотела бы я знать...

— Я к вашим услугам, — с грациозным поклоном и щелкнув каблуками, твердо сказал квартальный.

Почти одновременно вернулась Маша Беленькая с Александром на руках. Вчера она разминулась с незнакомой женщиной, которая тоже была страшно обеспокоена, вообразив, что ей подкинули мальчика. На всякий случай, она тоже отправилась в Лавру в смутной надежде встретить Машу Беленькую.

На радостях мамаша расцеловала Машу Беленькую, которой вчера обещала спустить «всю шкуру», беспрекословно удовлетворила претензию Винценты и вручила квартальному сто рублей, если не в вознаграждение за бесплодные розыски, то в знак того, что она зла не помнит и желает счастья оклеветавшей ее Винценте.

— Филипп, — закричала она, — запрягай лошадей! Едем назад в Клинцы.

К вечеру с козел я снова мог увидеть Киев в отдалении, с горящими, как звезды, в предзакатном озарении солнца золотыми главами его святынь где-то под небесами.

У отца мы застали целый цветник дам. Он был особенно щеголевато одет — весь какой-то батистовый, шелковый, с флейтой в руке, с месячной розой в петлице.

— Что с тобой? — вскричал он, увидев мамашу. — Что случилось? Почему так скоро?

— Не хватило денег, — упавшим голосом сказала мамаша, ревнивым взглядом окинув собрание.

Дамы, поздравив ее с приездом и расцеловав, поднялись уходить.

Она обняла отца и заплакала от полноты чувства и впечатлений.

Год прошел, как всегда, в поездках по имениям, на ярмарки, в приеме гостей, в танцах. Я был посвящен в тайны латыни, стал изучать «Всеобщую Историю» Смарагдова и больше всего корпел над арифметическими задачами. На фоне нашей детской мелькнуло несколько барышень, но мы уже привыкли к раздору, который порождался их присутствием между родителями. Мир водворялся, когда они исчезали. Помню, как обрадовалась мамаша, когда получила письмо из Киева от Винценты: квартальный на ней не женился и бросил ее, воспользовавшись ее маленькими деньгами. Она раскаивалась, просила прощения и позволения приехать обратно.

— Нет, голубушка, никогда! — вскричала мать и бросила письмо в камин.

То происшествие с контрабандою, о котором было рассказано выше, и размолвка с Бороздною пошатнули служебное положение

отца. Он слетал в Чернигов, места не потерял, но его перевели на Попову Гору, ближе к Могилевской губернии, где он арендовал у доктора Снарского маленькое имение Лотоки со старинною усадьбою.

ГЛАВА ШЕСТАЯ.

1858 — 1859.

В Лотоки мы приехали осенью в нескольких экипажах. Обоз с вещами шел за нами. Насилу взобрались на крутую гору.

Дом был деревянный, большой. По ту сторону фасада тянулся сад. Листья облетали. Когда я потом читал у Гоголя описание плюшкинского сада, мне казалось, что Гоголь списал его с лотоковского парка, — такая печать уныния лежала на нем. Внутри дома было не веселее. Осеннее солнце играло на покоробленном паркете, на разбитых люстрах, затянутых паутиной, на хомутах и шлеях, висевших по стенам. Кое-где торчали стулья с золочеными спинками. Комнат было много: залы, гостиные, кабинеты, девичьи, детские и т. п. Двери из гостиной в сад стояли настежь. Я вместе с сестрами бросился в ближайшую аллею и тут же завязал знакомство с Андрейкой и Митькой, детьми дворового человека Матвея и его жены Пелагеи. Несмотря на холод, оба мальчика, лет восьми и девяти, ходили босиком и без панталон, в длинных, чуть не до земли, рубашках.

Мать побранила нас за дурное знакомство. Она вообще опасалась вредного влияния на нашу нравственность со стороны «мужичья». Но это не помешало мне научиться в тот же день «загилять», т.-е. играть в деревянный мяч. Его подбрасывали, а я должен был бить, стараясь забросить его возможно выше и дальше. Так как родители были заняты расстановкой мебели и приведением в порядок запущенного дома, то я бесконтрольно проводил время, и общество Митьки и Андрейки значительно умножилось еще другими ребятишками.

Отец, увидевши, как далеко ушли мои успехи в метании деревянным мячиком, решил, что я должен сделаться более образованным юношей, и стал в досужее время сам «готовить» меня: преподавал историю Смарагдова, географию Ободовского, закон божий, грамматику Востокова и несколько других занимательных наук. Отец считал их чрезвычайно важными предметами; в числе их была генеалогия. Кроме того, он обучал меня танцам, и чувство ритма внушал мне щелчками по затылку.

Круг моих наблюдений очень расширился в Лотоках, и, можно сказать, изощрилась житейская опытность.

Потянулись длинные вечера. Быстро наступила осень и прошла в приспособлении к новой обстановке. Отец расставлял мебель и вешал картины и драпировки. Малейшая кривизна декоративной линии заставляла его перевешивать их. К Новому году дом принял блистательный вид. Стали бывать гости.

В январе отец дал бал. Съехались Баратовы и другие графья и баре. А мать не могла забыть, что бал обошелся дорого при унижении, выпавшем на ее долю. Ханенко затмила ее своим заграничным платьем и назвала «голубушкой». После бала, на котором отец усердно плясал и «волочился» за хорошенькими дамами, мамаша поссорилась с ним, и он уехал в Чернигов. Меня с собой не взял, а задал огромные уроки — «от сих и до сих».

Отца мы боялись, а мать ни в грош не ставили. Я в его отсутствие учебники забросил и стал глотать, какие попало, книжки: и «Гаука, милорда Англинского», и повести Пушкина, и исследования об опухолях, и французскую книжку с крайне неприличными картинками, найденную в старом библиотечном шкафу Снарского. Строго говоря, я почти ничего не понял из книжонки, однако, не показал ее никому из острого чувства стыдливости, которое именно она во мне пробудила, так что я вдруг отказался мыться с женщинами в бане. Может-быть, этим закончилось — конечно, рано — мое детство, и началось отрочество.

Жизнь в Лотоках зимою без отца была скучная, и текущий день наполнялся ожиданием завтрашнего дня. Приходила попадья, появлялись и судачили бедные дворянки, пожилые барышни Еленские, и одна из них оставалась ночевать у нас и рассказывала нам сказки об индийских царевнах, забегал пьяный отец Роман. Однажды он напугал нас, забравшись в лакейскую в белой горячке и заревевши в полночь: «Оглашенные, изыдите». Попугай и тот полинял, перестал есть и проскрипевши свою обычную фразу: «да будет вам хорошо», — умер. И от лет, а, может-быть, и от скуки. Я засиживался у Матвея с Андрейкой и с Митькой.

Бывший владелец Снарский приехал получить остальные арендные деньги за усадьбу. Не застал отца, впал в дурное расположение духа и решил взять с собою Матвея. Но Матвей уже не считал себя его собственностью и отказался ехать. Происходило это на моих глазах. Снарский съежил свое бритое криворотое лицо с хищным носиком и ударил кулаком снизу в подбородок Матвея. Кровь черной струйкой потекла из углов рта Матвея.

— Как вы смеете бить его! — закричал я. — Он — наш!

— Рано тебе еще быть помещиком, — огрызнулся Снарский.

Но, конечно, не чувство собственности руководило ребенком. Детская душа проще. Я заплакал и вспомнил, как Матвей, при свете лучины, рассказывал мне в людской под вой вьюги о докторе Снарском, у провинившихся мужиков вырывавшем здоровые зубы.

— А на што яму нужны были зубы? — рассуждал Матвей. — Для того, что у мужика выдернет, а барину вставит. Не иначе, што так.

Кошмарный доктор долго снился мне потом. Я пугал им маленьких сестер. Вырезывал из белой сахарной бумаги его фигуру и, дергая за ниточку, приводил в движение руки с крючковатыми пальцами; в людской же возбуждал гомерический хохот: Снарский был уродлив, но похож.

Великим постом меня и сестру Катю отправили говеть, по требованию отца Романа. Нас охватил страх, когда священник покрыл наши головы епитрахилью и спросил, чем мы грешны. Мы молчали, как убитые. Отец Роман нетерпеливо отпустил нам грехи, велел поцеловать икону и сказал: «А теперь по гривенничку и с богом». Начались с тех пор поездки в церковь. Несмотря на мою набожность в раннем детстве, многое было мне смешно. Дьячок, выбалтывавший «Господи помилуй» пятьдесят раз без передышки, казался мне большим юмористом. Буфетчик Трифон уверял меня, что человека в церкви смешит бес. Под влиянием его сообщения об этой забавной привычке беса я стал находить смешное и в возгласах отца Романа. Я представлял себе его истерически гримасничающим в алтаре, когда оттуда неслось: «поюще, вопиюще, взывающе и глаголюще».

Бесов с закорюченными хвостами я стал рисовать углем на стене каморки Трифона. Как-то в интимном отделении шкафа мамаши горничная, убирая комнату, нашла тетрадку, на которой стоял заголовок «Демон». Мамаши дома не было. Я отнял у горничной красиво переписанную тетрадку. «Демон» был тогда запрещен и ходил по рукам в списках. А мамаша, справедливость требует сказать, была поклонницей не только изуверских житий святых, но и поэзии Лермонтова. Странно сочеталось в ней то и другое. По вечерам, садясь за рояль, она аккомпанировала себе и пела романсы на слова Лермонтова. Еще в то время, когда она институткой бывала на балах у генерал-губернатора Долгорукова, она встретилась с каким-то приятелем погибшего поэта, и тот привил ей любовь к его произведениям. Много Лермонтовских стихотворений она знала наизусть, но «Демона» утаивала, однако. Я прочитал запретную тетрадку, и на меня «Демон» тогда не произвел впечатления; многих мест я не уразумел, совершенно точно так же, как и вписанный в тетрадку после «Демона» нелепый «Сон Богородицы».

Отец приехал, когда было уже тепло и распускались почки. Я увидел его всходящим по горе в палевой мантилье с широкими рукавами и в дорогой панаме. Сердце мое учащенно забилось: я вспомнил о невыученных уроках.

Отец привез много подарков. Мать получила модные наколки, шелковые и тарлатановые материи, кружева, манто; девочки — куклы, а мне был подарен орган: маленькая шкатулка с ручкой, при помощи которой можно было исполнять польку и вальс, а также «Не шей ты мне, матушка, красный сарафан».

Из-за старой француженки на другой же день вышла ссора у родителей. Отец в Чернигове договорил новую гувернантку, которая, как он был убежден, будет ближе к детям, потому что она молода и симпатична; а мать не одобряла молодых и симпатичных. Все же отец настоял на своем. И то правда, что старая француженка была еще необразованнее меня. Холод царит только на северном полюсе, уверяла она, а на южном вечная весна. Появление новой гувернантки отвлекло отца на время от занятий со мною, и мои невыученные уроки прошли благополучно.

Между тем у нас часто стал бывать молодой человек в красной рубахе, в черных бархатных шароварах, вложенных в лакированные сапоги, с очень длинными ногтями на руках, блестевшими, как серебро. У него был хороший голос, он пел, играл и ухаживал за молоденькой гувернанткой. Мне он нравился, и я боялся только его ногтей, хотя и не разделял взгляда Трифона и всей прислуги на него, как на антихриста. «Потому что когти у него, видите ли барчук, железные; он не даром на деревню ходит, песни подслушивает, стариков расспрашивает и што-то записывает».

Ночью после веселого вечера с танцами загремели во дворе колокольчики, а в передней и в зале шпоры. Приехали жандармы и арестовали молодого человека.

Так как он предварительно проживал у Ханенок, а Ханенко был человек влиятельный, то отец немедленно дал тому знать о случившемся. И он, и Ханенко удостоверили, что арестованный молодой человек вполне благонадежен, и удостоверение было послано в Чернигов за многими подписями, между прочим, князя Баратова. Подписался бы и генерал Езерский, но он скончался одновременно с древним попугаем. Невинного славянофила, в конце концов, отстояли, и к тому же, оказалось, он имел официальное поручение из Петербурга собирать народные песни. Был это небезызвестный этнограф Рыбников.

Отец возил нас в Попову Гору на ярмарку посмотреть на клоунов, на зверинец и на товары, а затем сделан был визит князю Баратову.

Князь был грузин по происхождению, а одевался, как старинный русский князь, и усадьба его напоминала древний терем, с колоколенками, с резьбою, с пестрыми крыльцами, с косящатыми окнами. Княгиня и княжны ходили в сарафанах, лакеи в белых рубахах и таких же панталонах.

Последним ярким впечатлением моим в Лотоках была комета. Она быстро появилась, росла, росла и растянулась огненным помелом на все небо.

— Что она предвещает? — допытывалась мамаша.

— Она предвещает, что мы скоро переберемся в Почеп, — отвечал отец.

И в самом деле, мы стали собираться в дорогу.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ.

1859 — 1861.

В хороших экипажах в светлую раннюю осень примчались мы в местечко Почеп, славившееся торговлей льном и пенькой с заграницей через Ревель и Ригу.

Почеп принадлежал графу Клейнмихелю, тому, который строил Николаевскую дорогу.

В местечке, кроме великолепной усадьбы помещика, было много богатых домов, принадлежавших оброчным крестьянам или откупившимся на волю и ставшим гильдейскими купцами.

Отец заарендовал просторный дом, построил во дворе флигель для «людей» и зажил, хотя не с таким «трэном», как в старину, но все же попрежнему — с вечерами, зваными обедами и выездами в гости.

Мать завела знакомство с семьей Нейман. Нейман — остзеец, управляющий имением Клейнмихеля — был очень культурен, выписывал много журналов, преимущественно немецких, и каждый день считал долгом управления присутствовать на конюшне при наказании розгами мужиков и баб. К сыну его, Косте, я приходил часто. Меня оставляли ночевать, и я поневоле бывал свидетелем того, что делалось в доме и в конторе. За завтраком, просматривая список провинившихся крестьян и прерывая поучительный рассказ детям — Косте, мне и двум хорошеньким девочкам своим, — Нейман бросал приказчику ровным серьезным тоном, как бы в скобках, «Фюнф унд цванцих» или вдруг в несколько повышенном тоне: «О, дизер Антипка! Пятьдесят горячих!!»

С мадам Нейман у матери начались нелады довольно скоро. Родом Наталья Ивановна Нейман была почепская мещанка и «задирала нос», чего мамаша не выносила; она находила, что сверчок должен знать свой шесток. И хотя у нас бывали графы Гудовичи, Журавко-Покорские, и даже граф Алексей Толстой, знаменитый поэт и мглинский помещик, оказал нам честь своим посещением, и за ужином превратил массивную серебряную ложку в винт, хвастая своею силою, мадам Нейман высоко не ставила мамашу, и она, в свою очередь, казалась ей «сверчком». Когда между дамами пробегала черная кошка, Костю не пускали ко мне, а меня к Косте.

В уезде усиливались между тем крестьянские беспорядки. Отцу вменялось в обязанность укрощать мужиков увещаниями. Его вызвали в Чернигов для объяснения, почему он бездействует.

Он взял меня с собою. Остановились мы в Чернигове у некоего Марченко, который еще ополченцем бывал у нас в Клинцах. Женат он был на истерической даме, — до сих пор помню ее красный длинный нос с сбегающими по нему крупными слезами. Она как-то

быстро привязалась к отцу и, оставаясь с ним вдвоем, считая меня, конечно, несмысленышем, бросалась к нему на грудь и рыдала. Отец не знал, как от нее отвязаться. Она пыталась отравиться, но яды не действовали на нее. Два раза она вешалась, но веревки были гнилые. И, ведь, на самом деле были гнилые! Она нечаянно каждый раз натыкалась на гнилые веревки. А повеситься в третий раз уже не хватило мужества.

Отец перебрался через дом на квартиру к семинаристам, густо басившим и читавшим «Современник» (я на досуге, оставаясь один, тоже стал читать этот журнал) — и пившим с отцом водку по вечерам. Он хмелел, ему хотелось забыться, потому что были служебные неприятности (губернатор назвал его «тряпкой»), а молодые люди начинали восхвалять ему достоинства каких-то Фенечек и Оленек. Тогда он исчезал на всю ночь. Утром же возвращался с помятым лицом, придирался ко мне и бил ремнем. Страх перед ним не исчез, но представление о некоторой его непогрешимости у меня в это время побледнело, и уважения к нему уже не было; только все больше и больше я уходил в себя, и болезненная застенчивость, боязнь быть откровенным и громко сказать то, что я думаю и знаю, охватывала меня, как только кто-нибудь, не говоря уже о нем, сверху вниз относился ко мне. В значительной степени душевная болезнь эта сохранилась у меня на всю жизнь и страшно вредила мне, заставляя меня в решительные минуты моей жизни быть уступчивым и часто поступать не так, как я должен был бы поступить. Только уже на склоне дней моих я освободился отчасти от этого кошмара застенчивости и нерешительности, под давлением скорее очистившейся революционной грозой общественной атмосферы, чем благодаря усилиям личной воли.

Не успели мы очутиться дома и приняться за уроки, как отца вновь потребовали в Чернигов, и он надолго остался там.

Попрежнему он занимал должность станового пристава, но к его перу и находчивости высшее начальство прибегало в случаях надобности, а тогда работали уже губернские комитеты по редактированию нового положения о крестьянах, освобожденных от крепостной зависимости.

По обыкновению, отец, уезжая, задал огромные уроки, и я тоже остался верен своему обыкновению — до учебников не дотрогивался, с сестрой Катей играл в куклы, вырезывал из бумаги фигуры и инсценировал на подоконнике отцовского кабинета Пушкинские рассказы Белкина. Самое сильное впечатление произвела на детей пирушка у гробовщика.

В отсутствие отца к мамаше стал ходить в гости, носить ей книжки и читать небольшого роста человек, франтовато, но куцо одетый, в брючках на штрипках — Иван Матвеевич Самоцвет. Мы с Катей решили, что Иван Матвеевич влюблен в мамашу, и что мамаша отвечает ему взаимностью. Мы ей сочувствовали, тем

более, что в дни, когда у нас обедал Иван Матвеевич, кушанья были получше: подавались индейки с каштанами, фруктовые желе, а надоевшего нам киселя и в помине не бывало. От отца приходили письма, и одно из них мамаша показала Ивану Матвеевичу. Что было в нем, не знаю, но мамаша вдруг сказала:

— Иван Матвеевич, вы сами должны понять, что после такого подозрения, высказанного мужем, вы не можете бывать у нас, пока он не приедет.

Иван Матвеевич покраснел, встал, расшаркался и больше не приходил никогда.

Мы с Катей переглянулись и огорчились.

Что такое любовь, я рассказал Кате, и она смутно поняла. Но я-то по опыту знал, что́ такое любовь. Я все не мог забыть встречу на постоялом дворе под Киевом с той прелестной, приласкавшей меня, девушкой.

— Катя, любовь — это навсегда! . . — объяснял я.

Наши куклы тоже влюблялись друг в друга, и одна из них носила медальон из золотой бумаги, внутри которого было написано «навсегда».

В Почепе я с некоторых пор стал по ночам бродить по комнатам без сознания, как лунатик. Должно быть, это и был лунатизм. Горничная, увидев меня на крыльце, испугалась, подумала, что я в припадке, и потащила меня с помощью другой девушки обратно. Я насилу объяснил им, в чем дело, и, не попадая зуб на зуб, очутившись в девичьей, попробовал зубрить прежде всего латинские слова. Их было несколько страниц. Проклятые латинские слова! Огарок догорел. Голова моя закружилась, я заснул, сидя в кресле, в тайной надежде, что я уже простудился. Но проснулся, как ни в чем ни бывало, пробежал слова... И отец удивился, что, отвечая, я не сделал ни одной ошибки.

— Молодец! А мать говорила, что ты ничего не делал. Ну, довольно с тебя! Значит, ты и остальные уроки также знаешь. А как пишешь?

Писал я правильно. И отец сказал:

— В апреле тебе будет десять лет. Пора помогать мне.

Я сделался переписчиком его бумаг.

Так прошел, не оставив в моей памяти ничего интересного, целый год.

Мамаша между тем свела еще знакомство с некоей Аршуковой, богатой помещицей, у которой была дочь, уже невеста, но в коротеньком платье и с гувернанткой. Аршуковский дом стоял на выезде, барский, с колоннами, о двух этажах; и несмотря на то, что в нем было много комнат и еще больше окон и дверей, в доме стоял дурной запах, исходивший от помещицы. Возвращаясь от Аршуковых, где собирали офицеров и угощали их ужином и познаниями невесты в мифологии, отец говорил мамаше: «Нет, Оленька, явно умирает дворянство и уже гниет!».

Офицеры с весны стали частыми посетителями и нашего дома. Они бродили по местечку в ожидании служебных занятий и «верхним чутьем» угадывали, где пахнет хорошим обедом. Входили, гремели саблями, пили, ели, занимали собою хозяев. По временам, они исчезали недели на две и, сделав ревизию крестьянским спинам, возвращались обратно, веселые, с сознанием исполненного долга и готовые любить и сытно кушать.

Отец еще раз слетал в Чернигов, привез романсы на слова Некрасова, «Современник» и «Отечественные Записки» (за которые сейчас же я засел), привез себе бархатный костюм, а матери накидку и шляпу а-ля-Гарибальди и рассказал о знакомстве с писателем Ивановым (Классиком), который взял у него три рассказа и обещал напечатать в «Отечественных Записках». Рассказы эти, действительно, были напечатаны, и лицо, от имени которого они ведутся, названо Иеронимом Иеронимовичем, но Иванов подписал рассказы своим именем. Хотя и это доставило утешение отцу.

Отец в Почепе веселился, собирал у себя общество, вел беспечную жизнь, а уже надвигалась гроза.

Первым делом пострадал я, и пострадала, вместе со мною, сестра моя Катя. Мне было одиннадцать лет, ей — десять.

В людскую, помещавшуюся в новом флигеле во дворе, приехали крестьяне. У нас крепостных уже не было, кроме двух горничных. И вообще родители мои владели только дворней. Отец предпочитал, если нужно было, нанимать работников. По старой привычке я заглядывал в людскую; прибежал и рассказал о манифесте 19 февраля. Крестьяне взволновались и стали просить меня прочитать манифест. Тогда во многих местах скрывали его, а молва преувеличивала значение манифеста. Помню, когда я ознакомил людскую с манифестом, напечатанным в журнале, он произвел на них расхолаживающее впечатление. Они ждали богатых милостей.

Узнав, что я в людской, и чем я занят, отец и мать потребовали меня к себе, перепуганные, и стали убеждать меня, что мужики и без того смотрят в лес, а я, по глупости, еще больше вооружаю их против господ. Подумал ли я, с кем я дружу? Значит, я иду против своего же сословия. Какой ни какой, а все ж таки я дворянин.

Уста мои, при такой обстоятельной беседе отца со мною, раскрылись, тем более, что все время он сам читал вслух по вечерам свободолюбивые статьи «Современника» и «Отечественных Записок». Я стал вдруг возражать и вступаться за крестьян. Сам не знаю, как это случилось, но я напомнил с запальчивым мужеством, странном в таком робком и застенчивом мальчике, о розгах и других наказаниях, которым подвергали своих слуг и крепостных помещики.

— И разве вы справедливы были, папаша? И как не радоваться теперь нашим горничным, мамаша? — продолжал я.

*

Тут мамаша не выдержала и прервала поток моего красноречия. Рука ее заработала по мне. Отец напрасно останавливал мамашу, крича, что он сам расправится со мною.

Катя, в свою очередь, в охватившем ее благородном порыве, распустила язык. Ее и меня высекли. И китайская стена окончательно отодвинула меня после этого от родителей.

Что было непосредственною причиною беспорядков, возникших на другой день в Почепе, в той части, где находилось имение Клейнмихеля, не знаю. Но были слышны выстрелы, а затем офицеры пороли мужиков и баб.

Оживленно рассказывали вечером они, как «раскладывали» и как «сыпали». Полученная мною с Катей порка была таким образом предтечей всеобщей почепской порки.

Через несколько дней отец, при виде наших угрюмых лиц за обедом, почувствовал к нам жалость и в знак прощения протянул нам руку для поцелуя. Но я к руке не приложился. А Катя была добрая девочка.

Молодые гвардейские красавцы Клейнмихели дали офицерству бал в своем дворце в благодарность за подавление беспорядков. Красавцы только-что приехали из Петербурга, и так случилось, что старшая дочь Нейманов тоже приехала из института. В Почепе стали сплетничать по поводу романа, который мог возникнуть между молодыми людьми. . .

На балу танцовали, кроме офицеров, Аршукова и другие местные девицы, даже Крутиковы, отец которых, первой гильдии купец, недавно был крепостным человеком Клейнмихелей. Не были приглашены только мои родители. Это показалось отцу дурным знаком.

Так и было на самом деле. Нейман донес на него, что он довел крестьян своей служебной нерадивостью до открытого бунта, держал у себя в кабинете прокламации, а сынок его знакомил с их содержанием прислугу; а прислуга переносила горючий материал в крестьянские хаты. . . От отца было затребовано объяснение по «эстафете», и отец опроверг донос. Никаких прокламаций у него в кабинете не было никогда, и даже газету «Колокол» злоумышленного Герцена, получив по почте, он немедленно представил по начальству. Ему поверили должно быть только наполовину, потому что в ответ он получил приказание сдать все дела, считаться от должности устраненным и лично явиться в Чернигов.

Полагаясь на кое-какие связи и на свое искусство отписки, он протянул отъезд до зимы и занялся в Почепе адвокатурой.

Объявление воли крестьянам, с превращением их пока во временнообязанных, вызвало, между прочим, беспорядки и по всей губернии. Были случаи убийства властей. Отец радовался, что «чаша сия» задела его только краем. Помещики почти все поголовно бранили Александра II, и только те из них, у которых были

фабрики, например, Гудовичи, находили освобождение крестьян выгодным для себя.

— А по морде бить хама мне все равно никогда не доставляло удовольствия, — говорил отцу Гудович. — Наконец, для желающих, сколько угодно, найдется наемных морд. Наемный труд, батенька, гораздо дешевле крепостного. Я считаю освобождение крестьян величайшею реформой.

Далеко не все соглашались с таким мнением. Помещики собирались друг у друга и расстреливали царские портреты. Аршуков, живший в разводе с женою, повесил портрет царя кверху ногами в столовой. В конце концов создалась легенда, что царь и рад бы отдать крестьянам всю землю, да паны не позволили, и он их боится.

В Почеп дошло известие о судьбе нашего кума Ивана Петровича Бороздны. Он собрал в день объявления освободительного манифеста самых красивых своих горничных в ванной комнате, с чашами шипучего вина, приказал им декламировать хором любимые стихотворения, сел в горячую воду, открыл себе жилы и умер. Друзьям и знакомым он заготовил предварительно ряд писем с единственной фразой: «Ухожу в загробный мир, как римлянин».

Граф Гудович, когда отец рассказал о смерти Бороздны, презрительно произнес:

— Шут гороховый!

ГЛАВА ВОСЬМАЯ.

1861 — 1862.

В Чернигов мы ехали в возке четвернею по проселочным дорогам. Зима была страшно снежная. Обоз с вещами двигался за нами. Местность была гористая, и в одной долине мы застряли в снегу. Отец на выпряженной лошади помчался верхом в соседнюю деревню и согнал мужиков.

Помещики задерживали освобождение крепостных, и народ был убежден, что, если бы не царь, не было бы воли. Отец «признался», что сопровождает царскую фамилию, которая почему-то секретно путешествует — и дорога была мигом расчищена с поклонами и с криками «ура».

В Чернигове мы водворились во флигеле гимназического надзирателя, во дворе. А так как флигель был не топлен, то хозяйка дома, расположенного на улицу, хромая и толстая мещанка, называвшая себя полковницей, уступила нам на ночлег две комнаты у себя. Она была приветлива и набожна. Стены ее были увешаны иконами, лампадками, и, даже зевая, она крестила рот. В том же дворе стоял еще третий домик или флигель, нанимаемый ею же;

в нем всю ночь горели огни, и оттуда неслись звуки плохого оркестра.

— Что там у вас происходило? — спросила мамаша утром.

— Свадьба, — с елейной улыбкой отвечала хозяйка.

Но когда мы перебрались в свое помещение, оказалось, что во флигеле каждую ночь справляются свадьбы особого рода. Едва смеркалось, как туда один за другим тянулись чиновники, офицеры, гимназисты, военные писаря. Мамаша была в ужасе.

— Переезжать! Переезжать!

Но квартира была дешевая, а отец, не имея места и занятий, продал уже экипажи и лошадей, и средств на переезд не было. В конце концов, мамаша притерпелась.

Нужда была так велика, что у нас не было даже прислуги, и мать сама должна была готовить, а отец — ходить на базар за провизией. Я же превращен был в судомойку и мыл полы. Переход от недавней роскоши к нищете на первых порах был тяжел, но вскоре все вошло в колею. Я попрежнему заучивал тексты из катехизиса (отец продолжал считать своим долгом, будучи католиком, утверждать меня в православии) и переводил Корнелия Непота, когда был досуг.

Одно время в заботах об образовании детей, заняв денег у архимандрита Елецкого монастыря под залог серебра, чтобы угостить между прочим чиновников губернского правления, от которых зависело его дальнейшее служебное положение — он все ждал места, — отец пригласил к нам, за стол и комнату, француженку, мадемуазель Эмму. Рыжеволосая, с лебединой шеей и толстыми белыми плечами, она, конечно, не понравилась матери, хотя усердно занималась, и сестры мои в особенности освежили свои познания во французском языке.

Эмма рассказывала нам о Париже, о революциях, которые там происходят, в одной из которых погиб ее отец, и о художниках, с которыми она была знакома и которым позировала. У ней был альбом с подлинными рисунками Гаварни. В Чернигов ее завез покойный Бороздна и бросил, не обеспечив. Она имела право уходить из дому на другие уроки, но мать заметила, что она по временам преподает и в том домике, рядом с нами, где по ночам горят веселые огни. Последовала бурная сцена, и новый светоч нашего воспитания еще раз погас, и уже надолго.

Характерно для тогдашних провинциальных нравов, что разные столоначальники и советники после торжественных обедов, которые задавал им отец на последние гроши, и которые мне стоили потом мучительной возни с посудой, прямо от нас направлялись к соседкам, а после визита к ним являлись обратно к мамаше и просили чаю с ромом.

За свою судомойскую службу я получал от отца по пятнадцати копеек, и это давало мне возможность почти ежедневно бывать в городском театре и замирать от наслаждения игрою губернских

лицедеев. Все они казались мне гениями, а театр — волшебством. Сам я стал мечтать сделаться драматургом и сочинил пьесу, которую разыграл в построенном мною из картона театре, при чем действующими лицами были куколки из фарфоровой коллекции отца. За каждую отбитую у них голову отец обещал сорвать с меня голову, но все-таки представления шли за представлениями, и сестры были моими благоговейными зрительницами. В пьесе военный писарь женился на мадемуазель Эмме и не умел говорить по-французски; в этом был комизм. Во всяком случае, мои декорации и, в особенности, действующие лица были лучше текста.

В числе чиновников, приходивших к отцу, был один красивый молодой человек, который стал ухаживать за мамашей и объявил ей, что бога нет.

И хотя во мне уже совсем угасла тяга к чудесному и поблекла вера в мучеников, столпников и преподобных авв, борющихся с прелестными бесами, но, подслушав беседу либерального столоначальника, я испугался. Было что-то крайне неожиданное в отрицании бога, и маленькие сестры мои, которым я сообщил эту новость, тоже затрепетали от страха. Велика сила внушения детям тех или других понятий и представлений. Года три не мог я потом забыть, что бога нет, и был убежден Бюхнером уже в третьем классе, что столоначальник, действительно, прав; но, однако, даже в зрелом возрасте по временам боролся с богом, и только на старости лет успокоился.

При мне в Чернигове произошел один из тех загадочных пожаров, которые опустошили в 1862 году целый ряд русских городов, начиная с Петербурга.

Ночью застонали колокола. Я первый проснулся в доме и закричал:

— Небо горит!

Мой внезапный дикий крик показался отцу, спавшему в одной комнате со мной, за ширмами, припадочным.

Но тревожно плакала и звала медь, и все горело небо. Не помню, как я оделся и выбежал на двор. В воздухе кружились в этом пылающем небе голуби, они были сами огненные. По улицам торопливо шли люди, мчались пролетки, неслись крики, выли женщины и дети, дома дымились, превращаясь в костры. В центре города церковь св. Пятницы (сохранилось в Чернигове такое божество со времен князя Черного чуть не до сих пор) возносилась белозарная к небесам, и вдруг купол ее вспыхнул, как свечка. Не только быстро загорались и сгорали деревянные здания, но огонь не щадил и каменных домов. Пылала большая типография. Пылали улицы, сады. Ад творился в Чернигове. Солдаты и будочники дрались с народом; пожарные, вместо того, чтобы тушить огонь, обливали водою толпу.

На одном перекрестке, грудью прижав к пожарной бочке, растянули какого-то господина и пороли в зареве пожара: губерна-

тор приказал, «чтоб не вмешивался в распоряжения полиции и не критиковал».

Шныряя с мальчиками в толпе и под лошадьми из угла в угол, из пожарища на пожарище, я насмотрелся на калейдоскопически мелькавшие передо мною сцены человеческого отчаяния, горя, самоотверженности, безумия, насилия, низости. Видел, как иной растерявшийся полуголый человек бегал со столом на голове и потом бросал его в людей, а на него набрасывались и принимались его ругать и бить. В уцелевших кое-где садах и закоулках грабители развязывали чужие узлы, взламывали комоды, золоторотцы затаскивали в кусты девочек и мучили их там. Пролился спирт из бочки, которую выкатили из загоревшегося погреба, и к пыльной луже припали человечьи рты и жадно стали ее лакать, а несколько поодаль, над другой такой же лужей, плясало уже бледносинее пламя.

Пожар кончился на другой день к вечеру. Чернигов выгорел. Уцелела лишь заречная часть.

Но уцелел чудом и наш грешный двор. Хозяйка веселого домика, «полковница», стояла на дворе и держала икону «владимирской богоматери», а когда уставала, ее сменяла одна из ее девушек.

Мамаша тоже стояла у порога своего крыльца с иконою. Отец потом всегда говорил, что, если бы не две божьи матери — «владимирская» полковницы и наша «казанская» — не подул бы ветер в сторону от нас и не уцелеть бы нашему кварталу.

— Вот и верьте после этого Бюхнеру, — загадочно восклицал он, рассказывая о страшной ночи участившему к нам неверующему столоначальнику.

Этот атеист принес нам, кроме Бюхнера (в тщательно переплетенной и каллиграфически переписанной тетрадке), еще и приятное известие, что отец получил место в Остерском уезде, в местечке Моровске, на Десне, под Киевом, и что на обязанности его будет, между прочим, введение «уставных грамот», т.-е. актов полюбовного земельного размежевания между бывшими помещиками и новыми крестьянами-собственниками.

В день отъезда огромный гимназист, весь в волосах, как Исав, притопил меня в купальне. Я ударил его кулаком в живот, он еще и еще притопил меня — до трех раз. Пылая местью, я подстерег его, чтобы на берегу швырнуть в него камнем. Но он засмеялся, увидев меня.

— Брось, а меня извини. Я думал, что ты жиденок. Напрасно я окрестил тебя. Но если хочешь — вода близко — я раскрещу тебя, — свирепо прибавил он.

Потом, много лет спустя, я встретился с ним. Это был Ваkуловский, феноменальный бас, оперный певец, гремевший в Киеве буквально: такой был у него голос, что стоило ему дунуть в стакан, и стекло разлеталось вдребезги. Наружности он был горилло-

подобной. Слуха не было. Столкнулся я с ним тоже в купальне, на Днепре, и он попрежнему «крестил», но уже взрослого бородатого человека, типичного еврея. Я и другие купальщики вступились, Вакуловский бросил жертву и заревел: «На земле весь род людской»... Меня он, конечно, не узнал, но сам он за пятнадцать лет не изменился.

Встречались мне и евреи типа Вакуловского.

В тот же день, когда он принял меня за «жиденка» и троекратно притопил, я был послан за веревками на рынок. В лавке еврейские приказчики расхохотались, нахлобучили шапку мне на лицо ударами по макушке и вытолкали: я попал, оказывается, не в ту лавку, где продавались веревки, не в тот ряд...

Таким образом, с двойной обидой в сердце и с разными другими впечатлениями, не всегда приятными, я покинул Чернигов.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ.

1862 — 1863.

Была нанята огромная пустая баржа, привозившая в Чернигов соль, и в ней отец, со свойственным ему декоративным талантом, расставил мебель, развесил драпировки и сумел на две недели превратить ее в сносное своеобразное жилище. Тут была и детская, и спальня, и обширная гостиная, и концертный зал. На ребрах и досках изогнутых стен местами блестела соль. Разумеется, моя фантазия разыгралась: блестела не соль, блестели алмазы. Барка стояла днем, палимая солнцем, а вечером единственный бурлак, управлявший ею, гнал ее по течению, толкаясь шестом.

Правый берег Десны горист, весь в обрывах, поросших лесами. Эти обрывы похожи были на замки, на развалины. Налево тянулся низменный лесистый, а местами степной берег. Днем отец после завтрака, состоявшего из рыбы и дичи, сходил на берег, охотился и возвращался с богатой добычей. Много ловилось рыбы. На закате солнца мамаша, а за нею все выходили на палубу. Отец играл на флейте, мамаша пела. У Кати тоже был голосок. Барка трогалась. Мелькали декорации, одна другой заманчивее и красивее. Вдруг, показывалась деревенская церковь; где-нибудь у пристани собирался народ и приветствовал барку смехом и криком. Из-за леса поднималась луна. Во всем этом была бездна поэзии, и я стал писать стихи. Детские, но настоящие стихи, не грешившие против размера. В них «луна», конечно, рифмовала с «волна», а «небеса» с «леса». Воспевал я природу и умолял Зевса, чтобы путешествие наше никогда не кончилось.

Зевс мольбам начинающего поэта не внял, и в одно светлое утро мы очутились у пристани древнего местечка Моревска или

Муромска, бывшей казацкой крепости, еще в XVII веке выдержавшей неприятельские осады в годы украинской «руины».

У отца оставались какие-то маленькие деньги, но он решил сберегать их и жить, как подобало жить в трудное время, начавшееся с освобождением крестьян. Поэтому он удовольствовался помещением, состоявшим из крошечного домика всего в две комнаты с сенцами и с кухней и из каменного в одну комнату флигелька. Домик этот с вишневым садом в подсолнечниках и в мальвах — типичная малороссийская хата — стоял на высокой горе, обрывисто торчавшей над Десною и представлявшей собою место какого-то старинного погребения. После каждого дождя из нее выпадали человеческие берцовые кости и черепа, а иногда и лошадиные. Наверно, тут происходили боевые схватки в незапамятные времена.

Вид из окон был чарующий. Поэтический огонек, вспыхнувший во мне на барке, стал разгораться ярче. Я начал усердно рисовать и сочинять исторические поэмы. Рисунки мои пленили, наконец, мамашу. Она все кричала мне: «Что ты глупостями занимаешься!». Вдруг увидела нарисованного мною акварелью Христа в Гефсиманском саду и пришла в восторг. Рисовал я, что попало: хаты, лес, цветы, сцены из жизни, мотыльков, жуков. Отец не мешал мне и даже перестал заниматься со мною, так он был завален работой, исполняя должность мирового посредника и вводя уставные грамоты.

Грамоты эти писались на особой бумаге. Однажды глубокой осенью к нему приехал барон Штиглиц и, увидав мои рисунки, похвалил, и вскоре предложил в письме отдать меня ему в сыновья, так как из меня он хочет сделать художника, который ни в чем бы не нуждался, а кстати получил бы блестящее образование. Отец и мать с гордостью ответили барону отказом. А я, поощренный похвалой Штиглица, неистово принялся малевать красками, присланными мне бароном при том письме к родителям. Краски были блестящие, я таких и не видывал, а кисти собольи.

Подвернулся вновь назначенный фельдшер Михайлов, заинтересовался древними костями, подружился со мною. Я стал рисовать его, смуглого, курчавого москвича. А у отца происходили несколько дней под-ряд недоразумения с каким-то помещиком и с крестьянами. После страшных усилий ему удалось привести обе стороны к соглашению, и он прилетел домой с натянутыми нервами. Фельдшер подарил мне поллиста так называемой «царской» бумаги, на которой я нарисовал, по просьбе матери, ангелочка на розовых крыльях. Утром мать показала отцу мое замечательное произведение. Отец, едва взглянув, бросился к своему портфелю, и уставной грамоты, над которой он так трудился, там не оказалось. Он грозно позвал меня и спросил, где грамота. О грамоте я не имел, разумеется, ни малейшего представления.

— Принеси все твои дурацкие рисунки! — приказал он.

Я не считал их дурацкими, но немедленно повиновался.

— Негодяй, ты оторвал от грамоты чистую половинку! А куда ты девал грамоту?

Обвинять меня в этом было в высшей степени неосновательно. Я не был маленьким ребенком, и к тому же, переписывая отцу бумаги, научился ценить их важность. Я гордо ушел в свою улитку и молчал. Отец мог сообразить, как несправедливо было его обращение ко мне. Но он с размаху ударил меня по щеке, схватил рисунки и изорвал их, а затем тумаками вытолкал меня из комнаты.

Я ушел во флигелек и выплакал на груди Михайлова тяжкое горе.

— Я никогда не возьму в руки ни карандаша, ни кисточки, — поклялся я.

А в голове уже мелькнул план написать комедию под заглавием «Уставная грамота» и зло высмеять трагическое происшествие и, конечно, ее виновника.

Уставная грамота между тем через какой-нибудь час была найдена отцом среди других бумаг. Он сам засунул ее куда-то вчера вечером. С матерью он прислал мне целую десть великолепной бумаги, но клятва была уже дана.

Настала зима. Тоскливо прошла она. Отводил я душу только с Михайловым, да с сыновьями священника Ягодовского, когда те приезжали на рождество и на другие праздники. По мнению матери, я набрался от них бурсацкого духу: ловил чечеток, щеглов, снегирей. Ранней весной охотился на болотную дичь. Отец разрешил мне пользоваться одним из его ружей. Но охота не увлекала меня. Я предпочитал бродить бесцельно по болотам и лесным опушкам.

В апреле один из клиентов отца, помещик Калиновский, приехал к нему поговорить о полюбовном размежевании своем с крестьянами и остался ночевать. Ему приготовили постель в «каменице» — во флигельке со мною. Он привез с собою «Русский Вестник» и расхвалил мне новый роман Тургенева, весь напечатанный в книжке журнала.

— Даже, собственно, это не роман, — пояснил он, — а нечто получше.

Книги, бывшие у отца, я все перечитал, и полулубочные романы, которыми меня снабжал священник Ягодовский, были тоже проглочены мною за зиму, — и Булгарин, и Лажечников, и Масальский, и Загоскин. Я испытывал книжный голод. И, воспользовавшись привычкой помещика спать при свечах, я, как только он захрапел, взял со стола «Русский Вестник», и рассвело, когда я кончил «Отцов и детей».

Впечатление получилось огромное. Базаров стал моим идеалом. Пропасть между отцами и детьми я чувствовал еще раньше, но теперь я уже перестал быть каким-то выродком и убоищем,

как называла меня мать. Я сознал себя личностью. Я — слышишь, друг мой, Михайлов, я — Базаров! Голова у меня закружилась.

Калиновский уехал. А я не мог уже дотронуться до книг, которые прислал в тот день со своим работником отец Ягодовский. Ни «Рославлев», ни «Киргиз-Кайсак» не соблазняли меня. Душа Базарова переселилась в меня. Мне захотелось резать лягушек, собирать дитискусов и рассматривать в увеличительное стекло их нервы. И на моем маленьком письменном столе большой желтый череп с пробитой, может-быть — пулей, височной костью насмешливо скалил зубы. Михайлов стал моим исключительным собеседником и посвящал меня в тайны анатомии и физиологии. К огорчениям матери, по кулинарной части, чуть не плакавшей из-за неудачного «папушника», я относился с язвительной улыбочкой. Раза два я, обращаясь к ней, назвал ее не мамашей, а матерью. «Как поживаете, мать?». Первый раз сошло благополучно, а за вторым разом она ударила меня по губам. «Не забывайся, голубчик». О существовании бога я начал беседовать с Катей. Она всегда была моим отголоском, и одно время горячей поклонницей моих мнений и бредней. Но тут она отшатнулась от меня, а я торжествовал. Однако, мужества открыто исповедовать отрицание бога не имел и предпочитал конспиративный метод. Таким образом, вместе с Михайловым, который стал часто ночевать у меня, мы легко убедили четырнадцатилетнюю Лушу, приходившую убирать «каменицу» и белить к праздникам, что бога нет. Впрочем, принимая наш взгляд, она сначала заплакала. Когда же Михайлов ее поцеловал, как Базаров Феню, то девочка успокоилась.

Ботанические и энтомологические экскурсии предпринимались мною иногда с известной долей даже героизма. Я садился в душегубку — так назывались дубовые лодочки, вроде корыта, — переправлялся через Десну и пропадал на той стороне в лесистых и степных дебрях по два дня, ночуя в соломенных куренях пастухов и рыболовов.

Поведение мое чрезвычайно печалило родителей. Они, кажется, готовы были уже махнуть на меня рукой, но тот самый барин Калиновский, который познакомил меня с «Отцами и детьми» и обратил в скороспелого маленького Базарова, проездом через Моревск завернул к нам и, узнавши, что я «отбился от рук», «пощупал», как он выразился, мою голову и уломал отца и мать, во что бы то ни стало, определить меня в гимназию. Для этого же надо было немедленно отвезти меня в Остер, уездный город, где есть учителя, которые приготовят меня, принимая в соображение мои способности, хотя бы в третий класс, а затем посоветовал отправить меня в Киев.

Сказано — сделано: через несколько дней мать, со слезами на глазах, благословила меня иконою, хлебом и куском каменной соли, и я уехал с отцом в плетеной бричке в Остер.

Городок этот расположен на низменном берегу Десны, захолустный и грязный. Домики крыты были дранью и соломой, и только некоторые щеголяли железом. К лучшим зданиям принадлежали острог и собор.

Отец нанял для меня комнату у молодой вдовы Галаган, что-то за десять рублей в месяц со столом, чаем и стиркой белья. Комната была большая и светлая, с письменным столом, с койкой за ширмою, с гостиной мебелью. Вдова была ласковая, гостеприимная, пригожая и с отвратительной черной улыбкой.

Прежде всего она посоветовала обратиться к учителю уездного училища, — забыл его фамилию, — преподававшему русский язык. Отец привел меня к нему. Бесцветный человек с насмешливыми глазами и хромой кое-как побеседовал со мною и объявил, что он приготовит меня за триста рублей; отец нашел, что дорого.

— Хорошо, — отвечал учитель: — в таком случае поторгуемся за водочкой, — и из-за перегородки вынес колбасу, хлеб и графинчик.

Отец отказывался, но учитель сказал:

— Если выпьете со мною по рюмочке, то я вам пятьдесят карбованцев спущу.

Отец выпил.

— Если мы выпьем по второй, то я сброшу еще полсотенки, — сказал учитель, расширив лицо в четырехугольную гримасу.

Крепкая была водка.

— Старка, — объявил учитель. — Если мы выпьем по третьей...

— Вы сбросите еще пятьдесят. Так уж давайте, выпьем сразу по две, и будет ровно сто.

Учитель дружелюбно пригласил отца исполнить приглашение и залпом выпил одну рюмку за другой, но отца трудно было перепить, а учитель внезапно увял, притянул меня к себе, стал целовать и произнес заплетающимся языком:

— Я из вас сделаю порядочнго человека.

Выйдя от него, отец сказал на улице:

— Калиновский рекомендовал какого-то Луковского. Зайдем-ка лучше к нему. Ты и без того «порядочный» человек, а станет этот хромой тебя обрабатывать, станешь окончательно «порядочный».

Разыскали Луковского.

Луковский тоже был учителем уездного училища и читал географию и историю. Он был хорош собою, опрятно одет; в холостой комнате его был порядок, и стояли букеты свежих цветов, а на стене висели портреты Мицкевича и Пушкина.

Поговорив со мною, он сказал, что попытается приготовить меня в третий класс. Отец в тот же день уехал домой.

Пребывание в Остре составило целую эпоху в моей отроческой жизни.

В Луковском судьба послала мне не только хорошего учителя, но и прекрасного воспитателя. Хотя мне приходилось бывать в его обществе не больше двух часов в день, его светлая душа стала близка мне. За неблагонадежность он был исключен из университета, и, когда я, помимо уроков, обращался к нему с какими-нибудь вопросами, не особенно детского характера, он отвечал серьезно и обстоятельно, ничего не утаивая. Поневоле надо было мне задавать большие уроки и требовать от меня почти невозможного — такие были у меня пробелы по всем предметам; а основательно для будущего гимназиста я знал только латынь, из которой, все равно, не предстояло экзаменоваться; ни из ботаники, ни из анатомии, ни из генеалогии. Я был слаб в дробях, в географии, кое-как справлялся еще с новыми языками, а священную историю забыл. Память моя была отягчена такими сведениями, которые совсем не нужны были в гимназии.

Несмотря на это, я ни разу не явился к Луковскому, не сделавши всех задач и не приготовив уроков. Уже через полтора месяца, он, пригласив меня разделить с ним завтрак, сказал, что не сомневается в поступлении моем в гимназию, и что я, можно сказать, уже готов в третий класс.

Жизнь в Остре потому представляла для меня еще особую ценность, что я был все время предоставлен самому себе, был самостоятелен и свободно дышал. На квартире у вдовы Галаган стояли, кроме меня, в двух других комнатах шестнадцатилетние чиновники уездного земского суда А. и Б. (точно их фамилий не помню). Они были из окрестных дворянских гнезд, мелкопоместные недоросли, не окончившие гимназии, кажется, просто исключенные, получали они трехрублевые жалованья и служили «из чести», в ожидании первого чина. Посещал их студент (тоже не припомню его украинской фамилии) и устраивал литературные вечера. Он, в самом деле, привил им вкус к литературе. Толстые журналы, главным образом, уже знакомый мне «Современник», были светом для них. А свет был не тусклый. В кружок вскоре приняли и меня, и когда я упомянул о Тургеневе и Базарове, мне было поручено сделать вступительный реферат об «Отцах и детях». Может-быть, для ребенка он был сносен, но меня уж чересчур захвалили, нашли, что я не по летам умен, а писец Маслоковец, — он служил в полиции и уже был взрослым человеком, — внес в кружок густую струю украинского патриотизма.

Еще в Моревске у нас бывал некто Январский, украинофил, носивший мереженые сорочки, синие шаровары, красный пояс и смазные чоботы, и доставал малорусские книжечки, интересовавшие меня. Маслоковец на вечерних собраниях кружка, при двух сальных свечах, знакомил нас с журналом «Основою» и с поэзией Шевченка. Вошло в обычай говорить друг с другом по-украински и, пользуясь незначительным досугом, выпадавшим

на мою долю, я сам стал писать украинские стихи. О России в кружке обыкновенно говорили, как о некоем историческом недоразумении, и Маслоковец предсказывал ей распад, сочувствовал вспыхнувшему тогда польскому мятежу и говорил:

— Що такэ Россыя? Россыя е михв.

Если верить позднее дошедшим до меня слухам, Маслоковец, получивший после укрощения польского мятежа место исправника в одной из северо-западных губерний, стал яростным обрусителем. Может-быть, тогда никто из либеральных молодых людей не отказался бы от того или другого административного поста. Но атмосфера, которою дышали подростающие и подросшие «дети», почти повсеместно была напоена либеральным воздухом и тем маниловским прекраснодушием, которое заставляло современников смотреть на реформы Александра II, как на величайшие.

Преобразована была земская полиция, и все ринулись в пристава и исправники. Презренные чарочные откупа превратились в акциз, стали светлым явлением, и акцизные кадры раскрылись исключительно для благородных личностей, наизусть знавших обличительные стихи Розенгейма, упивавшихся романами Шеллера-Михайлова и сентиментальными рассказами Марка Вовчка.

В то время писали либеральные статьи в журналах даже жандармские полковники, как, например, известный Громека. Губернатор Салтыков был в то же время и великим Щедриным. Так называемые «нигилисты», молодые люди, усвоившие себе эту кличку с легкой руки Тургенева, встречались сплошь и рядом среди писцов губернского правления. В семье жандарма родился сам знаменитый Михайловский, и под каким-нибудь влиянием положительного характера протекали же его юные годы. И то сказать, в так называемую освободительную эпоху общественные и литературные влияния были сильнее семейных, а нередко и классовых, до того уже назрел исторический процесс. Поэтому нет ничего странного, применительно к той эпохе, в превращении Маслоковца из сочувствующего польской свободе в обрусителя и, следовательно, в душителя той же свободы.

На одном из вечеров нашего кружка Маслоковец отозвал меня в сторону и сообщил:

— Вышла скверная история: наш исправник, знаешь такой усатый и худой, як Дон-Кихот, допылся до зеленых чертей, снарядил баркас, поплыл у море, всюда с твоим батькой давай шукать (искать) польских повстанцев и палить из ружей по соседним деревням. Положим, твой батька не начальство при исправнике, а все же обоих турнули с места. Батька же твой и донес по должности, что исправник затрубив напрасную тревогу и никого мятежу в нашем краю не було и не будет. А в вину ему поставлено, що не сдержав исправника, бачив же, що той у билой горячце. Да, кажуть, яку и бабу подстрелили.

Утром экстренно приехал отец.

— Меня переводят в другой уезд. Собачья служба! — кричал он. — Я, кажется, все брошу и займусь адвокатурой. Ну, а ты — выдержишь экзамен или нет?

Решено было — уже приближался срок — везти меня в Киев.

Быстро, как сон, пролетело лето в Остре; из самостоятельного юнца, ходившего в гости без спросу и принимавшего гостей у себя, члена литературного кружка, почти Базарова и товарища взрослых молодых людей в роде Маслоковца, через год бывшего уже исправником, я внезапно умалился, попрежнему стал мальчиком, был лишен прав, которыми я располагал, и очутился во второй раз в своей жизни в Киеве.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ.

1863 — 1864.

В Киеве мы поселились со студентами, которые уже съезжались к семестру. Должно-быть, среди них были отцовские знакомые. Все они были русские или украинцы, но, сыновья помещиков. Все они были русские или украинцы, но, узнав, что отец поляк по происхождению, стали упрекать его, почему он не сражается под знаменем Лангевича за свободу родины. Впрочем, они дружески пили с ним и, подобно черниговским богословам и философам, уводили его на окраину, которая называлась Васильками, и возвращались, когда я уже собирался вставать.

Приехал Луковский и на другой же день повел меня в Первую гимназию экзаменоваться. Несмотря на оробелость, которая вдруг сковала мои губы, я выдержал испытание, а за русский язык удостоился особой похвалы. Луковский получил от отца условленные деньги и даже что-то сверх ста рублей за приезд из Остра, накормил сластями в кондитерской и навсегда распростился со мною, оставив в моей душе хорошее о себе воспоминание и благодарное чувство. (Приятно вспомнить, что он, когда появились в печати мои сколько-нибудь заметные сочинения, прислал мне приветствие в Петербург.)

Мне сделали гимназический мундир с красным воротником, отец нанял угол за ширмами в спальне гимназического надзирателя Туцевича. Я был окружен маленькими и великовозрастными товарищами, одинаково неразвитыми и проникнутыми еще детскими или мальчишескими интересами, быстро заразившими и меня. За каких-нибудь две недели я не узнавал себя. Едва кончались уроки и своекоштные ученики расходились по домам, а пансионеры в коротеньких курточках по своим дортуарам и коридорам, и голод кое-как утолялся в столовой пани Туцевич, как мы, квартиранты, выбегали на гимназический двор — Туцевич служил надзирателем во Второй гимназии и жил там, — играли в мяч и устраивали

бастионы и редуты из дров, заготовленных на зиму. К нам примыкала детвора из других квартир. Мы разделялись на два враждебных лагеря, и начинались сражения. Преследуемые скрывались за штабели дров, но их закидывали землей и камнями, брали в плен и делали «вселенскую смазь», заключавшуюся в том, что победители плевали в ладонь и проводили по лицу побежденного от подбородка к глазам с беспощадным нажимом. Я, правда, долго отнекивался от войны, то принимал участие, то отставал, но великовозрастный Гулак-Артемовский стал высмеивать меня и называть трусишкой и больно щелкнул меня по темени. Я же отличался не только замкнутостью и застенчивостью, но и безумною вспыльчивостью. Не помню, чтобы дома я когда-нибудь покорно — за исключением единственного раза, когда сознавал себя виноватым — ложился под розги, а всегда впадал в безумную ярость, в глазах вертелись огненные круги, я метался, кусался, со мной приходилось бороться, меня держали, садились мне на голову, и только тогда истязали. И теперь я вышел из себя и ответил Гулаку ударом по лицу. Дело было на дворе. На помощь мне бросились гимназисты дружественного лагеря, и, таким образом, я очутился волей-неволей в рядах сражающихся. Гулак, обладавший большой силой, вместе с другими балбесами ринулся на нас, быстрехонько разбил в пух и прах, загнал нескольких мальчиков в задворок, повалил в гнусную, никогда не просыхавшую там грязь, топтал ногами, швырял в нас поленьями и кричал:

— От такэчки вас, бисовых ляхов! Долой Польшу! От такэчки!

От этой неожиданной и отвратительной встряски я заболел на целую неделю. Когда же выздоровел, я не мог освободиться от неприязни и отвращения к таким товарищам, как Гулак-Артемовский, всячески избегал их и ушел в классные занятия.

Не могу сказать, чтобы гимназия мне что-нибудь дала за это время. Учитель русского языка Боготинов был в восторге от моего переложения маленькой поэмы со стихотворной ее формы на прозаическую, что было задано, как классное упражнение. Я сделал работу в несколько минут, без помарки, и тут же подал ему. В поэме описывался узник, к которому по утрам прилетает орел и у тюремной решетки разговаривает с ним. Критик проснулся во мне, однако, и я отметил неестественность темы, так как даже и неразговаривающий орел вряд ли стал бы прилетать ни с того, ни с сего к тюремной решетке узника. Боготинов, ставя меня в пример классу, все-таки меня пожурил за то, что я сомневаюсь в том, в чем не сомневается поэт. Ушел он из класса довольный и кивнул мне головой.

На переменке ко мне подошли трое, — худощавый долгоносый мальчик Соколовский, объявивший мне с гордостью, что он сам поэт и уже написал поэму под названием «Кавказский пленник». Я хотел возразить, что уже читал «Кавказского пленника», но он предугадал мое возражение.

— Да, но мой «Кавказский пленник» в другом роде, и у меня действует Шамиль.

Другой гимназист был черноволосый пузатенький мальчик, с наивными веселыми глазами — Волкенштейн, сын генерала. Он просто сказал: «Будем знакомы». (Впоследствии он был народовольцем.) А третий был пансионер Огранович, тоненький, как тросточка, высокий, с почти белыми глазами и в веснушках. От него пахло фосфором. Он увлек меня в коридор, потом в гимназический сад и сказал:

— Я тебя разовью. Тобой сто́ит заняться. Хочешь пососать?

Он протянул мне спичку с серною головкой.

— А зачем?

— Чтоб быть умнее. Без фосфора нет разума. Ты знаешь, что бога нет?

По временам я знал, что бога нет, а по временам сомневался и допускал его бытие. «Бог его знает», может-быть, он и есть. Я молчал.

— Видишь ли, — продолжал Огранович, — его нет, это доказано учеными. Мир произошел от тяготения друг к другу химических элементов. И на первый раз я тебе мог бы дать прочесть «Крафт унд штоф» некоего Бюхнера, если ты знаешь по-немецки.

Передо мною, одним словом, был Базаров, каким я сам был недавно в Моровске и Остре. Я признался ему, что уже видел книгу Бюхнера на русском языке в рукописном переводе, и что не прочь был бы еще раз прочитать ее, но в немецком языке слаб.

— Мы, будущие ученые, — важно сказал он, — шагу не можем сделать без этого языка. Приналяг. А во всяком случае, ты мне нравишься. Я готов с тобой дружить.

Однажды я шел по Университетской площади в холодную осеннюю погоду. Дул пронзительный ветер, рвал в клочки сумеречное небо, гнал меня и опрокидывал. Вернувшись к себе за ширмы и не дотронувшись до «клецок», которые показались мне горькими, я лег и вдруг увидел, что с потолка падает снег на постель, на стол, освещаемый керосиновой лампочкой; ширма становится лесом; на снежной равнине лежит шведский герой Стен Струве и умирает от ран. Началась горячка с бредом, с мучительной болью в костях и продолжалась полтора месяца. Появился краснощекий ласковый доктор, кормил меня крошечными пилюлями — гомеопат, и я точно так же скоро почувствовал облегчение, как и заболел. Случилось это ночью. Просыпаюсь и слышу, как за ширмою Туцевич говорит своей почтенной супруге по-польски:

— Должно-быть, Ясинский совсем возьмет своего москаленка, как только узнает, что он поправляется, потому что в последнем письме находит, что дорого. Но по счету за лекарства заплатит.

— А если бы мальчик умер? — спросила пани Туцевич.

— Похоронили бы. К тому же, мы получили по первое января. Конечно, если бы знали, то совсем не брали б такую обузу.

— Я уже здоров! — прервал я супружескую беседу.

Скоро родители прислали за мною горбатого человека, который тем отличался от других горбунов, что был высокого роста.

Моему пребыванию в Первой киевской гимназии настал конец. Отец решил перевести меня в Нежинскую гимназию, поближе к деревне Комаровке, куда он осенью переехал со всей семьей из Моревска.

Горбун, Федор Григорьевич Годило-Годилевский служил у отца письмоводителем. С необыкновенной нежностью кутал он меня и берег в дороге. Редко я встречал в своем детстве и отрочестве столько доброты и ласки. Он сразу внушал к себе доверие, и у него была по-истине детская душа, хотя ему шел уже сороковой год.

Звезда отцовского благополучия, между тем, закатывалась. Деньги, которые был должен ему Борозднa на правах кумовства, были возвращены отцу братом покойного поэта. Но это было единственное состояние его, если не считать серебряную посуду и другую рухлядь.

В Комаровке помещение было все же немногим просторнее, чем в Моревске. Такая же хата, но с тою разницею, что стояла в неживописном месте. Двор был занесен снегом, а высокую соломенную крышу, казалось, завалили перинами в белых чехлах. Лаяли собаки; из-под насупленной стрехи светились маленькие окошечки.

Рождество пролетало, как обыкновенно пролетает у тринадцатилетних школьников: сначала их носят на руках, а потом ими тяготятся, находят, что они слишком много поедают варений и домашних пирожных, и без всякой надобности торчат на кухне.

Отец сам повез меня в Нежин, поместил на квартире у надзирателя Муратова, и я еще больше, чем в Киеве, почувствовал себя лишенным некоторых прав и обремененным некоторыми обязанностями довольно неприятного характера. Между прочим, мучительно было ходить по нежинским мостовым в оттепель, когда земля оттаивала и из нее выскакивали бревна, как клавиши, если ступишь невпопад.

Великолепное здание лицея, воспитавшее Гоголя и окруженное садами, было тогда под господством страшного человека. У него был крючковатый хищный нос, живот, стремившийся достать до подбородка, круглые, как у совы, глаза, и из его рта, шипя, вылетали только злые слова. Он пользовался неограниченной властью, хватал за уши маленьких учеников, а старших сажал в темную комнату на хлеб и на воду. То был инспектор Белобров. Может-быть, он страдал желчными камнями, только никто не видел улыбки на его лице, хранившем горкько-кислое выражение. Всего за полгода перед тем Белобров пользовался даже правом приговаривать учеников к розгам и широко им пользовался. Подручными его заплечных дел мастерами были сторожа — Сорока, с лицом, похожим на кусок сырого мяса, и другой, прозвище которого я забыл.

*

У последнего была незабываемая примета—он прихрамывал, с тех пор, как один великовозрастный ученик, противясь педагогическому влечению Белоброва заглянуть в его широкую спину, вступил в единоборство с этим сторожем и вывихнул ему ногу, а Сороке, который кинулся на выручку товарища, своротил на сторону челюсть. Самому же Белоброву повредил центральное место его обширного желудка. Ученика исключили, но легенда о нем, как и о подвигах других, подобных ему богатырей, жила в стенах лицея. Попечитель Пирогов, уничтожая телесные наказания в школах, все же сохранил возможность применения розги в исключительных случаях по постановлению совета. Дух времени, однако, смазал и это, и к числу педагогов, лица которых окислились тогда, принадлежали, кроме Белоброва, учитель русского языка Левдик, математик — Куликовский и немец — Штейн.

Что касается надзирателей, то Муратов, практиковавший в низших классах, был вечно выпивши и на весь мир смотрел сквозь рюмку водки. У Смоленского взрослые ученики собирались по вечерам и танцовали с его молоденькой женой и с сестрами. Прокопович, по прозванию Дылда, играл в карты со студентами и стоял горой за учеников, если они попадались где-нибудь на общей квартире за зеленым полем.

— Началась гуманность, и надо быть гуманным, — оправдывался он.

Директор гимназии и лицея был Стеблин-Каминский, гигант ростом, царствовавший, но не управлявший. Он часто выручал учеников, поставленных в затруднение Куликовским перед классной доскою и не могших решить уравнения с одним неизвестным. Куликовский, только-что называвший ученика ослом и «куском тряпки», переменял тон при директоре и становился сладеньким подлипалою.

— Ну что же, прелестный голубчик мой, так и не можете сообразить, о, столь пустого обстоятельства? О, столь положительно легкой задачи довести до конца? Даже удивительно, куда девалось ваше столь выразительное остроумие? Неужели же я должен упрашивать вас и кланяться притти в себя?

— Да что вы его мучаете, — вмешался директор. — Скажи, сколько семью семь? Правильно. А тысячу разделить на четыре части, сколько будет? Правильно. Поставьте ему тройку. Садись на место.

Муратов кормил своих учеников щедро. На стол подавались целые козлята и ягнята, и рыженькая жена его из сил выбивалась, чтобы угодить нам.

Пребывание у Муратова в его грязненькой квартире имело принижающее влияние на мое умственное развитие. Оно остановилось еще в Киеве. Я зубрил уроки. Впрочем, получил золотые погоны за ученье. В гимназии тогда была мода награждать учеников таким отличием. Золотопогонникам принято было говорить «вы», а с остальным народом учителя обращались нередко грубо, особенно с восседавшими на «Парнасе».

— Ну, что нам скажет осел? — затем следовала фамилия.

Математик Куликовский любил сажать гимназистов, безнадежно пребывавших в третьем классе уже шестой год, в огромный ящик, в котором Сорока копил мусор по полугодиям. Восемнадцатилетний Метельский, юноша с недоуменным лицом и растерянной улыбкой, неопрятный и вислоухий, добрейшее, однако, создание, успевшее за гимназическое время забыть табличку умножения, чуть не каждый урок арифметики торчал в мусорном ящике, увеселяя класс и учителя тем, что преспокойно засыпал в нем. Наконец, директор обратил внимание на ящик, войдя в класс, когда Метельский располагался в мусоре для обычного отдыха. Директор презрительно оттопырил губу, позвал сторожей и громовым голосом приказал:

— Чтобы ящика здесь больше не было.

Среди товарищей моих по квартире было двое крестьян: Иванченко и Самченко, оба золотопогонники, с которыми я стал было беседовать на свои прежние остерские темы. Но это были практики. Украинский язык они называли мужицким. Из дома им присылали свиное сало, вареные яйца, пшеничный хлеб, колбасы. Снедь эту они держали под замком и, повернувшись лицом к сундуку, а спиной к товарищам, насыщались ею аккуратно до икоты. Их мечты не шли дальше получения чина по окончании гимназии, чтобы выйти из сословия. Они были суеверны и, зевая, крестили рот. Впрочем, и я перенял от них привычку класть учебники под подушку, чтобы лучше запомнился урок. Что же до моего влияния на них, то задела их только гипотеза о небытии бога. Сначала ужаснулись. Но скоро пришли к заключению, что на деле возможно проверить, есть бог или нет. Всегда угрюмый, не по возрасту солидный, а по манерам и суждениям будущий Собакевич, маленький Самченко сам надумал сделать опыт. Ровно в полночь, предварительно помолившись на иконы, он вышел без шапки в пустынный оснеженный садик, бывший при квартире, и крикнул, трепеща от страха в присутствии моем и Иванченка, издали следивших за ним:

— Если ты, боже, существуешь, то порази на сем месте Ясинского и Иванченка за то, что я тебя проклинаю, проклинаю, проклинаю!..

Стояла глубокая тишина. Была нехолодная февральская ночь. Уже веяло весною. Мы постояли, постояли, поругивая Самченка, что уж он чересчур разошелся на наш счет, и вдруг он повернулся, увидел нас и вскричал.

— Ну, значит, и правда, что его нет.

После этого эксперимента мы свысока стали поглядывать на старшего ученика, долженствовавшего опекать нас, долгоносого семиклассника Климовича, когда он зажигал лампадку и предавался перед нею молитвенным упражнениям.

С наступлением весны в Стрижне, протекавшем недалеко от гимназии, с утра до вечера купалась молодежь. На том берегу стояла «школа», куда собирались иудеи и набожно радели. Старшие гимназисты переправлялись голые через Стрижень и грязью забрасывали окна молитвенного дома. В отвратительной забаве этой принимали участие и те из нас, которые стали впоследствии выдающимися общественными деятелями и даже известными юдофилами. Я плавать не умел, но когда иудеи, выйдя из себя, выскакивали на берег, и камнями отбивали атаку мальчишек, я искренно желал удачи товарищам, и в числе прочих приветствовал их, когда они благополучно возвращались.

Перед светлыми праздниками я почувствовал резь в глазах и жар, — заболел корью. А когда, едва поправившись, выкупался, то чуть не умер от рецидива.

Меня перевели без экзамена в четвертый класс, как золотопогонника, и я уехал домой.

Чтобы поправить мое здоровье, — я кашлял, — отец отпустил меня на хутор Лесогор к предводителю дворянства Гамалее, старому воину, с отрубленными пальцами на руках и с седыми мохнатыми бровями. Гамалее, кстати, нужен был товарищ и репетитор для его сына, второклассника Кости. Он сам увез меня в усадьбу.

Попутно мы останавливались у столетнего помещика секунд-майора Воинова, овеянного веком Екатерины — он был уже двадцатилетним офицером, когда умерла царица, — но был еще бодр светло-голубые глаза его были ясны, и он раскатисто смеялся. В те годы в Борзенском уезде я встретил еще двух столетних стариков. Они водили меня на охоту, и я пуделял, а они без промаха стреляли в-лёт.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ.

1864 — 1865.

Осенью я вернулся в Нежин и был поселен у Шиманского, в польском семействе, возглавленном его богобоязненной мамашей и украшенном черноокой сестрой гимназисткой. Товарищи мои по квартире тоже все были поляки, чистенькие и благонравные мальчики, ничего не слыхавшие о русской литературе и из всего запретного материала знавшие только свой революционный гимн «з дымом пожарув».

В четвертом классе, считавшемся в числе старших, учителя были уже другие. В третьем классе единственным вежливым учителем был поляк Кончевский, преподававший географию; когда он вызывал ученика, то называл его «господином». Он упрашивал рассказать ему урок. «Будьте так добры», начинал он. Был

безукоризненно одет, и никогда ни одного грубого слова не было произнесено им, ни одного замечания не было сделано, а между тем в классе у него стояла тишина, даже «Парнас» слушал его; он внушал к себе всеобщее уважение. Может-быть, его справедливость, редкое беспристрастие и любовь к делу заставляли нас отличать его от других преподавателей. Похожим на него в четвертом классе оказался латинист Александрович. Вообще психология была уже другая. Над законоучителем Бордоносом, плешивым и толстым попом, искусные металльщики в третьем классе влепляли в потолок «снежку» как раз над его головой; снежка таяла и причиняла старцу страдания. Он поднимал шум, ревел: «протекает потолок»! — ученики бросались и передвигали кафедру, при чем опрокидывали кресло, зря пропадало полчаса. Весною ловили ужей и, делая перевод французу, выпускали из рукава или из-за борта пресмыкающееся создание; оно шипело, а француз взбирался с ногами на кафедру и визжал от испуга.

В четвертом классе стали солиднее и ученики, и учителя. Третьегодников даже не было. Были второгодники, но они были почтенные молодые люди и давно брились. Законоучитель был академик и, как прошел слух, неверующий. Учитель словесности Добротворский, у которого были дети решительно во всех классах гимназии, как мужской, так и женской (тогда еще частной), был уже исключением — черным голубем среди белых и серых; но и он бывал добродушен, при всей своей монструозности. С четвертого класса начиналось также пользование книгами из ученической библиотеки.

Четвертый класс помещался в большом зале, и парты с учениками терялись в нем. Но раз в неделю по вечерам он, по заведенному обычаю, наполнялся гимназическою молодежью и отчасти студентами из лицея, и в нем устраивались литературные беседы. В литературных выступлениях могли принимать участие ученики старших классов, а следовательно, и четвертого. Принимал и я однажды участие и провалился, потому что оробел до полуобморочного состояния; кое-как выручил меня только директор.

В моих воспоминаниях литературные вечера, происходившие в зале четвертого класса в течение двух последующих лет, т.-е. и тогда, когда я уже был в пятом классе, слились в одно общее впечатление. Тут, пожалуй, хронологическая точность даже и не нужна. Отмечу лишь наиболее характерное, что сохранилось в моей памяти об этих вечерах и что может свидетельствовать о том, как, с одной стороны, начинала пробуждаться в дремлющей душе захолустной молодежи воля к новой жизни, и как, с другой, мракобесная старина старалась подавить светлые порывы юной мысли.

Я уже сказал, что писатели, которые наиболее толкнули вперед мое сознание, были Тургенев и Шевченко, а во время пребывания моего в четвертом классе и в пятом к ним присоединились

еще Чернышевский, роман которого «Что делать» я прочитал, и Некрасов. И вообще на юге России, где протекло мое детство, и промчалась моя юность, а надо думать, и повсеместно в России, в шестидесятых годах «властителями дум» были именно эти писатели.

Шевченко — естественно почему: на Украине он играл такую же роль пророка, певца и патриота, какая в Польше выпала на долю Мицкевича; Чернышевский влиял на всю русскую интеллигенцию, в том числе и на малорусскую, своими статьями и на молодежь в особенности упомянутым романом. Гимназисты и студенты увлекались таинственною, хотя и неясною и туманною фигурою Рахметова. В «Современнике» Антонович яростно напал в статье «Асмодей нашего времени» на Тургенева, временно утратившего в столице свое обаяние, которым он пользовался в обществе, а в провинции, по крайней мере, на юге, популярность его была чрезвычайна, и герой его «Отцов и детей», Евгений, стал нашим идолом Я уже говорил о базаровщине, пленившей даже желторотую молодежь. Рахметов и Базаров сливались в нашем воображении в один мощный образ, при чем иногда непокорный стан его мы повязывали пестрым поясом украинского парубка. Вдруг в середине шестидесятых годов в черниговских, харьковских и даже полтавских медвежьих углах шитые «хрещиками» и «мережинные» рубахи, в которых щеголяли одетые в пиджаки студенты, приезжавшие из Москвы и Петербурга, заменились красными косоворотками. У молодежи на устах появилось имя Некрасова.

В Нежине, в лицейском саду, еще можно было видеть на коре старого толстого дерева инициалы, собственноручно вырезанные Гоголем в его школьные годы. Тень Гоголя носилась над гимназиею. Как ни как, жила литературная традиция. И вот почему в обширном зале четвертого класса устраивались литературные вечера в известные дни. Кто-либо из учеников читал доклад о том или другом, набившем оскомину, явлении в мире изящной словесности, или свой собственный оригинальный беллетристический или стихотворный опыт, а произведение его тут же товарищами подвергалось критическому разбору, и довольно жестокому. Чаще других по части критики выступал Петр Филонов, бойкий и язвительный юноша, усвоивший себе манеры Базарова и смотревший сверху на учителей. (Этот Филонов, на которого товарищи возлагали большие надежды, дальше учителя не пошел; впоследствии он преподавал словесность в Петербургском морском корпусе.) Филонов, обыкновенно, досаждал Добротворскому своими вопросами в классе.

Например:

— А скажите, пожалуйста, господин учитель, почему у нас русская литература доводится только до Пушкина и стоп — обрывается? Между тем, мы бы хотели узнать и новую русскую литературу, так называемую натуральную школу, с Гоголем во главе.

Добротворский краснел, ухмылялся, поглаживал свою огромную лысину обеими руками и возражал (а говорил он в нос):

— Гоголь породил отрицательное отношение к великой нашей родине, которую он ненавидел всеми силами своей инородческой души. Натуральная школа есть школа безбожия, безнравственности и вражды к православию, самодержавию и народности!

— Будто бы даже и народности? — завязывал спор Филонов.— Конечно, — юмористически продолжал он, — христианам лучше не говорить о сих мерзостях, по завету апостола Павла, господин учитель. Но все же мы уже в таком возрасте, когда знакомство с мерзостями нам не повредит, а может, скорее, нас предохранить от чумы — натуральной школы. Во всяком случае, позволю себе заметить, что школа эта враждует не с народностью, а с тем, что мешает ей свободно проявляться.

— В карцере, в карцере, — загнусит, бывало, в заключение Добротворский, — желаете вы, господин Филонов, закончить ваши неуместные размышления?.. Я ничего вам больше не могу посоветовать, как воспользоваться моим содействием...

Он брался за журнал и ставил против фамилии Филонова крючок, после чего Филонова звали для объяснений к директору. Филонов как-то сразу побеждал директора, добродушного Гудиму, сменившего Стеблина-Каминского, который сделался губернатором где-то в Польше; директор даже увлекал его к себе на квартиру и слушал его излияния. А если приглашал Белобров, кончалось не так благополучно...

Таким образом, когда на одном (памятном) литературном вечере Филонов объявил, что заказанный ему реферат об оде «Бог» он потерял и, в виду «незначительности» темы, не особенно скорбит об утрате, тем более, что Державин пел, как «мартовский кот», а вместо Державина он сделает доклад о Некрасове, этом «полубоге новейшей поэзии» — вся аудитория пришла в волнение. Добротворский вскочил, инспектор Белобров, свирепый и бочкообразный, надел очки и воззрился в докладчика и в его незаконную шевелюру (Филонов не хотел стричь своих густых волос), и даже добрейший Гудима вспотел и вытер лоб платком.

Добротворский ухмыльнулся и начал гнусить:

— Два оскорбления нанесено нашей родной словесности: школьник, у коего молоко не обсохло на губах, находясь под гибельным влиянием преступной проповеди разных современных обозленных писателей, обозвал величайшего поэта русского «мартовским котом» — раз; и другое — неменьшее оскорбление учинено им литературному вкусу провозглашением некоего Некрасова полубогом.

— О, Tempora! — воскликнул я.

Директор крякнул.

— Именно провозглашением... Вообще же Некрасов известный, кажется, поэт... А, как вы думаете? — обратился он к инспектору.

— Не знаю, не читал, — отвечал инспектор. — Но Филонов понесет заслуженное наказание. Встаньте, Филонов!

Тот встал, откинув волосы назад.

— С такими волосами и являетесь на литературный вечер? Стыдитесь!

— Позвольте узнать, господин директор, — развязно спросил Филонов, — в какой степени замечание господина инспектора своевременно и относится ли оно к моей теме о поэзии Некрасова?

Положительно, героем показался нам Филонов. Он знал, что пользуется сочувствием, и еще хотел продолжать в том же духе, но инспектор уже произнес роковое слово:

— Ступайте!

Филонов пожал плечами и бодро зашагал к выходу, заложив руки в карманы брюк. Вдруг остановился возле ученика, которого звали Иваном, и, указав рукою на стол, за которым сидели учителя с директором, трагически сказал:

— «Сколько их, Ваничка, знаешь ли ты?».

Инспектор со всех ног бросился за Филоновым.

— Молчат! Молчать! Ступайте!

Литературный вечер не состоялся, да, сколько помнится, он был и последним при мне.

Но зато он положил начало популярности Некрасова среди учащихся. Вся нежинская молодежь — и гимназисты, и студенты, и молоденькие чиновники стали знакомиться с творениями Некрасова. Как раз вышли его стихи в четырех томиках и появились в недавно открытой библиотеке г-жи Ситенской. Одного экземпляра оказалось мало. Было выписано еще три экземпляра, потом пришла целая партия, и собрание его сочинений быстро раскупалось. Поклонникам «музы мести и печали» хотелось иметь Некрасова у себя и для себя. Как только соберутся где-нибудь на частной квартире студенты и гимназисты, уже, смотришь, выходит кто-либо из них на средину комнаты и наизусть читает задушевным голосом «Парадный подъезд» или «Сашу» или «Железную дорогу».

Библиотека Ситенской была первой частной библиотекой в Нежине. До тех пор мы довольствовались книгами для чтения, какие были в гимназической библиотеке, и хотя нельзя было пожаловаться на бедность библиотеки, но многих авторов гимназистам не выдавали: новейших книг и журналов библиотека чуралась. Понятен успех, который стала иметь библиотека Ситенской. Можно было получать всю текущую литературу — «Современник», потом «Отечественные Записки», «Дело» и друг. Естественно-историческая литература, процветавшая тогда в век базаровщины на книжном рынке, была богато представлена. Не только с Некрасовым, но и с Гоголем во всем его объеме мы познакомились только благодаря библиотеке Ситенской.

Эта библиотека, где, между прочим, висел портрет Некрасова, мало-по-малу, превратилась в главный пункт встреч более сознательного юношества. Под ее благодетельным влиянием довольно заскорузлые и забитые некоторые товарищи мои, на моих глазах, быстро стали развиваться и интересоваться литературой, наукой и общественностью, и на всем облике их легла печать этого благородного внутреннего обновления и пробуждения.

На светлой неделе я уехал домой, а, вернувшись, очутился на квартире лекарского помощника Михайлова.

Он происходил из евреев, жена его была литовская полька, дети подростки — сын и дочь — были черномазенькие, черноглазенькие веселые ребята. Вся семья по целым дням пела и играла на струнных инструментах, и жили мы во флигеле в одном дворе с военным госпиталем, составлявшим источник благодати для Михайлова. Медицинский персонал, повидимому, поедал большую часть порций, предназначавшихся больным солдатам, и потому квартира наша сытно питалась.

Товарищами моими тут были верзила Фролов, третьеклассник, и гимназист седьмого класса с братом четвертоклассником, Корсуны. Я был уже в пятом классе. Всех четверых Михайлов поместил в одной узенькой комнате, и койки у нас были, конечно, больничные. Над моей кроватью висела полка с книгами, которые я стал приобретать и украшать хорошими переплетами, зарабатывая деньги уроками в двух богатых домах.

В одном из них я, будучи еще в четвертом классе, брал уроки танцев с несколькими товарищами у специально приглашенного заезжего танцмейстера. Сначала я и некоторые другие Базаровы, каковы Волков, Лукомский и Троцкий, противились требованию начальства брать уроки хореографии, находя это занятие унижающим наше человеческое достоинство; но один петербургский студент сообщил нам, что Чернышевский любил танцовать, когда был молодым человеком, и мы согласились выделывать «па-де-де» и «плие».

В 15 лет во мне проснулся пол, и это по временам причиняло мне страдание. В детстве я был подвержен лунатизму — я уже об этом упоминал. Вставал, бродил по двору, взбирался по лестнице на сеновал, но по крышам не путешествовал. Просыпался, когда меня обрызгивали холодной водой. Вообще же мне удавалось, совершив лунную экскурсию, беспрепятственно возвращаться в постель. Только тогда приходил я в себя, смутно вспоминая лунный свет, проникавший в меня до мельчайших разветвлений моей оцепеневшей души, точно я на время становился растением, расцветавшим только по ночам.

Пробуждение от холодной воды было зато ужасно мучительно и сопровождалось конвульсиями. И когда лунатизм мой сам собою окончился, с наступлением полового кризиса у меня изредка стали делаться нервные припадки. Меня схватывали судороги в икрах, волной пробегали по всему телу, сознание омрачалось. Мне казалось, что я взлетаю в неопределенную высоту, и сердце мое тает

в восторгах непонятного страдания. В ушах поднимался звон, я изнемогал.

Не буду останавливаться на интимных мелочах моей юношеской жизни, но я испытывал в разные моменты моего духовного и физического роста какие-то, я бы сказал, катастрофические сдвиги во всем моем существе. При чем экстатические подъемы нервной системы моей проявляли себя иногда и в условиях, независимых от половой стихии. Так, при переходе из пятого класса в следующий я провалился по геометрии, а на другой день на переэкзаменовке, чрезвычайно строгой, получил пять с плюсом. Причиной провала был мой странный недуг, когда вдруг меня подхватило и сожгло.

Бывало это со мной и от быстрой езды, и на охоте, при виде крови убитой дичи, так что я должен был бросить этот спорт.

С течением времени припадки становились слабее и слабее, прекращались на много лет. Доктора говорили, что это «пти маль». Мне было уже пятьдесят восемь лет, когда, проснувшись рано утром в ветренный майский день, я увидел, взглянув в окно, как густым вихрем несется и падает на землю снег. На самом деле это был белый цвет, срываемый непогодою с грушевого дерева. Внезапная судорога знойно свела мои ноги, и я лишился сознания.

Эта моя нервная болезнь, повидимому, уже освободила меня от своей власти, но всю жизнь заставляла меня стыдиться ее даже перед самим собою.

В числе товарищей моих по пятому классу, великовозрастных и усатых, был некто Мартынов, страстный украинофил. На почве украинизма я сошелся с ним, а он познакомил меня с одним часовых дел мастером, тоже мечтавшим об освобождении Украины от «московского ига». Мастер был горький пьяница и вскоре в белой горячке повесился. Филонов, узнав о его самоубийстве, стал восторгаться его геройским поступком и старался доказать, что смерть не страшна, а страх перед нею — предрассудок.

Зашла речь вообще о самоубийцах. Вспомнили, что на Греческом кладбище похоронен еще в сороковых годах застрелившийся юнкер, и мимо его памятника даже днем боятся проходить, а ночью из его могилы слышатся стоны. Я вызвался пойти в полночь на могилу юнкера, возле которого, кстати, был похоронен и часовых дел мастер. Мне дали молоток, чтобы я отбил кусок мрамора от памятника в доказательство, что я был на кладбище. Предварительно надо было пройти чрез огромную пустынную площадь. Я добрался до памятника юнкера, но ударить молотком по камню не отважился, а взамен снял с памятника яблоко из белого мрамора весом в полпуда и принес на квартиру, упрочив за собою репутацию бесстрашного. Всё же юнкер приснился мне в ту же ночь, а мрамор взял студент Волков, впоследствии известный украинофил, а в старости хранитель этнографического музея в Петербурге: он истратил четвертную уксуса и обратил мрамор в простой мел.

Волков был не только украинофил и химик, но и Базаров: говорил сквозь зубы пренебрежительно со всеми и снисходительно со своими престарелыми родителями.

К числу тогдашних мальчишеских выходок, о которых почему-то приятно вспомнить, относится прогулка, которую мы устроили — я, Мартынов, Волков младший, Лукомский и другие — по главной нежинской улице не в форменных гимназических фуражках, а в украинских войлочных, тяжелых, широкополых шляпах крестьянского изделия — «брилях». Белобров всегда прогуливался там же и в то же время. Мы, встретив его, вежливо раскланялись. А на другой день Сорока запер меня в карцере.

Впервые я был в тюремном заключении. Не было окон, и не на чем было сесть и лечь. К вечеру стал давать себя чувствовать голод. На мое счастье, директор Гудима-Левкович был кровный малоросс и, узнав, за что я сижу, прислал за мной, пожурил за нелепую демонстрацию и пригласил к своему столу.

— Ты же не скажи Белоброву, однако, — посоветовал он мне, снова отпуская в карцер с подушкою и одеялом.

Остальные украинофилы поочередно также отбыли наказание в карцере и нашли утешение в директорской столовой.

Прошел апрель, начался май. На носу были экзамены. Я перебрался из общей нашей комнаты в амбар, развесил над своей койкой черепа и полку с книгами, а под голову положил огромный булыжник с случайной выемкой для затылка. Спал же на голых досках, чтобы закалить тело на всякий случай. Мало ли что еще может встретиться в жизни! Может-быть, меня станут пытать. Хотя из Базарова я уже превращался в Рахметова, и даже на сосновые доски своего ложа насыпал горсть гречневой крупы, вместо обойных гвоздиков, которые пришли мне сначала в голову, но долго вылежать и на крупѣ не мог.

К тому времени я уже познакомился с сочинениями Писарева и до того преодолел в себе и погасил мучивший меня издавна стихотворный зуд, что даже не мог влюбленной в меня знакомой барышне написать десять рифмованных строк в альбом.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ.

1865 — 1867.

Родители перебрались в старинную усадьбу с чудесным парком, на выезде из села, принадлежавшую Кониsскому, юному недорослю и скандалисту, сохранившему за собою две комнаты в доме. Типичный деревенский балбес, отсидевший во втором классе шесть лет и на том закончивший свое образование, он пьянствовал, гонялся за бабами и спаивал их. Впрочем, женившись на сиротке, он уго-

монился на время, что совпало с наймом у него усадебного дома отцом.

Паны средней руки на Украине строили себе жилища по одному архитектурному плану. Я подумал, что очутился в Лотоках, только зал был невелик. В темной спальне лежала мамаша с последним уже восьмым ребенком. Все ходили «на цыпочках». Доктор сказал мне, что кризис миновал. Мамаша заплакала, когда я вошел к ней, и, притянув к себе, шепнула:

— Слепенький!

Иван (так назвали ребенка) стал потом ее любимым детищем: глаз погиб только один, а другой гноился всю жизнь.

В шестом классе учитель естественной истории, Шарко, предложил нам несколько тем для сочинений на соискание премии, заключавшейся в золотой медали или в пятидесяти рублях. Другие учителя предложили тоже темы — каждый по своему предмету; разумеется, кроме языков.

Я остановился на теме «Человек и животные» и весь учебный сезон посвятил работе. Вышла обширнейшая диссертация, снабженная множеством ссылок на научные авторитеты. Когда я представил сочинение перед масленицей в совет, я поразил Шарко своею эрудицией. Святители, кого я только ни призывал в подкрепление своей еретической мысли! Мне помогли и Бюффон, и Лаплас, и Ламарк, и Дарвин, и Гексли, и Молешотт, и Бюхнер, и Ламеттри, и Гёте... и кого, кого только не было в моем списке источников. А мысль заключалась ни больше, ни меньше, как в отрицании божественного вмешательства в строительство вселенной и в утверждении, что человек и животные между собою родственники, происходят друг от друга в порядке постепенности морфологического развития, и в таком же духовном родстве состоят их умственные способности. А если за человеком признается обладание гениальною душою в некоторых исключительных случаях, то это только доказывает, что современем может возвыситься до уровня гениальности и все человечество. Буде же оно когда-нибудь, предположим, вымрет, как вымерли мастодонты и ихтиозавры, то не исключается возможность, вослед ему, развития и достижения культурного совершенства какой-нибудь категории животных, хотя бы обезьян, как близких к человеку, можно сказать, его двоюродных сестер, или даже муравьев, дерзко заключил я.

Шарко был человек, как я теперь соображаю, недостаточно образованный; но он был помазан уже нигилизмом, он только-что сошел с университетской скамьи и отчасти тоже был Базаров. Ему очень понравилось мое сочинение. Он горячо превознес его в совете, и мне присуждена была премия, получение которой зависело только от согласия округа. Я стал ходить с высоко поднятым челом, а директор Гудима-Левкович пригласил меня к себе, накормил уже не как арестанта, а как лауреата, и сказал:

— Этак, чего доброго, вы станете через каких-нибудь шесть лет учителем естественной истории у нас, потому что Шарко, при его связях, уйдет к тому времени? — Потом подмигнул и доброжелательно прибавил: — может, и в профессора удостоитесь?

Вообще обращение со мною учительского персонала изменилось в выгодную для меня сторону.

Вернувшись однажды на михайловскую квартиру, застал я сторожа Сороку, пришедшего оповестить, чтобы у гимназистов было все в порядке, так как на-днях из округа приезжает визитатор (ревизор) Малиновский и будет чистить гимназию.

Как раз начались экзамены. Прошли они быстро и благополучно. Получил только замечание Шарко, за то, что ученики знают все, что не нужно, а, например, Волков Димитрий улыбнулся, когда визитатор спросил, что раньше создано богом: рыбы или птицы. Спросил же он потому, что в сочинении одного ученика, представленного на премию, им усмотрено явное отрицание библейской космогонии, и в молодых умах, повидимому, свили себе гнездо завиральные мудрствования атеистических писателей. Не без внутреннего трепета узнал я об этом замечании; о нем сообщил мне сам Шарко. Очень скоро позвал меня к себе Гудима-Левкович и проделал передо мною ряд укоризненных жестов: пожимал плечами, закатывал глаза к небу, качал головой.

— Можно ли было ожидать, можно ли было ожидать! — пел он.

От директора я перешел к Добротворскому, который, отдав должное моему стилю, проклял духа неверия и сомнения, а также ложного знания, проявленного мною. И опять «ай-ай-ай, можно ли было ожидать»...

Шарко потребовал от меня письменное заявление, что от него я не получил ни одного источника, на которые я ссылаюсь в сочинении. Законоучитель, академист, к которому я был вытребован на дом, предложил мне стакан кислощей со льдом и, вытаскивая из своей черной бороды пушинку (он только-что воспрянул от послеобеденного сна) и задумчиво воззрившись на меня, стал говорить о том, что разум не должен вмешиваться в то, что подлежит вере.

— Но, положим, — неожиданно сказал он, — и вера да не вмешивается в подлежащее разуму!

И еще неожиданнее он дал мне для ознакомления Ренана «Жизнь Иисуса Христа» по-французски.

— Советую прочитать и постарайтесь сделать возражение, хотя бы «про-форма», дабы можно было вас удержать у нас в гимназии, и поскорее. Будьте здоровы.

Я взял Ренана и направился к Белоброву, который без обиняков, с самой горько-кислой гримасой своей, сказал мне:

— Вы подвели нашу гимназию, и мы должны были бы вырвать зло с корнем; но из снисхождения к вашему прилежанию и сравнительно добропорядочному поведению, в надежде на то, что вас

умудрит современем жизнь, мы вас не увольняем сами, а извольте подать прошение об увольнении вы — и завтра же.

«Жизнь Иисуса Христа» я увез в Комаровку и не возвратил законоучителю — зажилил, а в увольнительном свидетельстве, в котором значилось, что я переведен в седьмой класс, поведение мое было названо хорошим, т.-е. я, можно сказать, получил волчий билет, вместо золотой медали за сочинение «О человеке и животных».

Между тем, отец окончательно прожился. На двухтысячном жалованьи существовать не мог, вышел в отставку и решил заниматься в Чернигове адвокатурою при новых судебных учреждениях.

Верст пять скакал на своем великолепном жеребце Федор Григорьевич, провожая наш экипаж и обоз с мебелью в жаркий августовский день по направлению к Чернигову. Я дружески простился с горбатым ментором моей юности. Старик всхлипнул, сказал: «добро», ударил плетью по бокам жеребца и ускакал, стоя на стременах, навсегда исчезая из моих глаз.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ.

1867 — 1868.

Отец в Чернигове стал сдавать комнаты жильцам. Поселились у нас два майора. Двор был большой с несколькими флигелями. Много разного народа стало бывать у отца по новому роду его занятий. Сестры подрасли, и ради них устраивались вечеринки, распевали с ними дуэты молодые люди. Два нежинских лицеиста, Подгурский и Лабунский, поступившие в чиновники, ухаживали на правах женихов и ежедневно обедали у нас. А Подгурский жил со мною в одной комнате. Маленький, с кучей черных волос на голове, прозванный отцом «иисусиком», никогда ничего не читавший, кроме профессорских лекций и учебников, службист и уже горький пьяница, он чем-то сумел понравиться Кате и был плохим для меня сожителем. Впрочем, он был добрый малый и искренно считал меня высшей и даже «загадочной» натурой и тем невольно подкупал мое мальчишеское самомнение, присоединяясь всегда к моей домашней оппозиции и вступаясь за меня перед отцом, осуждавшим меня за нежинский инцидент, который не помешал мне, однако, перевестись в седьмой класс черниговской гимназии, хотя и не без труда.

Товарищ Подгурского по лицею, Лабунский, был культурнее его, благоговел перед новою наукой, старался жить «по Молешотту», хмельного в рот не брал, был крайне опрятен, всегда носился с какой-нибудь современною идеею, увлекался спортом, был поклонником русской литературы и хорошо влиял на Сашу, даровитую сестренку мою, на которой остановился его сердечный выбор. Она, как и Катя, получила только домашнее воспитание, писала стихи по-русски и по-французски и отличалась прямотой в своих отношениях к людям. Мать часто ссорилась с нею. Она, несмотря на полудетский возраст свой — ей было пятнадцать лет, — считала Лабунского не только образованным человеком, от которого можно было кой-чем позаимствоваться, но и несколько смешным; и все-таки решила выйти за него, чтобы избавиться от тирании мамаши, которая требовала от дочерей безусловной покорности. Катю она переломила и заставила смотреть на все ее глазами, а Саша, чем дальше, тем становилась самостоятельнее. В некоторых отношениях она переросла меня.

— Кошмарна доля русской девушки, — сказала она мне однажды: — так или иначе, она, обыкновенно, если развито у ней нравственное чувство, кончает самоубийством: или выходит замуж, или погибает другим способом.

Мечтала она о работе, и ей хотелось быть хоть фельдшерицей. В это она посвятила меня. Я посмеялся над нею и грубыми красками описал непривлекательность фельдшерской профессии. Она ответила:

— Как пошло!

Права была милая Саша!

Воздух в Черниговской гимназии был уже не такой, как в Нежине. Другой воздух. Учителя были, большею частью, молодые, либеральные. Искренной привязанностью учеников, даже любовью пользовался учитель словесности Н. А. Вербицкий-Антиохов. Читал он литературу свободно, по-профессорски, вел себя с учениками вне класса как товарищ; у него собирался на квартире избранный кружок. Даже солнце как-то ярче светило в стенах черниговской гимназии.

Когда ученики выходили из гимназии после уроков, нередко раздавались их молодые голоса, певшие «Железную дорогу». На музыку это стихотворение было положено А. Г. Рашевской, местной барышней, впоследствии вышедшей замуж за эмигранта Турского в Женеве. Она обладала композиторским дарованием. Потом ею же было положено на музыку стихотворение Вроцкого (Навроцкого) «Есть на Волге утес». Оно долго распевалось молодежью взамен отсутствующего революционного гимна, а было сочинено военным судьею, иногда приговаривавшим социалистов, может-быть, к смертной казни.

В то время, как в Нежине культ Некрасова, вспыхнув, через какие-нибудь два года начал тускнеть от педагогической прижимки и был отчасти вытеснен базаровщиной, которая еще не была изжита и как-то более усваивалась эгоцентрической украинскою этикою, в Чернигове Некрасов пустил за этот период глубокие корни, уже не единственно только как литературное явление, а как и общественное.

Бывало, у каждой гимназистки под мышкой видишь томик Некрасова; на вечеринках у молодежи он то-и-дело был предметом бесед на сравнительно острые темы. Сходились у меня, у Льва Гинзбурга, в библиотеке Тычинского, у Софьи Константинович. Тычинский был украинофил, как и многие, но Шевченко уже ушел в почетную даль. Некрасов пленял нас всероссийскою широтою полета своих вдохновений, и щемящей болью отзывался его стих в молодых сердцах.

Директор Кустов был молодой, да из ранних. Он отличался сухостью обращения и непреклонностью, когда дело шло о проступке какого-нибудь ученика, и когда поднимался вопрос о каких-нибудь репрессиях. Но отрадно вспомнить таких учителей, как двадцатилетний Константинович (он кончил университет девятнадцати лет), читавший историю, и старший брат его Митрофан — естественник и свободомыслящий юноша. Вербицкий и оба Константиновича были в полном смысле нашими учителями и товарищами. Благодаря им, внимание к книге процветало в гимназии. Малейшие новинки книжного рынка нам были известны. Мы соперничали со своими наставниками по части усвоения всего, что появлялось светлого в литературе и значительного в науке.

В физическом кабинете Митрофан Константинович разрешил мне и Гинзбургу устроить химическую лабораторию и уломал Кустова согласиться на это бесполезное, по мнению директора, занятие.

Приходили слушать лекции химии, читать которую было поручено мне и Гинзбургу, поочередно ученики четвертого класса. Гинзбург любил точность, и для него имели значение только факты. Я вдавался в метахимию, и когда читал о водороде, и добывал его, а затем производил взрыв, в смешении с кислородом, и получалась вода, я высказывал, опираясь на авторитет французского химика Дюма, предположение, что, может-быть, весь мир состоит из водорода, так как этот элемент, вследствие комбинации своих атомов, бесконечно изменчив. Недаром есть звезды, пламенеющие одним водородом. Кустов от времени до времени спускался вниз, в подвал, где мы священнодействовали с таким серьезным видом, какой редко бывает даже у самых правоверных профессоров. Он садился с края парты и, случалось, возражал с кривой улыбкой. Так, на моей лекции о водороде он сказал, когда я кончил:

— А не объяснит ли мне смелый доктор, если он приписывает происхождение вселенной промыслу водорода, не отожествляет ли он водород с господом богом?

Мы засмеялись. Он ждал ответа. Вместо меня, Гинзбург ответил:

— Водород сейчас был добыт у всех на виду и с тем представлением о боге, какое существует у монотеистических народов, ничего не имеет общего.

— Так что воздадим богу богово, а водороду — водородово, — сказал Армашевский, который за словом в карман никогда не лез, был физически силен и отличался суровым целомудрием, проходя стадию увлечения Рахметовым до того, что никогда не смеялся.

Между прочим, он же посоветовал на следующих занятиях химией выкуривать Кустова сернистым водородом. В самом деле, Кустов перестал ходить после первой же легкой обструкции.

Сравнивая умственный и нравственный уровень товарищей нежинских и черниговских, я должен отдать предпочтение вторым. В Чернигове, в стенах его гимназии, расцветали хорошие ребята. Назову Шевелева, братьев Игнатовских, Ласкаронского, Зубка-Мокиевского, В. Варзаря, Махно, Армашевского, Рашевского, Гречаника, Гинзбурга. Все они впоследствии послужили прогрессу и в подпольной службе, и в надпольной.

Дела отца шли средним темпом, и он мог безбедно жить. Сестра Ольга, которая тоже вдруг стала чуть не взрослой девушкой, поступила в гимназию, приготовленная мною в короткое время в класс, соответствующий ее возрасту; был определен в гимназию и брат Александр, во второй класс. Впрочем, вскоре он был исключен за то, что написал мелом на доске во время переменки, очевидно, под влиянием слышанного им на одном из товарищеских собраний у меня рассказа о выстреле Каракозова: «Ура, ура, чорт побрал царя». Инспектор Попружников пришел к отцу, выпил целый графин водки и приписывал себе ту заслугу, что вслед за младшим братцем не вылетел и я из гимназии.

В Чернигове, несмотря на множество занятий в гимназии, и на десятки проглатываемых мною книг по всем отраслям естествознания, против чего восставал Митрофан Константинович, справедливо находя, что из меня таким путем солидный, сосредоточенный на одном предмете ученый не выработается, а верхогляд, я находил время репетировать учеников младших классов и гимназисток и зарабатывал больше, чем в Нежине, оставляя почти все деньги в магазине Кранца, у которого имелись книжные новинки. Он сам любил хорошую книжку, и у него был строгий выбор. Ему местная молодежь обязана была в такой же, пожалуй, степени, как и Вербицкому-Антиохову или Константиновичам, советами, что читать.

Наступила весна.

Экзамены сошли, как и следовало ожидать, благополучно, однако, я чуть не провалился по закону божьему, потому что все три дня, данные для приготовления, неожиданно посвятил с утра до вечера чтению Майн-Рида, а подсунул мне его Подгурский.

— Я на этом проклятом Майн-Риде сам чуть не провалился по государственному праву в лицее, так мне хотелось посмотреть, как ты извернешься.

*

Но все же тройку я получил. Единственный ученик, которому за латынь поставили пять с плюсом, оказался я. Кустов при получении мною аттестата отвел меня в сторону и сказал:

— Конечно, вы поступите на историко-филологический факультет и обязательно получите стипендию.

Но мне жаль стало естественных наук, которые могут потерять во мне великого ученого, и я разочаровал Кустова.

— Нет, — вскричал я: — я хочу быть естественником!

Когда я принес домой аттестат, вся семья с жильцами сидела за обедом; радостно приветствовали меня. Много солнца было на улице, в комнате, и еще больше у меня в душе. Через каких-нибудь два месяца я — студент. Как далеко раздвинулись границы мира!

Я заказал два франтовских костюма и не успел напялить на себя темно-зеленей пиджак и повязать белоснежный воротник розовым галстуком, как получил приглашение в местечко Мену на кондиции к помещику Соломенникову, приготовить в гимназию его пятнадцатилетнего сына, и кстати заняться с одной из его дочерей. Другая старшая его дочь, которой не было еще полных шестнадцати лет, должна была выйти перед успенским постом за купца Голубева, в доме которого я зимою бывал и который и рекомендовал меня.

Голубев — этот был интересный человек. У отца его имелся бакалейный магазин и большой каменный дом. В магазине, обыкновенно, сидел и торговал сын. Тут я и познакомился с ним. Однажды, расплачиваясь, я заметил на прилавке толстый том Бокля. А купец, улыбнувшись благообразной бритой физиономией, в ответ на мой взгляд, сказал:

— Общение со светлыми умами современной цивилизации — единственное утешение моей мрачной жизни. Пятак! — крикнул он покупателю, взявшему в руку пару селедок, и продолжал: — Еще крайне желательно было бы мне достать «Историю философии» Льюиса, но верх моего желания, и я бы считал себя на веки осчастливленным, — познакомиться с мировым гением Чарльза Дарвина!

Он произнес обе фамилии — Льюис и Дарвин — с ударением на последнем слоге, но при этом такой благородной жадностью загорелись его глаза, что я решил пойти ему навстречу.

— У меня есть и Льюис и Дарвин, — похвастал я.

И с тех пор он воспылал ко мне необычайным уважением. Он стал заезжать ко мне и принимать у себя. Темы бесед он выбирал самые выспренные и, в особенности, любил поговорить о начале мироздания. Своему престарелому отцу, который, молча, как труп, неподвижный, сидел в вольтеровском кресле со сложенными на животе руками, он, возвышая голос, радостно указывал на меня:

— Вот голова, так голова!

В имении его будущего тестя я и провел лето.

А осенью я вместе с товарищем, кончившим одновременно со мной гимназию, Львом Гинзбургом, отправился из Чернигова в Киев. Родные провожали за черту города нашу полотняную кибитку с суетливо восседавшим на облучке «балаголой».

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ.

1868 — 1869.

Когда влюбленные молодые люди летят на первое свиданье с прелестными девушками, едва ли они испытывают радостное чувство в такой степени, в какой его испытывали мы с Гинзбургом во всю дорогу до самого Киева.

Была чудесная звездная ночь, когда Киев предстал пред нами на другом берегу Днепра огромным темным силуэтом, на который беспорядочно просыпались звезды; мерцали и манили к себе его бесчисленные огни.

Остановившись в плохонькой гостинице на Подоле, мы сразу повели себя, как независимые люди. У меня, кроме вещей, было около двухсот рублей в кармане и столько же у Гинзбурга.

Поужинали мы в ресторане, а на другой день посетили проректора, ректора, явились на проверочный экзамен и в канцелярии получили матрикулы.

Деньги наши быстро таяли, тем более, что я вздумал покупать необходимые учебники, а также и не необходимые, и мы переехали в студенческий квартал, ближе к Новому Строению, и наняли дешевую комнату.

Надо сознаться, — не твердого я был характера: стал натуралистом, а меня тянуло и на лекции литературы, и на историю; интересовали меня и теория чисел, и римское право, и физиология. Из подвала химической лаборатории я взбирался на четвертый этаж в гербарий и под руководством профессора Вельца, который был моим учителем естественной истории еще в третьем классе гимназии, наблюдал жизнь растительной клеточки. Это был какой-то калейдоскоп научных фактов, теорий, профессорских анекдотов, опытов, встреч, товарищеских отношений и катания шаров по зеленому сукну биллиардов в любимом студенческом ресторане. Задыхающегося от кашля хозяина этого ресторана мы прозвали «Сопящим», в кредите он нам не отказывал. Набегавшись около шаров, мы мчались в анатомический театр или на какую-нибудь вечернюю популярную лекцию, или собирались на квартире того или иного студента и поглощали журнальные новинки.

Быстро пролетел первый семестр. На несколько дней я уезжал в Чернигов на свадьбу сестры Кати. Отец обратил внимание, что я курю сигары и кстати дал мне заметить мимоходом, что на

какую бы то ни было денежную помощь с его стороны я не должен рассчитывать.

В Киеве продолжалась в следующем семестре та же калейдоскопическая жизнь, при чем мне захотелось еще стать химиком в полном смысле слова; а так как курс, который читал Тютчев, был знаком мне еще в гимназии — я и тогда считал себя химиком, — то я предпочел устроить лабораторию у себя; нанял за университетским садом в подземельи соответствующего вида комнату и на последние деньги накупил колб, реторт, всего, что полагается для производства опытов, двигающих вперед великую науку. Гинзбург, верный медицине, и даже успевший насквозь пропахнуть ароматами анатомического театра, посетил меня и сказал:

— А знаешь, это вот мальчишество. И, кстати, где твоя шуба?

— Шубу я спустил, — отвечал я, — потому что, видишь ли, понадобились такие реактивы, которые насилу можно было достать. Даже Тютчев не мог указать, где. А я достал.

— Ну и глупо все-таки ходить в одеяле, вместо шубы. Ты бы лучше стихами занялся. От тебя поэтом пахнет, а не ученым.

Прав был Гинзбург, даром, что молокосос, как я его мысленно обругал. К концу года я вынужден был продать лабораторию какому-то польскому графчику, приезжавшему в университет на своей лошади и поражавшему наше студенческое воображение ослепительными костюмами и золотыми запонками.

Кстати, какая тут химия! Подоспели студенческие волнения, и первокурсников охватила жажда общественного самопроявления и приобретения и закрепления за собою гражданских прав. Мы внезапно стали политиками. К первому курсу, впрочем, примкнул второй и отчасти третий, в слабой степени. А четвертый курс, весь состоявший из завтрашних судебных следователей, чиновников особых поручений, товарищей прокурора и проч., относился к движению со снисходительной улыбкой взрослых, — и скоро стал стараться нас уговорить «войти в берега».

Темное время, последовавшее за казнью Каракозова и закрытием «Современника», стало редеть; мрак дрогнул. На молодые души с некоторых пор стало ложиться тревожное ощущение близости пробуждения. Незадолго до этого господствовал в интеллигентном обществе среди молодежи всех возрастов Базаров с его гордым эгоизмом, презрительным демократизмом и его бюхнеровщиной, с его реалистическим влечением к телесам Одинцовой, с его лягушками и физикой Гано. Останавливал еще на себе внимание себялюбивый герой Помяловского — Молотов и герой Омулевского — Светлов с его либеральными манишками. Но уже Рахметов Чернышевского стал заслонять собою, в глазах более чутких, фигуры реалистов, которые превозносил Писарев, и которые прежде всего старались оградить свое личное благополучие от всяких вредных на него воздействий со стороны «царюющего зла».

Правда, молодежь представляла только верхний слой, сливки, авангард, и огромное большинство ее пребывало в том же «царюющем зле», и чувствуя себя в нем сравнительно удобно, и, напротив, ожидая от него лакомых кусков и подачек. Однако, так вдруг энергично повеяло предрассветным воздухом, и так ярко вспыхнули кое-какие предутренние звездочки, что студенческая мартовская революция всколыхнула на несколько недель — в стенах университета — и, на гораздо большее время, толкнула даже самую безразличную молодежь за стенами университета — к работе на пользу «меньшого брата», к участию в общественности, к отрешению от преследования эгоистических целей во имя и ради каких-то других, не вполне ясных, туманных, непродуманных и все же прекрасных целей. Химикам известны определенные случаи, когда кажется, будто реакция и не думала начинаться, но стóит только прикоснуться к раствору платиновой проволокой, тонинюю в паутину, как, смотришь, закипает колба. Такое действие оказало на наше киевское студенчество появление нескольких делегатов от петербургского, московского и казанского университетов.

Мы собрались в числе нескольких сот человек в четвертом этаже университета, в обширном зале, примыкающем к гербарию, и один из делегатов — помню его фамилию — Горизонтов — обратился к нам с речью, которая звучала чрезвычайно революционно и будила мятежные чувства, а по существу была умеренна и, можно сказать, легальна. Товарищи из других университетов предлагали нам присоединиться к движению и добиться своей кассы взаимопомощи, столовой и права сходок для обсуждения своих дел. Самая перспектива совместного действия в известном направлении должна была наэлектризовать. Кругом было такое ужасающее бесправие. Горизонтов стоял на возвышении, и самый великорусский акцент его, так непохожий на наш украинский, и благозвучный голос его располагал нас к нему. За границей все это есть. Там даже есть социализм. Там была не одна уже революция, и существуют всевозможные конституции. Но нам добиться хотя бы своей столовой!

Не успел кончить Горизонтов, и собирались говорить еще другие делегаты, как поднялся на кафедру наш атлетически сложенный Армашевский, краса и гордость черниговской гимназии, заложил руку за жилет — тогда студенческая форма с синими воротниками была уже отменена и мы все завели себе широчайшие поярковые шляпы, придававшие нам вид испанских разбойников — и закричал:

— Товарищи, до каких пор мы будем поддерживать на своих плечах гнусное здание деспотизма? Пора сбросить гнет! Пора распрямить плечи! И разрушить храм Дагона! Товарищи, станем Самсонами; и преимущество с нашей стороны по сравнению

с библейским гигантом: мы не слепы, и нам стоит только раскрыть глаза, чтобы увидеть слабость врага!

Оратор могуче потряс плечами. Раздался гром аплодисментов. Мы разошлись по домам воодушевленные и готовые на какой угодно «подвиг».

Началось метание студенчества со сходки на сходку, с одного конца города на другой, с квартиры на квартиру. Мы обсуждали вопросы нашей жизни в подробностях. Разумеется, скоро подробности перестали нас удовлетворять. Мы коснулись общих тем, нам захотелось политики. Делегаты уже уехали. Мы готовили новую самостоятельную большую сходку. Воззвания к товарищам выпускались за воззваниями. Многие студенты перезнакомились при этом; многие разошлись на всю жизнь, многие сблизились. Волновались и кипятились больше всех «фуксы» или первокурсники.

Между прочим, совпало это время с неделей, когда студенты православного вероисповедания должны были говеть в университетской церкви. Никто из нас в течение года не посетил ни одной лекции богословия. Впрочем, нашелся искренний и богомольный юноша, Федор Менский, наш черниговский товарищ. Он с такой набожной физиономией возвел глаза горѐ и встал на колени перед исповедальным окном, и так раздражительно нетерпеливо посмотрел на него духовник, которому предстояла беседа еще с сотнями других чающих движения воды, что мы громко рассмеялись, после чего неловко было оставаться в церкви. Справку о говении пришлось получать уже потом от дьякона «за некую мзду». И, пряча рубль в широкий карман подрясника, мздоимец подмигивал и чуть слышно басил:

— Не беспокойтесь, сочувствую, ибо сам был молод.

Однажды ночью частная сходка по вопросу об отношении учащейся молодежи к народной темноте, при чем для разрешения хоть некоторой части проблемы надлежало воспользоваться летними каникулами, к нам в подвал спустился частный пристав с полицейским обходом, признал наше сборище незаконным и объявил, что мы арестованы. Одновременно с нашей сходкой, состоявшей из тридцати человек, были арестованы по всему городу еще другие сходки, приблизительно до пятисот человек; и так как всем места в части не оказалось, то мы были оставлены под домашним арестом и с нас взята была соответствующая подписка. Приставленные к нам городовые немедленно притащили нам из ресторана Сопящего колбас, булок и пива, и, под благосклонным покровительством и, можно сказать, при участии полиции, мы продолжали до утра беседу об использовании летних каникул с просветительною целью. Один городовой даже предложил нам непременно посетить его родную деревню в белоцерковском уезде.

— Славные вы паничи, — распинался он, глотая пиво. — А между тем вас будут драть. За шо? А треба. Потому — закон, потому — повинуйся.

На другой день нам даровали свободу. Однако, это подлило масла в огонь. Здание университета, куда полиция в то время не имела права входить, приютило под своими сводами еще две довольно крупные сходки, и, наконец, назначена была и состоялась общестуденческая сходка, в самом конце марта.

С утра, в ясный теплый день, потянулась молодежь в университет. Собрались все — и третьекурсники, и кончающие курс. Ходы наверх оказались, однако, закрытыми, мы принуждены были скучиться в одной нижней зале и в коридорах. В воздухе носилось что-то странное. На самом деле, студенчество разделилось уже на две партии. Всё было, впрочем, неясно настолько, что неизвестно, кто и за что стоит, и чего каждая партия требует. На лицах студентов старших курсов, уже лелеявших мечту о правительственных местечках и о жирных кусочках, сияла торжествующая улыбка; но многие, подобно Армашевскому, с мрачным огнем в глазах «потрясали плечами» и вели себя Самсонами. К студентам была обращена от «стариков» просьба подождать ректора, который должен был сказать какое-то решительное слово. Мы волновались и ждали. Ректором был тогда акушер Матвеев. Он, наконец, показался в студенческой толпе, бледный, как смерть. Его седая с большим белым лицом голова покоилась на золотом высоком воротнике генеральского мундира. Он стал говорить, но не сразу стали его слушать. Когда же он пригрозил, что университет будет закрыт, если студенты не успокоятся, поднялся шум, и свист прорезал воздух. Еще больше побледнел ректор, дождался паузы и обратился к благоразумию студентов.

— Нас надо выслушать, — раздались в ответ голоса.

Кажется, он только этого и ждал и предложил прислать к нему депутатов с изложением на бумаге наших требований и — поскольку они законны — обещал их удовлетворить.

Если одну партию студентов можно было назвать революционною, то другую следовало бы наименовать контр-революционной. Любопытно, что у контр-революционеров был заготовлен уже заранее адрес ректору в почтительных выражениях с просьбою обратить некоторое внимание на положение беднейших студентов, но вообще не придавать серьезного значения чересчур темпераментному поведению молодежи, только-что поступившей в стены университета, так как все они проникнуты в действительности самыми лойяльными чувствами. Таков был в общих выражениях смысл контр-революционного адреса. Но революционеры, ознакомившись с ним, немедленно тут же на подоконнике бокового коридора сочинили контр-адрес, впрочем, с умеренными требованиями. Их умеренности потом даже сами удивлялись. Но курьезнее всего, что многие впопыхах, когда было предложено, подписались под обоими адресами. Может-быть, под революционным контр-адресом сознательно подписалось не больше ста человек.

Что же касается закрытия университета, то учебный сезон кончился, и, строго говоря, угроза была пустая. Она больно ударила бы только по кончающим курс юристам, врачам и филологам.

Все-таки кое-чего «мартовская революция» добилась: мы получили право завести свою столовую, по продовольственным делам собирать сходки, решая вопросы голосованием, оказывать товарищам денежную помощь; иметь в своем распоряжении такой орган, как товарищеский суд, нам юридически разрешено не было, но, разумеется, фактически было и то, и другое.

Из числа «бунтовавших» в мартовскую революцию товарищей лишь небольшой процент оказался впоследствии в «стане погибающих». Таким образом, не все потонули в трясине успокоения и обыденной пошлости, а лишь громадное большинство. Помню, как университетские товарищи постепенно погружались в трясину с удовольствием, не все замечая, что погибают, и что им уже не выкарабкаться на твердый берег; как-то быстро стала увядать душа, редко одолевала она среду.

В числе первых, разорвавших с юностью, неожиданно оказался Армашевский, так сказать, вождь мартовской революции. Правда, он предпочел трясину, поросшую цветами знания. Он вышел из университета и, вместо полукурсового экзамена, выдержал испытание на звание кандидата естественных наук. У него были блестящие способности, огромная воля, и ему захотелось в девятнадцать лет примкнуть к профессорскому кругу. Он был оставлен при университете, читал геологию, страшно опередил товарищей, стал магистром, доктором. Однако, и покрытая цветами трясина — все-таки трясина. Мне приходилось потом наблюдать профессорский быт («Ординарный профессор»). Большинство профессоров в бытовом отношении ничем не отличалось от обывательщины — те же карты, выпивка, погоня за карьерой, за чинами, и те же, если не бо́льшие, интриги, с присоединением еще национальных и партийных несогласий (русские и немцы, консерваторы и либералы, ездившие в Петербург и доносившие в министерстве друг на друга); Армашевский, этот стальной юноша, почти мгновенно был втянут в узкий профессорский мир; тысяча щупальцев схватили его. Он пристал к староверам, впоследствии сделался членом Союза Русского Народа, т.-е. ярым черносотенцем, в октябрьские дни плачевно кончил. Что же говорить о тех молодых людях, которые с самого начала мечтали о чине статского советника, о судейской цепи или о портфеле адвоката и хотели только не голодать на школьной скамье.

Зато уцелевшие бунтовщики воистину оказались богатырями. Увы, я не принадлежал к их числу.

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ.

1869.

Лето я провел в Чернигове, в доме отца. Спал в саду на веранде, ходил угорелый от зноя, от ничегонеделания, от жажды удовлетворения повелительно проснувшихся желаний сердца, от встреч с хорошенькой Настенькой Товстолес. Ни юноша, ни мужчина, в голове неопределенные мечты, горячий туман, незнание жизни. Пора увлечений, ошибок мальчишеской самонадеянности на почве беспомощности и одиночества. Мартовская революция, внезапность ее возникновения и ее развязка — сбили меня «с панталыку».

Иногда ко мне заходили товарищи. Из них выдавался и больше мне нравился маленький Вася Варзарь, отец которого, старая гарнизонная крыса из молдаван, дружил с моим отцом. Вася пятнадцати лет окончил гимназию и потому не сразу был принят в университет. Странный был это мальчик; по нраву, еще ребенок, вечно смеющийся, он вдруг впадал в серьезное настроение и пускался в рассуждения по политической экономии, об идеалистической философии Беркли и материализме Гольбаха, знал наизусть Пушкина, вкривь и вкось судил о жизни и угадывал людей, вскрывая в шутливых замечаниях их маски. Свою фамилию он переделал в Варзер и под ней стал потом известен. Он хотел быть поэтом, романистом, а сделался статистиком. Между прочим ему принадлежит написанная им в юности знаменитая «Хитрая механика». Хотя он не сразу поступил в университет, но времени даром не терял, ходил на лекции, как вольнослушатель. Вскоре, получив матрикулу, перевелся в Петербург и стал технологом.

Лев Гинзбург тоже представлял собою тип рано развившегося серьезного мальчика. Между прочим, он импонировал мне знанием немецкой литературы в подлинниках; знал Канта и рылся всегда в таких научных источниках, что я, да и все товарищи его были уверены в блестящей ученой карьере, ожидающей его. Он тоже перевелся в Петербург в Медицинскую академию, поддерживал свое существование в столице участием в серьезных издательствах, а кончил жизненное поприще зубным врачом.

Через год в университет поступил и сблизился со мной Рашевский, прозванный Вангри. Он был «аристократик», посещал губернаторский салон, умел щегольски одеться, пел, играл и недурно рисовал. Сначала он корчил из себя дворянина, но еще в гимназии демократы задали ему трепку, когда он снабдил всех учеников чернильницами, лишь бы только товарищи не залезали своими перьями в его серебряный несессер. В конце концов, он стал отличный малый. Он был отзывчивый юноша и, кое-как кончив курс юридических наук, весь отдался искусству; картины его часто можно было видеть в течение полувека на петербургских выставках.

Мое юношеское шатание мысли стало заметно для меня самого. Ботаника, забытая для химии, химия — для революции, революция — для Настеньки и быстро погасший интерес к Настеньке. Летом меня стало подмывать на стихи, тем более что сестра Саша тоже стала увлекаться поэзиею и написала несколько недурных стихотворений, и даже на французском языке. Лунный свет, падавший сквозь стекла веранды на мою постель, благоухающая резеда, розы, глядевшие на мою тоскующую молодость из каждой клумбы и словно приглашавшие использовать ее, как можно лучше, жадное любопытство, возбуждаемое малейшею гранью необъятного кристалла жизни, жажда женской красоты, экстазов вдохновения, в соединении с пустыми и суетными мечтами о щегольских костюмах, о славе, о всеобщем преклонении перед моей удивительной, безбородой особой — все это пронизывало меня пестрой сменой острых впечатлений. В детстве я писал же стихи. Отчего же теперь не взяться за поэзию? Но когда из-за моих роз, озаренных лунным светом и сливших свои запахи с запахом резеды, выглядывало с насмешливой улыбкой и даже негодованием лицо боготворимого мною в то время Писарева, а из-за Писарева выдвигалась богатырская фигура Базарова, я чувствовал, как холод сжимает мое сердце, и лопались струны на моей заброшенной лире.

Почти перед самым отъездом моим в университет я получил приглашение из пансиона Ситенской, той самой, которая в Нежине содержала четыре года назад прогрессивную библиотеку, а теперь основала в Чернигове новое дело, — предлагалось посвятить две недели поверке знаний малоуспешных учеников и учениц при предстоящих им переэкзаменовках в мужской и женской гимназиях, при чем времени оставалось мало, и часов для занятий не назначалось. Пансион обещал, что вознаграждение будет зависеть от количества и качества затраченной мною энергии, и не меньше десяти рублей за ученика.

Я должен был отложить на две недели, а, может-быть, и на дольше отъезд в Киев и отправился в пансион.

Помещался он в доме, задним фасадом граничившим при посредстве небольшого сада с тем двором и домиком, в котором протекал двенадцатый год моей жизни во время пребывания родителей перед Моревском в Чернигове. Тогда пансион принадлежал некоей Волк-Карачевской; у нее тоже был муж, в роде Ситенского, управлявший делом.

Я застал Ситенского в классе с длинной линейкой в руке. Рыжеватый, с темным свинцового оттенка лицом и совершенно не улыбающийся, он ходил по классу, сухо поблагодарил меня, что я не отказался, и сказал:

— Присядьте и послушайте этих ослов и ослиц, так как вам надо познакомиться со стадом, которое вы беретесь помочь мне пасти. Жена моя приедет, и до нее мы должны очистить Авгиевы стойла.

Учеников было семеро, из них три девочки. Почти у всех был запуганный вид, и только одна ученица, высокая с угловатыми чертами лица и с жиденькой косой, стоявшая у печки, насмешливо улыбалась и гримасничала, перемигиваясь с сидящей на первой парте маленькой подругой.

— Мы определили уже в учебные заведения слишком сто человек, а перед собою вы видите отбросы, их надо во что бы то ни стало продвинуть, иначе их родители будут страшно огорчены. Эти дрянные душонки и не понимают, как о них заботятся, и какие силы и средства затрачиваются на них. В крайнем случае, хотя теперь время гуманное, мы станем их драть. Ну, скажи, дылда, — обратившись к девочке у печки, начал Ситенский, — сколько будет семью двадцать семь?

Девочка потупилась. Ситенский стал наводить ее на ответ, каждый раз называя «ослицей» или «идиоткой». Точно так же продемонстрировал он передо мною никчемность остальных в классе.

— Ну, ты, жидовочка? — обратился он, наконец, к маленькой черноглазой особе лет десяти.

— По-моему будет сто восемьдесят девять, — объявила, вставая, девочка. — Но я только просила бы не называть меня жидовочкой, потому что я иудейского исповедания, а не жидовского.

— Поговори у меня!

Ситенский рассек воздух линейкой и передал ее мне, должно-быть, как символ власти.

— Народец отпетый, — молвил он. — Предупреждаю. Эту болванку зовут Полторацкой. Повидимому, от нее придется совсем отказаться. Но помни, — тут он потряс пальцем перед самым носом высокой девочки, — что опекун сдерет тогда с тебя шкуру.

— А она пожалуется, — сказала «жидовочка», — потому что нет такого права, чтобы драться.

— Я скоро могу выбрать себе попечителя, — весело сказала Полторацкая.

— Ну, тебе еще два года ждать до попечителя.

— Нет. Всего год. Мне уже тринадцать. Я законы знаю.

— А дважды два не знаешь. Дерево!

Ситенский топнул на нее ногой.

И ушел. Служил он в губернском акцизном управлении.

Надо было спешить. Трех мальчиков я уже через неделю сплавил в гимназию. Евреечку тоже. С прочими же детьми и с Полторацкой мне пришлось возиться, что называется, до кровавого пота. Однажды я пришел в класс раньше обыкновенного и застал Полторацкую в слезах. Ухо у нее было красное и вздуто. Не сразу рассказала она, в чем дело. Но вдруг, откуда что взялось. Глаза ее загорелись ненавистью. Она стала бранить Ситенского и кричать, что он «не смеет, не смеет, не смеет».

— Помогите мне, спасите! Пошлите записку предводителю! Заступитесь за меня! Чего они хотят от меня? Какого ученья? Они сами ничего не знают. Я не хочу! Не хочу, не хочу!

При пансионе общие квартиры помещались в двухэтажном домике в саду, на попечении классной дамы, недавно кончившей гимназию, некоей Ольги Ивановны. Там же жила и мать Ситенской, старая полька, с сыном недорослем, солидным и хорошеньким мальчиком. Я отправился к Ольге Ивановне, и, пока я объяснялся с нею по поводу Полторацкой, внезапно вернулась Ситенская. Она была гораздо умнее своего мужа, оберегала репутацию пансиона, испугалась скандала, который могла поднять Полторацкая. Бедная девочка эта, которую обирал опекун и чуть ли не покушался на нее, мгновенно успокоилась, когда молодая женщина приласкала ее. Ситенская примирилась с невозможностью определить девочку в гимназию и оставила ее у себя в пансионе, что кстати было и выгодно.

Лет десять спустя я услыхал о Полторацкой. Она, придя в возраст и получив остатки своего имущества, увлеклась социализмом, была арестована в Киеве, при чем ей были поставлены в вину затраты ее на пропаганду, и сослана в Сибирь.

* *
*

Решительно всё ясно помнишь; такие мелочи засели в голове прочно и неискоренимо, что удивляешься своей памяти; а бывает, что из нее выпадают и целые полосы жизни: цифры, имена, события. Например, начало учебного 1869 — 70 года мне представляется только в виде посещения мною гербария, где я с Федором Волковым, впоследствии эмигрантом и известным этнографом, производил разрезы бритвою растительных тканей для микро-наблюдений под руководством все того же маленького профессора Вальца, розового немчика с громадными губами и почти белыми волосами на черепе столбиком. (Бедняжка только-что женился на огромной женщине, и до того женитьба исковеркала порядок его жизни, и так была нервна избранная им подруга, или, вернее, владычица, что он в скором времени взрезал себ горло в припадке отчаяния.)

Я даже не могу вспомнить, застал ли я уже, приехавши в Киев, студенческую столовую.

Помню только, что я приезжал в Нежин за сестрою Лабунского Сонею, жившею там в гувернантках, привозил ее в Чернигов и пировал на свадьбе бедной Саши. . .

После свадебного вечера, когда все умаялись и доели конфеты и допили шоколад, я, расположившись в крохотной каморке под лестницей, быстро заснул и также быстро проснулся от нестерпимых судорожных болей, пробегавших от икр до самого сердца. Нечто подобное со мною случалось повременам. Холодный пот выступил на висках. Такое впечатление было, как-будто на крыльях какой-то тайной и сладкой до тошноты легкости поднимаюсь к потолку. Сознание то покидало меня, то я сознавал, что умираю.

Не скоро стало мне лучше. Целый день подкашивались ноги. В Чернигове славился тогда врач Решко, старый студент закрытого Николаем Виленского университета, горький пьяница и золоторотец, не имевший ни семьи, ни угла, ни теплого пальто, ходивший в опорках и, вместо шубы, в гарусном шарфе. За советы брал с богатых дорого и тут же все деньги раздавал бедноте или пропивал в грязных кабаках. Был он всеобщий любимец, и к нему относились, как к юродивому, обладающему тайнами жизни. Доктора приписывали случаю, что Решко ни разу не ошибался в своих определениях и предсказаниях; мне же он объяснил однажды, что диагноз требует одного — развитого обоняния. Душа есть не дух, а некая тончайшая материя, которая, болезненно изменяясь, каждый раз своеобразно пахнет и в особенности резко дает себя знать перед смертью. Постукивая пальцами дрожащей руки по столу, Решко, впрочем в позе в высокой степени благовоспитанного человека, устремлял вдаль свои глаза беспросветного пьяницы и говорил:

— Одна болезнь пахнет мухомором, другая редькой, жареной телятиной, укропом, и еще, милый мальчик мой, смерть пахнет свежим коленкором. . . и есть очень сложные запахи, прошу знать.

Отец мой чрезвычайно уважал Решку. Чудотворца разыскали. Этот неопрятный старый человек был приятным собеседником. Пьяное состояние сделалось у него нормальным, и он никогда не впадал в буйство. Древним виленским наукам он приписывал, между прочим, свое искусство не заражаться насекомыми в страшных ночлежках. Он много, долго и любовно рассказывал о жизни золоторотцев, или босяков, считая их хорошими и великодушными людьми, истинными философами, «пассивными протестантами». Современем он познакомил меня с некоторыми из этих типов (отчасти я вывел их в романе «Прекрасные уроды»), из них характернейшим «пассивным протестантом» был сам Решко.

Когда он расспросил и исследовал меня и узнал, что я в детстве страдал чем-то в роде сомнамбулизма, он покачал головой.

— Невыгодный характер, а не болезнь. А если — болезнь, то лекарства от нее нет. Пойдешь прямо — иди прямо, мой мальчик; а если тебя потянет в переулок — зайди. А толку большого не выйдет. Купцом не будешь. Но собаку встретишь, собаку полюбишь.

Решко взял меня за руку, велел одеться и долго водил по улицам. Это было уже вечером. Все время говорил загадочно, но его слова оставили в моей памяти след, и теперь, оглядываясь назад, на пройденный мною жизненный путь, я убеждаюсь, что высказанные им о моем характере туманные суждения впоследствии в той или иной степени оправдали себя.

— Потому что, видишь ли, мальчик мой, — расставаясь со мною перед входом в зловещий кабачок, заключил он, — болезнь дает направление человеку, ибо болезнь есть только грань души, а больна душа — все кончено... Одно крыло длиннее, другое короче... короче...

Он оступился и юркнул в подвал. В сумрак улицы блеснуло на момент, неопрятным красным светом и гулом пьяных звуков, что-то острое и потустороннее.

Я вернулся домой. И на несколько лет забыл о своем припадке.

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ.

1869 — 1870.

По рекомендации проректора я получил урок на краю города у мясников, братьев Сиволаповых. Дали мне комнату, обильный стол и двадцать пять рублей в месяц. По тогдашним временам — находка. Правда, комната помещалась в черном флигеле, где жили приказчик и рабочие, и было грязно. Над кроватью шевелился живой ковер из тараканов; а рано утром меня будили вздохи и стоны убиваемых обухом быков, блеянье баранов, визг свиней. Лились ручьи за стеной, кровь шумела, как проливной дождь: бойня примыкала непосредственно к флигелю. Несмотря на зимнее время, страшное зловоние, особенно в оттепель, доносилось с черного двора, проникая сквозь щели деревянного флигеля. Братья Сиволаповы жили в двух домах, оба вдовые, и у каждого была экономка и сын гимназистик. Один брат был толстый, как откормленный бык, гигант и вел трезвую жизнь, был богомолен и тосковал по жене; а его экономка, действительно, была экономка, почтенная рижская немка. Другой брат был худой, жилистый, угрюмый пьяница, убил поленом жену в погребе, куда она спряталась, и колотил свою экономку-француженку; у ней всегда было расцарапано лицо. Мальчики были каждый в отца: один — мечтательный, сырой, прилежный и плаксивый, другой — подвижной, шалун, задира, плут, вечно скрывавший, какие уроки ему заданы. Ему шел еще четырнадцатый год, а он уже напивался, гонялся с дегтярным помазком в руке за приказчиками, сквернословил. Француженка, наконец, рассталась со своим варваром — le barbare; а он, не долго думая, перед самой масленицей женился на девочке — взял прямо с институтской скамьи и еще с приданым. Более грубого и тупого животного в человеческом образе я не встречал в жизни. Что это была за среда, где выдать замуж ребенка за чудовище считалось хорошим и нравственным делом! (роман «Добрая фея»). В первую же ночь молодая жена была высечена кнутом и заболела. На другой день в городском театре этот гнусный Сиволапов, сидя в царской ложе, разразился бранью в самом патетическом месте оперного

представления: ему понравилось, он пришел в восторг! Его стали извлекать из ложи — он побил полицейских; с него, что называется, содрали шкуру, но дело потушили, а он стал вымещать на домашних и крошить зубы приказчикам и прислуге. В особенности пострадала древняя старуха, она же его тетка и нянька: он вышиб у нее буквально горсть зубов.

Я не мог дольше быть свидетелем всего этого ужаса и заявил проректору, что должен покинуть урок. Но тут вдруг я заболел тифом и только к весне очутился на вольной квартире с моими товарищами, стал посещать студенческую столовую и участвовать в ее жизни.

Столовая занимала полуподвальное помещение в угловом доме, недалеко от университета. Хозяйство я застал уже налаженным. Все должности были выборные. Верховное заведывание принадлежало комитету, который заседал в боковой комнате и был доступен: желающие могли присутствовать при его дебатах. Часто созывались общие собрания, на которых решение хозяйственных вопросов играло второстепенную роль. Мы обсуждали общие вопросы: нас осведомляли о том, что делается за границей, какие общественные настроения становятся преобладающими, чего требует от молодежи народившаяся общественность. Еще так называемое освободительное движение не изжило себя и либерализм не утратил еще своего обаяния, но уже золотым огоньком поблескивала революционная мысль, и даже намечались уже два течения ее — и чисто политическое, и чисто экономическое. Из студенческой массы выделилось несколько товарищей — Каблиц, писавший потом под псевдонимом Юзова и участвовавший в Казанской демонстрации 1876 года, Судзиловский, впоследствии президент какой-то тихоокеанской республики, Габель, Николай Троцкий, Шевелев, Рашевский, Богомолец и другие с более или менее яркой окраской взглядов. Армашевский уже отстал от движения.

Кстати о столовой. То, о чем я расскажу сейчас, случилось в следующем семестре, но уместно вспомнить теперь, потому что факт характерный. На общих собраниях, при дебатировании общих вопросов, нервы молодежи взвинчивались иногда до крайней степени. Троцкий, говоривший, обыкновенно, приятным баритоном, начинал, например, кричать тончайшей фистулой в наиболее страстные минуты. Однажды он зарвался. Начался сбор денег для Чернышевского, томившегося в Сибири; Троцкий стал проклинать правительство; оглянулся и замер: на скамейке под окном, облокотившись на подоконник, сидит пожилой господин в енотовой шубе и внимательно слушает. Все физиономии у нас были наперечет, а господин — точно с неба свалился, очевидно, не спроста!

— Господа, среди нас шпион, — вполголоса, опасливо сказал, оборвав речь, Троцкий.

Поднялся страшный шум. «Вон! Вон!». Енотовую шубу, которая оказалась старой и облезлой и с короткими до смешного рукавами, стали тормошить и чуть ли не бить. Но за шубу вступилась молодая девушка, недавно приехавшая с юга. Помню, русая, белолицая, лобатая. Каблиц впоследствии уверял меня, уже в Петербурге, что это была Софья Перовская. Она гостила у нас в столовой, которая, начиная с осени, вообще часто служила приютом для молодых людей, нуждавшихся в том, чтобы не прописывать паспорта. Между прочим, в столовой останавливался и некоторое время проживал, помогая хозяйничать, знаменитый Нечаев (строго говоря, ничего общего не имевший с молодым Верховенским в «Бесах» Достоевского). Он представлял собою тип не вертлявого интригана, способного заставить плясать по своей дудке кого угодно, «хоть губернатора», а скромного подмастерья с четырехугольным лицом, с реденькой растительностью на подбородке, и перчатки были у него шерстяные, вязаные, зеленые с красными разводами — хозяйственные. Говорил он с простонародным акцентом на «о», посмеивался и в спорах не горячился. Вообще же избегал спорить, высказывал только определенные убеждения как-то вбок, т.-е. не навязывая, но всегда повелительно — приемлемо. Господин в енотовой шубе, ставший белее мела, когда понял, за кого его принимают, встал и объявил, что он — Прокопович, медик четвертого курса, переводится в Киевский университет, потому что у него слабые легкие, расстроенные им в ссылке на крайнем севере несколько лет назад, и что он сам виноват в печальном недоразумении, не представившись собранию. Потом он подошел, пожал руку своей заступнице, а к нему бросились студенты с извинениями, и кто-то, чуть не сам Троцкий, заставил его съесть свою огромную порцию бифштекса (полагалось есть такой бифштекс каждому только раз в неделю, по очереди).

Столовая быстро стала иметь значение умственного центра в быту нашего студенчества. Полиция пока не следила за ней пристально, а жандармский полковник, в доме которого, кажется, бывал Троцкий, в качестве репетитора его сына, называл ее пока «столовою терпимости».

Я принужден был, чтобы добыть копейку, заняться богословскими переводами для агента немецкого библейского общества. Я безбожно коверкал текст во многих христианнейших местах, не будучи в состоянии проникнуть в их тайный смысл. Но редактор, знавший русский язык еще хуже, чем я немецкий, переводы мои одобрял, и вся эта чепуха печаталась под его именем.

На денежный заработок я приоделся и скоро должен был взять урок на летние каникулы в Чернигове, куда неизменно и направил свои стопы.

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ.

1870 — 1871.

В Киеве осенью студенческая жизнь была взволнована самоубийствами: повесилась молодая барышня, приехавшая поступать на курсы, повесился товарищ медик, отравился, только-что получивший степень кандидата, лаборант и бросился в университетский колодец и утонул студент, а при вскрытии у него оказался совершенно пустой желудок.

В консервативной газете «Киевлянин» появилась статейка, обвинявшая молодежь в праздности, унынии, в пессимизме; я послал возражение, которому был придан редактором иной смысл. Как раз в Киеве возникла другая газета — «Киевский Вестник». Я ополчился на «Киевлянина», и моя статья в новой газете так понравилась редактору Рокотову, что он пригласил меня сотрудничать в его органе.

Первая «солидная» статья моя в «Киевском Вестнике» в несколько столбцов была написана по поводу введения всеобщей воинской повинности и обратила на себя внимание нашей молодежи. Называлась статья «Разрушение сословных перегородок». Много было радикальничанья и искренности в этих юношеских строках. Она увидела свет в сентябре 1870 года (и много потом было мною написано в «Киевском Вестнике» легкомысленного, а нередко и глупого. Уж очень редактор снисходительно смотрел на мое перо. Но, с другой стороны, приятно вспомнить, что в этой первой моей литературной колыбели не всегда я вел себя дурно).

Владимир Ильич Рокотов служил псковским предводителем дворянства, и за что-то либеральное смещен был с почетной должности. Был славянофилом — и восторгался Европою; находил, что старая мораль несокрушима — и признавал только гражданский брак; был меломаном, вел себя изысканно вежливо и представлял собою тип милого провинциального барина, который сам не знает, чего он хочет, и с которым, однако, каждый легко себя чувствует.

Мне и приятелю моему Вангри-Рашевскому, писавшему о театре, Рокотов предложил, кроме гонорара, еще две комнаты с отоплением в полуподвале под редакцией, и денежные средства мои стали сравнительно неплохими, так что можно было заплатить накопившиеся долги; но зато университетские лекции я забросил. Я продолжал много читать на разных языках, исключительно интересуясь естественными науками и антропологией, а в университет перестало тянуть. Пример Армашевского, поклявшегося выдержать экзамен в два года на кандидата, был заразителен, и я был убежден, что и я смогу добиться того же, пре-

*

увеличивая не столько свои способности, которыми природа одарила меня, сколько переоценивая свой характер и силу своей воли; а надо мной уже висела гроза.

На масленице я на несколько дней приезжал в Чернигов. Отец, прочитав мои статейки в «Киевском Вестнике», остался недоволен.

— Брось, брат, писать, — сказал он мне. — Литературного таланта у тебя нет, а мальчишества без конца. Я считал тебя солиднее. Советую перейти на юридический факультет, будешь присяжным поверенным, а писателем — сопьешься.

Зато Ситенский и другие засыпали меня похвалами. Фельетон мой под псевдонимом Ионы Ясновидящего, где я высмеял церковную обрядность (цензор пострадал), цитировал даже Ситенский, приставлял палец ко лбу и говорил:

— Ядовито.

В атмосфере похвал и лести я провел несколько приятных часов среди молоденьких классных дам и подрастающих гимназисток, смотревших на меня, как на «знаменитость», и в мою честь Ситенские дали ужин, за которым посадили меня и учительницу фортепьянной игры Веру Петровну рядом.

Вера Петровна была усердной читательницей «Отечественных Записок», повидимому, вполне разделяя радикальные взгляды журнала. Она, однако, отрицала бога, но в ее комнате горела лампадка. Приятельски сблизившись со мною, неоднократно признавалась, что она вообще не считает дурным свободу половых отношений, но что, к сожалению, это запрещается мещанской моралью, и приходится или насиловать природу, или выходить замуж за кого попало. Была большой народницей, по ее словам, и готова была «хоть в Сибирь», но не могла обойтись без прислуги.

— Что вы думаете о фиктивном браке? — спросила она меня вдруг за два дня до моего отъезда.

— Я ничего не думаю, — отвечал я.

— А я много думаю, — продолжала Вера Петровна, и красивые глаза ее затуманились. — Бывают положения, когда современная девушка не может жить в обществе, потому что она уже не девушка, и это, рано или поздно, может обнаружиться, и тогда ее заклюют.

— А, понимаю.

— Я не сомневалась, что найду в вас поддержку, — сказала Вера Петровна со слезами на глазах.

Я вопросительно посмотрел на нее.

Правду сказать, трудно мне сейчас разобраться в той моей «психологии». Я стал наперсником Веры Петровны и выслушал при закрытых дверях (она заперлась на замок) всю историю ее «обрыва». Конечно, она была жертвой грубости и лично сама не подала повода, она, такая маленькая и слабая. В самом деле, на вид ей можно было дать даже шестнадцать лет; по крайней мере, в роковую минуту, когда она схватила мою руку и покрыла поцелуями. Сердце мое забилось от разнообразных чувств: от жалости, от страха, порожденного внезапностью положения, в каком я очутился, от горделивого сознания великости требуемой от меня жертвы и от мальчишеского упоения властью над этой чужой мне душой, ищущей во мне защитника и покровителя...

Ситенские более чем сочувственно отнеслись к предстоящему браку, и решено было моих родителей в секрет не посвящать.

В Киеве же весною произошла неприятность.

Приехал царь с царицею, и, вместо приветствия, каким должен был блеснуть «Киевский Вестник» наравне с «Киевлянином», в нем появилась статья моя, в которой я подвел итог, во что обходится жителям бедных кварталов и пригородов, обязанных участвовать в расходах на иллюминацию, августейшее посещение. Названы были точные цифры, взятые из отчета Городской Думы. Генерал-губернатор Дрентельн позвал меня, затопал ногами, пригрозил выслать из города. Но ограничилось все домашним арестом. Это — по отношению ко мне, а на редактора Рокотова Дрентельн нагнал такой страх, что признано было необходимым издание газеты совсем прекратить.

Я очутился на бобах.

Вера Петровна, приехавшая за мною в Киев, узнала о моем материальном и литературном крахе. Я подчеркнул ей это.

— Как же быть теперь?

— Но это ничего не значит, — сказала она. — Вы хотите, чтобы брак наш не был фиктивным, тем лучше. Я умею тоже трудиться и заработаю себе кусок хлеба.

Один состоятельный товарищ дал мне взаймы небольшую сумму, для меня по тому времени значительную, и я, уволившись из университета (студенты не имели права жениться), приехал в Покровское к старикам Ивановым, родителям Веры Петровны.

Кругом лес. Дом большой, деревянный, приземистый, огромный двор и службы.

Иванов был доктор в отставке, Иванова — древняя институтка. Они были скупы от бедности, опутаны долгами; главным кредитором их был старший их сын, тоже доктор, козелецкий уездный врач; у него имелась закладная на хутор.

Вера Петровна подготовила почву, и меня приняли с «распростертыми объятиями». Хуторские работники и работницы, комнатные девчонки и подрастающие сестры Веры Петровны светло смотрели мне в глаза, и никогда в жизни своей я не был таким великолепным дураком, как в то время, полное для меня туманных и нелепых переживаний.

Я как-то перестал сознавать свою личность во всем ее объеме; мое «я» стало каким-то лже-«я». Я вошел в новую семью, как ее член, и я мог бы, подобно Подколесину, еще выскочить в окно, но

уже моя собственная ложь, казавшаяся мне благородной, не пускала меня, к тому же, к Вере Петровне у меня хотя и не было любви, но меня радовало, что все ее политические, моральные и другие взгляды совпадают с моими. Она ни в чем не перечила мне, со всем соглашалась. Не знаю, чего бы она ни сделала для меня. Она обещала мне полную свободу сердца, наконец!

Старикам Ивановым непременно хотелось, чтобы свадьба была, по возможности, помпезная. У них был винокуренный завод, разорявший их, но казавшийся для постороннего глаза выгодным делом. Когда будущая теща моя попросила меня проводить ее в Киев на день, я должен был содержать ее в гостинице на свой скудный счет. С ненужными покупками, кольцами, фатой и прочими пустяками, вернулись мы в Покровское, и тут через несколько дней в конце апреля состоялась брачная церемония.

Был съезд гостей. Отплясывали бессмертные Буяновы и Петушковы, ели мороженое и пили шампанское.

В брачной спальне ночь провела Вера Петровна в одиночестве. А я пошел спать во флигель вместе с ее братьями, доктором и гимназистом. Многим из гостей это показалось странным, впрочем, поведение мое было объяснено в данном случае моею застенчивостью и юношеским целомудрием.

Свадебный бал дорого обошелся Ивановым. Они впали в новые долги, но и я был ввержен непредвиденными расходами в большое затруднение. Насилу добрался я с Верой Петровной до Чернигова, где холодно был принят отцом, а мать, пожуривши меня, примирилась с фактом.

Я занялся уроками и писанием статеек, Вера Петровна — музыкой; и скоро, накопив сто рублей с небольшим, мы уехали в Петербург.

Я был уверен, что там я не только получу ученый диплом, но и литературные способности мои будут использованы столичными журналами.

О Петербурге у меня и у Веры Петровны было представление, как о городе, так сказать, насквозь нигилистическом, населенном Базаровыми, Лопуховыми, Рахметовыми и Верами Павловнами. Чтобы приблизиться, хотя бы по внешности, к идеалу, Вера Петровна остригла под гребенку свои роскошные волосы, и в дороге ее принимали за гимназистку, да и голос у нее был детский.

Ехали мы в третьем классе. Разумеется, перезнакомились со всем вагоном. Все это были, большею частью, студенты, барышни с фельдшерских курсов и мужики с белыми нерабочими руками и с интеллигентными лицами, сходившие то на той, то на другой станции, или точно также появлявшиеся в поезде на разных станциях. Легко было угадать, что это за мужики. Некоторые из них быстро «снюхивались» с нами, а некоторые упорно отмалчивались и до конца оставались верны своей роли.

Один из более откровенных народолюбцев доехал с нами до самого Петербурга, откуда он был родом. Все лето он провел среди крестьян и сообщил нам по секрету, что деревня еще не созрела до сознательного восприятия «наших идей». Вообще, она даже консервативна, и ежели работаешь в качестве кузнеца или как-нибудь иначе помогаешь ей, она — ничего, дружит и покормить не прочь, но книжку не любит и пропаганды не понимает, а может и по шее накостылять за иное слово.

В Петербурге наш знакомый, доставший из котомки перед Николаевским вокзалом мещанское пальто и картуз и вдруг преобразившийся, указал дешевую улицу и даже помог нам сейчас же найти комнату в одном домике на Кронверкском проспекте, против парка.

Хозяйства мы не заводили, питались в кухмистерских, и через месяц Вера Петровна заложила обручальные кольца и приданое серебрецо, а я свое золотое пенснэ.

В Петербург приезжал поздней осенью отец, останавливался у меня, и на его вопрос, как живется, я соврал, что великолепно, и что литература меня вывезет. То же самое сказал я и брату Веры Петровны, врачу, приезжавшему с женой «пожуировать» в столице.

Документы свои с прошением о приеме я подал в университет, но множество хлопот и мелких забот, явившихся плодом недомогания Веры Петровны, и необходимость работать на двоих, чтобы как-нибудь прокормиться, помешали мне бывать на лекциях. Железнодорожный знакомый, правда, поделился со мною уроками, но они были грошовые.

Наконец, я обратился, узнав адрес, к Василию Степановичу Курочкину, в угасавшей, и вскоре угасшей, «Искре» которого я иногда принимал участие юмористическими сообщениями из провинции.

ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ.

1871.

Жил Курочкин на Фурштадтской, в очень хорошей квартире с особым подъездом. Встретили меня две нарядные молоденькие горничные. В передней стояли шкафы с книгами, в других комнатах висели картины, драпировки. В кабинете, куда меня ввели, за великолепным письменным столом сидел в поношенном азиатском халате темноволосый человек лет сорока с веселыми глазами на выкате. Это и был Курочкин.

— Что же вам, собственно, нужно? — начал он. — Леонтьев, которому я сдал в аренду «Искру», сбежал и самого меня «посадил». Гонорара за него я платить не могу. Не огорчайтесь,

однако, молодой человек. Корыстолюбие не свойственно вашему возрасту. Что-с? Зато вы нашли то, чего не теряли. Случайно я сейчас пересматривал последний портфель «Искры» и пробежал вашу повестушку «Пан Куцый». Положим, я разорвал и бросил в корзинку. Никуда ее не пристроить. Но вы грамотны. Что-с? Литературно грамотны, и есть искорка. А нам как раз нужен секретарь. Я говорю о новом ежемесячном журнале, который я должен буду редактировать. Посидите у меня, я с вами потолкую, и, если подойдете, дам карточку к издателю. Чего? Не пугайтесь — «Азиатского Вестника»!

Он слегка картавил и чуть не за каждой фразой прибавлял «что-с». Над отоманкой висела литография Беранже .

Конечно, выражение моего лица забавляло Курочкина. Он взял меня за руку и сказал:

— Да вы не смущайтесь, коллега. Вы сотрудничали в газете. Значит, у вас есть опыт. А горшки не святые лепят. Что-с?

Минут через пять он познакомил меня со своей женой, молодой угловатой дамой, и усадил обедать, расспрашивая о провинциальных настроениях и о молодежи. Отзывается ли она на литературные явления? Потом распространился о роли, которую играла «Искра» в шестидесятых годах в русском обществе, и какие доходы приносила. Жена его (Наталия Романовна) вознегодовала:

— Уж лучше бы ты не хвастался! Верите ли, я за семьсот рублей ротонду заложила, и только на днях выкупила. Уж очень мы в шампанском любили купаться!

От Курочкина я пришел на Артиллерийский плац к Петру Ивановичу Пашино и увидел бледного черноволосого господина, жующего какие-то пахучие лепешки и приволакивающего ногу, очевидно, после удара. Прислуживал ему старенький карлик, желтый, как лимон, безбородый.

Пашино путешествовал по Средней Азии и свои путевые впечатления напечатал с посвящением министру. Он показался мне выживающим из ума. По временам, он точно просыпался и начинал со мной говорить совсем не кстати. Когда я подал рекомендацию Курочкина, он сказал:

— Вы знаете, Курочкин женат на горничной... А в Самарканде в моде у мусульман мальчики... Ну, хорошо, пятьдесят рублей в месяц и... как это называется...

Он щелкнул пальцами по крышке коробки, проглотил пилюлю и вопросительно смотрел на меня.

— Вы предлагаете мне пятьдесят рублей за секретарские обязанности?

— Бесспорно и неукоснительно. Но как же, как же. Я бы хотел знать... как называется?.. Как? — приставал он.

Я напоследок понял, что речь идет о корректуре.

Таким образом, по странному стечению обстоятельств, руководимых насмешливой судьбой, «Азиатский Вестник» попал в редакторское заведывание к Курочкину, а я стал секретарем журнала. Кто поддерживал журнал, Пашино скрывал и раздавал авансы направо и налево.

Курочкин пригласил Глеба Успенского, Чуйко, Михайловского и Шелгунова (сосланного тогда в Калугу и оттуда приславшего согласие; Пашино сам поехал за статьей и привез из Калуги, кроме статьи, несколько коробок «калужского теста»). Михайловский от участия в «Азиатском Вестнике» отказался, а к Кущевскому, тогда бывшему в славе автору «Николая Негорева», был командирован я.

Каменноостровский проспект, как и вся Петербургская сторона, не имел еще права украшаться каменными постройками. Даже деревянных лачужек на нем было мало. Тянулись бесконечные огороды. В глубине одного из них, в маленьком двухэтажном домике, жил Кущевский с женой.

Было ему двадцать четыре года. Я удивился его высокому росту и толщине. Одет он был во всё летнее, с раскрытой грудью. Безбородое жирное лицо его выразило неподдельную радость, когда я положил перед ним пятьдесят рублей просимого аванса. Богатырски встряхнул мою руку и уселся писать расписку.

— Что бы вам такое дать? — начал он и устремил глаза в потолок. — Что-нибудь азиатское? Хорошо. Повесть моя будет называться «Иоанн Креститель».

— По мысли редакции, — пояснил я, — в «Азиатском Вестнике» предполагается обличать всё азиатское, от чего страдает Россия. Курочкин просил и Шелгунова написать статью в этом направлении.

— Прекрасно понимаю. Но повесть я так напишу, чтобы она подошла. Она будет, так сказать, и азиатская и противоазиатская. А пока мы пройдемся по единой.

Он налил две рюмки, чокнулся со мной, быстро опрокинул свою, закусил кусочком сахара и с изумлением посмотрел на меня.

— А что же вы?

— Не пью.

— Больны, что ли? — сочувственно спросил он. — Выпейте и поверьте, немедленно пройдет всякая болезнь.

— Вот видишь, они не пьют, — поощрительно заметила Кущевская и хотела убрать графинчик.

Писатель не позволил.

— Не торопись, милая, тут еще есть.

И, придерживая одной рукой графинчик, другою он схватил мою рюмку, выпил ее и опять закусил кусочком сахара.

— Конечно, от пива не откажетесь?

И к пиву у меня не было тяготения, но я согласился, чтобы не огорчать писателя, к которому я относился как к недосягаемому для меня литературному светилу.

Пока я медленно одолевал пиво, Кущевский осушил весь графинчик и доел весь сахар. Пьяным он не сделался, только в жирных веках его ярче стали гореть глаза.

— «Иоанн Креститель», мне это вдруг пришло, — говорил он, провожая меня, на пороге своей бедной квартирки. — Декорация такая: раскаленная песчаная пустыня, синяя лента Иордана, летит саранча тучами. Но тут где-нибудь дикие пчелы... А вдали идет Христос, как белое облако.

С половины вонючей лесенки он остановил меня.

— Послушайте, собрат, вы не сказали мне вашего адреса. Я непременно побываю у вас. А с вашего издателя я рассчитываю получать каждый месяц по «полусотельному». Аванс своим порядком, а полсотельный — своим. Некрасов — на что жила, и тот второй год платит по три четвертных ежемесячно. Да; сам живет в золотых палатах, а я, вот видите, где околачиваюсь.

В тот же день, после обеда, в редакции «Азиатского Вестника», или, вернее, в кабинете Пашино, я имел радость познакомиться с Глебом Успенским, еще совсем молодым человеком, не очень старше меня. Редко у кого я видел такое милое выражение; всё его лицо светилось какою-то сплошной улыбкой. Он был застенчив, как барышня, а деньги торопливо сунул в карман, словно врач, начинающий практику, не считая. Он был черниговским земляком моим, и я сказал ему, что гимназия его помнит, и помнит Лесковица, предместье Чернигова, расположенная в гористой местности, где он «стоял» на квартире. Он весело засмеялся.

— Скажите, — спросил он, понизив голос, — дурным не пахнет здесь? — И он посмотрел на письменный стол, на книжные шкафы. — Впрочем, если Курочкин и Шелгунов... Ну, Михайловский, положим, не станет участвовать в журнале — патриотизм к «Отечественным Запискам» не позволит. Да ведь и я, между нами сказать, патриот. И у меня с Некрасовым условие: все, что напишу, ему должен отдать первому, а что забракует, волен я печатать, где мне заблагорассудится. Так, значит, ваше чутье не обманывает вас? Ничем не пахнет? На всякий случай, посоветуйте Курочкину запустить зонд в Некрасова. Что он скажет? У него, знаете, нос, как у выжлеца, — сам хвалится.

Вечером я сообщил Курочкину, у которого застал его брата Николая Степановича, ныне забытого писателя и чуть ли не поэта, что Успенский советует обратиться к Некрасову.

Обрадовался Василий Степанович.

— Что-с? Отлично, если Некрасов даст нам стишок!

А через несколько времени, подумав, дал мне поручение посетить Некрасова, и — кстати — Минаева.

— Курочкин, Минаев и Некрасов — только еще и есть поэтов, — уверенно и самодовольно сказал он.

Утро было холодное. Начало зимы. Я встретил Некрасова у самого подъезда его квартиры на Литейной улице; он вышел, чтобы сесть в сани, запряженные парою коней. Был в меховой шапке и в длинной шубе, — тогда одевались так все люди с достатком: под боярина. И у Курочкина была такая же шуба и шляпа... Рядом с ним шел господин в фетровой шляпёнке и в драповом пальтишке, невзрачный на вид. Некрасов, заметив, что я остановился, пытливо посмотрел на меня.

— Вам меня нужно? — усталым хриплым голосом спросил он.

Я назвался секретарем «Азиатского Вестника» и извинился.

— А, «Азиатский Вестник»! Что нужно от меня «Азиатскому Вестнику»?

Я попросил назначить мне час для переговоров.

— Некогда мне, отцы мои, — просипел Некрасов. — Если стихов нужно — не дам. Не хватает и для себя. Да что это «Азиатский Вестник» охотится за сотрудниками «Отечественных Записок»? Вот вам Демерт. Уж так и быть, возьмите его. Только не всего.

Кивнул своей боярской шапкой, сел в сани и укатил. А я с Демертом остался на панели и от него узнал, что он автор «Внутреннего Обозрения» в «Отечественных Записках». Он увлек меня в ресторан, а из ресторана я привел его к Курочкину.

В этот вечер к Курочкину собралось несколько писателей — его брат Николай, толстый и картавящий старик, критик Чуйко, худенький, щупленький козлик, с парижскими ухватками и поговорками «Ah, parbleu! Ah, sapris ti!»; Пашино, мрачно улыбающийся мертвец, Скабичевский, рыжеватый молодой человек, уже с брюшком, тогда еще учитель гимназии, и еще кто-то...

Ответ Некрасова не понравился Курочкину. Стали перебирать косточки Некрасову, да кстати и всем. Впервые услышал я тут о стихах Некрасова, «Михаилу Архистратигу земли русской» — Михаилу Муравьеву Вешателю. Находили, что Некрасов захвален, что Тургенев пролаза и придворный лизоблюд: приезжая в Петербург, бывает у царей и читает им вслух свои новеллы; что Лесков-Стебницкий получает жалование из Третьего Отделения; что Решетников — горький пьяница, и многое другое узнал я. Почти всё это были сплетни и клевета — результат того недоброжелательства, которое гнездится иногда в самых порядочных кружках, и причиною которого, может-быть, в корне является желание знать возможно ближе своих товарищей, не с худшей, а с лучшей стороны, и отсюда такая придирчивость к ним и к их слабостям. Лесков, разумеется, шпионом не был, Тургенев бывал у «высокопоставленных», но в пролазничестве никто из биографов его не упрекнет, ему и незачем было унижаться; а что касается Некрасова, то гимн его «Вешателю» — факт, вызванный расчетом

спасти «Современник», и, конечно, омрачает память поэта, но в такой степени, в какой то или другое пятно омрачает светозарное солнце. Некрасовым «Современник» не был спасен, страшный Муравьев выслушал оду в Английском клубе из уст поэта и воспользовался случаем унизить его, приняв жертву с холодом, равносильным презрению. За преступлением, таким образом, последовало наказание. Маленькие люди, пережившие Некрасова, к числу их принадлежал и Скабичевский, не могли до конца дней своих забыть этот грех самоотверженного поэта. Но великий коллектив русской общественности учел песни его, звучавшие, как набатный колокол, в самые темные времена нашей социальной истории, и гимн Вешателю рисуется сейчас мне, старику, живущему восьмой десяток лет на свете, как шип терновника, вонзившегося когда-то в чело поэта, украшенное неувядаемыми лаврами.

Так или иначе, в самом Петербурге Некрасов не пользовался таким обаянием и поклонением, не имел такого влияния на интеллигентную молодежь, как в провинции. Тут много было других полубогов, не Курочкиных и не Минаевых, но, во всяком случае, таких вождей, которым верило, за которыми шло молодое поколение, как, например, за Чернышевским; или увлечение ими и любовь к ним внезапно вспыхивали и затем ослабевали. И то, может быть, что мое пребывание в Петербурге совпало уже с другим периодом умственного роста молодежи и вообще интеллигенции. Некрасов уже выполнил свое, так сказать, провиденциальное призвание, созрело брошенное им в землю семя, пустило росток, и история выслала на досмотр за зелеными всходами и на жатву — других работников, не со звонкострунными лирами в руках, а с режущими орудиями и машинами.

Постоянно встречаясь по делам редакции с Курочкиным и немногими постоянными сотрудниками журнала — большинство авторов жило, по разным личным и политическим соображениям, вне Петербурга, а иные в Сибири, например, Ядринцев, Потанин, — я довольно скоро разочаровался в значительности моих секретарских обязанностей и авторитетности редакторов. Пашино чуть не каждый вечер приезжал ко мне на Симеоновскую улицу, куда я перебрался с Кронверкского проспекта, и тягуче рассказывал азиатские анекдоты, угощая меня и Веру Петровну своими пахучими лепешками. После двух или трех угощений мы почувствовали отвращение к лепешкам, от них странно кружилась голова, и явь становилась кошмарной: то стол качался, гравюры, висевшие на стене, спускались до полу; то губы Веры Петровны принимали вертикальное направление; то Пашино делался горбатым, между тем как слова в разговоре получали особый таинственный смысл; когда же мы приходили в себя, то какая-нибудь последняя фраза азиатского путешественника оскорбляла нас своим цинизмом, а он смеялся как-то чересчур громко и страшно.

В общем же Пашино был поразительно туп и мало сведущ. Он был знаком с Чернышевским, и когда мы просили его рассказать о великом человеке, он сообщал нам только пустяки, описывая, какая коляска была у Ольги Сократовны, жены писателя, как Чернышевский, пиша статьи, морил себя голодом, чтобы ничто не мешало полету мысли, какая Ольга Сократовна была легкомысленная; впрочем, и сам Чернышевский любил, чтобы ей было весело, чтобы за ней ухаживали. Бывал Пашино и у азиатских царьков, и у итальянского короля Виктора Эммануила. Добившись аудиенции, на вопрос короля, «что вам нужно», он обратился к его августейшей особе с просьбой подарить ему, известному русскому туристу, на память о драгоценном мгновении, окурок сигары, которую держал король в зубах. Августейшая особа пожала плечами и исполнила просьбу Пашино. Необыкновенный окурок Пашино носил в особом серебряном портсигарчике и показывал. На крышке футлярчика были награвированы год, месяц и число поразительного события. Пашино Вера Петровна перестала принимать. Кстати, он скоро стал избегать свиданья с сотрудниками, задерживая деньги.

Что касается самого Курочкина, то, при всем его литературном вкусе и остроумии, он, в конце концов, стал производить на меня впечатление далеко неглубокого человека. Ради красного словца он, что называется, не пожалел бы и родного отца.

Принес как-то Засодимский роман. Я передал рукопись Курочкину.

— А, Засодимский? Что-с? Ведь он, кажется, сидел в крепости, и тогда был Засодимский, а теперь его выпустили, пора ему подписываться Выпущенский.

О себе Курочкин был чрезвычайно высокого мнения, но ему нужен был слушатель. Он мне читал свои новые переводы из Альфреда де-Виньи. Стихи были прекрасные, но застенчивость и боязнь показаться льстецом заставляли меня молчать под пытливым взглядом его выпуклых глаз.

Курочкин нетерпеливо спрашивал тогда:

— Вы поняли? Усвоили музыку? Может-быть, повторить? Что-с? Сравните с подлинником и скажите, у кого лучше. И, по совести молвить, разве мой русский Беранже не лучше француза? Который из них настоящий? Что-с?

Рукописи прибывали.

— Пошла корюшка! — шутил Курочкин.

Работы было по-горло. Я правил принятые статьи и держал все корректуры. С утра до ночи летал я из одного места в другое. Книжка журнала, наконец, была отпечатана и сброшюрована. Надо отдать справедливость Курочкину: составлена она была недурно. Название «Азиатский Вестник» было истолковано в руководящей статье Шелгунова в том смысле, что журнал, обслуживая интересы русской общественности, не только в Азии,

но и в Европе будет преследовать всё темное, застоявшееся, одряхлевшее, азиатское, что мешает прогрессу, светлой жизни, свободе, цивилизации. Европа будет вдвинута в нашу Азию до последних границ.

У Курочкина состоялись вспрыски, когда вышла книжка, и принятые редакциею статьи были мною приготовлены к печати на вторую книжку. Но когда после нового года я приехал к Пашино получить жалованье, вышла его сестра, в квартире которой помещался его кабинет, и сделала сцену в лице моем «всем либеральным литераторам», которые «подвели» ее брата и «заставили бежать».

— Как подвели? Как бежать? — вскричал я.

— Очень просто, — с негодованием возразила дама. — Ведь, у моего брата нет никаких средств; он болен, у него не прошел еще паралич, и жил он все время на иждивении моего мужа. С каким трудом удалось представить его графу Воронцову и выхлопотать из сумм кабинета субсидию на специальный журнал, который бы поддерживал его, дал бы ему возможность расплатиться с родными! А вы что с ним сделали? Что? Разве это «Азиатский Вестник», а не самый нигилистический журнал? Еще куда ни шло, если бы министр не признался государю, что он предпринял такое полезное издание, и государь, в самом деле, пожелал увидеть журнал...

— Ну, и что же?

— Ну, и что же! Каким вы тоном это говорите! Увидел, и с первой же страницы сказал: «Поздравляю». Но ка̀к сказал? Что нам пришлось пережить, и что услышать лично от адъютачта графа! Ах, какие тут платежи!

Одним словом, «Азиатский Вестник» прекратил существование после первой же книжки. С этим потрясающим известием я примчался к Курочкину. Он призвал свою жену и перед ней развел руками.

— Какова картинка! Что-с? Умре и ни сантима!

Как раз явился Демерт, худой и запыленный. Наталья Романовна стала кричать на мужа:

— С кем ты связался, в самом деле? — И обратившись ко мне: — поезжайте и заложите мою ротонду, за восемьсот рублей. В крайнем случае... Меньше не берите!

— Душенька, ведь, я же могу сам, — начал было Курочкин.

— Чтоб я т е б е доверилась? — угрожающе сказала Наталья Романовна.

— В чем дело?

— Пашино сбежал!

Лицо у Демерта вытянулось.

— Поздравляю!

— Взаимно. Но вы всего не знаете. На журнал-то деньги шли, оказывается, из кабинета или от Воронцова, что все едино-с.

Так что и царь уже поздравил своего любимца, который влопался не лучше нашего. Нет, не мне редактировать субсидируемые журналы.

Стали ругать Пашино. Прибежал Чуйко, схватить «кельк шоз», узнал новость, залился смехом. — «Горьким смехом»», — пояснил он, — потому что у меня хоть шаром...

На следующем свидании своем с Курочкиным я узнал, что он виделся с Некрасовым, и тот сказал ему, что не сомневался в недолговечности журнала, от самого Воронцова знал, где Пашино черпает средства на издание. Воронцов всему свету трубил.

— Почему же вы не предупредили меня, хотя бы через Демерта? — спросил Курочкин.

— А чтобы голодная братия хоть на рюмку водки что-нибудь урвала, и скомпрометировала не себя, а его сиятельство, — ответил Некрасов.

Особенно в тяжелом положении очутился я.

ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ.

1872.

Вера Петровна, при всех ее музыкальных способностях, не могла найти уроки, и, кроме того, мешала развивавшаяся беременность. Родители обещали ей дать такое приданое, какое получила ее сестра Серафима, бывшая замужем за одним малороссийским панком. Об этом панке я знал, что он не только завтракает, обедает, полдничает и ужинает, но еще «полночничает», т.-е. просыпается в час или два ночи и съедает, озаряемый сальной свечкой, рядом со спящей молодой женой, огромный кусок свинины или баранины или «шмат» пирога. В последнее время имение Ивановых, заложенное ими своему сыну, козелецкому уездному врачу, находилось под запрещением, а так как брак уже совершен, то обремененные долгами родители нашли даже излишнею заботу о Вере Петровне. К тому же, на вопрос старика Иванова перед венцом, что̀ я хотел бы получить за женой, я страшно сконфузился и объявил, что цель моего союза с Верой Петровной ничего общего с приданым не имеет.

Одному прожить в Петербурге стало трудно для меня, а вдвоем и тем более. Четырех пятирублевых уроков, которые удалось найти на Петербургской стороне, для чего каждый день приходилось в холодном пальтишке бегать пешком через замерзшую Неву, едва хватало на квартиру. Все было дорого в Петербурге, даже по сравнению с Киевом. Положим, на одном уроке давали обед, и я лично не голодал, но Вера Петровна принуждена была заложить платья, чтобы не умереть. К несчастью, я еще простудился, стал кашлять и по ночам страдал от нервной бессонницы; холодный

пот обливал меня. Пришел знакомый врач, которого я встретил у Льва Гинзбурга, переведшегося в Медицинскую Академию, и покачал головой. Наконец, Ивановы прислали дочери денег. Она выкупила свою бархатную шубку и платья и уехала домой, потому что приближался кризис.

Я вздохнул свободнее, опять перебрался на Петербургскую сторону, в семирублевую теплую комнату, и возобновил занятия химией и другими естественными науками, просиживая, впрочем, вместо университета, целые дни в Публичной Библиотеке.

Лев Гинзбург жил на Николаевской улице, на чердаке, и завел связи с книжными издателями. Он и мне нашел небольшую работу по корректуре естественно-научных книг, бывших тогда в большом ходу. Труд оплачивался скудно, но все же была возможность покупать издания, которые тогда кружок Чайковцев разбрасывал среди студентов партиями по половинной цене. Я приобрел «Азбуку социальных наук», «Положение рабочего класса в России» Флеровского, сочинения Лассаля и еще кое-что.

Кроме Гинзбурга, в Петербург приехали черниговцы Варзер, Иван Чернышев, Капгер и другие. Великолепно помню лица, в ушах еще звучат голоса товарищей, а иные фамилии их никак не ложатся под перо. Большею частью, киевляне, переселившись в Петербург, жили коммунистическими группами. Кто-нибудь из товарищей выбирался в «мамаши», и на него возлагалось хозяйничанье. У технологов, к которым принадлежал Варзер (автор «Хитрой механики», как я уже упоминал), «мамашей» был медик Зубарев, ставший потом известным в Екатеринославе. Чернышев, с лицом очаровательным, которому позавидовала бы любая девушка, известный под именем Ванички, был центром другой коммуны.

На Петербургской стороне молодежь — студенты Попинаки, Суринович, Михайловский, Воскресенский, сестра Суриновича и две барышни с финскими фамилиями, да конторист, влюбленный в одну из них, часто собирались у меня на Съезжинской улице, в полуподвале. Главный интерес наших бесед вертелся вокруг хождения в народ, не с целью подвинуть его на восстание против господ и чиновников, а «единственно с просветительной целью». Кружок находился в связи с кружком Чайковского, пребывавшим в Лесном, через посредство Воскресенского, весьма оригинального молодого человека, у которого на всё были готовые ответы; так, на вопрос: «что такое богословие?», он отвечал: «Искусство или, правильнее, искусное толчение воды в ступе». Бывало, на столике на спиртовке сестра Суринович жарит кусок мяса, сама румяная, с зеленоватым отблеском спиртового пламени на красивом лице, а Михайловский (однофамилец писателя) разносит Попинаки, обвиняя его в трусости и цинизме, Воскресенский уславливается со старшей финкой в ближайший летний месяц отправиться в Ямбургский уезд, а конторист скрежещет зубами и выражает

свое негодование младшей финке; обе они служили в конторе под его начальством.

Посетил раз наш кружок среднего роста молодой человек, с изящными манерами, с добродушной улыбкой на милом лице, со вздернутым носом, и увлек с собою Воскресенского на Выборгскую сторону. Это был князь Кропоткин.

Воскресенский все же водил меня несколько раз в Демидов переулок, где молодым рабочим я прочитал четыре лекции «О происхождении видов». Предполагалось прочитать ряд лекций по естествознанию еще и на Выборгской стороне, но мое материальное положение, и без того незавидное, круто изменилось за выездом на дачу «давальцев». Остался только один гимназистик, которого надо было готовить к экзамену, а получал я за него в месяц всего шесть рублей. В Петербурге уроки расценивались дешевле, чем в Киеве, а в Киеве дешевле, чем в Чернигове. Заработать сто рублей в Петербурге уроками было немыслимо. Зейлерт, таможенный чиновник, отец гимназистика, узнавши о моих трудных обстоятельствах, нашел для меня занятия в экспедиционной конторе купца Беме в портовой таможне, сравнительно с недурным вознаграждением. Я взял место и быстро постиг тайну таможенных объявлений, досмотров, коносаментов и другие секреты.

Работа была дьявольская. Рано утром я уж являлся в таможню, бегал с объявлениями по разным отделениям, старался каллиграфически выводить на особых бланках названия досматриваемых товаров, получал краткий отдых на обеденное время и потом до полночи сидел в частной конторе того же Беме, в Первой линии, разбирая коносаменты и приготовляя объявления на следующий день.

Стояло жаркое лето. Я перебрался ближе к службе, поселился в шестом этаже. И тут мне захотелось как-нибудь забыться от мелких ужасов моей действительности. Я стал писать рассказы и стихи и перестал аккуратно ходить на службу. Беме сам приехал ко мне.

— Что, ви недоволен? Но чем ви недоволен? На носу осень, и вы успеете еще отдохнуть. Ну, хорошо, ви немножко болен. Ну, хорошо, еще три дня отпуск.

Вид у меня был, в самом деле, больной. Купец был так добр, что оставил мне денег и разрешил даже недельный отпуск. А рассказики мои, подписанные разными псевдонимами — помню один из них: Фома Личинкин, — и написанные в том отрывочном стиле, какой впоследствии усвоил себе Дорошевич, я продал в «Петербургский Листок». Денег оказалось столько, что, получив письмо от Веры Петровны, где она убеждала меня приехать в Покровское взглянуть на ее дочь, я послал Беме извинения и отказ и, опасаясь каких-нибудь давлений на мою волю — я имел о ней уже надлежащее представление, — в тот же день взял билет и уехал с вечерним поездом на юг.

В Покровское я приехал рано утром в великолепный день. В Петербурге уже показалась золотая проседь на деревьях, а тут все еще зеленело и цвело. Мальвы (шток-розы) окружали белый дом, резеда надушила хуторской воздух. Кричали птицы, весело лаяли собаки.

Я не сразу узнал Веру Петровну, так она посвежела и располнела. Выскочили ее хорошенькие сестры, ее мамаша, имевшая слабость мешать русские слова с французскими, старый доктор, у которого, несмотря на шестидесятитрехлетний возраст, не было ни одного седого волоса, и прислуга в плахтах и в корсетках. Повеяло родиной, уютом, семьею. Вера Петровна показала мне ребенка с тем горделивым выражением в глазах, какое в таких случаях бывает у матерей. А девочка, кстати, была, в самом деле, хорошенькая.

Неделю провел я в Покровском, и уже собрался в Киев, как начались слезы Веры Петровны и ее мамаши. Жена объявила мне, что ее нельзя покидать теперь, в особенности, когда над фиктивным браком поставлен крест. Одним словом, Вера Петровна изъявила желание, во что бы то ни стало, жить со мною.

В Киев — вместе!

Но в Киеве на какие средства жить? Старики не обеспечили дочь. Сын опутал их векселями и закладною. Уроками я едва поддержал бы наше бренное бытие; либеральная пресса была под запретом, а в консервативном «Киевлянине» сотрудничать я не мог.

Из затруднения вывел нас приезд Ситенского. Он был в Киеве и попутно заехал к Александре и Вере Петровнам. Александра Петровна, кстати, должна была выйти за брата его жены, Колю Матвеевского, восемнадцати лет, а самой Александре Петровне, правда, очень моложавой и красивой, шел уже тридцатый год.

— Помилуйте, — сказал Ситенский, — какой тут Киев! У Веры Петровны насиженное место. Ей прямой расчет вернуться в Чернигов и возобновить свою полезную деятельность. Будет и квартира, и стол. А вам, как ее мужу, не следует разъединяться. Вы подготовитесь, не заботясь о куске хлеба, к окончательному экзамену. Да у вас найдутся и занятия, и педагогические и служебные. Почему же нет? Даю вам слово, что вас сейчас же устрою на то место, которое теперь сам занимаю. Вы будете помощником секретаря губернского акцизного управления. Служба либеральная. Я за вас могу поручиться перед начальством и буду руководить вами на первых порах, так как сам я получаю повышение и временно становлюсь секретарем... до следующего этапа.

Согласиться было еще горшим падением, чем конторское рабство у экспедитора Беме, но из песни слова не выкинешь. Я пал. Я два дня думал и пал. И вместе с Ситенским уехал в Чернигов, куда, вслед за мною, приехала и Вера Петровна с ребенком.

ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ.

1872.

Нам отвели две комнаты внизу двухъэтажного флигеля, занятого вверху дортуарами живущих девочек. Внизу помещалась еще комната Коли Матвеевского, большая классная для музицирования, и прислуга.

Обязанности мои в пансионе, где жалования я не получал, пользуясь квартирой и столом, состояли в чтении старшим девочкам химии, физики и минералогии.

Конечно, в Чернигове я первым делом побывал у родных. Но Катя уехала в Москву с мужем, получившим там видную должность по крестьянскому делу. Саша тоже не стала курсисткой, а увезена была мужем в Черный Яр (Астраханской губ.), по месту его службы. Отец же был на вершине успеха. Опять завелась у него сверкающая обстановка, и запахло пуншем по вечерам.

Когда занятия в пансионе вечером прекращались, в наших комнатах, в нижнем этаже, загорались лампы, начинались упражнения на двух роялях, так что несчастный ребенок стал, наконец, глохнуть от «музыкального» грохота. А после я и Вера Петровна превращались в пророков и проповедников новой общественности и читали нескольким девочкам, прибегавшим по секрету из дортуаров послушать,— «Что делать», в нашем толковании, или перевод мой какой-нибудь главы из Ренана, или главы из Дарвина. Когда же материал стал самим лекторам набивать оскомину, я принялся сочинять короткие повести с «начинкою», что вызвало еще больший интерес к нашим полуночным заседаниям.

Сверху, безмолвно сговорившись все держать в тайне, к нам спускались, набираясь храбрости, и другие ученицы, да и со стороны приходили гимназисты и гимназистки из посторонних общих квартир, пользовавшихся в этом отношении большей свободой, чем та, которая допускалась чопорным заведением Ситенской. Иногда собиралось человек двадцать гостей. Даже стала принимать участие в собраниях и Ольга Ивановна, прикомандированная к дортуарам. Сборищу нашему было придумано название «Улей».

Губернское Акцизное Управление помещалось над обрывом в старом деревянном барском доме заурядного помещичьего стиля, с четырьмя колоннами, с мезонином, с подъездом и садом. При входе в передней вставал гоголевский Петрушка и обдавал вас своеобразным запахом, хотя он уже занимал должность вахмистра и мог бы завести другой запах.

В большой комнате у огромных окон за столиками попарно сидели молодые люди и усердно писали, следя за каждой выводимой ими буквой кончиком языка. У того писца, который что-то заносил в толстую книгу гусиным пером, волосы, ежиком, были седые,

*

одно плечо выше другого. Поодаль на более почетном месте зеленел стол для секретаря и его помощника. Прямо дверь вела в кабинет управляющего.

Ситенский ввел меня к нему. Я увидел человека лет тридцати пяти с легкомысленным лицом кавалерийского полковника, которому смертельно надоел уже штатский костюм, напяленный на него с обязательством получать за это двенадцать тысяч рублей в год; усы были длинные, желтые, как два лисьих хвоста. Он курил сигару и был настолько любезен, что сам подвинул мне стул. Фамилия его была Гебель, родом — из остзейских дворян.

С первого же с ним разговора мне стало ясно, что он в акцизном деле смыслит столько же, сколько и я. И когда я, совершенно случайно еще в Петербурге перед отъездом, в конторе Беме, вычитав из технического немецкого журнала о контрольном снаряде, упомянул о нем и на бумаге тут же сделал приблизительный чертеж усовершенствованного прибора, Гебель ударил себя по лбу рукой (с хорошим бриллиантовым перстнем и с сердоликовой гербовой печатью) и сказал Ситенскому:

— О, как есть жаль, что мы раньше уже не выписывали молодой шеловек на должность младший ревизор! Но, все равно, молодой шеловек, ви прямо приступайт на помощник секретарь. А ви ему, господин Ситенски, прямо помогайть.

Он пожал мне руку и передал кучу пересмотренных им бумаг в папке с печатной надписью: «К исполнению».

— Ну, я от всей души рад, — начал Ситенский, садясь со мной за секретарский стол. — Знаете, что требуется здесь, главное, необыкновенная аккуратность: ровно в девять часов быть на службе и ровно в два уходить, даже на полуслове обрывая работу. Обязанность секретаря получать почту и класть на стол управляющему, которому, обыкновенно, трудно понять, в чем дело, и он важно ждет объяснений. Секретарь разъясняет, ссылаясь иногда на законы, которые управляющий называет циркулярами — что надо иметь в виду. По выслушании объяснений, сделанных секретарем, управляющий закуривает лучшую свою сигару и пишет на полях бумаг те или другие резолюции, большею частью карандашом. При некоторой неуверенности, какую резолюцию положить, управляющий ставит вопросительный знак, но не любит, когда к нему кто-либо из секретарского стола обратится с вопросом, что́ означает знак. Я полагаю потому, что и сам управляющий не смотрит на вопросительный знак иначе, чем мы с вами. Вопросительный знак есть вопросительный знак. Хуже, когда на бумаге окажется немецкое восклицание, в роде «um Haar!». Предместник мой целый год бился над такой резолюцией и, наконец, дерзнул вторично доложить бумагу. Эмиль Германович рассмеялся и пояснил: «Это есть ни бельмес. Это есть — не до тонкость». Вообще вам придется, в качестве помощника секретаря, т.-е. ведающего литературную сторону дела, а не спекулятивную, разбираться неоднократно в начальственных иероглифах, но при вашей приобретенной в литературных и педагогических трудах сноровке и привычке к анализу и при некотором вашем веселонравии, вы сумеете в несколько дней завоевать губернское акцизное управление.

Стал я разбирать бумаги, прошедшие сквозь горнило начальнического усмотрения. Первая же резолюция смутила меня. Я пожал плечами.

— Позвольте представиться, регистратор такой-то; напоролись, а? — тихо спросил старичок, подкравшись ко мне.

— В самом деле, я... что это значит: «О, температур! О, Мэри»?

Старичок залился беззвучным смехом.

— Речь идет о градусах вина и о незаконных мерах. Начальника надо понимать! У них свой словарь.

— А «куроповодству»?

— Значит, к руководству. Они выговорить не могут, как они есть немцы. А случается, и просто напишут: к куроводству.

Я и не заметил, как втянулся в чиновную обыденщину. Огромный день, после двух часов, чиновники заполняли послеобеденным сном, а, просыпаясь, играли друг у друга в карты, пьянствовали, околачивались в клубе. У меня лично не было тяги к такой жизни. Я не оставлял мысли о кандидатском экзамене, много читал, выписал «Отечественные Записки» и «Знание», некоторые заграничные журналы, изучал Геккеля, Дарвина и других эволюционистов, занимался в пансионе с классом и с «подпольным» «Ульем». А все же нельзя было совершенно уклониться от общего пути: я должен был принимать приглашения на вечера; раза четыре в месяц устраивались пиры у Гебеля, у сослуживцев; пышные вечеринки «светского тона», по обычаям местного грануонда, задавали Ситенские, предприятие которых приносило большой доход. Кстати, Ситенский не засиделся на секретарской должности; Гебель назначил его в уезд разъездным чиновником, а секретарем и моим непосредственным начальником стал некто Котюхов из судебных следователей. Он был юмористически настроен против немцев и с первого же дня стал изводить начальника «серьезными докладами», начиненными ссылками на законы, чего тот терпеть не мог, вдруг срывался и убегал домой, а управление превращалось в утренний раут. Подавали чай, бутерброды, читалась какая-нибудь статья, о которой спорили, но, большею частью, пережевывали то или другое событие местной жизни или вспоминали подробности вчерашней пульки. Сплетничали до утомления, но преимущественно о сильных мира: о губернаторе, о «полковнике», об управляющем казенною палатой, любителе выдавать молодых девушек за своих писцов с повышением последних по службе, в виде как бы приданого. К двум часам, к шапочному разбору, приезжал Гебель, и чиновники разбегались и хватались за перья; у Гебеля был тоже озабоченный, ужасно деловой вид.

Бывал я в гостях не только у акцизников; у слепого поэта-баснописца Леонида Глибова, у старика Гофштетера, советника контрольной палаты, у ссыльного студента Шрага, в библиотеке Тычинского, и отводил там душу в более чистой атмосфере, хотя и отравленной: любили черниговские либералы «заложить за галстух». У Шрага и у Гофштетера познакомился я, между прочим, с седневским помещиком Дмитрием Лизогубом, очень молодым человеком, о котором надо сказать несколько слов сейчас.

Повидимому, на Лизогуба большое влияние когда-то оказал Гофштетер. Этому Гофштетеру было не больше сорока пяти лет, но он был сед и казался стариком. Опрощение проповедывал он задолго до Толстого. Одевался в грубое сукно, так что штаны его, будучи сняты, могли быть поставлены на пол и не гнулись; дом у него тоже был «простой»: ни ложки, ни плошки; булку и колбасу ломали и ели «руками», из вечно кипевшего самовара наливали воду, кто в туалетный стакан, кто в глиняный горшочек, водку пили «нахилом» — прямо из горлышка бутылки. У него был сын, атлет, Василий, по прозвищу Василиса, великий отрицатель, но и великий лентяй, предпочитавший не говорить, а мычать; Гончаров, словно с него, списал своего Марка Волохова; как-то Василий плыл по Волге вслед за пароходом, восемнадцать часов, во всех газетах печатались тогда о нем телеграммы. Впоследствии он, в начале двадцатого века, стал в Екатеринославе деятельным членом Союза Русского Народа. Другой сын Гофштетера в девяностых годах писал «талантливые» статьи в «Новом Времени» — и в том же духе. Гофштетер-старик сродни был писателю Елисееву.

Лизогуб, бывая у старика Гофштетера, дом которого всегда был полон молодежи, сплошь находившейся под тайным надзором полиции, принял его учение об опрощении, но и только. Был он аскетически настроен: вот был Рахметов не ради моды, а по натуре, и все, что было для него, как Рахметова, подходящим, сразу им воспринималось. Он себе тоже построил такие же страшные штаны и начал носить пиджак из крестьянской домотканки. В нем было что-то младенчески чистое, и верил он людям беззаветно. Богат он был очень; около него вертелись разные подлипалы, и в числе их некто Дрига, которому он поручил управление своими делами, и даже имение, в конце концов, перевел на его имя. Гофштетер-папаша, проповедуя опрощение, имел в виду личное усовершенствование, но в программу его этики не входило служение народу, а если и была у него речь об этом, то с точки зрения воспитания «младшего брата» личным примером: я должен быть образцом хорошего человека, и тут весь подвиг; а если я не пью шампанского, а хлещу пиво и накачиваюсь водкой, то уже и это хорошо для начала. Лизогуб ограничивал себя во всем: водки и пива не пил, был трезвенником и девственником и уже посмеивался над эгоистической базаровщиной. Василий Гофштетер, чтоб «огорошить чистоплюя», мог поймать на себе или на скатерти муху и проглотить ее «по-собачьи» — не на самом деле, конечно, а симулируя эту гнусную операцию. Лизогуба Василий не мог подбить на такое издевательство над человеческой брезгливостью, хотя и советовал ему на обеде у предводителя дворянства отрезать себя таким способом от «шайки чистоплюев» раз навсегда. Лизогуб нашел скоро способ иначе «отрезать себя».

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ.

1872.

Весною Ситенская, вместе с г-жею Ханенко, знатной благотворительной дамой, внезапно вошла, в мое отсутствие, к Вере Петровне и застала ее окруженною ученицами и читающею им вслух самую острую главу из пресловутого сочинения Бюхнера, в моем переводе и с моими комментариями, — о том, что бога нет.

— Слушайте, Вера, — прервала Ситенская сухо и злостно, как она умела говорить, когда в ней просыпалась «хозяйка», — мне настала пора с вами и с вашим мужем расстаться. Я не могу допустить у себя таких чтений. Я и так долго терпела. Ужели вы хотите, чтоб правительство закрыло пансион?

— Да, с этим, душечка, надо покончить, — подтвердила г-жа Ханенко.

Вечером Ситенская сообщила мне, что по городу ходят, как видите, основательные слухи — «справьтесь сами у m-me Ханенко», — и что лучше всего, если я перенесу собрания на вольную квартиру; а еще лучше и совсем их нигде не продолжать.

Не ожидал я, что Вера Петровна проявит в этом случае столько благородного бунтарства: она поссорилась с Ситенской, отказалась за себя и за меня от уроков у нее; и на другой же день мы наняли хорошенький особнячок с садиком за семь рублей в месяц и омеблировали его на деньги, которые я получил по почте за свои статьи в «Киевском Телеграфе», новой либеральной газете, с украинофильским направлением.

На лето Вера Петровна с ребенком отправилась в Покровское к матери, а мне, уезжая, призналась, что беременна.

Я остался один в квартире на окраине, близ острога. Зеленели огороды, щебетали воробьи, и гремели зори, отбиваемые утром и вечером в тюремном замке.

Началась ко мне тяга: едва приду из управления, как уже сидят у меня «чающие движения воды» — гимназисты, гимназистки.

«Улей» опять стал работать. А под окнами во время наших бесед сновали странные фигуры. Сам хозяин дома, живший

рядом во флигеле, Иван Иванович прикладывал поздними вечерами ухо к стене; не раз заставали его за этим милым делом. Этак через месяц посетил меня адъютант жандармского полковника Рошет и отрекомендовался «жаждущим знакомства с избранной молодежью». Было тогда немного народу, что-то человек семь.

— Да вы, господа, не смущайтесь, что на мне белые аксельбанты, — заговорил Рошет, — я всей душой за прогресс. Кажется, Гексли? «Человек»? Знаю, знаю, полезно познакомиться. От обезьяны происходим, что делать. Это вы изволите реферировать? А нельзя ли взглянуть вообще на вашу библиотеку? Все по естествознанию? А Бакунина нет? Хотите, я вам дам? Не беспокойтесь. В случае чего, я на себя же и донесу. Так и так, мол, дал Бакунина и имел счастье присутствовать при отрицательном разборе его воззрений в передовом кружке.

Пел Рошет, а пчелы из «Улья» одна за другой улетали, и мы очутились с ним вдвоем.

— Вот как! — рассмеялся он. — Боятся нашего брата. По совести должен вам сказать, что мне поручено сделать у вас обыск; но я удовлетворен. У меня наметаный глаз. И какие прелестные мордочки!

Утром я взял двухнедельный отпуск и, по письму Веры Петровны, отправился за нею в Покровское.

«Улей» мы упразднили.

В Чернигове девочка, такая свежая и крепенькая в деревне, быстро стала хиреть, с нею сделались судороги, она умерла. Я положил ее в кроватку и осыпал цветами. Она странно вытянулась. Вера Петровна не проронила слезинки.

Осенью у нас поселились сестренки Веры Петровны, Наденька и Машенька, обе милые девочки, и приехала из деревни прислуга. Стал я, таким образом, главою семейства. Зажили мы настоящею мещанскою жизнью.

На осеннем празднике годовщины Киевского университета собрались в местном клубе киевские студенты. Тут я встретился с моими товарищами, уже окончившими курс. Рашевский и Шраг познакомили меня с земцами — с Милорадовичем, Карпинским и другими. Мы составили свой круг за столом. Лилось шампанское, лились речи. Карпинский произнес громовое слово о голодающих крестьянах северных уездов, и мне было поручено собрать пожертвования в их пользу, тут же, не откладывая в долгий ящик. Вообще же официально было запрещено говорить о голоде. Много ассигнаций накидали мне в шапку; отказался пожертвовать лишь помещик одного из северных уездов, прокурор Скаржинский, анекдотический скупец. Я вынул из кармана рубль и предложил ему взаймы. Раздались рукоплескания. Земцы окружили меня и благодарили. Скаржинский, отчаянный ретроград, был всем ненавистен. Героем вернулся я к себе на рассвете.

Но что было утром, вечером, в следующие дни! Пристав прискакал за мной и отвез к губернатору Панчулидзеву. Панчулидзев был рыхлый старик, обыгрывавший местных богатых купцов и подрядчиков в карты. Он начал грозно:

— Молодой писатель — и такой срам! Я вас вышлю! Я не имею права бездействовать... И, боже сохрани, если в газетах появится об этой истории корреспонденция! Вы будете отрешены от должности. В городе вам нет места!

— Слушаю. Куда прикажете ехать?

— Молчать, дерзкий юноша! Садитесь! Скажите откровенно — оскорбление, нанесенное вами почтеннейшему представителю нашего дворянства и некоторым образом сановнику, было результатом предварительного сговора?.. Кто да кто — ах, уж эти мне земцы! — подговорил вас? У них личные счеты, им лишь бы уронить противника... Карпинский, например... Вы давно знакомы с этим запевалой земской смуты?.. А?.

— Вчера увидел его в первый раз.

— Он председатель губернской земской управы. Я им не прощу! Я их не пощажу! Но вас жаль. Итак, вы не хотите быть высланным в Мглин, где мужики жрут будто бы рукавицы и шапки?

Губернатор развел руками.

— Кстати, вы изволили сочинить эту басню?

— В Мглинском уезде, действительно, голодают.

— И хоть бы тень раскаяния! А ведь еще вчера наш дамский комитет... и моя жена, как председательница... В числе других молодых людей намечены и вы... Задуман благотворительный спектакль. Нужны силы, и на вас рассчитывали. Вы могли бы употребить ваше перо не на описание юмористического пожирания мужичьем шапок и рукавиц!

Я молчал. Показать, что меня подвели земцы, я, по совести, не мог.

— Но ведь вам земцы аплодировали, когда вы совершили ваш неблаговидный поступок?

— Вся зала зашумела... И со мной стали чокаться... И даже вице-губернатор.

— Гм. Вы были пьяны?

— Нет.

— Но вы пили?

— Как все — шампанское.

— Хамы набивают себе брюхо вареными голеницами, а господа либералы запивают их голод шампанским! — вскричал губернатор.

— Вы правы, — сказал я. — Разрешите воспользоваться вашим сопоставлением.

— Что-о?

— Сто́ит целого фельетона, ваше превосходительство.

— Как вы со мной разговариваете? Нет, не разрешаю. Уходите и ждите, чем кончится ваш пассаж.

В управлении Гебель напал на меня со всем комизмом своего начальнического негодования.

— Я в сей минут брал за вас извинений у прокурор Скаржинский. Но если губернатор запороскудит, подавайть отставка!

Приехал Карпинский ко мне — типичный хохол с глазами на выкате, светлоусый и хитроумный либерал, высокий и красивый.

— Хоть и не понравится вам, но вы должны, — сказал он мне, — завтра побывать у Скаржинского и нас, земцев, выгородить. Вы поступили превосходно, того требовала политика. Протест, на который мы вас не уполномочивали, сделан. Но теперь еще нужна личная ваша жертва. Извинитесь. Чорт с ним, он вредный человек.

Я уперся. Выручил отец. Поехал, и Скаржинский, его старый знакомый, махнул на меня рукой. Лишь бы в газетах не тиснули, да еще с прикрасами. Губернатор еще раз потребовал меня к себе и взял слово, что в газетах я своим «подвигом» не похвастаюсь. Слово я сдержал — и кончилось.

Мать в это время гостила в Москве у Кати. А когда вернулась, захотела взглянуть на житье Саши в Черном Яру. Там пробыла около недели. Возвратившись, заболела тифом. И пока болела и умирала, пришла телеграмма от Лабунского, что Саша внезапно скончалась. В Чернигове осенью, да в феврале и в марте, всегда размахивала косою смерть — не поддается описанию черниговская грязь; речная вода становилась на вид мутным настоем крепкого чаю и воняла. Я принял последний вздох матери — было это раннею весною — и, примчавшись на извозчике домой, принял и первый крик первого моего сына. Вера Петровна родила. Сестрицы бросились меня бешено целовать. Я отрывал их от себя, а Вера Петровна, благополучная и веселая, лежа в кровати, говорила:

— Ничего, ничего, помучайте его!

Мальчик орал. Пахло ромашкой.

Так смерть и жизнь встретились и сплелись в один таинственный узор.

Я похоронил мать на свой счет. Отец потребовал, чтобы семья моя переселилась к нему в осиротевший дом. Нужна была хозяйка. Но Вера Петровна вела наше маленькое и скромное хозяйство экономно, а отец привык жить широко. И, когда он предъявил расходную книгу нам и сказал, что половина бюджета (вдвое превосходившая мои заработки) лежит на мне, мы разошлись.

После крестин сына Иеронима Вера Петровна уехала с ребенком в деревню. Уехали вслед за нею и обе сестрицы, покончив с гимназиею. Я остался в одиночестве, нанявши флигелек у старого Варзера, и сблизился с Павлом Фомичем Байдаковским.

Душно становилось в Чернигове. «Хоть гирше, абы инше». Мечтал я, что хорошо было бы даже, если бы вдруг губернатор меня, в самом деле, куда-нибудь выслал. Не было воли самому все бросить и уехать. Семья была. Не добродетель удерживала меня, не уважение к «священным правам» Веры Петровны, как жены, а не было решимости, становилось совестно при мысли, что я, в заботе о личном счастье, о независимости, о радости работать только для себя и для науки (я не покидал надежды), брошу вдруг жену, дружески ко мне настроенную, разделяющую мои взгляды и даже родившую уже мне сына. Не для семьи ли я должен покорно нести, добровольно надетое на себя ярмо, какое несут Котюхов, Ситенский и другие чиновники? Если бы еще кто толкнул меня, если бы кто взял меня за руку и вырвал из этой среды, помог бы мне вытащить ноги из засасывающего болота!..

Тоскуя о новой жизни, я менял квартиры. В короткое время я переменил, по крайней мере, десять квартир. Вера Петровна то приезжала, то уезжала, видела, что я терзаюсь, что я холоден к ней, и все же было у ней доброе и, во всяком случае, неэгоистическое чувство, когда она, заметив склонность ко мне только-что окончившей гимназию девушки Катри Г., бывшей моей ученицы в пансионе, с которой я часто вместе читал и просиживал вечера, сказала однажды:

— Дети, вы любите друг друга — любите, но только не попадитесь.

Катря была исключительная девушка, умненькая, с художественным инстинктом, «новая», жаждавшая самостоятельной жизни, и, несмотря на свои восемнадцать лет, казалась твердой и непреклонной натурой; а на самом деле, она в такой же слабой степени обладала волей, как и я, и «карахтера» у ней не было так же, как и у меня. Мы уцепились друг за друга. Вера Петровна открыла нам глаза на наши отношения, и вспыхнул пламень с неожиданной силой. Конечно, девушка с золотыми волосами и большими серыми глазами, с ее мягким полтавским акцентом, с тоненькой шейкой и с тоненькими руками стала для меня путеводной звездой. И такою же звездою стал для нее я.

Мы условились уехать из Чернигова, и куда же, как не в Петербург? В особенности созрело наше решение уехать после одной безумной, целомудренной ночи, напролет бессонной, проведенной нами весной в пустой квартире. Яркие планы совместной работы носились перед нами. Звездный свет пронизывал и окрылял наши вдохновения и поцелуи.

Однако, не только звезды видели нас, но увидели и глаза обывателей. Быстро распространилась сплетня по Чернигову. Приехали братья Катри, степные помещики, при виде которых бедняжка сомлела; мне предложили стреляться. Я принял вызов, но они не стали дожидаться поединка — «можно потом», и увезли Катрю. Самое мучительное для меня было, что ее воору-

жили против меня. Я получил от нее суровое письмо; я не выказал достаточно мужества, не защитил ее и допустил увезти, как овцу. Я бросился на другой день за нею, но она прислала с подругою на постоялый двор приказ — забыть ее. Я написал ее братьям, те не ответили. Катря в последний раз нацарапала мне карандашом: «Вот вам тема для будущей повести, а меня оставьте». Я послал тарантас вперед, сам пошел пешком, упал в поле на землю и долго плакал. Повесть же... я, действительно, напечатал в 1881 году в «Вестнике Европы» («Бунт Ивана Ивановича»). О ней Чехов потом говорил мне, что она дала ему мысль написать своего «Иванова», возведя безвольного русского человека в «перл создания».

Развязка моего романа с Катрей заставила меня вдруг морально опуститься. Я стал курить так много, что сделалась дрожь в руках. Никогда не пил, а вдруг потянуло. По ночам я приезжал из театра с коньячным шумом и звоном в голове. Гадко, но наклонная плоскость звала дальше, я катился вниз. Чувственные образы соблазняли меня, как бесы святого Антония. Неудовлетворенное сердце томилось, искало, быстро находило и еще быстрее теряло. Иногда отражение моего собственного лица в стеклах книжного шкафа фантастически преображалось в лицо Катри — до галлюцинирования. Добрые и красивые женщины, если посещали меня, то вдвоем-втроем, чтоб не подать повода к злословию; мужья и отцы боялись меня.

— Послушайте, синьор,—распекал меня Байдаковский.—Когда девушка поскользнулась, все бросаются ухаживать за нею, начинается собачья свадьба. Но и кавалер, в роде вас, некоторым образом поскользнувшийся на попытке лизнуть горячую сковороду, тоже становится центром публичного внимания со стороны не очень стойких сердец. Уйдите вы куда-нибудь к чорту. Ну, разошлись с женою, сделайте экскурсию в народ. Некрасов, все Некрасов, да «косточки русские», да проклятия «стану ликующих», а на деле всё «шубки и беседки, губки и соседки». Пора наплевать на себя.

Уже тогда молодежь вышучивала жалобы на «заедание средой», но в действительности среда была сильна. Вчера я сторонился чиновничества, а сегодня я чиновник; был против брака, а стал мужем; мне противно было циническое отношение одного моего знакомого князька к женщине, а разве я уже не на его дороге? Разве я не ложусь и не встаю с легкими мыслями, чтоб заглушить боль на дне души? Князек пуст, но, может-быть, и у него есть, о чем скорбеть и болеть душой. И когда, призванный к производству переписи, я вошел утром во флигелек казначея Товстолеса и застал там Настеньку, уже замужнюю, разве я не повел себя с бесцеремонностью князька? Куда девалась моя чистота, моя рахметовщина?

Теплой осенью я с маленькой котомкой за плечами, в которой лежало несколько подпольных брошюр, и с двухстволкой, в высоких сапогах и с ягдташем для дичи, пошел пешком, куда глаза глядят. Было это перед вечером. Я бодро сделал верст пятнадцать, и смерклось, когда я вошел в хату крестьянина. Малоросс ничему не удивляется; естественно, к тому же, было, что городской «панич», охотник, собрался пострелять дичь на одном из ближних болот. Хорошо, что я не переодевался — было бы труднее играть комедию. Приняли меня хозяева — он и его жена — радушно, накормили сметаной и вареным салом с чесноком, а потом мы посидели на завалинке и стали балакать «про тэ, про сэ, про инше». Я свернул беседу на наделы, но мне хозяин возразил, что он, «хвалить бога», не нуждается в земле.

Я заснул на сеновале. Утром, чуть свет, встал и к полудню очутился в другом селе. К ягдташу прицеплено было три убитых мною по дороге диких голубя. Встретили меня в этом селе не столь радушно: я попал к бедному мужику, измученному недоимками и работой. Но и «горилкой» воняло в его хате. Я дал ему денег; жена его принесла сахару, чаю, бубликов и зажарила мою дичь. Зато хозяин, на соболезнование мое его бедности, живо откликнулся. Я обрадовался и стал его настраивать против местного помещика.

— Я ему сено спалю! — вскричал бедняк и осушил стаканчик водки, купленной на мои деньги. — Не я буду, спалю!

Читать мою литературу он, однако, отказался за неграмотностью — «не про нас писано». Я все же был доволен результатом, хотя и старался отклонить его от пагубного намерения поджечь помещичье сено.

Вышел я от крестьянина и, проходя мимо усадьбы, был вдруг облаян собаками. Меня настиг молодой господин в венгерской куртке, хлыстом разогнал собак и отрекомендовался.

— Землевладелец здешних мест П.

Я назвал себя вымышленным именем.

— Охотитесь? Забрели к нам? Где-нибудь по соседству купили хуторок?.. Я покажу вам болото, где отменная утка. Охотно присоединяюсь. Но сначала милости просим к нам откушать. Нет, нет, не отпущу. Иначе, ей, ей, собаками затравлю. Я такой! Отчаянный! Да и Фимочка будет огорчена, жена моя... Она увидела вас еще из сада. Скорей, скорей, пригласи, говорит... Он такой distingué. Ей, ей, так и выразилась. Она у меня в пансионе Ситенской воспитывалась. С лица не вышла, а души золотой. Вы изволите, конечно, бывать в Чернигове?

Наверно я бы еще от него отвязался, в особенности при упоминании о Ситенской, но золотая душа уже бегом мчалась ко мне.

— Как я рада — вы?

— Фимочка, ты знакома? Каким образом?

— Да я кончала, а он был моим учителем минера-лл-логии.

Она схватила меня под одну руку, он под другую, собаки весело последовали за нами, и я, со своим разоблаченным псевдо-

нимом, был немедленно водворен в уютную комнату, кабинет помещика, украшенный литографированными портретами собак и голых красавиц.

Фимочка, полная дамочка, с жидкими кудерками и ясными детскими глазами, сказала мне шопотом за вечерним чаем, что она сразу догадалась, куда и зачем я иду, и что она больше чем сочувствует мне.

— О, народ надо освободить! Ему нужна конституция и революция. Если бы Павлик позволил, я пошла бы с вами.

Павлик тоже был либерально настроен; он продекламировал «Парадный подъезд» и с таким чувством, что даже смахнул слезу.

Я слушал, смотрел, и меня терзала совесть — вдруг вспыхнет сено, стогами возвышавшееся на лугу, розовевшем вдали. Но сено, к счастью, не вспыхнуло.

Революционную брошюру Фимочка выпросила на память, когда через день я уходил от восторженных супругов.

— Мы—ваши! На нас, как на каменную гору!—твердили они.

Я дал им еще одну брошюру. Павлик дотронулся до нее, обжег пальцы и с благоговением передал Фимочке, а она, пробежав заголовок и взглянув на меня, поцеловала ее.

Минул я потом, в течение недели, несколько деревень. Оказалось, что я уже далеко за городом Козельцем. Погода стояла дивная.

Везде крестьяне не без юмористической (себе на уме) усмешки принимали меня, соглашались со мной, что их положение тяжкое, но в ответ на резкие мнения мои о том, как избежать «царюющего зла», качали головой и переглядывались.

— Что же, у вас есть бумаги от царя на прирезку? — спрашивал меня, кто посолиднее.

В своем порыве «пасть на грудь младшему брату» (мне еще не приходило в голову считать крестьянина «старшим братом») и заслужить его доверие, я завел речь о моей приписке к сельскому обществу.

— Документы е?

— Найдутся.

— Такие ж, как бумага от царя?

— Бумагу я вам представлю.

— Добре. Сколько дасте?

Надо было внести вступные и купить громаде (миру) ведро водки. Вступных запросили много, потом спустили, затем пообещали обождать, а водку я поставил. Но хитрее меня были крестьяне. Подозрительно отнеслись они ко мне с самого начала и, пока пили мою водку, послали за попом. Одним словом, я перегнул палку. Поп меня арестовал, усадил в бричку и с сотским послал к становому.

Благословенное козелецкое захолустье еще не знало хождения в народ. Мой «приличный» вид и краткий отпуск, данный Гебелем для следования на хутор Покровское, смутил станового.

— Конечно, конечно, шутка, так сказать, желание, свойственное писателям... Я читывал, как же, ваши статейки в «Киевском Вестнике». Приятно-с. Но у нас не безопасно путешествие per pedes apostolorum, — блеснул становой ученостью. — Вот видите сами; а мужик — подлец, ему лишь бы нализаться. И к тому же тут без начальства, действительно, невозможно было бы... Изволите описать происшествие, по всей вероятности? Я бы вас, для видимости, попросил пообождать до вечера, а на ночь я дам вам лошадку, и с богом. В Чернигове кланяйтесь вашему папаше, у которого я когда-то служил помощником; напомните им.

Я предложил становому обыскать меня — поп мог донести и на станового. Брошюры же у меня уже не было ни одной. Последнюю из них парень, которому я дал, употребил на моих глазах на цыгарку. Я был чист. Становой при сотском осмотрел мою котомку.

В Чернигове Байдаковский, когда я ему рассказал о моих приключениях в народе, назвал мое хождение в народ «хождением по глупостям».

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ.

1873 — 1875.

Моральное удушье угнетало меня в городе. «Хождение по глупостям» не освежило, но показало только, что нужно «что-то другое». Я возненавидел службу и являлся в управление через день, через два. Актер Шатилов пришел ко мне познакомиться. Я написал для него комедийку, довольно дурацкую, но она имела успех и поправила дела Шатилова. Стали «вешаться» ко мне «на шею» актрисы. Были скучны, но все-таки умнее местных дам.

Сестра Варенька, самая младшая — ей было лет четырнадцать, — пришла ко мне в мое отсутствие и выцарапала глаза на портрете Кати, как «разлучницы». Огорчило это меня невероятно. Пахнуло страшным прошлым, чем-то колдовски-гнусным. Дома на мой протест посмеялись отец и братья. Я перестал у них бывать.

Бывало, сижу у себя на квартире в полуподвальном этаже. Вечер; темно и грязно на улице; пишу стихи. На преклонение перед Писаревым отрицательно подействовал все тот же Байдаковский: он указал мне на множество противоречий, у «великого молодого человека», как он его называл, и заставил меня перечитать Пушкина, Лермонтова, Тютчева и Фета. Итак, сижу и пишу. Вдруг, извозчик — влетает «человек» от адвоката Мышковского. Еду. У него вино, мировой судья Поляков, черный, как цыган, толстый судебный пристав, проститутка по прозвищу «Герцогиня», она же поставщица невинностей из приюта, богатый еврей Дворкин, с цепочкою вдоль живота, похожею на связку подсвечников, сам хозяин, сытый, довольный, пошедший в гору, над всем издевается,

острит, рассказывает анекдоты, циник. Становится сразу тоскливо. Исчезаю.

В другой вечер меня забирает к себе генерал Новоселов, с которым я познакомился в театре, и держит до полуночи, сообщая мельчайшие подробности своей жизни. Молодцеватый этот генерал, напоминающий собою в то же время откупоренную бутылку портвейна, человек интересный. Он был плац-майором Петропавловской крепости в бытность там Михайлова и Чернышевского. Письма Михайлова к любимой им Шелгуновой (жене Н. В.), писанные карандашом, Новоселов передал мне, а я потом напечатал их в «Неделе» Гайдебурова. К Чернышевскому генерал относился «с почтением». По его словам, жизнь Чернышевского в каземате была обставлена комфортабельно; он получал отличный стол, у него было белье, постель, письменные принадлежности, и плац-майор часто приглашал его к себе в гости. Всю ночь ему разрешалось писать при стеариновых свечах, и доставлялись книги, тем более, что был приказ генерал-губернатора Суворова не стеснять писателя.

В третьем месте я бывал у актера Шатилова. Тоже оригинальный был мир. Жена его — дочь поэта Алмазова. Была она неглупая женщина и рассказала мне много смешного из анекдотической истории московской литературной богемы шестидесятых годов. У ней был восьмилетний сын, урод, с огромной головой; любила она его до самозабвения. Она интересовалась текущею литературою и сочувствовала моей тоске и тяге на север, в Петербург. Как-то посетив вместе со мною «благородного отца», комика Соколова, у которого умерла жена, и он, роняя слезы над ее гробом, сам шил ей саван из какой-то белой шелковой подкладки, Шатилова сказала:

— О, какая тьма горя, и какая пошлость даже смерть! Голубчик, я бы бросила мужа и уехала с вами, но как же я оставлю моего мальчика?

Я же, надо заметить, никакого повода не подал ей мечтать о возможности уехать со мною, и с мальчиком, и без мальчика. Встревожила она меня, и жаль мне ее стало. Я поцеловал у ней руку, ушел и перестал видаться. Муж бывал у меня, брал деньги, говорил, что жена часто плачет и завидует всем, кто уезжает из Чернигова.

— Надо двинуться куда-нибудь, а между тем меня здесь любят и живется сытно. Что за цыганская непосидчивость у вас, господа!

А я чуть не плакал. Осень была ужасающая. Грязь такая была, что по брюхо утопали лошади. Для Чернигова специально выделывались резиновые высокие, выше колена, галоши. Как волос по молоку, тянулось прозябание в управлении. Удивляюсь, как терпел меня Гебель: я по две недели не являлся на службу. Наконец, зимою я сам подал в отставку.

И только очутился я на свободе, как приехала ко мне сестрица Машенька, потом Наденька, а за нею Вера Петровна с ребенком. Как без службы содержать семью? Мамаша их умерла, братец не отказывал в куске хлеба, но попрекал, что они ничего не делают. Тут выручили земцы. Карпинский поручил мне редактирование «Губернского Земского Сборника», с условием приходить в управу всего на один час за статьями и директивами.

Но не только я приходил на один час. Члены управы являлись для разрешения земских дел тоже на короткое время; дольше других занимался сам председатель Карпинский, честный и преданный земству либерал, украинофил, по профессии врач, даровитый оратор, со средствами, собравший партию левых земцев, в которую вошли и оба Петрункевича, впоследствии известные кадеты.

Работы мне в управе было много; я писал и важнейшие доклады. Моими докладами «О переселении крестьян» и «О независимой земской школе» «великая либеральная партия» осталась довольна; но за мои корреспонденции о состоянии земских приютов и богоугодных заведений мне «дружески» влетало.

Таилась в управе вражда к администрации. И, когда я, сидя летом в так называемом «присутствии», где стояло зерцало, спросил у вошедшего господина: «Что вам угодно», а он вспылил и заявил: «Когда губернатор входит, надо встать!», я же с улыбкой ответил: «У вас на лбу не написано, что вы — губернатор!» (это был Дараган, сменивший Панчулидзева) — и любезно пригласил его сесть, а он разлетелся с жалобою к Карпинскому на мою фамильярность, управа единодушно одобрила мое поведение: как представитель земской идеи, я не мог иначе поступить; конечно, я мог не упоминать о лбе, но это было сделано в ответ на окрик губернатора, который, войдя, «должен же был представиться».

Дараган сначала потребовал моего увольнения, но земцы быстро «обсахарили» его: увезли на охоту, напоили, и он забыл обо мне.

Надпольный, т.-е. либеральный (или буржуазный) мирок в Чернигове нашел в управе наилучшего для себя выразителя и представителя. Мы завели статистику, считавшуюся губернатором и правыми революционною затеею. В статистической работе участие приняли Варзер, Ласкаронский и Червинский, прославившийся тогда тем, что он первый поднял вопрос в «Неделе», под инициалами П. Ч., о деревне, как силе, требующей к себе неусыпного внимания интеллигента-трудовика, а не интеллигента-мечтателя и болтуна. Им была основана партия «деревенщиков», предшествовавшая плехановскому «черному переделу».

Поговорив и кое-что почиркав пером, мы, обыкновенно, отправлялись раз в неделю в гостиницу «Царьград» и пили, главным образом, шампанское на счет Карпинского, который любил задавать нам пиры еще и у себя дома. Готовилась кампания против консерваторов, так как на предстоящем губернском земском собрании надо было провести доклады, составленные мною, о пересе-

лении, которое грозило помещикам вздорожанием физического труда, и о независимой школе.

Возвращаясь с одной такой «кампанейской» пирушки, на которой отличился член управы Константинович (бывший учитель гимназии), прозванный «Рыжим» (раздавил в руке стакан с вином — так восторженно предлагал он тост за свободу), — я не мог достучаться в калитку — по обыкновению, у меня была уже новая и на этот раз преплохая квартира, — перепрыгнул через забор в сад и утонул в снегу. А снегу выпало неожиданно много — до самой крыши. Пока я пробирался вперед наугад в белом мраке, обступившем меня, я страшно озяб, простудился и заболел мучительным ревматизмом и воспалением околоушной железы. Боли были нестерпимые с галлюцинациями. Вылечил меня Волькенштейн, ставший из маленького пузатенького жучка, каким я помнил его в третьем классе гимназии, высоким и толстым мужем, уже скомпрометированным по делу землевольцев. Впрочем, отец, велевший вытереть меня каким-то своим ядовитым грибным декоктом, приписывал выздоровление мое себе. Я вдруг встал с постели.

Едва передвигая ноги, в великолепный январский солнечный день появился я в зале дворянского собрания, где уже группами бродила публика, преимущественно земская. У всех горели глаза. Громко и оживленно болтали в ожидании открытия земской сессии. Что ни говорите, — губернский парламент; авось могло проскочить и что-нибудь политическое. Интерес был большой. Секретарем собрания в организационном заседании был избран Рашевский, а помощником его — я. И фактически пришлось делать мне все. Я с скрупулезной точностью записал все глупости и бестактности «правых», кричавших, что «губерния горит с четырех концов». и к концу сессии был представлен мною и утвержден собранием обширный — в десять печатных листов — отчет. Он целиком был помещен в «Вестнике». Положительно это была сплошная юмористика и в то же время неподражаемо добросовестная работа — великолепный снимок земской действительности. Я долго хранил отчет и жалею, что он погиб вместе с моею библиотекой.

Сбывши с рук сессию и одержав победу над консерваторами, мы, разумеется, предались отдыху, который мне, к тому же, был необходим.

Минула весна.

Летом в присутствие управы тихо вошла высокая стройная девушка, лет семнадцати, в гладком синем платье и в большой соломенной шляпе, с такими же лентами, и заговорила с секретарем Астрономовым, глубокомысленным тяжелодумом и по временам горьким пьяницей... Она улыбалась, как мадонна Рафаэля. Незабываемо прекрасная голова ее на лебединой шее озарялась яркими, как две крупных звезды, глазами под длинными черными ресницами. Все мы — я, и Червинский, и Карпинский, и Милорадович — так и ахнули. Червинский потом даже возмущался:

— Разве может быть такая красота?

— И какой очерк рта! И какой жемчуг, а не зубы, — хвалил Милорадович.

Оказалась она сестрою Астрономова и пришла просить места заведующей дамскою швейною мастерскою. Ну, конечно, место ей немедленно дали, и весь день управа была в хорошем расположении духа. Уполномочили меня, а не братца, сообщить ей по оставленному адресу о зачислении ее в штат (братец ее внезапно впал в очередной запой и исчез из управы).

Я застал ее на квартире ее брата. Он женился на родной тетке в пьяном беспамятстве. Но вышла она за него сознательно. Теперь она оплакивала свою горькую долю. Красавица утешала ее.

Когда я сообщил ей о месте, она пожала мне руку, видимо, обрадовалась и сказала, что, хотя она дала адрес на брата, но на самом деле живет у родителей. Отец ее занимается делами, и у ней есть мать и две сестры.

— Я ваши стихи прочитала и знаю их на память.

Стихи были нецензурные, ходили по рукам. Варзер говорил, что они были напечатаны им в ткачевском «Набате», но я никогда не видал «Набата». Может быть.

— А у вас есть еще стихи?

— Есть.

— Дайте мне.

— Если вы их одобрите, я их пошлю в печать, — сказал я.

Мария Николаевна — так звали ее — взяла тетрадку и попросила разрешения переписать. Еще бы не разрешить!

— Их напечатают, конечно! — вскричала она.

Полонский и Майков, в самом деле, приняли их, и они появились в журнале «Пчела» и «Кругозор». Она и их выучила наизусть.

Я часто стал видаться с нею. Видался в управе, когда она приходила по делам мастерской, обнаруживая непонимание дела, и каждый раз озаряя всех своей красотой; видался на квартире у ее брата Иосифа. Когда он заболевал и напивался до богоискательства (см. мой роман «Прекрасные уроды»), мы просиживали над ним с Марией Николаевной ночи: его надо было не пускать из дому, занимать, развлекать, но все же он убегал и возвращался темнее земли, грозя покончить с собою. Мария Николаевна страдала: она любила брата. А однажды нервы ее так натянулись, что она не выдержала, и случился с нею истерический припадок. Но и в истерике, обыкновенно уродующей женщину, она оставалась прекрасной.

У меня создалась потребность смотреть на Марию Николаевну, как на картину.

— Вот, вот, на нее хочется только смотреть, глаз бы не оторвал! — соглашался Карпинский.

То же повторяли П. Ч. и Рашевский, собиравшийся жениться на хорошенькой сельской барышне с приданым; говорили все решительно, даже дамы.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЯ.

1876.

Между тем генерал Новоселов, попивая портвейн, стал лелеять мечту о своем жизнеописании. Я дал ему слово, что опишу его (роман «Искра Божия»).

— Я — выпуклая фигура, как же меня не предать истории? — волновался он, расхаживая в белой черкеске по веранде своего красивого дома и прикладываясь к рюмочке.

Так как генерал часто ссорился со своей женой («рожденной Пистолькорс, однако», пояснял он), то иногда устраивал с приятелями свидания («деловые, деловые, уверяю вас, молодой человек») на квартире у некоей А., у которой было три молоденьких племянницы. На этой квартире была выработана программа журнала, который решил издавать под моей редакцией Новоселов. И мы в ноябре уехали вдруг в Петербург.

Остановились на Лиговке в «меблирашках», и начались хлопоты. Генерал хотел издавать ежемесячник «Дух Журналов», я предлагал «Журнал Журналов». Приехал, по приглашению будущего издателя, Суворин, пробежал программу и нашел, что бросать деньги в окно не стóит, а лучше начать газету.

Но тут — маленькое отступление эпизодического характера. В 1875 году в Петербурге издавались два журнала: «Кругозор» и «Пчела». В «Кругозоре» стихами заведывал поэт Аполлон Майков, а в «Пчеле» — поэт Яков Полонский. Оба великие поэты. И тому, и другому я послал по стихотворению. Они были напечатаны. В «Кругозор» я еще послал стихотворение. И тоже было напечатано. Приехавши в Петербург, я, в качестве провинциального стихотворца, столь, как мне казалось, блистательно начавшего поэтическую карьеру, счел своим долгом посетить редакцию «Кругозора» и редакцию «Пчелы».

Начал с «Пчелы». Но Полонского там уже не было. Он ушел из редакции совсем. Ушел и другой его компаньон — Прахов — брат Адриана Викторовича, строителя и реставратора российских храмов. Собственником «Пчелы» был некто Гиероглифов — господин загадочный, всегда занимавшийся литературными предприятиями, более или менее неудачными, живший мафусаиловы лета, и хотя, должно-быть, он уже умер, но все кажется, будто он где-то существует, и что-то затевает, несмотря ни на какие обстоятельства. Он вынес мне двадцать рублей и объявил, что больше стихов никаких печатать не будет, «потому что товар дорогой».

Зато в «Кругозоре» меня приняли любезно, и я выслушал не только лестный отзыв о моих стихах от Аполлона Николаевича Майкова, но и ряд сочиненных им, но еще ненапечатанных стихотворений. Вдруг, в самом разгаре его классической декламации,

с откинутой назад головой и с протянутой вперед рукою, вошел в шубе и в шапке невысокого роста человек с лицом мастерового, на что-то обозленного, и, не поздоровавшись, торопливо выкрикнул:

— А я все жду гонорария! А гонорария нет как нет! А гонорарий был обещан сегодня!

Тут из соседней комнаты выюркнул хозяин журнала, Ключников, невзрачный человечек, бритый, в очках, худенький и какой-то потертый, заискивающе извинился и стал объяснять, почему не послан гонорар, ссылаясь на свидетельницу, которая вышла тоже из соседней комнаты — молодая особа распространенного тогда нигилистического типа, с прямыми подрезанными темными волосами; в сущности, вопрос шел не о гонораре, а об авансе за будущую повесть, и контора не успела получить ордер от издателя по форме, как принято, а только словесный приказ, и «сомневалась».

Человек в шубе сухо рассмеялся и заметил с неудовольствием, что обещанием прислать деньги его подвели. А Ключников весело сказал, обратившись к Майкову: — «Аполлон Николаевич, протестую!», — скрылся на минуту и вынес конверт с деньгами.

— Вот доказательство, — сказал он. — О недоразумении я узнал только сейчас вечером, и контора завтра, все равно, доставила бы аванс на дом. Положите же гнев на милость, Федор Михайлович.

— Есть горячий чай, — сообщила молодая особа.

Федор Михайлович сбросил с себя шубу Ключникову на грудь и сел, перекладывая с руки на руку шапку.

— Вам надо с меня расписку получить, — произнес он.

Майков хотел обратить внимание Федора Михайловича на меня.

— Начинающий поэт...

Но Федор Михайлович метнул на меня быстрый и как бы неприязненный взгляд.

— Стихи-с? — произнес он и схватил Майкова за борт сюртука.

— Но жаль, Аполлон Николаевич, что вы-то не были у Толстых на последнем вечере! — заговорил он. — Может, и вы сподобились бы. А я сподобился.

...Однако, я боюсь впасть в беллетристику. Трудно слово в слово передать, много лет спустя, чью бы то ни было речь, тем более речь замечательного человека, не исказивши ее. Но извиняясь, я все же не ограничиваюсь, как следовало бы, изложением общего смысла рассказа Федора Михайловича, а прибегаю к беллетристическому приему. Иначе говоря: не точно передаю слышанное, а приблизительно.

— Было у них большое собрание, раут-с! — продолжал Федор Михайлович. — То и дело, скользили и проходили передо мной благороднейшие представители и представительницы нашего бомонда, вся Сергиевская улица. Да и не одна Сергиевская, и многие другие. И сколько звезд! Налево — действительные статские

советники; направо — тайные-с и, наконец, самые тайные. Дамы не только приятные, но и пренеприятные: я ведь терпеть не могу, когда меня в лорнетку рассматривают. Одним словом, было комильфо. И вот на этом великосветском фоне с корзинами цветов, посреди чудесных этаких манер и потрясающей простоты движений, бросилась мне в глаза фигура внезапно вошедшего, блистательного и лакейски обворожительного господинчика, накрахмаленного и выглаженного по сверх-моде. Как вам сказать: не то посланник великой державы, примерно Франции, не то коммивояжера поразительная развязность и в локтях окрыленность, а в глазах собачья слежка. Изогнется, мотнет головкой и поцелует ручку у приятных и у пренеприятных. И самое странное, что я глаз от него оторвать не могу, а еще страннее, что я, как это не дико показалось мне самому, на первых порах сейчас же подумал: «Уж не антихрист ли?» — и только подумал, гляжу, у него из-под его обольстительного сьюта презанимательный пушистый хвост высовывается! Да-с! вы можете смеяться, потому что вы, хотя в тайне и набожны, но предпочитаете слыть неверующими; да и сам я отлично сообразил, что галлюцинация, а с другой стороны, может и вы, Аполлон Николаевич, только моя галлюцинация, и галлюцинация — юный автор знаменитых стишков (он указал на меня, и столь было едкости в тоне, каким он произнес «знаменитых»), и вообще весь мир, может, одно заблуждение нашего ума. Все-таки, не доверяя зрению, я обратился еще к осязанию. И когда он проходил, грациозно, как вьюн, колебля стан, мимо меня, приближаясь к соседке моей, чтоб приложиться к ее благоухающей ручке, я дерзнул схватить его за хвост! И что же? Положительно, то был настоящий хвост, на манер собольего боа, живой, теплый и даже электрический. А он сам приветливо посмотрел на меня, как на старого знакомого, точно хотел сказать: «Узнали?» — и исчез. Решительно не могу вспомнить, как он исчез. «Растаял, — как дым» — не подходит. Гораздо быстрее. Может-быть, даже не в одно мгновение, а в десятую часть мгновения...

Аполлон Николаевич улыбался, а Ключников весь превратился в слух. Не помню, была ли при этом молодая особа с подрезанными волосами; кажется, она была занята приготовлением чая в соседней комнате.

— Что же вы заключаете из этого видения или факта? — спросил Майков.

— Видения-с? Факта-с? — повторил Федор Михайлович, взволновавшись: — Ничего не заключаю; но уже не сомневаюсь, что он является и что царство его близится.

Он быстро встал и направился к своей шубе.

— Ну, Федор Михайлович, куда же вы, вы же чаю еще хотели!

— Чаю хотел? Когда я хотел чаю? Клевета-с. Я хотел только поделиться с вами темой. Антихрист, то-есть величайшая пошлость,

уже понемножечку воцаряется, гнуснейшее мещанство грядет; и интересно, кто обрубит ему хвост?

Когда ушел Федор Михайлович, наступило молчание. Я первый прервал его:

— А кто такой Федор Михайлович? Кто это был?

— Достоевский.

Теперь продолжаю прерванный рассказ.

Итак к Новоселову приехал Суворин.

— Кстати, «Новое Время» Устрялова продается за грош, — сказал он. — Купите, ваше превосходительство, и с богом. Я только на газету гожусь.

Суворин славился, как либеральный фельетонист «Петербургских Ведомостей» и готовился быть не у дел. Я написал новую программу, а идею «Духа Журналов» сохранил в виде отдела «Среди газет и журналов»; эта рубрика Суворину понравилась, он и заимствовал ее потом для своей газеты, с генералом же не сошелся: суворинская смета привела Новоселова в ужас.

Из «Пчелы» я получил гонорар от издателя Г. Иероглифова и в редакции «Кругозора» познакомился с Майковым, наговорившим мне хороших предсказаний.

— Пишите только стихи, не прикасайтесь прозы, и посмотрите — увенчаетесь успехом... Я всегда чуждался прозы; стих ревнив.

Плещеев, напротив, не посоветовал стих.

— Я ведь пишу и стихами и прозою. Поэму вашу (я из Чернигова как-то целую поэму двинул в «Отечественные Записки» — был грех), поэму вашу Некрасов отметил, что есть что-то, но велика, а не переделать ли ее в рассказ?

Со временем я и переделал, и рассказ был напечатан в «Отечественных Записках».

В «Кругозоре» я впервые увидел Достоевского.

О нем — ниже.

Всячески удерживал меня Новоселов в Петербурге, где он стал добиваться какой-то «аренды», и добился. Но я уехал в Москву к сестре Кате, ставшей важной чиновницей: у ее мужа было уже два ордена на шее, и ему обещано было место вице-губернатора.

Зять мой, Миша, чрезвычайно увлекался своей службой и карьерой. Приехал на рождество Писемский с визитом, он и с ним стал говорить о делах. Он казался высшему начальству олицетворением бюрократической мудрости не даром.

— Ты, Жером, подумай только, мне тридцать лет, а у меня уже Анна на шее, генерал-губернатор мне руку подает... А кто я, на самом деле? Сын волостного писаря, которого окружной начальник по зубам бил. Что значит образование! Советую, советую, пока не поздно, получить степень.

При таком глубоком взгляде на сущность и значение высшего образования, мой родственник изнывал вместе с другими чиновни-

ками от червя тоски. Он сам не мог объяснить, откуда червь, но заливал червя вином. И он и его сослуживцы напивались после службы, «как сапожники», посещали клубы, театральные буфеты, трактиры, ездили друг к другу на вечер и справляли вечный «праздник Ивана Бражника». Конечно, многие из них брали взятки, потому что уж чересчур презрительно смотрели они на провинциальных чиновников.

— Бедняжки, — говорил какой-то Карпенко, цеплявшийся за Мишу, кавалер пока только Станислава в петлице, — что они там в каком-нибудь Чернигове пьют и даже едят? Часто ли они видят даже губернатора? Между нами говоря, сплошная пошлость! Москва — вот царство небесное. Идешь по Тверской или по Кузнецкому и чувствуешь, что ты человек.

Дамы сплетничали, порхали по магазинам, накупали вороха разной дряни, «задирали нос» друг перед дружкой. И сестра моя, красавица Катя только и думала, что о новых платьях, о визитах.

Я застал в Москве целиком то общество губернского города, которое так гениально описано Гоголем в «Мертвых душах».

— Останься с нами в Москве, — убеждал меня Миша. — При моих связях и при твоих способностях ты, в три месяца подготовившись к экзамену, — но только чур, к юридическому, — станешь кандидатом. И какое место получишь! Ручаюсь. Я одного тут дурачка познакомил с профессорами — дубина дубиной, — но выдержал испытание. Рука руку моет, и теперь он чиновник особых поручений и далеко пойдет... Образование, братец, образование!

Деньги мои были на исходе. Неожиданно разыскал меня Новоселов. Прислал за мною. Я застал его в номере в компании дельцов. Генерала опутывали агенты публикационного предприятия и сулили ему пятьдесят тысяч дохода в год, если он сейчас вложит в их затею всего пятнадцать тысяч. Он был навеселе, и молодая барышня с большим ртом и лбом в два пальца вертелась тут же и разливала чай.

— Нам нужна литературная статейка. Надо упомянуть в ней, что во главе предприятия, которое уже разрешено, становится... ну, одним словом, надо расписать меня, — начал генерал, отведя меня в сторону.

Я мало смыслил в делах, но с двух слов разорвал паутину.

— Охота вам связываться чуть ли не с шулерами.

Он, повидимому, сам только и ждал моего отрицательного ответа.

— Да и денег у меня таких нет... Деньги, деньги, везде деньги! — с неудовольствием заворчал генерал.

А на другой день утром мы уже мчались в Чернигов.

— Нет, не спорьте, есть провидение, — сказал в купе генерал, цедя бутылку портвейну. — Как-то в горах неприятель обложил крепость, где я был комендантом. Нас мало, порох вышел, голодаем, подкрепления не предвидится, плен и гибель впереди. Что же? Накануне окончательного приступа снится мне Новоселов — не смейтесь, это бывает, сам я приснился себе: рука на черной перевязи, беленький крестик на груди — я еще георгиевским кавалером не был — и говорит: «Не бойсь!». Я вскочил, а азиат уже лезет на крепость. Светает. «Рогожи облить салом, зажечь и бросать со стены!» — приказал я. Было таким образом проявлено благоразумие — и враг позорно бежал. Скажете — не провидение? И в этом разе: как всегда в критические моменты снится мне Новоселов, т.-е. я сам себе, но уже со звездой Белого орла и говорит: «Не бойсь!». И, действительно, вы осветили положение... Однако, мошенники сорвали все-таки тысячу... Есть провидение.

В Чернигове всё пока шло по-старому. В Москве свирепствовала бюрократическая праздность, самодовольная и топящая в вине тоску или, может-быть, совесть; в нашем захолустье томилась либеральная праздность с кукишем в кармане.

Некоторую встряску произвело в обществе славянское движение. В «Записках из мертвого дома» Достоевский рассказывает, что каторжники, измученные однообразием тягостной жизни, совершают новое преступление, зная, что не избежать страшного наказания, но только, чтобы переменить участь. Освобождение Болгарии ценою своей жизни зажгло даже революционно настроенную молодежь. Гимназисты, студенты, босяки в особенности, бросились в Сербию под знамена Черняева. Попы торжественно благословляли кадры добровольцев на соборной площади, губернские барышни, украшенные бантами распорядительниц, порхали по городу и собирали пожертвования. Брат мой Александр записался в добровольцы и ушел. Волновались отцы города, волновалась наша управа. Газеты раздували костер. Вдруг — ушат холодной воды! Либеральные «Биржевые Ведомости» Полетики, только-что певшие гимны Черняеву, переменили курс и выступили против славянщины. Карпинский, убеждавший своих молодых сотрудников «воевать поганых турок», сконфузился; устыдился и я, а между тем только-что послал в московский журнальчик стишок против Европы, хладнокровно взирающей, как «страна в огне, страна пылает». Стишок этот был не только напечатан в журнальчике, но попал оттуда даже на спичечные коробки.

Еще неделя-другая ожидания известий с театра войны — и новый ушат воды. Черняев велел высечь добровольца М., революционера, одушевленного самоотверженной любовью к болгарской свободе. Генерал Новоселов стал оправдывать «дисциплину». Я перестал видаться с ним. «Великая либеральная партия» с поджатым хвостом собиралась в гостеприимных «комнатах» Карпинского. Мы глотали «медведя» — смесь шампанского с пивом — и пели хором: «Гэй, подивуйтесь, добры людэ, що на Вкраини повстало».

Так прошел год. Я деятельно сотрудничал в «Киевском Телеграфе». Черниговских властодержцев — губернатора и разных

управляющих и председателей я вывел под видом разных птиц: попугаев, петухов и т. п. Должно-быть, — хорошо не помню — жандармский полковник был Зеленый. Я дал ему кличку Изумруд. Адъютант Рошет встретил меня в театре и погрозил пальцем: «С огнем играете». Вскоре у меня был сделан обыск, Рошет с изысканной вежливостью забрал частные письма ко мне, рукописную Гаврилиаду, иллюстрированную Рашевским еще когда он жил со мною в Киеве, при чем моделью для девы Марии послужила молоденькая прачка, и тетрадь с моими стихами. Случайно из тетради были вырваны накануне Ласкаронским стихотворения, воспевавшие землю и волю на украинском языке. Так обыск не привел ни к чему, а сестрицы на радостях, что Изумруд не съел, зацеловали меня, да кстати, и на прощанье: Наденька и Ольга уехали учительницами в деревню, осталась Машенька с нами, ухаживать за заболевшей Верой Петровной, и хозяйничать.

Юмористический фельетон о том, как делается обыск, цензурой не был пропущен, но как бы в ответ я получил приглашение от издательницы Гогоцкой, либеральной супруги консервативного профессора, приехать в Киев и стать редактором ее газеты. Гогоцкая предложила квартиру при редакции, построчную плату и двести рублей в месяц.

Я немедленно согласился, Карпинский немедленно отпустил, но с сохранением содержания, с тем, чтобы в Киев мне посылался материал для редактирования «Земского Сборника» и корректуры.

Если не Петербург с его литературными туманами и манящими призраками, то хоть Киев с его прозрачным солнечным воздухом и определенной перспективой!

Передо мною редактировал «Киевский Телеграф» некто Молчанов, бежавший за границу, даровитый литератор; он захватил с собою кассу и хорошенькую кассиршу. Вел он газету, надо заметить, в свободном уклоне, перепечатывал даже статьи из заграничных эмигрантских журналов. Сменил его мой товарищ по университету Краинский, но у него не было тяготения к журналистике: был он тяжелодум и по призванию — юрисконсульт. На условия Гогоцкой смотрел со снисходительной улыбкой, предпочитал работать ножницами, умеренно рассуждал и искал невесту с приданым. Я же никогда не располагал такими деньгами и никогда не чувствовал себя так легко; потребности мои сами собой упали до минимума: я стал носить такую же блузу, как и наборщики, с которыми я сошелся сразу, благо типография находилась в одном этаже с редакциею. Сотрудники Рева и Самойлович, молодые украинофилы с газетным «нервом», стали моими сторонниками, мы завели коммуну, вместе обедали, чеканили газету, привлекли к организационной работе наборщиков, образовали кассу взаимной помощи, раз в неделю у нас были общие собрания; и какие меткие замечания и суждения о недостатках газеты высказывались тогда самыми на вид «серыми» наборщиками!

Гогоцкая с недоумением явилась на одно из таких собраний; но так как газета быстро стала улучшаться, и тираж сначала удвоился, а затем утроился, она успокоилась и пообещала из чистой прибыли уделять двадцать пять процентов на редакцию.

— И на типографию, — прибавил я, поблагодарив ее.

Тогда, в припадке либерализма, она согласилась отчислять уже пятьдесят процентов. На следующем собрании я убедил ее объявить об этом во всеуслышание. Наборщики преследовали ее рукоплесканиями; она расплакалась.

Вера Петровна выздоровела в Киеве. Мои дамы завели себе туалеты и мечтали о белых платьях и еще о чем-то; Рева начал отчаянную полемику с «Киевлянином»; прошло всего несколько недель, — «Киевский Телеграф» обратил на себя внимание общей прессы; нам стало казаться, что мы уже гремим; фотографы бесплатно снимали нас и торговали нашими изображениями; как вдруг в редакцию явился Иванов, посол добровольного и влиятельного местного агента Третьего Отделения Юзефовича. Глубокий старик, убежденнейший негодяй, ни в чем не уступавший своему патрону.

— Вы от Китовраса? — спросил его Рева.

Китоврасом прозывали Юзефовича.

— Я от себя. Но и почтеннейший гражданин, столь дерзко именуемый вами, заинтересован. . . да!

— А вы знаете, о ком речь?

— Я хочу знать только редактора, с вами же не разговариваю.

— Вот наш редактор, — указал на меня Рева.

Иванов критически посмотрел на меня.

— Профессор Гогоцкий, мой друг, — начал Иванов, — жалуется, что газета, издаваемая его супругой, вредит его доброму имени, и я пришел к вам с требованием изменить с завтрашнего же дня направление «Киевского Телеграфа» и с предложением напечатать в ближайшем номере сию мою статью.

Я встал и сказал:

— Направление «Киевского Телеграфа» не может быть изменено. Зная же вас, господин Иванов, как деятеля, враждебного свободе, мы «сию вашу статью» не напечатаем.

— Последнее ваше слово?

— Последнее.

— В таком случае мы дадим ход бумаге, действие которой условно — или моя статья, и вы спасены, или вы погибли.

— Кланяйтесь Китоврасу и поцелуйте его в. . . задницу! — дурашливо сказал Рева.

Иванов ушел.

Мы сидели на другой день, покончив с очередным номером, в редакционном кабинете, в обществе отзывчивых наборщиков, и Самойлович читал вслух передовую статью только-что полученного нами лавровского журнала «Вперед». Вбежал Рева с перепуганным лицом, ходивший в часть за справкой о происшествиях, и объявил:

— Пристав грядет.

Самойлович высыпал папиросы на раскрытый «Вперед». Вошел пристав, вежливо извинился, предъявил высочайшее повеление, обязал снять вывеску и дать подписку о дальнейшем невыходе в свет «Киевского Телеграфа».

Все-таки мы последний номер выпустили с текстом высочайшего повеления. Я написал несколько прощальных строк, гласивших, что это акт, «которому нет имени». А весь фасад редакционного дома (на Бибиковском бульваре) мы обили черным коленкором и на подъезде вывесили черное знамя.

Так как мы проводили в покойной газете областную политику, то от всех видных провинциальных газет была получена кипа сочувственных писем с предложениями сотрудничества. В особенности теплое письмо прислал мне из Нижнего-Новгорода редактор сборника «Первый шаг» Гацисский.

Я предпочел вернуться в Чернигов.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ.

1877.

Поселился я в доме Константиновича, состоявшем из двух половин и людского флигеля. Одну половину я занял, другая пока пустовала.

У меня была уже изрядная библиотека. Приходили за книгами молодые люди. По вечерам собирались послушать мои рефераты о литературных и научных новостях. Я в этой работе натрел, и впоследствии мне это пригодилось. Работы же в управе — иногда, случалось, я секретарствовал и за Астрономова, если он заболевал белой горячкой — было достаточно; но все-таки оставалось много времени. Выпадали часы, которые я отдавал еще сотрудничеству в провинциальных газетах — правда, урывками — и завел сношения с журналом «Знание», в котором участвовали все выдающиеся профессора русских университетов и заграничные ученые.

Осенью я получил диплом из Сербии на звание поручика и приказ немедленно явиться в западную или восточную — не помню в какую — армию на должность адъютанта главнокомандующего, генерала Новоселова. Я рассмеялся, а Вера Петровна употребила диплом на подстилку под пирог. Вскоре приехал и сам Новоселов, не победивши турок, и зашел в управу. Очень он подался, распухло у него лицо, дрожали руки. Он сообщил, что вторым адъютантом был у него Рева.

— А первым должны были быть вы! Жаль, хорошо провели бы время, и опасности никакой не было. Штаб стоял далеко от боевой линии. Счастливо оставаться, еду в Петербург.

В Петербурге Новоселов через год умер.

Зимою часто приходилось мне видаться с Марьей Николаевной. Я посетил, наконец, ее родителей. В ужасно голодной и холодной обстановке жила семья. Сырость, грязь, махорка, которою отравлялся старик Астрономов, бывший турецкий офицер, пленный. Воспитанник и крестник курского астронома Семенова, он и в 70 лет еще был очень красив собою, и сохранила красоту его нестарая вторая жена. Пьяница Иоасаф был от первой жены. Сестры Марьи Николаевны, средняя лет 15, младшая — 10, были тоже большеглазые и прелестные девочки. Я застал как раз семейную ссору: не было ни копейки денег, потому что старик, в качестве «аблаката», последний рубль отдал мужику на марку, чтобы тот успел подать в срок прошение, а не купил ни хлеба, ни крупы, ни рыбы, и нечего было варить и есть. Жена его стучала ухватом по полу и, оскалив удивительно белые зубы, гневно кричала:

— Ты обираешь нас, бессовестный человек! Ухватом бы тебя, бессовестный человек! У, бессовестный! У, бессовестный!

Старик кротко выслушивал брань, кутаясь в изношенный тулуп и выпуская изо рта клубы черного дыма.

Я сделал шаг вперед.

— Вам-то что нужно? — набросилась на меня женщина.

Хорошо, что вслед за мною вошла Марья Николаевна. Все мгновенно уладилось: она принесла родителям свое жалованье. Экономический вопрос был разрешен. Я просидел со стариком около часу и ушел вместе с Марьей Николаевной — не домой, а в Городской сад, пустынный и оснеженный.

Стемнело. В морозном воздухе сверкали звезды, когда я вернулся к себе.

Время перешагнуло через Новый год. На масленице Астрономовы переселились из своего гнилого флигелька к нам в незанятую половину. С нами обедали и распивали чаи. И Вера Петровна узнала от меня, что Марья Николаевна вытеснила из моего сердца Катю Г. Тогда получилось нечто незаурядное. Вера Петровна великодушно настроилась, пригласила к себе Марью Николаевну, поцеловала у нее руку и, восхищаясь ее красотой, поклялась, что никто не узнает о нашей любви, если мы сами не выдадим себя. Марья Николаевна тоже поцеловала руку у Веры Петровны. Так взаимно несколько раз. Сцена как бы из Достоевского. Начался лирический роман, расцвели весенние цветы, любовь наша стала явной: отец Марьи Николаевны увидел, как она однажды обняла меня, уходя в мастерскую. Произошло бурное объяснение.

— Я даже на поединок тебя не вызываю, но честно объявляю, что наточу нож и убью тебя, как собаку!

Турок сказал и ушел, ища дочь. А та скрылась, прибежала через полчаса и целые сутки провела в спальне Веры Петровны, пока я, наконец-то, ликвидировал свои дела. Между прочим,

пожертвовал все свои книги Черниговской Общественной библиотеке. Вера Петровна давала уроки музыки по обыкновению, служила секретарем у адвоката Кулябко-Корецкого и сравнительно была обеспечена. Машенька хозяйничала в доме моего отца.

Чуть свет за городом была подана почтовая тройка, спасибо Карпинскому — похлопотал, и мы с Марьей Николаевной бежали. Так как у нее не было документа, то жена моя разрешила ей называться до поры до времени Верой Петровной, чтобы не быть в ложном положении.

В Москве я нанял комнату, похожую по форме на гроб, но солнечную, за 3 рубля, на чердаке, и брачным ложем нам служила солома прямо на полу, потому что мебели не было, кроме одного столика и табуретки.

Особенно сестра Катя смутилась, когда я сказал ей, что разошелся с Верой Петровной окончательно.

— Но тебе давно нужна была Жар-Птица, чтобы унести тебя на край света... Ах, боюсь за тебя!.. Но вот что — взгляни, пожалуйста, что с Мишей?

Сестра озабоченно провела меня в спальню мужа, и я увидел не молодого человека с огромными, курчавыми черными волосами, а облезлого, болезненного, усыпанного мукою мертвеца, встретившего меня хриплым смехом.

«Муку» он буквально выделял из себя. Она сыпалась с его рук, лица, черепа, он вынимал ее из-за пазухи.

— Хорош пейзажик? — спросил Миша.

Я молчал. Он горько рассмеялся.

Лечил Мишу Мансуров, известный дерматолог, но чем болен пациент, не говорил. Проказой? Но это не была проказа. Болезнь галопировала и буквально съедала больного. Катя перевезла его на дачу в подмосковную деревню Кутузово, где был чудесный древний сад, и в саду стоял старый барский дом с екатерининской мебелью и портретами покойных помещиков (см. рассказ «Старый сад»). Здесь через месяц умер Миша. Перед смертью весил он уже десятки фунтов и стал буквально скелетом. Мясо исчезло, торчали только кости. Вдова получила из казны единовременное пособие, с двумя маленькими детьми очутившись в недалеком будущем на моем попечении; сам же я с юной женой пока почти голодал. На своем чердаке мы ухитрялись жить на полтинник в день, после того, как я получил из «Будильника» 10 рублей за какой-то рассказ. Правда, дешевизна была в Москве на редкость. Питались мы картошкой, хлебом и пили чай. Но главным образом — надеждами.

Мне казалось, что над нами взошла яркая звезда: что ни ночь, в чердачные оконца она посылала нам лучи ободрения. Это было счастливое, я бы сказал, блаженное время. Вырастала душа, кипели замыслы. Мысли не засыпали ни на минуту. Любовь окры-

ляла каждый наш шаг: я не только верил, я знал, что теперь уже все покончено с Черниговым, как с чем-то мешавшим мне до 27 лет отдаться иному, светлому труду. Дорога к намеченной цели была еще, однако, в терниях. Никогда еще нужда не сжимала меня такими тисками; моя милая красавица улыбалась, пела, но у ней не было самого необходимого — шляпы не было, летнего пальто, чулка, башмака. Да и я тоже оставил все там, откуда бежал налегке; мы бросились в будущее точно с обрыва — в розовую бездну.

Невольно я должен был ухватиться за предложение сатирического «Будильника» придумать какой-нибудь постоянный отдел в журнале и вести его за 25 рублей в месяц. Я и придумал: «Перлы и адаманты». Надо было выискивать в русской литературе разные ляпсусы, промахи, кляксы, обмолвки и отмечать их, посыпая «перцем юмора». Стыдно вспомнить, что приходилось высмеивать даже литературных первачей, с задором, заимствованным у Писарева. Вскоре затем я стал корректировать журнал «Охота», а в июне Гатцук, составитель знаменитых в то время календарей, пригласил меня редактировать беллетристику в своей еженедельной «Газете».

Гатцук не пускал меня в Петербург. Он ценил во мне прежде всего неутомимость и потом авторское воздержание: я не напечатал в его органе даже двух строк. Был я, что называется, идеальным редактором. Из-под моего редакторского штампа выходили отделанными чужие статейки; да я же и языки знал настолько, что куча иностранных журналов, получавшихся в редакции, всегда приносила Гатцуку доход.

— Вы нигилист, — определял он меня, — и сотрудничаете даже у Пушкарева в «Московском Обозрении», но я спокоен, вы мне бомбу не подложите.

Нельзя сказать, чтобы он был консерватором. Он с Катковым враждовал! Но он был аполитичен. С ним я разошелся под влиянием слез Марьи Николаевны и отвращения к черной литературной работе в журнале. Прямым же поводом к ссоре послужила статейка, тиснутая им в «Газете» наскоро, без моего ведома. В типографии Готье, где печаталось издание, случился пожар. Во дворе против окон стоял пустой котел; пожарные, туша огонь, налили его до половины водою, и он лопнул утром. Гатцук взял да и расписался в диком невежестве «Газеты», объяснив смерть котла действием лучистой теплоты. Был же в ту ночь жестокий мороз. А когда я указал Гатцуку на расширение воды при замерзании, он рассмеялся и сказал: «Вы белены объелись!». Потом он извинялся, но я уже дал слово Сабанееву взять на себя в Петербурге слияние двух изданий: журнала «Охота» и сборника «Природа» в один ежемесячный журнал «Природа и Охота», обязавшись отредактировать первые три книжки так, чтобы можно было читать журнал от первой страницы до последней, и чтобы

наука сочеталась в нем с литературой; ничего скучного и побольше занимательного!

С нами в Петербург перебралась невеста Сабанеева, Юлия Ивановна, и мы временно основались в Троицком переулке (теперь улица) и там же открыли редакцию «Природа и Охота».

Приехали мы за несколько дней до похорон Некрасова. Погребали его в Ново-Девичьем монастыре. На провинциальный глаз, народу было много, но могло быть и вдесятеро больше. Ведь страна погребала великого поэта и пророка такой общественности, свет которой только в 20-х годах XX века озарил нашу страну. Над могилой Некрасова говорили речи люди, как меня убеждали, красноречивые и даже красные. Я не слышал их и стоял вдалеке. До меня долетела только фраза из речи Засодимского: «Он был приятен, по-о-тому, что он был по-о-нятен».

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЯТАЯ.

1878.

Домашние дела Сабанеева, такого характера, который меня не касался, потребовали большой затраты денег, и потому, приехав в конце января в Петербург, он не мог заплатить мне, как следует, за выпущенные мною в короткое время три книжки журнала с моими рассказами, рефератами, переводами и научными обозрениями. (В Москве не вышел журнал ни за ноябрь, ни за декабрь, и надо было дослать его подписчикам.) Сабанеев был добрый малый, и я не стал спорить с ним. Да, кажется, он остался и не очень доволен моими научными обозрениями. Зато они обратили на себя внимание редактора «Знания», преобразованного в толстый журнал «Слово» Д. А. Коропчевским. Он приехал в редакцию «Природы и Охоты», познакомился со мною и обрадовался, когда я сказал, что мы уже знакомы: я еще из Чернигова посылал в «Знание» небольшие заметки и рефераты (без подписи).

Первая январская книжка «Слова» уже вышла — что-то в роде Остромирова евангелия: толстейший том, напечатанный на роскошной бумаге. Сотрудничал в «Слове» М. А. Антонович, старинный враг Тургенева и Некрасова, некогда редактор «Современника». Статьи его в «Слове» уже успели поссорить его с Коропчевским и Гольдсмитом, несмотря на весь его радикализм; дело было, повидимому, не в статьях, а в том, что Антонович требовал для себя единовластия в журнале и, следовательно, права приглашать работников пера по своему усмотрению.

В «святилище», т.-е. в комнате, куда имелся доступ только ближайшим сотрудникам, Коропчевский предложил мне участие в научном отделе, в качестве популяризатора. Определены были

условия — жалованье, полистный гонорар и оплата издержек по приобретению научных книг и журналов.

Я ног под собою не слышал!

У Коропчевского в кабинете стоял шкаф с избранной научной литературой, преимущественно на английском языке, он был предоставлен в мое распоряжение. Жадно набросился я на это сокровище. Я угорел от множества любопытных данных, из которых я должен был строить научную хронику. Конечно, я был дарвинистом и геккельянцем, страстно был предан эволюционной теории, — моя раннейшая начитанность в этой области много помогла мне не ударить лицом в грязь. Но каждый месяц я принужден был готовиться к испытанию то из биологии, то из химии, из физики, то из географии, этнографии, астрономии и быть во всеоружии «последних слов». По совести говоря, за три года работы в «Слове» я трижды держал полный экзамен на кандидата естественных наук и не провалился. Писал я с увлечением, и мои статьи читались. Ко мне обращались молодые специалисты с просьбою указать им источники. Геккель передал мне привет за мою усердную популяризацию теорий его и Дарвина в ответ на дошедшие до него статьи мои, напечатанные в «Слове» же в 1878 году: «Теория развития в ее борьбе за преобладание».

Коропчевский неизменно оставался моим другом и доброжелателем, и уже на третий месяц моего сотрудничества в «Слове» я стал его товарищем по редактированию журнала.

Развернулась литературная перспектива.

Марья Николаевна ободрилась, занялась переводами. Языки она изучила скоро; русский язык как-то инстинктивно чувствовала и, можно сказать, хорошо владела им. Первым иностранным автором, которым она овладела, был Стендаль. П. О. Морозов принес ей Мэкензи Уоллеса, справилась она и с английским автором. Потом вообще она много переводила, и со временем фирма Суворина купила у нее право на все ее переводные романы. К сожалению, она подавила в себе порыв к непосредственному творчеству; а между тем начатый ею роман, где она описывала жизнь в Курске, был ярок и полон юмора. И стихи она бросила писать. Когда я приставал, почему она не пишет больше, она отвечала:

— Чтобы быть писательницей, надо писать лучше других, или, по крайней мере, так, как писала Жорж Занд. И стихи мои тоже ничего не стоят. Нет, уж лучше я буду переводчицей.

Известный библиограф П. В. Быков включил ее в свой «Словарь русских писательниц».

Некоторое время мы счастливо жили в меблированных комнатах Лихачева, в Троицком переулке, в верхнем этаже, с большим воздушным балконом. Комнаты были новые. Было красиво и уютно. Обед нам приносили, хозяйства своего не было. В несколько месяцев вся свободная стена в кабинете была забрана

полками, до самого потолка, и на них блестели корешки книг; на книги мы тратили почти все наши деньги. Библиотека была нашей гордостью.

Много было юношеской дерзости, с какой я взвалил на себя бремена, строго говоря, неудобоносимые. Какую бы тему я ни выбирал для той или иной статьи, я перегружал ее фактами, разыскивая их в специальнейших журналах; статьи мои того времени в журнале «Слово» пестрят бесчисленными цитатами. Но меня хватало еще и на редакторскую работу. Коропчевский был уже старый и уставший редактор. Он надломил свои крылья еще на «Знании». И, видя мою ретивость, постепенно свалил на меня отделы — сначала научный, а потом и беллетристический; себе же оставил только полуфельетонные иностранные и внутренние обозрения.

Получив ключ от шкафа с беллетристикой, я нашел в нем до тысячи рукописей. Коропчевский был прав, говоря, что весь этот материал на три четверти негодный, уже побывавший в разных редакциях, забракованный и пробующий счастья во вновь открытом журнале.

Попытал было Жемчужников похозяйничать в шкафе, чтобы помочь мне, и подтвердил, что, действительно, ему не попала ни одна сколько-нибудь сносная повесть.

Но, кроме Боборыкина, из писателей никого в журнале еще не было. Хороший же журнал обязан создать кадр своих писателей. Я стал таскать на дом туго набитые портфели и читать по ночам произведения начинающих авторов, и — на первых же порах — был вознагражден за свое доверие к силам моих современников. Я сам был начинающий писатель и в глубине души считал, что все-таки беллетристика выше того, что печатается в журналах под флагом науки, публицистики и критики.

К числу моих находок в редакторском шкафу, носившем обидное название «корзины», прежде всего принадлежал «День итога» Альбова. Вещь была вполне литературная, даже мастерская, и по мысли оригинальная. Автор изобразил петербургского обывателя, до того, в своей разночинной самовлюбленности, ушедшего в чувство личности, что он совершенно оторвался от людей, от общества, потонул в одиночестве и кончил самоубийством, чтобы поклониться себе, как богу. Написана же была повесть в тонах Достоевского. А мы только-что с Марией Николаевной начитались романов Достоевского.

Надо заметить, что недостаток сведений по части социально-экономических наук и у меня, и у Коропчевского, к тому же постоянно заболевавшего и утомленного неудачами в личной жизни и долгами, и много энергии уделявшего, по моему примеру, подготовке к профессии беллетриста, — мы исписывали по стопе бумаги в месяц, и все это бросали в огонь, — неблагоприятно отражался на журнале: он стал в политическом отношении ни

народническим, хотя мы печатали народников, — и Венгеров, как критик, был их апологетом — ни социал-демократическим, хотя журнал и выкинул строго научное знамя и, в лице Зибера, склонялся к марксизму, а я в каждой книжке в течение трех лет отмечал успехи материалистической мысли.

Тогда вообще не была еще проведена демаркационная линия между народничеством землевольцев и народовольцев и пролетарским социализмом. Не было вражды между тем и другим течением, как не было также антагонизма между надпольною и подпольною революционною литературою. Революция нам казалась во всех нарядах привлекательна. «Во всех ты, душенька, нарядах хороша». У нас поэтому сотрудничали, в качестве беллетристов, рецензентов и публицистов и многие подпольники: таковы — Клеменц, Бух, Сергей Подолинский, Якубович, Каблиц, Лангауз (каракозовец) и др. — не помню всех. Во всяком случае, «Слово» стало популярным журналом, и попасть на его страницы считалось успехом, не взирая на многие его недохватки. Мы принимали сотрудников, не особенно справляясь с их паспортом — лишь бы не из полицейского участка. Но, входя в журнал, они становились членами только нашей семьи. Таким образом, сотрудничали у нас: известный адвокат князь Урусов, прокурор Владимир Жуковский, отказавшийся на суде обвинять Засулич и вылетевший в отставку; адвокат Андреевский, чиновники Воронов и Головачев — и тут же подпольники из «Народной Воли», в органе которой, кое-как напечатанном в тайной типографии, встречались в списке жертвователей на революцию и наши инициалы; собирал же пожертвования и составлял списки Якубович — впоследствии Мельшин, усердно переводивший для «Слова» «Цветы зла» Бодлэра; из поэтов с революционной закваской подвизались у нас еще Мартов (Михайлов), Баркова, воспевавшая «рвань, вошью богатую», печатал стихи Омулевский, автор «Шаг за шагом», он же Федоров.

Несколько позднее меня познакомили с Самойловым, личностью замечательною во многих отношениях. Был Самойлов лет двадцати семи, среднего роста молодой человек, носил черный сюртучок, крахмальное белье, галстух, и вообще вид имел европейский. Был не щеголеват, очень опрятен, вежлив и скромен; но я бы сказал, горделиво скромен. Он него веяло холодком. Он располагал к себе, чем-то притягивал, но, как-будто, и отталкивал. Большой лоб, бородка и зачесанные назад густые прямые волосы. Лицо крупное, очень бледное, а на бледном лице два черных бриллиантика — сверкающие, серьезные, спокойно глядящие перед собою, глаза. Говорил мало. Был, казалось, умеренно-либеральных взглядов; по крайней мере, когда Оболенский или Юзов, и в особенности Жуковский, начинали требовать конституции, свержения царя или вообще создания такого порядка вещей,

и совершения такого подвига, который никому из них не был под силу, он холодно молчал, а конституции не хотел.

— Едва ли она нужна народу, — вскользь замечал он.

— А что же нужно?

— Не знаю что; наверно не знаю.

— Но согласитесь, что прежде всего надо разделаться с ним... вы понимаете?

— Догадываюсь. Что ж, попробуйте!

Тончайшая усмешка пробегала по его аскетическому лицу.

Жуковский со своим адвокатским остроумием (он стал присяжным поверенным) как-то терялся при Самойлове. И когда тот уходил, понижал голос с ужимкой:

— Странный господин. Не очень-то нравится мне!

И выразительно нюхал воздух своим мефистофелевским носом.

Но Оболенский горячо ручался за Самойлова, иногда писавшего рецензии в его «Мысли», а Каблиц становился серьезен и сдержан. Осипович-Новодворский, мой друг, тайно влюбленный в Марью Николаевну, усердно наблюдал и изучал Самойлова для своей беллетристики.

— Знаешь что, — делился он со мною, — этот тип тем интересен, что он как-то благородно-загадочен.

О Самойлове придется потом еще говорить, и притом сказать самое главное; а пока — опять о понедельниках «Слова», т.-е. о литературных собраниях у меня в лихачевских меблирашках.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ШЕСТАЯ.

1878 — 1880.

Понедельники были необходимы для «Слова». Конечно, следовало бы устраивать подобные собрания, объединявшие сотрудников и привлекавшие новых работников журналу, кому-либо из издателей. Но я взял на себя заботу о понедельниках, а о материальной стороне — что-нибудь они стоили же — я не думал. Приятно было, когда наше скромное жилище (мы потом взяли квартиру в Манежном переулке) являло собою нечто в роде литературного клуба, и он как бы служил продолжением моих раннейших вечеров в провинции. Есть великая радость в общении с людьми, связанными по возможности одинаковыми духовными интересами, да наконец и самый процесс гостеприимства имеет свою привлекательность. Что греха таить, мы все любим угостить человека. Неправда, будто в Петербурге не водятся Петры Петровичи Петухи. Водятся, водились — только в более культурной обстановке и в других бытовых условиях. Пример заразителен — и вслед за понедельниками у меня, зачались вторники у Святловского, среды — у Попова

(Эльт), четверги — у Воропонова, пятницы — у Кулишера, ночи — у кн. Урусова или у Кавоса, субботы — у Введенского. Все это были литературные уголки, где можно было встретить и В. Ф. Корша, и П. А. Гайдебурова, и Кони, и Плещеева, и Стасюлевича, и Спасовича, и Михайловского, и Горленко и многих других интересных или даже замечательных людей. Такие кружки сближали писателей и общественных деятелей. Но справедливость требует сказать, что понедельники «Слова» носили более деловой характер. На наших понедельниках всегда читались и обсуждались рукописи, предназначенные к печати, и решались разные общие редакционные вопросы. Политические новости, городские, административные, журнальные узнавались у нас. Адвокаты первые приносили их, Боборыкин привозил из Парижа последние моды, воцарившиеся в художественном мире (кстати и в портновском), рассказывал о своих знакомствах с Гамбеттой, Гюго, Золя, Флобером, и его слушали с улыбочкой. Он был еще молодой курносый франт, с румянцем во всю щеку, отчетливой дикцией, как у актера; Андреевский читал свои стихи, красавец, слегка печоринской складки и адвокат с большой практикой; Якубович, круглолицый, юный, как девочка, и свежий, как яблочко, революционер, передававший из «движения» такие факты, которые в газетах не находили места — об арестах, обысках, тюремных ужасах, о Сибири, об успехах пропаганды в деревне; на все он смотрел в розовые очки и, в конце концов, декламировал «La charogne» — «Падаль» Бодлэра; типографщик Демаков, у которого печаталось «Слово» в Новом переулке, в курьезном доме, где в старину помещалась масонская ложа, делал сообщение о том, как цензура сожгла великолепную книгу Геккеля «Антропогения», и заклинал нас писать умереннее, а то, неровен час, спаси бог, не поцеремонятся и со «Словом». Случалось — и нередко, — мы проваливали известного писателя, напр. того же Боборыкина, бракуя его повесть. Альбов и Баранцевич, обыкновенно, сидели в стороне, молча, за графинчиком, и не пропустили ни одного понедельника; дамы подшучивали над Горленко, который приходил всегда во фраке, с бритой головой, с парижским акцентом, друг Додэ, сотрудник «Голоса»; Коропчевский отстаивал натурализм Золя, я — Флобера, Урусов превозносил братьев Гонкуров, Венгеров читал свои статьи о беллетристах-народниках, Осипович насмешливо улыбался и поверх очков смотрел на всех своими светлыми близорукими глазами, — это он уже сочинял какую-нибудь новеллу: придет домой и набело перепишет ее с черновой, которая у него в голове; почерк у него был жемчужный, и он не позволял себе ни одной помарки в рукописи; Оболенский сидел у чайного стола и внимал, собираясь «возражать», он всегда возражал, как и Каблиц; один Самойлов вел себя неопределенно, поглядывал на часы, жал руку Марье Николаевне, которая на фоне этого вечера казалась ярко освещенным повторением мадонны Рафаэля, и исчезал, а Жуковский пони-

жал голос: «странный господин»! Дым валил клубом из другой комнаты, куда уходили курить, диван трещал под грузным Коропчевским, Минский с вдохновенным лицом, растянув красные губы, собирался читать новые стихотворения свои для «Слова»...

Чтобы покончить с моими понедельниками, игравшими, несомненно, кое-какую роль в литературе конца семидесятых и начала восьмидесятых годов XIX столетия и бывшими колыбелью господства у нас не золяизма, как утверждала тогдашняя критика, плохо разбиравшаяся в литературных направлениях, а своеобразного импрессионизма, вдохновителем которого был Флобер, — не мешает с некоторою болью в сердце рассказать, как они прекратились.

Три года продолжались понедельники, не прекращаясь даже летом. Кончался 80-й год. В «Слове» начался раскол между сторонниками научного направления, возглавляемого умным и образованным Коропчевским, с компаниею (кн. Урусов, я, Зибер), и между чистыми народниками, отрицавшими экономику и возлагавшими все упования только на политику; вождем их объявил себя бездарный и малограмотный Жемчужников, а свиту его составляли Ленский-Онгирский, выученик Ткачева и Соколова, Жакляр-Жика (по недоразумению), парижский коммунар и эмигрант, жена которого имела бани на Васильевском Острове, Бух и Венгеров. Прочая публика — беллетристы, хроникеры, поэты — представляли собою промежуточный слой, более склонный, однако, к крылу Коропчевского.

В одну из пятниц мы окончательно разошлись с Жемчужниковым и объявили, что уходим из журнала.

В очередной понедельник мы с Марией Николаевной, по обыкновению, ждали человек двадцать обычных посетителей, и заготовлена была небогатая трапеза. Мария Николаевна хотела даже щегольнуть пирогом, над которым трудилась с вечера. И, за исключением Самойлова, Осиповича и Коропчевского (Зибер был болен, а Урусов в суде), никто не пришел, ни одна душа, точно сговорились! Немедленно отшатнулись, когда увидели, что мы в журнале уже не имеем влияния. Мы только посмеялись.

— В следующий понедельник зато будет толчея у вас, — сказал Коропчевский.

— Вы думаете?

— С завтрашнего дня начнут появляться объявления о нашем новом толстом журнале, издаваемом таким богачом, как Базилевский... владелец Каспийского моря... а редакторами будут Антонович и Ясинский, да я. Советую вам, Вера Петровна (Мария Николаевна все не получала паспорта от отца), — советую взять в кухмистерской особый свадебный зал для гостей!

— Незваных! — отрезала Мария Николаевна.

В самом деле, появились публикации в «Новом Времени» и в «Голосе», и в понедельник поминутно — стук да стук в дверь...

Больше чем двадцати гостям отказала Мария Николаевна, неизменно стоя в дверях.

— Вы, стоическая! — сострил Осипович, следя за нею из-за чайного стола.

— У нас приемов больше нет! — объявляла она. — Приемов нет! Не принимаем!

Дамы сильнее чувствуют обиды и жесточе нашего брата. Я бы не выдержал. В особенности пожалел я толстого Венгерова, напрасно взбиравшегося по крутой лестнице в пятый этаж; чуть было не крикнул ему: «Назад»! Но на прекрасном лице Марии Николаевны играло выражение неумолимости и торжества.

Однако я забежал вперед.

Урусов, Александр Иванович, появился еще в 1878 г. в «Слове», чтобы высказать, по его словам, свое восхищение журналом и, как подписчик, пожелать ему дальнейшего процветания. Тут кстати он отметил работу и научного хроникера, передавшего теорию Томпсона о движении и вихреобразном строении молекул с «мастерством поэта». Мне было лестно мнение знаменитого адвоката, прославившего себя защитою нигилистов и за это в свое время сосланного в Ригу, где он женился на простенькой немке, и только недавно вернувшегося в Петербург. Завязалось знакомство, и, узнавши, что я люблю Флобера, писателя в России еще неизвестного и затмеваемого Эмилем Золя, он пригласил меня и Коропчевского к себе на вечер.

Он жил на Сергиевской в бельэтаже. Квартира его была музеем. Посредине приемной красовался бронзовый бюст Вольтера, работы Пигаля. Картины венецианских мастеров висели на стенах вместе с французскими и русскими. Вечер весь был посвящен Флоберу. Читал Урусов мастерски, и мелодика французского языка ласкала слух: слово становилось краской, фраза — картиной, что достигалось еще неподражаемой простотой стиля Флобера. Своим чтением Урусов усиливал интерес к великому писателю и доставлял огромное наслаждение. Кроме нас, приглашены были Андреевский, Плещеев, Кавос. Плещеев, известный поэт, с добродушным лицом человека сороковых годов, слегка посмеивался над «флоберизмом» и советовал заняться изучением Глеба Успенского, но слушал внимательно и «одобрял». Кавос никогда ничего не писал, в совершенстве знал французскую литературу и служил секретарем в петербургской губернской земской управе — гурман стиля, рифмы, образной речи, эстет и либерал. Ему было уже под пятьдесят, он был уже «седой наружности», но весело и бодро смотрел на мир, хотя и страдал несносной болезнью — экземой лица. Урусов приглашал на свои вечера всегда не более пяти человек, и к концу мы переходили в столовую, где чудесно угощала нас его жена, а он развлекал чтением уж не гениального Флобера, а писателей «ниже всякой критики»; его «библиотека идиотов», которую он накоплял, бродя по лавкам букинистов и следя за витринами книжных мага-

зинов, была неиссякаема. Капитан Лебядкин из «Бесов» Достоевского, пожалуй, не всегда мог бы превзойти поэтов из коллекции Урусова. Есть у людей потребность и восхищаться прекрасным, и смеяться над уродливым. И не к соседней ли с нею загадочной стороне человеческой души относится необыкновенно растяжимая скала нашей способности подниматься на высоты благороднейшего восторга в мире нравственных переживаний и вдруг опускаться до крайних глубин низших чувствований?..

Вечера у Кавоса, в доме католической церкви на Невском, носили еще более замкнутый «эстетный» характер; приглашались только Плещеев, Урусов, Коропчевский и я. Кавос выискивал какое-нибудь неизвестное стихотворение Теофиля Готье, поэму Леконта-де-Лилля, какого-нибудь автора XVII или даже XVI века, и чтение редкого шедевра сопровождалось еще смакованием столь же, если не более, редкого вина или ликера. Начинались такие вечера у Кавоса в 12 часов ночи и кончались зато не позднее двух часов. О политике ни слова. Два часа тончайших художественных наслаждений. Но как-то я два раза кряду не пришел и уж больше не получал приглашений от Кавоса.

Вечера у других писателей представляли собою обыкновенные товарищеские сборища с ярким оттенком обывательщины.

Возвращаюсь к прерванному повествованию.

Я остался на лето полномочным хозяином журнала и в столетнюю годовщину празднования памяти Вольтера заказал коммунару Жакляру статью о великом человеке. Он написал две статьи — обе великолепные; и первая появилась в июльской книжке. По выходе книжки в свет я получил приглашение «пожаловать» в Цензурный Комитет.

Секретарь Комитета Пантелеев, самодовольный черноволосый чиновник, принял меня, как старого знакомого, хотя я видел его в первый раз.

— А, очень приятно, или вернее, очень неприятно: я имею от председателя поручение вам сказать, что в следующей статье о Вольтере, которая обещана, надо смазать все резкости первой. Там такая революция напущена! Тем более, что без надлежащей серьезности. Вот и все. Ну, бывайте здоровеньки.

Но из второй статьи, появившейся в августовской книжке «Слова», я ничего не вымарал — не мог представить себя в роли цензора; да и жаль было портить статью. По закону, книжка бесцензурного журнала могла выйти в свет только по истечении трех дней, а тем временем она рассматривалась в Цензурном Комитете.

Вдруг я получаю приглашение, написанное в любезнейших выражениях, явиться лично к председателю Комитета Петрову.

Войдя в его кабинет, я сразу узнал его по мертвой лиловой с желтыми разводами бритой маске. Вероятно, Петрову было лет восемьдесят. А встречал я его на улице: всегда он, с большим букетом цветов, идет, как автомат, странно семенит ногами, челюсть

отвисает, и он бормочет вслух какие-то неясные, но, может-быть, и ласковые слова.

Петербург вообще полон был тогда таких выживающих из ума стариков и старух, нарядных, с наклеенными бровями, нарумяненных и в париках. В известные часы они бродили по Невскому и сами с собою беседовали, как безумцы. Я принимал их за призраки крепостной эпохи. За одной такой великосветской старушенцией шел, обыкновенно, высокий лакей в ливрее и в цилиндре с золотой кокардой, а впереди юлил офицерик в привилегированной форме и просил «дать дорогу, дать дорогу ее высочеству».

Все это мигом пронеслось в моем уме, когда я подошел к Петрову и представился. Старец был в забытьи. Лиловая голова его была склонена на грудь, веки опущены. Я повторил:

— Я такой-то. Вы изволили меня вызвать.

Петров проснулся.

— Ах, да? Очень, очень рад. Превосходная статья о Вольтере.

Он мертвым глазом заглянул в развернутую книжку «Слова», а более живым, хотя тоже оловянным, воззрился в меня и опять на секунду забыл и меня, и журнал.

— Превосходная статья. Но мы попросим вас ее вырезать. Конечно, вы имеете право этого не делать. Но тогда вы получите первое предостережение. Первое! Первое!

Он стал извиняться.

— Простите нас, молодой человек, если не ошибаюсь, профессор. (Я не успел возразить, что я не профессор.) Да, да.. Наука движется вперед огромными шагами.. В какой тупик она упрется, другой вопрос. Но совет мой — сюпримировать статью. Сю-при-ми-ро-вать!

По лицу Петрова пробежала желтая тень, зеленая, синяя. Он заснул, очнулся. С усилием подтянул тяжелую искусственную челюсть и вдруг рассмеялся дробным сановным смехом на э, явственно — и, конечно, непроизвольно — щелкнул фарфоровыми зубами, и слегка привстал в знак того, что аудиенция кончена.

Я откланялся.

Получить первое предостережение еще не представляло большой беды. Это даже подняло бы престиж «Слова». Посоветовавшись с сотрудниками, я решил оставить в книжке вторую статью о Вольтере и пойти на предостережение. Но утром на четвертый день, когда контора уже готовилась к экспедиции книжки, влетел ко мне, запыхавшись, типографщик Демаков и объявил, что августовское «Слово» арестовано и будет предано сожжению. Отклонить ауто-да-фе не было уже никакой возможности, и пришлось о трагическом факте телеграфировать хозяевам журнала, беспечно отдыхавшим на лоне природы и только-что приславшим мне одобрительные отзывы по поводу моего «умелого» редактирования.

Я, конечно, ждал громов на свою голову, но убыток падал, в сущности, не на Коропчевского и не на Жемчужникова, а на мецената Сибирякова, и все обошлось благополучно. Вернулись осенью хозяева и даже угостили меня и Жакляра-Жика ужином в «Медведе».

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ СЕДЬМАЯ.

1878 — 1880.

Еще в Москве за перепечатку «Четырех дней» Гаршина из «Отечественных Записок» у меня с издателем «Газеты» Гатцуком вышел спор, и он объявил мне выговор, а я хотел уйти, и только извинение, принесенное им, уладило конфликт. Гатцук все-таки остался при особом мнении: такие рассказы, как «Четыре дня», совершенно «неуместны» во время войны. Кстати отмечу, что в столкновении с издателем мою сторону принял Костомаров, выразившийся так: «Что ни говорите, а война есть разбой».

Вообще появление Гаршина произвело в то время большое впечатление и протестующими, и художественными сторонами его превосходного рассказа. Поэтому визит Гаршина в редакцию «Слова» (которая перебралась на Мойку у Синего моста) приятно нас удивил.

Вошел, прихрамывая, — он был ранен на войне — молодой человек необыкновенной красоты: такие чудесные глаза-звезды, влекущие к себе, были только у Марии Николаевны, да у Сикстинской мадонны; смуглый румянец играл на его слегка восточном лице, опушенном нежной бородкой, а черные волосы вились; и во всем его облике было что-то девственно-застенчивое.

Он пришел, однако, лишь с целью литературного знакомства с нами и чтобы похлопотать о переводах для какой-то своей знакомой.

Жемчужников, которого я вызвал из его кабинета, стал усердно ухаживать за Гаршиным.

— И Дмитрий Андреевич и вот И. И., разумеется, не откажут вашей протеже в переводах, но желателен был бы от вас лично рассказ. . . Надеюсь, вы ничего не имеете против «Слова»?

— «Слово» я читаю с удовольствием, — отвечал Гаршин Жемчужникову: — но я связан с «Отечественными Записками». Мне даже маленькое жалование платят с тем, чтобы я не участвовал в других изданиях.

— А полистно вы получаете?

— Да.

— Если не секрет — сколько?

— Семьдесят пять с листа. . . Но я так мало пишу.

— Послушайте, Всеволод Михайлович, — начал Жемчужников, играя золотыми цепочками, которыми была увешена вся его грудь, — мы вам будет платить такое же жалованье, но полистно будем платить не семьдесят пять, а триста. Переходите к нам.

Гаршин вспыхнул. Краска заиграла на его худых щеках.

— Нет, я не могу нарушить обязательства.

— Так, вы, по крайней мере, скажите Салтыкову о нашем предложении. Нельзя же так эксплуатировать писателя.

— О, нет, пожалуйста, не говорите так. Ведь, я едва лист или полтора могу написать в течение года, и это выходит чуть не тысяча за лист. . . Скорее я эксплуатирую журнал.

Тут Гаршин поднялся и ушел, опираясь на костылек, я проводил его до лестницы, и мы обменялись взаимными пожеланиями более тесного знакомства.

Нельзя не упомянуть здесь о том, что в «Слове» начал писать В. Г. Короленко. Произошло это при следующих обстоятельствах.

В типографии Демакова, где печаталось «Слово», служил корректором некто Юлиан Короленко. Конечно, корректировал он и «Слово». Журнал выходил аккуратно первого числа каждого месяца. Часто статьи присылались авторами в последние дни, сверх срока, и поэтому корректор, подписывая, рисковал, что книжка выйдет с опечатками, так как наборщики не в состоянии выправить набор в какой-нибудь час, а машина не ждет. Случилось, что в научной статье, вместо «озон», было везде набрано «огонь». В специальном журнале посмеялись над опечаткой, редакция огрызнулась, но Демаков стал изводить корректора, и Юлиан Короленко обратился ко мне за защитой.

Это был чрезвычайно вежливый с польской складкой и польским акцентом плешивый человечек. Он был неправ, но мало ли какие опечатки бывали и бывают. Демаков прекратил свои нападки, а Юлиан, посещая меня, рассказал, что брат его Владимир тоже профессиональный корректор, и у него есть охота самому писать; только из самолюбия боится, что его забракуют.

— Где же ваш брат?

— А он сейчас сидит.

— Где?

— Он политический, и, может, его скоро сошлют. Хорошо, ежели в места не столь отдаленные.

— Вы бы мне принесли что-нибудь из его писаний, — предложил я.

На другой же день он принес тетрадку.

При взгляде на нее опытный глаз сразу мог узнать, что она побывала уже в редакционном портфеле. На одном уголке сохранился номер поступления в редакцию, а на другом след стертой, написанной карандашом, резолюции.

— Рукопись уже была где-нибудь?

Юлиан Галактионович покраснел.

— Это я стер... Была в «Отечественных Записках» на просмотре у Михайловского. Брат приказал, если рассказ не подойдет, уничтожить, а я решил еще попытать счастья в «Слове», но боялся, что для вас отказ Михайловского напечатать повесть начинающего автора будет иметь значение. Мне следовало бы переписать первую страницу, чтобы не вводить в соблазн. Помилуйте, такой авторитет...

— Мнение Михайловского очень ценно, но и авторитеты ошибаются. «День итога» Альбова был забракован другими журналами, а, напечатаннный в «Слове», загремел, и, на мой взгляд, его даже переоценили. Оставьте рукопись.

Носила она название «Эпизоды из жизни искателя приключений». Очевидно, первые страницы произвели неблагоприятное впечатление на Михайловского: был робкий приступ к повествованию. Быка надо сразу брать за рога. Но когда я отрезал эти страницы, рассказ заиграл красками и, напечатанный, обратил на себя внимание критики.

Приятно вспомнить, что звезда Владимира Короленко взошла при некотором моем содействии.

Следующие рассказы его, присылаемые уже из Сибири, печатались в «Деле» и в «Русской Мысли». В «Отечественных Записках» Короленко ни разу не появлялся и сошелся с народниками уже в «Русском Богатстве» после запрещения «Отечественных Записок».

Вернулся же Короленко из Сибири уже в конце 80-х годов при Александре III. Об обстоятельствах возвращения писателя рассказывали мне Давидова, издательница «Мира Божьего», и поэт Арсений Голенищев-Кутузов, секретарь царицы Марии Федоровны. Слава Короленко была уже так велика, что было в глазах и либералов и реакционеров преступлением не беречь его. Какой-то рассказ его — кажется, о добром исправнике — был переведен на датский язык, понравился при копенгагенском дворе, и отсюда — покровительство, оказанное Марией Федоровной Владимиру Короленко.

Кстати, по просьбе Голенищева-Кутузова, писателем занялись «Московские Ведомости», где появились о нем восторженные фельетоны Ю. Николаева (Говорухи-Отрока), бывшего когда-то социалистом и, повидимому, искреннего ренегата, наподобие Тихомирова.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВОСЬМАЯ.

И. С. ТУРГЕНЕВ, И. А. ГОНЧАРОВ. П. Д. БОБОРЫКИН. ВС. ГАРШИН.

О встречах с некоторыми писателями уместнее было бы рассказать в хронологическом порядке, но они не находились в непосредственной связи с моею литературною деятельностью, и встречи

с ними носили эпизодический характер. Этим великанам и волшебникам родного слова, к тому же, везде и всегда может быть оказано внимание.

Тургенев, по пути из Спасского-Лутовинова в Париж, остановился на несколько дней в Петербурге. Главный издатель, или, вернее, собственник «Слова» К. М. Сибиряков, проведав, что писатель где-то благосклонно отозвался о нашем журнале, пригласил его к себе на раут.

Конечно, Тургенев приехал для нас и нашел в сборе почти всю молодую литературу «Слова», «Отечественных Записок» и «Дела». В ожидании его, лестница сибиряковского особняка была уставлена цветущими розами. Большой зал был ярко освещен, эстрада декорирована зеленью; стулья, человек на сто, расположены были рядами. Нас любезно приняли и указали места муж и жена Сибиряковы. На невысокую открытую эстраду вели ступени, устланные сукном. Сибиряков, молодой застенчивый купчик, сидел около меня и комкал свой носовой платок, поглядывая то на дверь, то на эстраду.

Но вот вошел высоченный, в черном сюртуке, белый, как снег, Тургенев, словно престарелый Аполлон, окруженный музами — хорошенькими, во всяком случае, нарядными, девушками. Очевидно, они встретили его на лестнице, и, когда он, кланяясь на ходу, взошел на эстраду — при чем мы все стояли, пока он не сел, — уселись и они на ступеньках у его ног и образовали живой цветник.

Альбов, смотревший на Тургенева глазами Достоевского, шепнул мне:

— Начнет ломаться.

Я отвернулся от Альбова. С той поры, если не целая кошка, то котенок пробежал между нами. А голос Тургенева, грудной, мягкий, теноровый и очень выразительный, уже лился с эстрады непрерывной речью. Похоже было, что он уверен в нашей настоятельной потребности слушать его. Да и дико было бы, если бы Тургенев смутился и молча восседал на возвышении. Он начал с описания впечатлений, которые, в каждый приезд свой в Россию, он воспринимает и переживает.

«— Одно время было такое застойное, а теперь новость сменяется новостью. Невольно спрашиваешь с Гоголем: «Русь, куда стремишься ты?». Где, в самом деле, предел ее устремления? Молодежь проснулась, но что, если она еще только протирает глаза, и неясно видится ей цель этого устремления. Славянофилы смешны с их обожанием старины, православия и патриархального уклада жизни, но если в одном все-таки они правы: в том, что России назначено историею первой повести народы мира по светлому пути преуспеяния? А это ведь путь к настоящей свободе, к счастью, к вечному миру. Скажут — дика еще, матушка! Куда ей! В самом деле, дикости много невероятной. Передовая Русь уже мечтает

о представительном правлении. Были и, может-быть, есть в ней даже республиканцы, социалисты, есть два-три анархиста... Согласен, согласен, наберется десяток. Но народ... Народ еще крепко стоит за царя. Еще ему подавай трех китов да притом самых большущих. Кстати расскажу о встрече царя в Мценском уезде в шестидесятых годах, когда Александр Николаевич изволил путешествовать по империи. Пришел приказ встречать. Крестьяне взволновались — охота взглянуть. В назначенный день с утра на большую дорогу повалила толпа. А к вечеру вернулись кое-какие мои соседи с торжествующими лицами и прямо ко мне: «Здравствуй, Иван Сергеевич. Удостоились!». Видели? — «Видели, видели, удостоились». — Ну, какой он? — «Агромадный». Да что вы? — «Прямо до облака! Лошади, как сомашедшие, несут, пену роняют; а он, батюшка, стоит посреди коляски несуразный этакой, хмурый, великанище! Мы — на колени. Ваше анператорское величество, не губите, а он — палец поднял... ну, как тебе сказать — не палец, а бревно березовое, алибо дубовое, да как загремит: «Я вас, разэтакие сыны!» — и только мы его видели, батюшку». В чем же дело было? Что это за иллюзия? Откуда взялся великан? Что за гипертрофия зрения? А это впереди царской коляски, изволите видеть, скакал исправник наш, действительно, порядочный дылда. По полицейскому обыкновению, стоял в пролетке и орал, усердствовал. «Ну, а что, за царем ехал кто-нибудь еще»? спрашиваю. — «Позади-то? Много ехало разной шушеры... Так генералишки ехали, смирные, сморчки». Одним словом, вот истинное представление у народа о царской власти — «Я вас, раз-этакие». Царь должен быть грозным, страшным. А если он обыкновенный человек, то щушера или сморчок. И власть это понимает, и оттого она так у нас непреклонна и сурова, опираясь на народ, и оттого столько препятствий, иногда непреодолимых, к просвещению народа. Жутко! А все же когда-нибудь зрение народа прояснится... Перестанет он смотреть в увеличительное стекло на то, на что мы уже смотрим в уменьшительное...».

Тургенев говорил без всяких «ломаний» и «штучек», как ожидал Альбов, которому он все-таки не понравился; речь его была проста, разговорная, не ораторская и не профессорская, — не даром герой его романа Базаров просит Аркадия: «не говори красиво».

Незаметно среди напряженного внимания слушателей иногда лишь то Русанов, то Глеб Успенский, тоже усевшийся с «музами» на ступеньках эстрады, прерывали Тургенева короткими восклицаниями. — Пролетел час, лакеи стали разносить чай, Тургенев встал и начал прощаться. Я сидел против эстрады, и так случилось, что он первому подал мне руку.

Была у него большая, мощная, жилистая рука, на которую до половины съезжала белоснежная манжетка. Серебряная знаменитая прядка волос падала на его лоб. Резкие, крупные черты лица

носили характер скорее крестьянский, простодушно-мужицкий. У иных старых крестьян, еще в семьдесят лет продолжающих заниматься извозом, у хозяйственных большаков, бывают такие бесхитростные и вместе мудрые лица.

Он обошел всех, никого не пропустил, хозяева проводили его, а потом встали по обеим сторонам дверей, в знак того, что вечер кончился. У подъезда на улице, у экипажа, ожидала небольшая толпа любопытных, и, когда Тургенев вышел, окруженный нами и курсистками, ему устроили овацию.

С Гончаровым я познакомился уже позднее, в 1882 году. Он прочитал в «Отечественных Записках» мою повесть «Всходы» и сказал Евгению Утину, у которого иногда бывал, как у сотрудника и «родственника» «Вестника Европы» (издатель «Вестника Европы» Стасюлевич был женат на его сестре), что желал бы повидаться со мною. Утин приехал за мною и повез меня на Моховую, где в одном из домов, во дворе, уже много лет кряду проживал знаменитый писатель.

Это было весною. Я был болен, собирался на юг, картины и мебель сбыл за бесценок, вещи были упакованы, я уже простился с друзьями и с удовольствием поехал в погожий ясный день к Гончарову.

Горничная отворила дверь, впустила в невзрачную переднюю и пошла доложить обо мне и Утине.

Быстро вышел к нам нехуденький, невысокий, лет семидесяти, не очень седой человек в серой паре и приветливо протянул руки.

— Пожалуйте, пожалуйте, сюда в кабинет!

В кабинете он занял кресло за письменным столом, поджав под себя ногу. Мы сели по другую сторону стола. Глаз мой охватил как-то сразу все подробности обстановки Гончарова. В ней было много несомненно обломовского: тот же диван стоял у стены, уже изрядно усиженный, картина косовато висела над ним. Положительно, те же туфли-шлепанцы высовывались из-под дивана. На стене, за Гончаровым, блестели под стеклами литографии с изображениями героинь его романов. Поодаль на старинном ломберном столе красного дерева стояли в золоченых бронзовых рамках портреты августейших особ. Там же красовались столовые часы, поднесенные «Вестником Европы» Гончарову в день его сорокалетнего литературного юбилея.

Проследив за моим взглядом, Гончаров сказал:

— Портреты эти с личными надписями: «Дорогому Ивану Александровичу» и т. д. Они народ любезный и вежливый, и я берегу. А это портрет моей любимой собачки, ныне — увы — уже скончавшейся, писанный Николаем Ивановичем Крамским. А это — довольно-таки неудачные литографии. Я должен вам сказать, впрочем, что писателя не может удовлетворить ни одна иллюстрация к его произведениям, в особенности, если художник тоже натуралист. Я не узнаю ни Марфиньку, ни Веру. Каждый

художник по своему понимает и представляет, другим художником созданные, образы. Так вот, значит, молодое поколение появилось, наконец, нам на смену, — перешел он на меня, вызвав мое смущение, сказал: — Я давно не читал ничего такого яркого, и прямо скажу. . .

Я оборву тут на секунду рассказ, не стану повторять того, что похвального сказал по моему адресу Гончаров. К тому же, мнение его обо мне было высказано им письменно в обращении к одной даме, напечатанном в «Ежемесячных Сочинениях». Я тогда принял его слова за комплимент. Начинающие беллетристы в то время были скромного мнения о себе; по крайней мере, я не придавал большого значения своим опытам. Гончаров, однако, в письме, вскоре ставшем известном мне, утвердил меня в некоторой вере в свои силы.

— А недавно — я слыхал — молодежь какой-то адрес собиралась послать Тургеневу. По какому поводу? Болен он, что ли? — вдруг спросил Гончаров.

— Нет, адреса никакого не собираются посылать Тургеневу, сколько мне известно, — отвечал Утин. — Не правда ли? — обратился он ко мне.—А что Тургенев болен, так это факт и печальный.

— Печальный, согласен. . . Но он такой мнительный, чуть что, бывало, он сейчас за докторами. А на самом деле, сколочен на диво — топором. Не то, что я. Одно время, надо заметить, мы были друзьями. Я его высоко ценил, он ведь европейски образованный человек. Таким образом, я прочитал ему, как критику и знатоку искусства, главу из «Обрыва». Я ведь медленно пишу, десятками лет. Прочитал — глядь, уж у него напечатаны «Накануне», и «Дворянское гнездо», и «Рудин», и целиком взяты женские типы у меня. Тогда я порвал с Тургеневым. Он прыткий, за ним не угонишься. . . Нет, молодой человек,—сказал мне Гончаров,— никогда не делитесь образами, идеями, замыслами даже с лучшими вашими друзьями, если они писатели, не читайте им готовых, но еще не напечатанных книг — оберут, как липку! Всем делитесь, чем хотите, но не духовными сокровищами, пока не доставайте из-под спуда, не хвастайте ими с глазу на глаз, берегите для всех! . .

Я, кажется, возразил что-то в защиту Тургенева. Утин толкнул меня ногой под столом. Гончаров оживился и стал сравнивать разные места из своих сочинений и сочинений Тургенева. Сходства было мало.

— Между прочим я узнал, что Тургенев, разобиженный за то, что я укорял его в плагиате, ставит мне в вину мое цензорство. Но ведь и Майков — цензор, и Полонский — цензор!

— В иностранной цензуре служат, — пояснил мне Утин.

— Ну, да, в иностранной — в цензуре! Не все ли равно! — вскричал Гончаров. — Правда, что они ничего не делают, а я день и ночь работал. Правда, что я служил в общей цензуре. И знаете, чем я стяжал себе реномэ сурового цензора? Борьбою

с глупостью. Умных авторов я пропускал без спора, но дуракам при мне дорога в литературу была закрыта. Я опускал шлагбаум и — проваливай назад. Да, я сам против цензуры, я не сторонник произвола, я — литератор pur sang. Но надо беречь литературу от вторжения глупости. Ни один редактор не пропустит в журнал глупую повесть или статью. А почему же литература должна быть в этом отношении свободна?

— А где же набрать Гончаровых, много ли их? — спросил я.

Глаза Утина, похожие на две черные крупные вишни, засмеялись.

Гончаров вскочил с места.

— Это уж другой вопрос, господа. Это уж ad hominem, а не принципиально!

Беседа была прервана средних лет человеком, низко поклонившимся Гончарову еще у дверей.

— Имею честь наименоваться — художник Наумов.

— Пожалуйста, что вам угодно?

— Вы изволили быть современником незабвенного Виссариона Григорьевича Белинского и, наверно, бывать у него, а я хочу изобразить тот момент его жизни, когда он, больной чахоткою, лежит у себя, и жандарм справляется об его здоровье. Так мне нужно было бы знать приблизительно, какая была обстановка в его кабинете? Где стоял стол, книжный шкаф, диван?

Гончаров в нескольких словах удовлетворил его, пояснив, что у Белинского он бывал довольно редко, хотя игрывал с ним в преферанс. Белинский жил тогда на Лиговке, во дворе.

Художник все время стоял, занес кое-что в записную свою книжку и откланялся, а Гончаров переменил разговор и стал советовать мне не сходить с того «своеобразного» художественного отношения к действительности, которое я проявил во «Всходах».

— Ваш «Бунт Ивана Ивановича», который вы напечатали в «Вестнике Европы» в прошлом году, мне меньше понравился.

— Вы все читаете, Иван Александрович?

— Все, все решительно, ни одно литературное явление не проходит для меня незамеченным. Сам почти не пишу, а слежу за молодой литературой в оба.

С старосветской вежливостью Гончаров прошелся с нами до дверей и пожелал мне поправиться от моего кашля.

— А докторам, с одной стороны, верьте, а с другой — не верьте: они сплошь и рядом ошибаются. Еще увидимся.

Он был прав. Я выздоровел на юге и увиделся с Гончаровым десять лет спустя в приемной журнала «Нива». Старик потерял уже один глаз и страшно осунулся, но узнал меня и разговорился.

— Литература падает,—начал он, сидя со мной на диванчике,— потому что в унижении. И отчего она так унижена, не понимаю. Уже на что время Николая Павловича было тяжелое, а этой при-

ниженности, как-будто, не было. Был гнет, а унижения не было. В то время бывали низкие писатели, в роде Булгарина, и даже раздавленные, но не было униженных.

Вышел Маркс, седой, сутуловатый, высокий, поздоровался с нами и обратился к Гончарову на ломаном языке.

— Ну, дорогой Иван Александрович, мне ошень и наконец ошень приятно сказать вам, что рассказы ваши мы принимаем, и я буль ошень и наконец ошень удивлялся, когда я встрешал не совсем по-руски выражение, которые я указываль моему редактору, штоб исправлял.

— Возможно, возможно, Адольф Федорович, — покорливо сказал Гончаров, — что я не совсем хорошо знаю русский язык, и благодарю вас. Стар стал и кое-что, должно-быть, забываю.

— Ну, ничего, — одобрил Маркс Гончарова. — Хорошо иметь одна ум, но двое умов лютше, чем одна.

Он снисходительно пожал руку великому человеку и попросил его пройти в контору и получить деньги. Горячая краска залила мне лицо. Вот оно засилие мещанства! Вот унижение литературы! Я наговорил дерзостей Марксу, перешел на ты, впал в дурной тон, обругал его неграмотной немчурой (незадолго перед тем Маркс посетил меня, не застал меня и оставил записку: «Буль у вас, Сам Маркс»). Я надолго порвал с «Нивою». Редактор Клюшников выскочил за мной на лестницу и благодарил за урок, данный мною издателю.

Вскоре Гончаров умер. Отпевали его в Казанском соборе, похоронили в Александро-Невской лавре. За гробом шло мало литераторов.

Из писателей не моего поколения я иногда бывал у Боборыкина.

Свои романы он всегда диктовал стенографисткам и в два часа сочинял два печатных листа. На время работы он одевался, как паяц: в красную фуфайку, облипавшую тело, в такие же красные невыразимые, в красные туфли и в красную феску с кисточкою; при этом он прыгал по кабинету и страшно раскрывал рот, чтобы каждой букве придать выразительность. Он производил впечатление вдохновенного безумца.

Всё у него в доме было на французский лад: хорошенькая мебель, коврики, модные картинки. Жена его, бывшая русская актриса, похожа была на француженку и так же выразительно отчеканивала каждую букву в разговоре, как и Петр Дмитриевич. Гостеприимство у них тоже было французское: в определенные часы, днем, от двух до четырех. Мадам встречала гостей на золоченом диванчике, угощала легким вином и пирожным, занимала двумя-тремя фразами о театральных и литературных новостях и милостиво прощалась с беспрерывно уходящими посетителями и так же милостиво здоровалась с вновь появляющимися. Лишь иногда Боборыкины приглашали одного или двух гостей (которые в таких случаях назывались друзьями) к обеду. Он был всегда

изысканный, утонченно парижский. Боборыкины ухитрялись держать повара; опять-таки на французский манер: за три рубля в день он должен был им поставлять завтрак, обед и ужин на двоих, за каждого гостя прибавлялся рубль. От всей обстановки, от хозяев веяло холодным и, однако, чрезвычайно благожелательным европеизмом.

Сотрудничая в «Слове», в «Отечественных Записках», в «Вестнике Европы», в «Деле», Боборыкин много зарабатывал, откладывал на черный день и частью расплачивался с долгами, нажитыми им в шестидесятых годах — когда он издавал «Библиотеку для чтения».

Над ним посмеивались, над его манерами, над его парижским шиком, называли за глаза не иначе, как Пьер Бо-бо, его вышучивали в газетах, но он оставался самим собою до последнего времени, и смотрел на своих насмешников и вообще на весь мир, как на материал, из которого он делает свои романы. Плыл он, как беллетрист, неизменно на верхнем гребне литературной отзывчивости и, строго говоря, был, что называется, безукоризненным человеком, не сворачивал ни влево, ни вправо, даже без пятнышка, а в общем все-таки он в литературном отношении представляет собою для беспристрастного летописца, каким хотелось бы мне быть в своей книге воспоминаний, бледную тень. Романы его выцвели, как выцветают фельетоны на злобу дня. Он не способен был к художественному обобщению, ни юмора, ни сатиры нет у него, и нет поэзии в его писаниях.

Совсем другое впечатление производил Гаршин — душа глубокая, талантливая и трагическая; и другую память оставил он во мне. У него в доме я был всего два раза. Там господствовал дух опеки над ним, что стесняло его и меня. Опекала Гаршина влюбленная в него жена его, по профессии врач, не очень-то красивая и не очень молодая. Она встретилась с ним в больнице, когда он страдал психическим недугом, и сошлась с ним, когда он выздоровел. Постоянно боялась она рецидива, и естественна была ее боязнь.

За то Гаршин часто бывал у меня. Он лично был еще поэтичнее своих рассказов какой-то невысказанностью томящейся души. Но он любил и пошутить и сострить, и комические стихотворения Буренина декламировал наизусть, когда разойдется. Это было тем более пикантно, что Буренин принадлежал, что называется, к другому лагерю, а литературные лагери не признавали друг друга.



Я уже рассказал раньше, как Гаршин оставался верен «Отечественным Запискам». Что же касается «Отечественных Записок», то пенсия, которую он получал из журнала, была скоро прекращена, когда он стал писать чаще; на гонорар же, даже двухсотрублевый с листа, существовать было нельзя. Так что Гаршин был принужден взять место приказчика в писчебумажном магазине Гостиного двора, а потом счетовода в какой-то конторе. По временам Гаршин начинал вдруг полнеть и становился «прозаическим».

*

От него начинало пахнуть мещанством. Но это было плохим признаком. Душа его не выносила мещанского груза, теряла равновесие, и он сходил с ума. Плодом такого страдания был его знаменитый «Красный цветок». Его отзывчивое сердце откликнулось и на страдания рабочего раньше других беллетристов. Стоит перечитать его «Глухаря», чтобы согласиться со мною. «Надежда Николаевна», довольно слабое произведение Гаршина, было зачато в публичном доме на Фонтанке, носившем более приличное название танц-класса. Гаршин побывал там, разумеется, единственно, чтобы взглянуть на такую сторону жизни, которую он еще не знал.

Когда я выехал из Петербурга на некоторое время и жил в Киеве, он приезжал ко мне, был в удивительно хорошем настроении, дышал, как он называл, свободным воздухом. Тогда мы снялись с ним (и с Минским). Этот дорогой для меня портрет был напечатан потом в журнале «Беседа».

О последних днях Гаршина будет речь впереди.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТАЯ.

1880.

Политические события развертывались с роковой неизбежностью, гремящим шагом надвигалась одна из великих трагедий революционного движения в сторону «потрясения основ», во что бы то ни стало, без особой планомерной программы, стихийностью смущавшего многих, но зато увлекавшего в свой водоворот энтузиастов. К этому времени еще господствовало воззрение на крестьян, как на рабочих, но уже стал поднимать голову пролетариат в лице таких самородков, как Петр Алексеев, или Халтурин.

Правда, и Халтурин был втянут в свое течение народовольцами; последовал взрыв в Зимнем Дворце. Но, с другой стороны, из народовольческой партии совсем выпадали все чаще и чаще иные видные деятели, наторевшие в практике хождения в народ и потерявшие веру в целесообразность той революционной деятельности, которую они себе некоторое время вменяли в обязанность. Так, жившие на нелегальном положении, народовольцы Каблиц и Фаресов — последний просидел четыре года в одиночном заключении — предпочли подпольной работе надпольную. Каблиц в 1880 году весь отдался журнальной работе и поступил на государственную службу в контроль. Примеру его последовал Фаресов. Определенный узкий идеал либерально-буржуазной земской партии — добиться конституции, хоть и куцой, о чем представители литературы при свидании с диктатором, Лорис-Меликовым, откровенно заявили ему — соблазнил не только Фаресова и Каблица. Положительно можно сказать теперь, что и террористы, исповедуя тогдашний тактический символ революционной веры, что «не революция для

народа, а народ для революции», имели в виду прежде всего конституцию. Один только Самойлов скептически относился к конституции, открыто в наших кружках не высказываясь даже за республику, и вообще считавшийся человеком, взгляды которого были умереннее, например, политических взглядов чиновника Воропонова, всегда кричавшего, что пора «устроить камуфлет», или свободолюбивых профессоров, получавших в награду за преподавание государственного или полицейского права превосходительные чины и звезды. Кстати, надо вспомнить, что и первомартовцы на суде публично заявляли, что они добивались только правового порядка, были, так сказать, его застрельщиками, а исполнительный комитет в известном письме к Александру III предлагал мир от имени народовольцев на условиях только амнистии и дарования России представительного образа правления; следовательно, народовольцы являлись до конца только красной гвардией либерального земства, и лишь после того, как Александр III, поколебавшись и не приняв мира, казнил Желябова и его сподвижников, их сменили социалисты-революционеры.

Выстрел Веры Засулич в обер-полицеймейстера Трепова был актом скорее анархистским, в том смысле, что он не был организован партией, равно как и неудачное покушение Соловьева на Александра II.

По словам Жемчужникова, Засулич, оправданная судом и, при выходе на улицу, отбитая от полиции, сочувственно настроенной публикой, провела несколько дней в редакции «Слова», прежде чем удалось обеспечить ей бегство за границу. Одно время мы верили, что это, действительно, так было. Но большой трус был Жемчужников, и потому за достоверность факта ручаться нельзя.

Кравчинский был тоже вхож к нам — опять-таки по свидетельству Жемчужникова; лично я никогда не видал Кравчинского в «Слове» ни до убийства Мезенцова, ни после. Как известно, Кравчинский был тоже, несмотря на свой терроризм, буржуазным социалистом.

Так или иначе, все эти революционные зарницы и молнии волновали петербургских журналистов. Даже «Новое Время» получило грозное предостережение за сочувственные статьи по поводу Засулич. Хотелось и мне откликнуться на события. Научный арсенал мой казался мне слишком бедным. А тут стали меня посещать всё повелительнее мечты о романе, о том, как бы воплотить в поэтические образы факты живой действительности. Бегало перо по бумаге иногда до рассвета, а утром Марья Николаевна, просыпаясь, спрашивала:

— Что это пахнет жженой бумагой? Ты опять бросил в печку свой рассказ?

Наконец, рассказ мой «На чистоту» — вызванный известием о казни в Одессе Дмитрия Лизогуба, которого я знал, знал и его брата, морально не похожего на него — я прочитал Дмитрию

Андреевичу Коропчевскому. Ему понравился рассказ, и он благословил печатать.

— Мы его пустим в первой же январской книжке, только надо будет подписать псевдонимом, потому что вы составили себе имя, как ученый.

— Ну, какой я ученый.

— Вы популяризатор, а без знаний нельзя быть им. Как звали вашего деда со стороны матери?

— Максимом. А фамилия его была Белинский.

— Великолепно. Подпишите рассказ «Максим Белинский». Пока — чей, никому ни слова. Посмотрим, как его встретят.

Рассказ вышел в свет первого января 1880 года. Жемчужников, Венгеров, Жуковский, все сотрудники расхвалили его. Тогда Коропчевским был раскрыт псевдоним. Меня единогласно поздравили с «новым дарованием».

В том же году было напечатано еще несколько моих рассказов. Между прочим рассказ «Ночь» в первомайской книжке, по содержанию и настроению, совпал с рассказом Гаршина под тем же заглавием. Он встретил меня уверением, что он моего рассказа не читал, когда писал свой очерк, сданный Салтыкову, к тому же, еще в феврале. Разумеется, так это и было: кристальный Гаршин мог говорить только правду. Дело в том, что в воздухе носились одни и те же социальные образы, и более чуткие могли одновременно воспринять их. Прибавлю, что рассказ Гаршина был лучше моего.

За рассказ «На чистоту», с упоминанием о нем, было объявлено «Слову» первое предостережение.

Между прочим, из Парижа, по рекомендации Тургенева, были присланы нам рассказы двух дебютирующих авторов — Алексиса и Мопасана. При особом письме Мопасан просил, чтобы его рассказ «Boule de Suif» был посвящен одному из редакторов «Слова». Коропчевский предложил, чтобы было выставлено на посвящении мое имя. Я отказался и предложил, чтобы Коропчевский выставил свое имя. Жемчужников благоразумно предложил вычеркнуть посвящение. Таким образом, Мопасан начал свою литературную деятельность в «Слове».

Несмотря на трения, которые принимали в журнале иногда острый характер, благодаря личности и неуживчивости Жемчужникова, игравшего роль хозяина, я не могу не сохранить о «Слове» добрых воспоминаний. Лучшие годы моей молодости прошли в поучительной и благотворной работе в этом журнале. Личность Коропчевского, несколько вялого и бесхарактерного человека, преданного по временам восторгам исключительно растительной жизни, но высокообразованного, обладавшего тонким вкусом и критическим строгим умом, была для меня предметом большой любви и, конечно, имела воспитательное значение. Хотя он тяготел к художественной деятельности и даже впоследствии выступил, как романист, с сильным уклоном к зоологическому натурализму — и неудачно, но на самом деле он по призванию был профессором. Отрешившись от беллетристики, он вернулся к науке, занял в петербургском университете кафедру по географии и этнографии и умер сравнительно не старым человеком.

Выйдя из «Слова», мне пришлось еще несколько месяцев встречаться с Коропчевским в редакции «Нового Обозрения», погибшего при следующих обстоятельствах.

ГЛАВА ТРИДЦАТАЯ.

1881.

Уже сдана была первая книжка журнала в печать, как Дмитрий Андреевич внезапно заболел и засел в жарко натопленном кабинете своем при редакции, окруженный лекарствами. Его посещали я, Урусов, Жуковский, Щеглов-Леонтьев, Слонимский, Антонович — всё сотрудники «Нового Обозрения».

Базилевский, издатель, позвал к себе на «вспрыски». Больной Коропчевский не мог принять приглашения, а мы отправились.

У него на Захарьевской был особняк. Сам он, несуразно-большой, волосатый, с крупным мясистым лицом, открыл нам дверь и ввел в свою холостую квартиру.

В библиотеке, с желтыми шкафами, уже накрыт был стол.

— Прошу.

Мы сели.

— Вы знаете, — начал он, — я ведь старый издатель. Я ведь первый «Историю цивилизации» Бокля издал. Всегда отстаивал я науку и свободу. Помилуйте, не враг же я свободе! Чем бы я был, если бы не свобода? У меня теперь все Каспийское море в кулаке. Четыре с половиною миллиона приносит в год. Чистейших! Все рыбные промыслы там — моя собственность. Но нет чувства прочности. Призовет царь и скажет: «Все мое». Не скажу же я ему: «Пошел прочь»! А он не запищит: «и пойду». Так вот я поневоле и прибегаю к вам, господа: будьте милостивы, защитите, исторгните у него хартию.

— Есть такие, которые исторгают... И исторгнут, — пообещал Антонович, смеясь.

— А пока у меня один домик уже исторгли, — разведя руками сказал Базилевский, — на Выборгской стороне. Призвала сама и говорит: «Вы, кажется, хотели мне подарить что-то?». — «Что угодно, ваше величество?». «Нам нужен приют и капитал, Федор Иванович». — «Полмиллиона пожертвую и прочее оборудую». — «Дом?». — «И дом, ваше величество. Не могу ли поцеловать вашу ручку?». Изволила милостиво протянуть. Чего с нее больше возьмешь? Так вот-с... Приезжаю домой, а мне докладывают, что ждет меня некий вьюнош. Просите. Входит, говорит авторитетно,

вполголоса. «А, с удовольствием. Только, братцы, обороните нас от неволи. Гарантируйте нам неутеснительную жизнь. Получите от чистого сердца радужную бумажечку!».

Базилевский размахивал руками, прямые черные волосы лезли на его толстое лицо; было в этом лице что-то лукавое, самовлюбленное, властное и как-будто безумное.

Он угощал. Обед был самый приказчичий: борщ с растегаями, сушеное нитеобразное мясо с картошкой, кисель, вино столовое, дешевое. Антонович и Жуковский, такие обыкновенно острые на язык, а Антонович нередко и грубый, вели себя с Базилевским, положим, не совсем подобострастно, но с оттенком благородства.

После обеда, перейдя в кабинет, куда подано было кофе молодцом в красной рубахе и в сафьяновых сапогах, подбитых войлоком, Базилевский рассказал, что он держит при себе генерала Н., одного из забалканских героев.

— У меня на чердачке в каморке живет, фотографией занимается. Вчера двух психопаток притащил, по четвертному за штуку. Плясали и ужинали. Ну, и генерал потешать пустился — недурно этак ногами кидал. Я потребовал, чтобы непременно ордена все надел. Он сам маленький, а звезды громадные. И две ленты через плечо чтоб были, синяя и красная. А что, говорю, ваше высокопревосходительство, это не то, что солдат гонять?

Горделиво вздохнул Базилевский — всей грудью.

— Эх, деньги, деньги, сила — деньги! «Все мое, сказало злато». Но, большею частью, с меня довольно и «сознания сего»...

Мы ушли от издателя, убежденные, по крайней мере, что деньгами журнал обеспечен; но достаточно было малейшего признака, что «Новое Обозрение» не очень-то собиралось быть органом либерального капитализма, как Базилевский испугался и поспешил ликвидировать дело.

В «Новом Обозрении» Антонович, как всегда, продолжал играть руководящую роль, опираясь на «доброе» отношение к нему Базилевского. Тургенев, приглашенный в «Новое Обозрение» Урусовым, которого я и Коропчевский уполномочили на это, пообещал прислать повесть по тысяче с листа.

Но, расправляя плечи и покачивая своей русой головой, Антонович заявил, по прочтении письма Тургенева:

— Или я или Тургенев! Кто же, как не я, повалил Тургенева? Как я могу допустить Тургенева рядом с собою?..

— Полноте, полноте, дело давнее, — уговаривали мы Антоновича. — Вы и Некрасова опрокидывали. Однако же, Некрасов не упал. Это только манера выражаться. Тургенев так велик...

— Или я или он! — стоял на своем Антонович.

— Как ни прискорбно нам расставаться с вами, но Тургенев дороже нам, — сказал больной Коропчевский.

Мы поддержали его.

Антонович встал в позу, готовясь к окончательному бою, и насмешливо сказал:

— Так вот что — или Тургенев или я, и со мной Базилевский!

— А, вы уж переговорили с Базилевским?

— Да-с!

Он вынул письмо; каракули миллионера гласили: «Прошу Тургенева не приглашать. А, если уже приглашено, о чем я узнал стороною, то отказать: я не согласен на сумасшедшие траты. Свидетельствую почтение редакции. Действительный статский советник Феодор Базилевский».

Мы переглянулись; Антонович победил.

Первая, вторая и третья книжки «Нового Обозрения» не заключали в себе ничего выдающегося. Были мои статьи и рассказы Осиповича, Щеглова, был Слонимский, Антонович, Святловский, были критические заметки Самойлова.

Разумеется, Антонович расписался о себе, как о таком журналисте, которым только и может держаться издание. Он начал с перечисления своих «титулов» и на журнал старался наложить тяжелую руку, постоянно бывая у Базилевского. Естественно, сама собою образовалась оппозиция. Ни я, ни Урусов не ходили к миллионеру, заплатившему пятьсот тысяч за поцелуй царицыной ручки. В особенности внушал он отвращение Урусову, который, в качестве князя и аристократа, не мог простить ему издевательства над забалканским генералом. Тут уже были классовые счеты. Коропчевский все болел и выпаривал свой недуг в жарко натопленной комнате, пропахшей лекарствами.

Нельзя сказать, чтобы гроза, в раскатах которой погибло «Новое Обозрение», стряслась неожиданно. Я жил на Лиговке, судя по свидетельству Гончарова, в той самой квартире, которую занимал когда-то Белинский; считалось, что это чуть не за городом. Нас редко кто посещал, да мы и упразднили приемные дни с того достопамятного понедельника. Навещали нас только Каблиц, Самойлов и Осипович. Когда я встречался где-нибудь на улице с чиновным журналистом Воропоновым или с другим, подобным ему либеральным писателем, например с Арсением Введенским, или с «бонапартистом» из «Голоса» Загуляевым, они, подозревая меня в сношениях с террористами, понижали голос и жадно спрашивали, удерживая за руку: «Ну, что, скоро?». — «Что именно скоро?», в свою очередь, спрашивал я. — «Да то, что носится в воздухе, чего уж надоело ждать!». Непосредственных отношений у меня с террористами не было, и даже Самойлов продолжал играть у нас молчаливую роль скептика, а может, и в самом деле он смотрел вдаль через головы своих товарищей и боялся, что либералы, на мельницу которых самоотверженная молодежь льет свою кровь, в решительную минуту изменят и предадут революцию. Но, конечно, я чувствовал, и даже, может-быть, больше, чем другие, что трагедия приближается к концу, и что это неизбежно.

Мария Николаевна, продолжавшая жить под именем Веры Петровны, потому что отец ее, нежно переписываясь с нами, по какой-то пока непонятной причине, все же не высылал ей паспорта, была беременна первым ребенком.

Днем она почувствовала себя нездоровой. Я пошел в аптеку и еще должен был зайти кое-зачем в магазины на Невском. Вдруг, прогремело два выстрела, непохожие, однако, на выстрелы. Два взрыва, разделенные промежутком в несколько минут. Все-таки, озабоченный мыслью о Марии Николаевне, я не придал выстрелам большого значения. Невский тоже сначала не обратил внимания на выстрелы. Улица продолжала жить своими обыденными интересами. Я пешком вернулся домой, но пока я шел, смысл взрывов стал ясен. Народ ускорил шаг, и многие бежали с выпученными глазами, с раскрытым ртом. Я принес лекарство и покупки, увидел, что Мария Николаевна не одна, около нее молоденькая акушерка, с которою она сдружилась, что ей легче, что она спокойно рассматривает иллюстрированный английский журнал, я отказался от обеда, и меня потянуло на улицу.

— Куда, зачем, что случилось?

Я точно не знал, что случилось, и не мог объяснить Марье Николаевне, но я пошел, почти побежал, встречая по пути уже целые кучки таких же недоумевающих и что-то смутно знающих людей всех званий и возрастов. Было сумрачно небо, и начинало смеркаться. Кажется, только одни ламповщики, подставив к фонарям лестницы и зажигая газ, были спокойны.

Торопливо дошел я до площади Зимнего Дворца, где стеной стоял народ, узнал подробности убийства Александра II, взял у газетчика свеже-отпечатанный бюллетень о том, что «воля божья свершилась», и, сойдясь нечаянно с Каблицем, который дрожал, как в лихорадке, я возвратился к Марии Николаевне, а Каблица привел с собой. Нервы его до того были натянуты, что некоторое время он сидел в передней и плакал.

— От радости, — сказал он мне шопотом, — и от ужаса перед предстоящим. Победим ли?

Он был оптимист, ждал восстания, ждал либеральной революции, выступления студентов с красным знаменем. Он, точно, не заметил полчищ верноподданной черни, состоявшей из лавочников, приказчиков, чиновников и мелких денежников, всевозможных кумушек и кофейниц. Даже и студентов было не мало в толпе, связанной общим рабьим чувством.

Мы сидели за столом, когда пришел Осипович с известием, что великий князь Владимир Александрович собирается поступить с Петербургом так же, как поступил с Парижем Наполеон Маленький. Он предлагает расстрелять Петербург, навести на город панику и пожертвовать в бозе почившему — гекатомбу, по крайней мере, в двести тысяч человек.

— Хорошо, если бы его послушались! — вскричал Каблиц, — потому что первые же ядра заставили бы проснуться... Э — глупости — двести тысяч уж не так-то легко убить, но, по крайней мере, началось бы восстание.

— Уж не ваших ли раскольников? — спросил Осипович.

— Между прочим и раскольников, — ответил Каблиц, вспыхнув; — но дело в том, что Лорис-Меликов не допустит. . .

— Есть еще слух, — сказал Осипович, — что была заготовлена конституция. . .

— Если бы еще пришел Самойлов, — сказала Марья Николаевна, — мы бы узнали настоящую правду, и он со мной вместе пожалел бы бедного царя; ведь он не такой жестокий, как вы!

Мы стали говорить о Самойлове.

— Умеренная душа, — сказал Осипович. — Мария Николаевна права: мы чересчур жаждем крови, хотя в действительности никто из нас не в состоянии зарезать курицу.

— Царь хотел вам дать конституцию, а вы рады, что его убили! — волновалась Мария Николаевна. — Нехорошие вы!

Ей было тяжело двигаться. У ней были чересчур ясные признаки близкого кризиса. Акушерка уговорила ее пройти в спальню и лечь.

Мы остались одни. Трагедия на Екатерининском канале, ближайшее будущее России, народная темнота, свирепость, которую может проявить, в самом деле, правительство при подавлении терроризма, одержавшего над ним, может-быть, пока только Пиррову победу, не давали нам покоя.

Мария Николаевна позаботилась оставить для Самойлова кусок мяса и салат, на случай, если он придет. Бывало и раньше, что он ужинал у нас и раза два ночевал. Я тогда заметил, что, такой спокойный и сдержанный в обыкновенное время, Самойлов метался на диване и бредил. Но в вечер первого марта, когда мы особенно хотели его общества, он так и не явился, и больше нам не суждено было увидеть его.

Недели две слишком он не показывался в редакции и не приносил обещанных заметок для четвертой книжки. В газетах и в литературных кружках тем более только и было речи, что о первом марта и об его участниках, и ходили самые разнообразные слухи, всплывали чудовищные новости, говорили об интриге Англии, приславшей деньги террористам, однако во-время конфискованные правительством, о попустительстве охранки, опасавшейся упразднения своих неограниченных полномочий, в случае, если будет введена конституция, о подкупе полиции при осмотре Кобозева, где, вместо сыра, хранился динамит, и из которой вела мина под Караванную улицу, об участии великого князя Константина Николаевича, и о произведенном у него обыске. Крайне умеренное письмо Александру III со стороны Исполнительного Комитета, требовавшее конституции и амнистии в обмен на ликвидацию терро-

ризма, даже перепугало либералов, потому что их могли счесть солидарными с первомартовцами. Стали всячески открещиваться и готовить верноподданнические адреса. Разыгралась мерзость, на возможность которой намекал было Самойлов своими полусдержанными фразами и недомолвками.

— А что же Самойлова, в самом деле, нет и нет? Придется наспех писать рецензии, чтобы заполнить библиографический отдел, — сказал однажды Антонович, обращаясь ко мне и потрясая пачкой новых книжек. — Давайте-ка наваляем мы с вами. Надо будет раскатать вот эту дрянь...

Но тут влетел в редакцию, белый от испуга, Владимир Жуковский и объявил:

— Наконец, изловили самого главного алхимика, приготовлявшего бомбы для первого марта! Вы знаете — кого? Он наш, или, вернее, — он указал на меня и на Антоновича — ваш... Самойлов!

— Самойлов?

— Точно так. Ведь вы сами понимаете, что отсюда вытекает? В лучшем случае, нас погонят в места не столь отдаленные. Он оказался на самом деле не Самойловым, а Кибальчичем. Он заскорузлый анархист, и, конечно, я согласен, — поправился Жуковский, — личность героическая и, во всяком случае, изобретательная, и его, разумеется, повесят, но каково нам!!

Самойлову на редакционных бланках иногда посылались мною и Антоновичем коротенькие записочки с просьбою ускорить присылку рукописей. Он часто задерживал типографию, и приписывалось это добросовестности, с которою он обрабатывал свои рецензии, насквозь прочитывая разбираемые книги.

— И надо же было непременно на редакционных бланках писать кому попало! — кричал Жуковский. — Встречаясь с ним у Иеронима Иеронимовича, я всегда подозревал его, но, правда, с другой стороны, этого мне и в голову не приходило, а между тем полезным считаю вас осведомить, что Федор Иванович Базилевский был вызван, куда следует, где ему и предъявили две такие записочки с фирмою «Нового Обозрения», издателем которого он состоит, и только посмотрели на него пронизывающим взглядом, — и больше ничего, а от этого взгляда у него душа в пятки ушла. Ну-с?

— Неприятно, — сказал Антонович, почесывая за ухом. — Но, строго говоря, ничего серьезного я все-таки не усматриваю.

Жуковский заложил руки в карманы брюк и поднял плечи с недоумением.

— Вам этого мало?

Правду сказать, мы разошлись из редакции не без тревожного чувства, и, когда в тот вечер — очередной литературно-обывательский — собрались литераторы, либеральные профессора и чиновники у критика Введенского и подняли неистощимый вопрос

о том, что теперь будет, а за стеной, на кухне, уронила горшок кухарка, — все вздрогнули, замолчали, а хозяин бросился и опустил шторы на окнах квартиры, находившейся в пятом этаже.

На завтра, всё с тою же тревогой в душе, мы отправились в редакцию.

Коропчевский совсем расклеился, ноги у него распухли, и даже в мягких сапогах он не мог выйти к нам в общий кабинет. Светило солнце, и Щеглов своим нервным захлебывающимся голосом, странно смеясь, рассказывал что-то смешное, но настроение у всех было угрюмое. Жуковский ядовито спрашивал:

— Что, приготовились?

Все же и он не ожидал, повидимому, такого конца.

Явился лакей Базилевского и подал конверт на имя редакции «Нового Обозрения». Издатель свидетельствовал свое почтение и спешил сообщить, что «крайне стесненные обстоятельства» его не позволяют ему продолжать такое убыточное дело, как «Новое Обозрение». Подписано было письмо: «действительный статский советник Феодор Базилевский».

Жуковский сделал язвительную гримасу и, зажав руки в колени, рассмеялся.

«Новое Обозрение» скончалось «в утре пасмурных дней».

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ПЕРВАЯ.

1881.

Я стал безработным писателем: «Новое Обозрение» было ликвидировано.

В пору хороших заработков я имел возможность не только безбедно жить, но и коллекционировать картины.

Эти картины я принужден был распродавать, чтоб было на что жить и чтоб обставить роды Марьи Николаевны возможно комфортабельнее. Конечно, можно было бы заблаговременно накопить денег, а не накупать картин: да копить мы были неспособны.

Родилась прелестная девочка — Соня, с густыми темно-каштановыми локонами. И с Лиговки мы переехали в Пушкинскую улицу, в один из домов против сквера.

Коропчевский уехал за границу лечиться; Осипович — отдыхать на юг в Подолию, откуда он был родом. Самойлов-Кибальчич — был повешен. И хотя сношения его с «Новым Обозрением» не имели ни малейшей прямой связи с 1 марта, все же швейцар предупредил меня, чтобы я был осторожнее с гостями, которые иногда у меня ночуют, так как шпики каждый день осведомляются у него обо мне. Правда, я сам часто замечал, что за мной ползут какие-то неотвязные тени по вечерам. У меня бывал между прочим Якубович, и для его альманаха «Отклики» я написал рассказ «Далила».

За Якубовичем тоже была слежка, но он посмеивался над нею. «Отклики» были изданы и хорошо разошлись в пользу каторжан и ссыльно-поселенцев.

Работать приходилось мне урывками. Чтоб прокормить семью, надо было рублей полтораста в месяц. Соня — хирела, а на дачу выбраться не было средств. Я делал переводы для Корша, издававшего «Журнал Иностранной Литературы», разбирал научные книги для «Вестника Европы», в «Деле» Шелгунова напечатал статью об английском философе-математике Клирфорде (Шелгунов сказал: — «С нервом написано»). В «Порядке» — Стасюлевича, куда меня втиснул Урусов, я не ужился; от его либерализма несло запахом старых канцелярий; я ему сказал, что лучше откровенное консерваторство, чем с фиговым листком.

— Мы не понимаем друг друга! — заявил он мне. — Расстанемся!

Однако, он не протестовал против напечатания в его журнале моей повести «Бунт Ивана Ивановича», принятой Пыпиным.

Между прочим, в газете «Порядок» поднят был вопрос и детально разработан об отмене публичности смертной казни на том основании, что публичная казнь, порождая чувство жалости к политическим преступникам, настраивает толпу враждебно по отношению к правительству и ожесточает ее нравы! Эти статьи Стасюлевича вооружили против него даже многих либералов, так как введение тайной казни, которое не замедлило последовать, лишило общество контроля над кровавыми расправами власти и предоставило ей еще более широкий простор в этом отношении.

Лето было дождливое, беспросветное. В конце августа к нам внезапно приехал Новодворский (Осипович). Он еле поднялся по лестнице, страшно исхудавший и с зловещим румянцем на заостренных скулах. Мне показалось, что Мария Николаевна встретила его враждебно. Мы ему отвели особую комнату, разумеется, чисто по-дружески; и в виду того, что он крайне нуждался, предложили стол и стали ходить за ним. Простудился он на юге, попавши под проливной дождь, но, очевидно, у него были уже задатки чахотки. Он жестоко кашлял. Доктор Святловский — наш приятель — когда Мария Николаевна сказала, «я боюсь больных» — объявил ей, что, бесспорно, у Осиповича скоротечная чахотка, но что болезнь эта незаразительна, как принято думать. Другие доктора тоже подтвердили незаразительность чахотки. Это было, если не ошибаюсь, всего за полгода до открытия коховской палочки. Галлопировала болезнь Новодворского страшно, и осень прошла для него мучительно. Наконец, мы выхлопотали ему пособие из Литературного фонда, и он уехал в Ниццу. Я усадил его в вагон. Он лег на деревянную скамейку III кл., и соседи его опасливо затихли: такое тяжелое впечатление произвел он.

Так случилось, что после отъезда Осиповича, я стал кашлять и по ночам обильно потеть. Мария Николаевна была убеждена, что я заразился.

Еще в январе, возвращаясь пешком из «Нового Обозрения», я на углу Лиговского канала наткнулся на кучу тряпья, засыпаемого снежной метелью. Наклонился, и вижу: сидела девочка и, при трепетном свете фонаря, мне бросилось в глаза совершенно белое, как мрамор, ее лицо. Она пошевелила рукой: еще жива. Я позвал городового, взял извозчика, и какой-то шопот вырвался из губ ребенка. Городовой ругнулся, но с оттенком сочувствия. — «Мелочь беспутная! Не извольте беспокоиться, господин, у ней есть мать; отвезем. Девчонку я уж два раза ловил. От бедности происходит. Мать по прачешному делу ломотой страдает».

Прачка жила недалеко, в трехэтажном доме, на чердаке, и ходила поденно стирать. Мне хотелось отвезти девочку в больницу, но городовой уверил, что «обойдется». Он отнес ее на чердак, как куклу; меня поразило, что она довольно скоро пришла в себя; городовой потер ей только снегом лицо и руки. Нашел я сказочную нищету. Не буду останавливаться на подробностях того, что я увидел и услышал. Это было нечто жалкое, возмутительное, потрясающее. Вернувшись домой, я долго не мог заснуть; и художественным откликом моим на это происшествие явился тогда же написанный мною рассказ «Наташка». Весною я послал его Салтыкову в «Отечественные Записки» и получил от него любезный ответ, что рассказ одобрен; он просил меня зайти в контору получить деньги. А летом он видался в Париже с Урусовым, который, возвратясь в Петербург, передал мне, что Салтыков носится с моим рассказом и всем хвалит. В самом деле, рассказ был хорошо принят читающей публикой, когда появился осенью в «Отечественных Записках».

Салтыков пользовался репутацией несносного редактора и даже грубияна. Должен сказать, что мне он вспоминается, как человек вежливый, шутливо-настроенный, и, конечно, крайне литературный. Сидел он в своем кабинете за письменным столом и всегда писал на больших листах бумаги своим четким, сжатым почерком, почти без помарок. Он вставал навстречу мне и, запахнув полы халата, провожал до передней. Никогда не было, за все мое четырехлетнее сотрудничество, чтоб он задержал ответ больше одного дня. Получив рукопись, он немедленно прочитывал ее, хотя бы в рассказе было несколько печатных листов, и уже утром присылал ордер на контору, набавляя по 50 руб. на гонорар с листа каждый раз. Как-то я передал рукопись в редакцию, которая не сразу препроводила ее Салтыкову, он пожурил меня.

— Вот целую неделю вы и потеряли за то, что обошли меня; еще Некрасов называл нашу редакцию консисториею. Медлительная! И авось меня с вами не разведут!

Видаясь со мной, Салтыков расспрашивал меня о родных, откуда я родом, не из курских ли Ясинских; почему в Московской губ. какое-то местечко называется Ясиничами. Он рассказывал, какие авторы его посещают.

— Боборыкин приходил. Он, обыкновенно, нас на веровочке водит, непременно шесть месяцев — из книжки в книжку по корде гоняет. Внешние приметы хорошо схватывает, да и то не глубоко, а характеров не постигает совершенно. Роман еще один навязывал, я не взял. Ну, конечно, он запрыгал и спросил: «а почему?». — «А потому, что чересчур у вас либеральная ярмарка... Я скоро буду словом либерал — браниться!».

В другой раз:

— Уж вы сдержите непоседливость ваших героев! Сочините двадцать человек и заставляйте ходить друг к другу. Ходят, ходят, заговоры они что ли замышляют; и переодетые жандармы за ними ходят и хоть бы поймали кого! Интересно, конечно, шассе-краузе; я ночью зачитался... Все-таки, пожалуйста, «Вестнику Европы» ни строки. Я еще огорчился, что вы Вуколу-Лаврову рассказ дали, помимо меня; нам он тоже годился бы.

И потом:

— Мы с вами так условимся. Предположим, вы написали слабую вещь или нам не подходит. Принесли; я все же хоть и не возьму, но контора оплатит ваш труд. На двадцать листов в год всегда можете рассчитывать. Для вас же лучше, чтоб не печатать слабых повестей.

О Новодворском-Осиповиче, когда он умер, Салтыков отозвался:

— Жаль вашего приятеля, и я немедленно напечатал составленный вами некролог о нем. Но большого писателя из него не вышло бы. Так-себе, повествователь — по плечу нашему Скабичевскому. Правда, что и без направления нельзя. Вот, например, рекомендованный вами Альбов — в «Отечественных Записках» печататься едва ли может.

Я как-то похвалил рассказы Шабельской: «Наброски углем».

— Неграмотно пишет, ваша Шабельская, — возразил Салтыков; — сколько было с нею возни. Напечатано-то хорошо, а если бы вы взглянули на рукопись г-жи Шабельской. Шьет вкривь, вкось и не запошивает!

— Вчера, — продолжал Салтыков, — слышу стук на площадке лестницы. Отворяю. Вкатывается дама и кряхтит; что-то тащит. Что это, спрашиваю? Роман. Во скольких частях? В шестнадцати. А я думал в сорока восьми. Вы бы, говорю, на тачке возили, легче бы было. Вон он лежит на особом прочном столике. И хорошо еще, что не придется дочитывать. Превосходит бестолковостью дамские романы «Дела», а по безграмотству — вне конкурса!

Я уезжал и зашел к Салтыкову проститься.

— Ну, зачем! — вскричал он, — подниматься на такую высоту! Поберегите себя и помните, на всякий случай, что как только вытанцуется у вас роман, если сил хватит, или какая повесть, — немедленно шлите мне; да еще помните, что направление это одно, а тенденция, которою старые критики долбят молодых авторов, — ничего не стоит. Будьте здоровы!

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ВТОРАЯ.

1881 — 1883.

Лето 1881 года, повторяю, было дождливое, гнилое, осень тоже, да и последующая зима вышла незадачливой. Кашель мой стал тревожить всех, и после января я расклеился. Повесть «Всходы» в «Отечественных Записках» и сотрудничество в критико-биографическом отделе «Вестника Европы» кое-как удовлетворяли потребности маленькой Сони, но все-таки в доме иногда не случалось ни копейки. В феврале я слег окончательно. Рано утром 2 апреля мне привиделся Осипович, чрезвычайно исхудавшим и сидящим на моей кровати у ног, а вечером пришла телеграмма из Ниццы о его смерти. Доктора настаивали на выезде моем на воды. Я начинал походить на скелет и задыхался на каждом шагу. Боткин и Бертенсон прописали мне По (в Пиренейских горах).

Однако, уже в Петербурге, с весенними пригревами, стало улучшаться мое здоровье. Марья Николаевна сказала мне, что заглазно диагноз врачей был очень неблагоприятный и что, видя, как я вдруг почувствовал себя бодрее, она решила не скрывать от меня больше их взгляды на мою болезнь: «Представь, они думают, что ты не доживешь до осени».

— Ну, если я не дотяну до осени, в таком случае я не поеду умирать в По; я предпочту Малороссию.

Сказано-сделано. Мы быстро собрались. Явились апраксинцы и расхватали наши вещи и остатки «картинной галлереи», выражаясь высоким слогом.

Мы приехали в Москву, залитую солнцем. Каждый раз, когда мне приходилось бывать в Москве, сердце мое билось каким-то особенным биением. Самые камни ее кривых улиц обладают немым красноречием. Что ни шаг, то история. Да и для меня лично Москва не была уже чужим городом. Прошло всего три года с небольшим с тех пор, как я покинул Москву. А сколько воды утекло! Из безвестного провинциального литератора я стал уже, как мне казалось, известным писателем, которого переводят за границей (знай наших!) и сотрудником лучшего в России (да, конечно, и во всем мире) литературного журнала.

Болезнь моя, может-быть, потому что меня пригрело яркое солнце, как-то вдруг ослабела. Радостно сияли глаза Марьи Николаевны. Крохотная Сонечка болтала и махала ручонками, зажав в каждой по нарцису. С Цветного бульвара несся шум рынка.

В открытые окна дешевой гостиницы врывался к нам свежий теплый воздух.

Пришла сестра Катя и стала звать на дачу в подмосковную, где умер и был похоронен Миша. Кстати, там жил родственник мой, деятель 60-х годов, председатель судебной палаты С. Я. Орловский.

— В самом деле, отчего нам не поехать в Кутузово! — обрадовалась Марья Николаевна, которой не хотелось утомлять ребенка далеким и неопределенным путешествием куда-то на юг. Была и еще причина: надо было заплатить за дачу, и, вообще, поддержать Катю. У нее было двое детей и, конечно, вдове жилось не сладко.

Салтыков, кстати, прислал мне на дорогу пятьсот рублей не в зачет. Разумеется, продавши в Петербурге мебель и коллекцию картин, хотя за бесценок, я настолько не чувствовал себя пролетарием, что на другой же день обошел все железные лавочки, торговавшие старыми гвоздями, истерзанными клистирами, позеленевшими подсвечниками и — своеобразная Москва! — старыми картинами и гравюрами. В одной такой лавочке я купил офорт Рембрандта, а в другой картинку его школы с монограммой, много лет спустя разобранной известным коллекционером и знатоком Деларовым. Он высоко оценил эту картинку. Одним словом, Москва встретила меня хорошо, и через несколько дней мы перебрались в Кутузово. Марья Николаевна с ребенком — на все лето, а я все-таки, спустя неделю, отправился в Малороссию в Роменщину, в Ярошовку, к моему другу Василию Петровичу Горленку (сотрудник «Голоса» и украинский этнограф). Дружба наша продолжалась непрерывно до самой его смерти, уже в 10-х годах текущего столетия.

В половине августа, как ни хорошо было в Ярошовке, я соскучился по своей семье, распростился с Горленками и уехал. Но предварительно я должен был заехать в Лебедин, где жила с своим гражданским мужем, г. Щербаком, Вера Петровна. Хотелось взглянуть на сына и взять его, если позволят. Я застал чету в добром согласии, но дом осиротел: мальчик, с которым я уже вел переписку, — ему было уже 8 лет, и он ждал меня, так как я телеграфировал о своем приезде за неделю, — внезапно заболел дифтеритом и умер. Было это для меня большим ударом. Целую ночь терзался я, слушая рассказы Веры Петровны о покойном ребенке. Может-быть, он и остался бы жив, если бы я приехал раньше и увез бы его из пораженного эпидемией города. И на дне души шевелилась боль: если я не мог сберечь мальчика, зачем я дал ему когда-то жизнь. Безнравственно рождать детей без любви, без страстного порыва... Смерть маленького Жерома была и оставалась моим наказанием.

Ранние заморозки погнали дачников, между тем, обратно в город. В Петербурге я имел неосторожность нанять квартиру

в новом доме на Песках. Святловский осмотрел ее и нашел, что квартира здоровая. Но он вообще ошибался. Любопытно, что доктора, лечившие меня, и в особенности Бертенсон, повидимому, обиделись, когда я явился к ним, на вид опять цветущий и не кашляющий. Впрочем, Бертенсон дал обед в честь пациента, оправдавшего его искусство.

— Тебя выслушали и диагноз твоего провинциального врача допустили, но не очень, Жером, увлекайся — как бы рецидива не было... Будь осторожен! — погрозил мне пальцем Святловский.

В новой квартире много было солнца, и обстановка, в контраст с прежней, самая простая: некрашеная сосна и береза, да книги и две-три гравюры.

Ряд несчастий обрушился здесь на меня.

Как только полили осенние дожди и затем выпал снег, стены отсырели, вода потекла по обоям. С домовладельцем был заключен контракт, он спорил и не выпускал меня, требуя крупную неустойку, и, вдобавок, Марья Николаевна запротестовала — ей нравилось помещение, она считала сырость еще небольшим горем. Салтыков взял мой роман «Искра Божия», и еще несколько рассказов, книгопродавец Цинзерлинг издал мою первую книгу («Шесть рассказов»), можно было бы заплатить неустойку и благополучно переехать на другую квартиру. Но я не проявил достаточно воли и положился на авторитет Марьи Николаевны. В начале января наша очаровательная Соня, которой было уже два года с половиной, заболела. Она чересчур рано развилась, ясно произносила слова, в альбоме узнавала всех писателей и называла их по именам и была привязана ко мне необычайно. Вместо того, чтобы переменить квартиру, Марья Николаевна в своем неограниченном доверии к докторам повезла ее в детскую больницу и тотчас привезла обратно, потому что доктора успокоили ее, что ничего опасного нет в недомогании ребенка. Однако, болезнь продолжалась. Соня стонала, металась по ночам, то озябала, то горела. Вдруг приехала к нам нежданно-негаданно семья Астрономовых: мать Марьи Николаевны и две молоденькие сестры ее. Старик Астрономов умер, старуха распродала все, что возможно было, и у ней другого пристанища, кроме меня, не было. Поместиться в квартире можно было бы, но лучше, конечно, было нанять для них другую квартиру в том же доме. Марью Николаевну до крайности огорчило это обстоятельство: и без того она старалась вести наше хозяйство почти скупо. Главное же огорчение причиняло ей отсутствие какого бы то ни ни было паспорта, так как жить по документу Веры Петровны уже почти было нельзя: на моем паспорте, впрочем, не была сделана еще отметка о том, что мною выдана бумага Вере Петровне «на предмет отдельного жительства». Но это еще куда ни шло. Оказалось, что от Марьи Николаевны родители скрыли одно обстоятельство, которое, по ее мнению, было чрезвычайно серьезно: она была, на

самом деле, внебрачной дочерью и непривенчанной. По этому поводу у нее возникла крупная ссора со старухой, так и оставшаяся непогашенною никогда. Марья Николаевна перестала говорить с матерью, встречаясь с ней за обедом, и вскоре попросила ее совсем не заходить к нам, а кушанье посылала ей в судках. Я все ждал примирения, но Марья Николаевна была упряма. Придя в возраст, она перестала быть кроткой и готовой к самопожертвованию, в ней стала обнаруживаться упрюмая задумчивость; в особенности усиливалось дурное расположение ее духа при ухаживании за больным ребенком. А тут налетела еще новая беда.

Я давно уже крепился. Всё острее и острее болели у меня суставы рук и ног; и я должен был делать усилие над собою, чтобы выйти куда-нибудь по делу. Салтыков прислал Протопопова (Морозова) за рассказом, а я едва мог подписать фамилию под рукописью, так распухли пальцы. В тот же день я слег, и началось мучительное пребывание между жизнью и смертью в течение многих страшных недель. Объявился жесточайший суставный ревматизм с бредом, а у Марьи Николаевны пошла кровь горлом.

Посещал нас Бертенсон, дорогой модный врач. Он ничего не брал за визиты. Спасибо ему. Прописывал мне салицилку, но не помогало. Студентки-медички (с Николаевских курсов) поочередно дежурили надо мною. Милосердные девушки. Имена двоих навсегда остались в моей памяти — Розенштейн и Серебренникова. (Потом они стали известными врачами и общественными деятельницами.) В самый страшный момент болезни, когда от невыносимых мучений я впал в продолжительное забытье, я, внезапно очнувшись, справился о Сонечке.

Розенштейн сообщила, что Мария Николаевна уже второй день как в больнице вместе с ребенком.

Что-то чересчур застенчивое, искусственная напряженность улыбки заставили меня насторожиться. Из другой комнаты между тем вышел доктор, а Святловский с бутылкой вина и со стаканом.

— Выпей залпом, предложил он, и поскорее!

— Зачем?

— Чтобы легче перенести...

Я оттолкнул вино и закричал: — Сонечка умерла?

Бедная малютка умерла от менингита. Сырость убила ее. Оставшись один, я схватил со стола стакан вина, всыпал в него все шестьдесят грамм салицилового натра, опьянел и проснулся только на другой день.

Лежал я в кипятке и тела своего не чувствовал. Пот ручьями струился с меня. Надо мной стояла Марья Николаевна, в слезах. Горе ее было так глубоко, что прогнало с лица малейший след румянца. За пульс меня держал доктор Бертенсон и допытывался.

— Неужели, съели весь салицил? Вы могли умереть! Еще неизвестно, как отразится яд на вашем сердце!

— Я хотел умереть, — сказал я. — Но, кажется, выздоровел: ничто не болит больше.

— Так или иначе, сейчас же перемените квартиру. Урусов пригрозил судом домовладельцу, и контракт разрывается.

— Сонечки нашей нет, — сказала Марья Николаевна; — сегодня ее похоронили. Я одна виновата.

Едва передвигал я ноги. На другой день я уже лежал в сухой комнате и тупо смотрел из окна на оголенные еще деревья Таврического сада; вот-вот они должны были распуститься.

Душевная боль слабеет со временем. А все же остаются рубцы, и по временам раскрываются раны. Ах, было тяжело!

Хорошенькая была квартирка, и Марья Николаевна, видя как обстановка благодетельно действует на нее и на меня, и как в таком сухом доме славно было бы покойной Соне, томилась от воспоминаний. Кошмары терзали нас.

— Совсем уедем из Петербурга, — умоляла Марья Николаевна.

Сборы были невелики — легко было уехать. Рано зазеленели деревья. Потянуло в даль...

Из Киева от М. И. Кулишера, бывшего сотрудника «Слова» (вскоре после выхода нашего с Коропчевским журнал захирел и прекратился), я получил телеграмму с приглашением сотрудничать в газете «Заря», издаваемой им. Кулишер был известный этнограф и социолог. Он ценил меня, я — его, и долго думать было нечего. Мы уложили наше имущество в два чемоданчика и помчались в Киев.

Я так исхудал и так еще был молод, черноволосый и темноглазый, что меня принимали в дороге за брата Марьи Николаевны.

По этому поводу Марья Николаевна сказала мне с грустной улыбкой:

— А мы не брат и не сестра, и мы не муж и не жена... Ты не знаешь, кто мы такие?

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ТРЕТЬЯ.

1883.

Киев был расцвечен весенними красками; вид красивого и даже великолепного города, каким он уже становился в то время, бодро подействовал на нас. Кулишер взял на себя заботы о нашей квартире. Писательница Анна Станиславовна Шабельская, жена местного знаменитого врача Толочинова, нашла нам пока меблированную комнату на Институтской горе и в два приема перезнакомила меня с профессорами, сохранившими с нею кой-какие добрые отношения, после того, как большинство описанных ею в романе

«Горе побежденным» жрецов науки объявило ей и ее мужу войну не на живот, а на смерть.

В салоне Шабельской царили либерализм, наука, литература, гостеприимство и нигилизм, представителем которого являлся Толочинов.

Кулишер тоже собирал у себя гостей и тоже профессоров, но уже с примесью адвокатов и богатых дельцов — может быть меценатов; таковыми были, например, сахарозаводчики Бродские.

Еще салон славился у присяжного поверенного Куперника, который был умен, красноречив, музыкален и театрален. Был он женат на внучке знаменитого актера Щепкина; дочь его, Таня, тогда двенадцатилетняя девочка, потом стала известна в литературе, как поэтесса.

Наконец, в Киеве были еще салоны украинофилов.

В «Заре» я вел научные фельетоны и печатал рассказы, которые вышли потом отдельной книжкой («Киевские рассказы»), Буренин расхвалил их. Психология и быт босяков были впервые отмечены мною в этих рассказах, подписанных все тем же моим псевдонимом: Максим Белинский.

Якубович-Мельшин летом явился в Киев, прямо ко мне, и предложил редактирование подпольного журнала; в Петербурге я редактировал, по его просьбе, статейки подпольных революционеров, и моя редакция нравилась, как он мне передавал. Но теперь я отклонил предложение; за квартирой моей был установлен надзор; между тем, надо было не только составлять журнал, но и хранить у себя типографию. Кончилось бы неминуемым провалом в самое короткое время. «А если бы и так? — возразил Якубович, — надо уметь жертвовать собою».

Он оставил у меня ящик со шрифтом, на другой день обратно взятый братом Толочинова, студентом. Толочинов жил в подвальном этаже, окнами в сад, и, конечно, там хранить типографию и печатать журнал было безопаснее. Якубович, все-таки, на меня надулся, а редактировать журнал взялся Васильев, о чем я узнал много лет спустя, уже, когда, отбыв свой срок в Сибири, он возвратился в Россию и познакомился со мною; ему пришлось редактировать журнал, названный «Социалистом», такое короткое время, что едва ли кто успел и прочитать даже первый номер его. Очевидно, от Толочинова типография была перенесена в другое место, и там ее накрыли.

В Киеве завелись литературные вечера и у меня. Из молодых людей, почти не пропускавших ни одного вечера и занявших вскоре в литературе кой-какое положение и начавших появляться в разных периодических изданиях, можно назвать Галунковского, Бердяева, Гродскую и Виктора Бибикова: последний в особенности принадлежал к числу «быстроногих», как определил его Михайловский. На вечерах мы читали и разбирали Флобера, Тургенева, Бодлэра, а иногда заезжий студент из Берна или из Женевы посвящал нас в боевую эмигрантскую литературу. Тут надо вспомнить, что вечера мои продолжались всего два года и были прерваны «по независящим обстоятельствам», о чем речь впереди.

На лето приехал в Киев поэт Минский. Я втянул его в «Зарю», и мы затеяли с ним, для оживления газеты, дружескую полемику о границах литературного и научного мышления. Было сказано много красивых слов и фраз, и к нашему спору не осталась равнодушна и столичная печать. Присоединился еще профессор Мищенко, и не помню еще кто; но, по заранее выработанному нами плану, мы окончили состязание, примирив оба подхода к истине, научный и поэтический, сплетя их в одну нить. Долго потом питалась нами критика, то и дело, возвращаясь к «Киевскому инциденту».

Салтыков писал мне, что над «Отечественными Записками» сгущаются черные тучи, но «авось свинья не съест». Часто писали Урусов и Плещеев.

Пока Салтыковым была напечатана в 1883 году моя повесть «Болотный цветок», и должна была появиться «Спящая красавица». Этой последней вещи Салтыков прислал прямо «похвальный лист». Скромность — скромностью, а все же приятно похвастать, что в то время Максим Белинский, — несомненно, главным образом благодаря распространенности и авторитетности «Отечественных Записок», — что называется, «гремел». Приходили телеграммы, и благодарили читатели и читательницы; Коропчевский, Урусов, Плещеев и Полонский, Арсений Голенищев-Кутузов доставляли мне радость вниманием, с каким они относились к каждой моей строке. Повесть же «Спящая красавица» была написана под влиянием встречи моей с братом Александром, в судьбе которого было много странного, трогательного, забавного и почти трагического.

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ.

1883 — 1885. К. М. ФОФАНОВ.

Весь 1883 год прошел в ознакомлении с Киевом. При известной впечатлительности, наблюдательности и жажде новизны красок, линий и звуков, писателю нет надобности чересчур углубляться в гущу жизни. Достаточно иногда несколько минут, чтобы составить представление о том или другом человеке. Достаточно посетить клуб, где играют в карты и танцуют, пьют, закусывают и ухаживают за женщинами купцы и чиновники, и уловить несколько фраз, чтобы получить представление об общей картине жизни провинциального класса. Два-три дома из разнообразных слоев общества, и готов отчет в образах и художественных пятнах. Зачем непременно напиваться в кабаках или развратничать

в публичных домах, для исследования степени падения человека! И разве Достоевский убивал старух, чтобы описать преступление Раскольникова, или, в самом деле, насиловал крохотных девочек, чтобы выворотить наизнанку душу Ставрогина или Свидригайлова? В то время для этого достаточно было пройтись в Петербурге по Пассажу, где сводни открыто предлагали крошек.

Кстати, расскажу, как сам Достоевский был причиною того, что до сих пор пишут целые книги об его сластобесии.

Пришел он внезапно к Тургеневу, который только-что приехал из Парижа, остановился в гостинице Демут и лежал в лонг-шезе больной подагрою. Ноги его были укутаны теплым пледом, и он ел пожарскую котлетку и запивал красным вином.

— Признаюсь, не ожидал вашего посещения, Федор Михайлович, — начал Тургенев; — но очень рад, что вы вспомнили старое и навестили меня.

— А уж, не поверите, Иван Сергеевич, как я счастлив, что вы так ласково встречаете меня! — нервно заговорил Достоевский. — Великан мысли, первоклассный европейский писатель, можно сказать, гений! И в особенности вы обрадуетесь, когда узнаете, по какой причине я удивил вас своим неожиданным посещением, и, как вы утверждаете, обрадовал. Ах, Иван Сергеевич, я пришел к вам, дабы высотою ваших этических взглядов измерить бездну моей низости!

— Что вы говорите, Федор Михайлович? Не хотите ли позавтракать?

— Нет, мерси боку, Иван Сергеевич, душа моя вопит и даже как бы смердит. Я хотел было в Лавру к знакомому и чтимому мною иеромонаху (он назвал имя) притти и выплакаться на его груди. Но решил предпочесть вас, ибо иеромонах отличается добротою, с одной стороны, а с другой стороны, он был уличаем, за свою снисходительность, в хранении между листами святой библии бесстыднейших порнографическах карточек, что хотя оказалось демонической интригой одного послушника, однако, я, по зрелом размышлении, смутился и предпочел обратиться к вам.

— С исповедью, Федор Михайлович? Да что вы, господь с вами!

— О, если бы господь был со мною вчера, когда бил шестой час. . .

— Что же случилось?

— А случилось именно в шестом часу, мне, гулявши по летнему саду, встретить гувернантку, француженку, и с нею прехорошенькую длинноножку, с этакими, знаете, голенькими коленками и едва ли тринадцати лет — оказалось же двенадцать. У меня же было в кармане полученных мною утром от Вольфа шестьсот рублей. Бес внезапно овладел мною и я, все же не столь хорошо зная французский язык, как вы, обратился к гувернантке с дерзким предложением. Тут именно было хорошо то, что внезапно и, главное, дерзко. Тут она должна была или размахнуться и дать в морду или принять. Но она в ответ улыбнулась, подала руку, как знакомому, и заговорила, как бы век зная меня. Мы сели в боковой аллее на скамейке, а девочка стала играть обручом. Оказалось, что француженке смертельно надо ехать обратно в Швейцарию, и она нуждается в двухстах рублях. Когда же я сказал, что дам пятьсот, она запрыгала от радости, подозвала воспитанницу, велела поцеловать доброго дядю, и мы отправились, как вам сказать, Иван Сергеевич, в истинный рай, где, по совершении, и начался для меня ад. Я вижу, как гневно загорелись ваши глаза, Иван Сергеевич. Можно сказать, гениальные глаза, выражение которых я никогда не забуду до конца дней моих! Но позвольте, однако, посвятить вас в дальнейшее и изобразить вам наиболее возмутительнейшие подробности. . .

Тургенев не дал ему договорить, выпрямился на лонг-шезе и, указав пальцем в дверь, закричал:

— Федор Михайлович, уходите!

А Достоевский быстро повернулся, пошел к дверям и, уходя, посмотрел на Тургенева не только счастливым, а даже каким-то блаженным взглядом.

— А ведь это я все изобрел-с, Иван Сергеевич, единственно из любви к вам и для вашего развлечения.

Рассказывая об этом свидании, Тургенев заключал всегда с уверенностью, что, конечно, «старый сатир» и ханжа все это, действительно, выдумал, да, вероятно, и про иеромонаха.

Загадочная душа была у Достоевского.

Весной 1884 года Шабельская-Толочинова наняла пополам с нами дачу под Киевом в Китаеве. Вскоре ко мне приехал Бибиков, молодой, лет двадцати трех, человек с хитро-печальными темными глазами, красивый и с светскими манерами, отрекомендовался моим рьяным поклонником и признался, что он сам мечтает о карьере писателя, и у него есть кое-какие наброски. Он сразу заявил себя целомудренным и, однако же, странным поступком. Родственница Шабельской, четырнадцатилетняя гимназистка, тихонько сунула ему записку в руку с внезапным признанием в любви. А он, прочитав записку, отдал ее матери девочки, и серьезно распространился о необходимости более прочной опеки над малюткой . . . Девочка расплакалась: «Ах, лицемер!».

Мало-по-малу, он стал бывать в Китаеве, чуть не ежедневно. Оказывал мелкие услуги, привозил новые книги и охотно позировал мне для карандаша, передавал новости, в особенности из мира молодежи, и поражал нас своею редкой памятью. Он быстро заучивал наизусть не только стихи, но и прозу. Я показал ему последнее письмо от Салтыкова, где писатель благодарил меня за при-

сланую рукопись. Бибиков схватил письмо и страстно прижал его к губам.

В Киев приехал поэт Минаев, и остановился у зиц-редактора «Зари» — Андреевского, брата петербургского поэта, Сергея Аркадьевича. Все его звали Павликом. Бибиков примчался в Китаево с известием о Минаеве. Мне надо было в «Зарю», и кстати повидать Минаева; по дороге к Павлику я встретил старого поэта, печальный вид которого остановил порыв моих дружеских излияний.

— Дмитрий Иванович, что случилось?

— «Отечественные Записки» закрыты по высочайшему повелению!

— За что?

— Вообще за вредное направление. Погасла русская литература, и Салтыков едва ли выдержит удар.

Конечно, не для одного Салтыкова смерть «Отечественных Записок», великолепного журнала, собравшего под свое знамя все, что было лучшего и свежего в русской литературе, — была гибельным ударом. Хотя в публицистическом отделе своем «Отечественные Записки» держались народнического направления, и Михайловский, В. В. и другие в своих статьях уклонялись от позитивных путей социальной науки и делали вылазки против Спенсера, Дарвина и Маркса, — все же, по тому времени, их идеями преимущественно питалась революционная молодежь. Но главная заслуга «Отечественных Записок» заключалась не в этом, а в литературном влиянии, какое они имели на читателя. Сатиры Салтыкова (Щедрина) и рассказы и очерки Глеба Успенского одни чего стоили! У Салтыкова было огромное редакторское чутье. В каждой книжке «Отечественных Записок» обязательно появлялся всегда новый молодой писатель; если рассказ был талантлив — писатель становился, более или менее, постоянным сотрудником журнала. Сознание, что пишешь для журнала, где редактор — Салтыков, ревностный ценитель слова, радующийся твоему литературному успеху, — окрыляло; к этому присоединялось еще большое чувство ответственности перед громадной аудиторией журнала. Отсюда рождалось строгое отношение к себе. Если особенно не тянуло уже к начавшему изживать себя народничеству Михайловского, за то была прочна связь с художественным миром «Отечественных Записок», и на Салтыкова я смотрел, как на своего духовного отца. С прекращением журнала погибала какая-то литературная родина; и не один я, конечно, а все сотрудники его — и Сергей Атава, и Гаршин, и Глеб Успенский, и В. Крестовская, и Плещеев, и сам Салтыков ощутили боль и бесприютность. Остались еще такие журналы, как «Вестник Европы», «Наблюдатель» и Русская Мысль», но во главе их не стояли литературные величины. О редакторе «Русской Мысли», Ремизове, Сергей Атава (Терпигорев) рассказывал, что он, в бытность свою помещиком, принимал крепостных

в нарочито устроенном для этой цели «тронном зале» и произносил перед крепостными длинные, утомительные речи, а те должны были стоять и не имели права сесть. Вскоре Ремизов, будучи редактором «Русской Мысли», угодил в Сибирь, «по уголовной надобности».

Вскоре, вслед за прекращением «Отечественных Записок», я получил приглашение от всех этих журналов. Я узнал направляющую руку Салтыкова и осенью решил поехать в Петербург, с некоторым литературным запасом. Между прочим, и журнал «Новь», объявленный издательством Вольфа, прислал мне авансом несколько сот рублей. В смысле денег мое положение, строго говоря, улучшилось. Пока я работал в «Отечественных Записках», я не считал себя в праве писать в других изданиях. В «Отечественных Записках» было что-то напоминающее партию, а не коммерческое предприятие. Остальные журналы были беспартийные, с бо́льшим или меньшим налетом либерализма.

В Петербурге я посетил Салтыкова; он кашлял, был уныл. Рассказывали, будто у него был даже обыск, а он, когда жандармы явились, затянул «Боже Царя Храни»; он рассмеялся, узнавши об анекдоте.

— Не было этого, но теперь многие стараются под меня подделаться, — сказал он. — Вот Сергей Атава, — например. А вам, по нонешним временам, придется сбавить тон. Вы прирожденный романист. Дешево не берите — это все лавочки. Пятковский спит и видит ваше сотрудничество; только он — гарпагон. И в «Вестнике Европы» будут вас охотно печатать. Правда, Стасюлевича Тургенев считает только корректором... Какой он редактор! Да что делать! Меня же, представьте, Гайдебуров даже боится.

Стасюлевич рискнул украсить «Вестник Европы» именем Щедрина-Салтыкова. Но что значит духовный образ редактора, который стоит перед глазами писателя, когда тот творит; даже на творчестве Салтыкова отразилась осторожно-расчетливая, либеральная тень Стасюлевича: «Мелочи жизни» уже не носили на себе печати сатирического гения великого Щедрина. Он и сам в следующее свидание со мною признался, что «слаб» стал; и когда пишет для «Вестника Европы», то кажется, что в руке его «не перо, а жезл Аарона.»

Роман «Великий человек» и несколько рассказов, да книжку, я продал Вольфу. Еще никогда не было у меня столько денег в кармане, и в то же время никогда не было такого чувства опустошенности или убыли души.

Меня чествовали поклонники, встречали рукоплесканиями на литературных вечерах, восторгались повестью «Путеводная звезда», которую в рукописи я прочел на квартире у Минского, перед цветом литературных ценителей. Но в «Вестнике Европы» она не была взята. Мне сказали, что повесть чем-то грешит против либерализма. Она была хороша для «Отечественных Записок», но

надо же считаться с временем. Теперь, после закрытия «Отечественных Записок», тем более надо избегать всего, что могло бы повредить либералам. Читатель может принять такое отношение к либерализму за уклон к мракобесию. Оглядываясь на прошлое и вспоминая «Путеводную звезду», я отношу ее скорее к сентиментальному, чем социалистическому роду беллетристики. Она была напечатана в «Заре» Кулишера.

С кучей денег и с подарками для Марьи Николаевны и для друзей я уехал сначала в Москву, где свиделся с сестрою Катей. У нее была хорошенькая квартирка — вся отделанная новеньким ситцем. Она только-что вышла второй раз замуж за бухгалтера на службе у известного полотнянщика Сосипатра Сидорова, и из важной чиновницы стала маленькой мещанкой. Но портрет покойного мужа, с крестом на шее, висел на первом месте, над диваном, и она, видимо, держала в повиновении, как барыня, своего плебейского супруга. Перед этим только-что приезжал к ней брат мой Иван, окончивший Лисянское училище и получивший место помощника лесничего где-то на юге. Я его не застал. Катя расцвела и была довольна. Огорчал ее только сын, который в двенадцать лет уже начинал пить и плохо учился.

В Киеве меня восторженно встретил Бибиков и прочитал мне свое первое произведение. Он писал сносно, слог был правильный, фраза не без блеска; но все это представляло из себя мозаику, надерганную откуда попало — из Тургенева, из Гаршина.

Я продолжал работать в «Заре», беллетристика обеспечивала мне безбедную жизнь. Мария Николаевна была молода и прекрасна. Хозяйка была неважная, но все же, благодаря обилию средств, дом наш был, что называется, полная чаша. Снова появилась старинная мебель, и стены были заняты порядочными картинами. Возобновились вечера, приемы.

Весной в Петербурге я написал несколько рассказов для «Вестника Европы» и одну небольшую повесть продал «Всемирной Иллюстрации». Меня гостеприимно приютили у себя поэт Минский и жена его Юлия Безродная. У них я познакомился с доктором философии Евреиновой, пожилой и поверхностно образованной дамой, задумавшей издавать журнал «Северный Вестник». Редактором она пригласила Плещеева, и сотрудничество пообещал ей Михайловский. Я тоже попал в число сотрудников нового журнала.

Чтобы не стеснять хозяев, да и самому быть свободнее, я переехал в меблированные комнаты на углу Николаевской и Невского, которые содержала госпожа Арчикова. Я потому называю ее, что эти комнаты в течение следующих трех лет приобрели некоторую популярность среди тогдашнего литературного мира.

Виктор Бибиков уже успел основаться в Петербурге. Я разыскал его ночью где-то в Семеновском полку. Он жил на хлебах у престарелой мещанки, собственницы крошечного домика, уже

назначенного к сломке. Я точно попал в отдаленное киевское захолустье. Бибиков был наверху своей грядущей славы.

От времени до времени, пока я доканчивал начатые литературные работы, многие собирались у меня по вечерам.

Бибиков быстро перезнакомился чуть не со всеми петербургскими знаменитостями, как с теми, которые посещали меня, так и с недосягаемыми. Он стал своим человеком у Аполлона Майкова, у Полонского, заглядывал к Гончарову, к Шеллеру-Михайлову, к Лескову, сошелся также с Лейкиным и со множеством других писателей и газетчиков. Конечно, и с Гаршиным. Он привел ко мне И. Е. Репина, драматурга Тихонова. Стали появляться какие-то «стрекозисты». Бибиков приглашал ко мне всех, как в свой дом. «Сегодня к Иерониму», кричал он.

На фоне всего этого милого литературного калейдоскопа особо выделялся поэт Фофанов.

Еще в восемьдесят первом году, зайдя как-то в редакцию быстро скончавшихся «Устоев», к Венгерову, я увидел, беседуя с редактором, как в комнату вошел призракоподобный, худой юноша на тонких, как соломинка, ногах и в огромных волосах, прямых, густых и светлых, похожих на побелевшую соломенную крышу. Лицо у него было удлиненное, бледное и резкий сумасшедший голос.

— Поэт! — отрекомендовался он. — Стихи!

— Позвольте взглянуть, — вежливо и вместе нехотя сказал Венгеров.

Одно стихотворение было: «В публичном доме», другое — «Рабыня». Венгеров не взял их.

— Оба не подходят.

— Вы даже не прочитали; но стихотворения не нюхают, а читают! — обиделся юноша.

— Взгляните вы и скажите ваше мнение, — с улыбкой предложил мне Венгеров.

Я пробежал стихи и сказал:

— «Рабыню», положительно, можно напечатать; хорошее стихотворение.

Венгеров проверил меня и отложил «Рабыню» в сторону.

— Значит, принято?

— Повидимому. А, как ваша фамилия?

— Подписано: Константин Фофанов.

— Но зачем вы взяли такой. . . псевдоним? — спросил Венгеров.

— Моя фамилия — Фофанов, будет звучать, как Пушкин!

Поэт повернулся и величественно, шагом цапли, удалился.

Теперь, через четыре года, у него уже имелась целая тетрадь стихов; но он еще не печатался.

Бибиков в Петербурге, когда я приехал зимой, встретил меня известием:

— Иероним Иеронимович, появился замечательный поэт, и книжка его печатается в издательстве Германа Гоппе. Знаете,

в стихах этого поэта неиссякаемая прелесть. Фамилия его Фофанов. У меня, кстати, есть корректура, я выпросил у редактора, пока книга еще не вышла в свет.

Я пробежал корректуру, и, в самом деле, стихи показались мне превосходными. Были места некоторой негладкости, занозистости, но, в общем, поэзии было хоть отбавляй, да и стих был хорош, звучный, местами наивный, но подкупающий.

Я встретился с Фофановым и напомнил ему, что уже видался с ним несколько лет назад.

Фофанов произвел впечатление очень застенчивого и даже стыдливого молодого человека. И, несмотря на стыдливость и застенчивость, такого же самонадеянного.

— Я не кончил второго класса училища, — признавался он, — но, все же, поэт знает больше, чем ученый. Может-быть, даже хорошо, что я не знаю ничего того, что знают другие поэты. Я — поэт божьей милостью.

Когда же Бибиков предложил по стакану вина, и Фофанов выпил, то стал говорить громко и развязно, декламировал свои стихотворения каким-то безумным, вдохновенным тоном. Бледные глаза его метали искры, я бы сказал, аметистовые, похожие на лиловую молнию, но он произносил «эсли» и «етот». Я спросил его, какого он происхождения .

— Отец мой был дровяником и горьким пьяницей, а от вина рождается не только блуд, но и поэзия, он родил меня, и я сочетаю в своем лице и то, и другое.

Вино на него действовало уже со второго стакана, а на третьем он окончательно пьянел. Бибиков укладывал его спать, но Фофанов ни за что не хотел ложиться, выпросил рубль взаймы, убежал на улицу и не возвращался.

— А что это за поэт у вас явился? — спрашивал меня критик и тоже поэт, известный адвокат Андреевский, — попросите Бибикова, чтобы он привел его ко мне.

Урусов также обратился ко мне с вопросом о Фофанове.

— Это вы его высидели?

— Нет, Александр Иванович, он самобытный. Прочтите-ка его книжку.

Книжку Фофанов продал за несколько сот рублей. Он что-то с неделю не получал денег и, наконец, огорчился и запил.

Некая писательница Виницкая, напечатавшая повесть в «Отечественных Записках», также обратилась ко мне с просьбой непременно привести к ней Фофанова на вечер, на котором соберутся много именитых поэтов, в том числе граф Арсений Голенищев-Кутузов — секретарь царицы Марии Федоровны.

— Бибиков говорил мне, что Фофанов великолепно декламирует, хотя и не без странностей. Всем хотелось бы послушать.

Я написал Фофанову приглашение зайти ко мне с тем, чтобы вместе поехать на вечер. Фофанов аккуратно явился, в черном

сюртуке, и, хотя от него попахивало вином, но пьян он еще не был. Его как-то постепенно разбирало, или он так умел сдерживаться до поры, до времени.

— А стихи с вами, Фофанов?

— Со мною. Они у меня все в голове, я наизусть знаю каждое свое стихотворение.

Я ему дал адрес Виницкой, а мне нужно было заехать в магазин, тогда на Невском торговля производилась до очень позднего часа.

Поднимаюсь по лестнице к квартире, где жила Виницкая, смотрю — и Фофанов тоже поднимается, но уже страшно шатаясь.

— Вы куда-нибудь заходили? — спрашиваю, так как меня осенила мысль, что он успел побывать в каком-нибудь кабаке, чтобы быть бодрее и развязнее.

Он посмотрел на меня воспаленными глазами, и мне показалось, что он не узнает меня.

Сама Виницкая открыла нам двери, и Фофанов раскланялся перед нею, когда я сказал ему, что это хозяйка дома, но раскланялся с каким-то странным вывертом локтей. Тем не менее она приветливо приняла его и ввела в гостиную, где собрался уже весь цвет ее гостей и литературных друзей.

— Рекомендую, Фофанов! — сказала она.

Была она девушка уже пожилая, может-быть, уже лет за сорок, и ради торжественного вечера оделась в белое кисейное платье с очень большим декольте и с оголенными руками. Нельзя сказать, чтобы она была хороша собой, не всем же писательницам быть красавицами; она была даже более чем некрасива.

Фофанов, при свете, вдруг воззрился на нее пристально и с ужасом пьяницы увидал что-то страшное и неистово закричал, тыча в нее пальцем.

— Видал обезьян, но таких еще не видывал!

Виницкая вскипела, с нею чуть не сделался обморок, и стала кричать:

— Кто его ввел ко мне, кто его ввел, гоните его вон!

А Фофанова уже разобрало окончательно. Он зашатался, хотел схватиться за стул, чтобы удержаться, но протянул руку к столу, на котором, как полагается на раутах, стояло в графинах вино, на тарелочках были положены бутерброды, и потянул за собою закуски и вина. Я взял его под руку и вывел.

Между тем он окончательно потерял сознание, голова его шаталась, и я боялся за последствия его болезненного состояния. С трудом я довел его до улицы, подозвал извозчика, и мы поехали.

— Где вы живете? —

— Там, — отвечал он.

— Надо же вас куда-нибудь везти, да говорите же где! — тормошил я его.

Наконец, он пробурчал: «В Белграде.»

Я подумал, что он бредит, но извозчик вскричал:

— А, против Юсупова сада, знаю! Такая гостиница есть — «Белград».

Мы очутились на Невском. Скрипел снег под полозьями, ярко светила луна. Было удивительно тихо.

Когда мы ехали мимо Аничкова дворца, Фофанов стал произносить неудобные слова. Я сказал ему: «Смотрите, вас арестуют, не шумите. Вон огонек у царицы светится».

— Царица-моль! — вскричал он; — я ее разотру! Царица-моль!

Извозчик испугался, стал настегивать лошадь и стрелою умчал нас по Садовой до «Белграда».

По грязной лестнице поднимались мы, и вместе с нами поднимались какие-то мужики, похожие на торговцев, в больших барашковых шубах, и вели за руки крохотных девочек, точно собираясь их слопать в темных недрах «Белграда». Было сумрачно, пахло керосиновой копотью.

На верхней площадке встретил нас человек неопрятного вида, с радостным лицом.

— Насилу дождался, — сказал он, — я сколько часов уже дежурю, хозяин приказал: ты мне беспременно стой и смотри, как придет; и доложишь мне. Главное дело, номер не заперт, ключ у них, на столе деньги от издателя пришли большие, не ровен час, кто свистнет. Сами понимаете, какой народ у нас может быть, — сказал человек, указывая на проходящих мимо пожирателей детей, — между тем Бочагов (он назвал его по имени и отчеству), хозяин «Белграда», весьма почитает писателей. Да, вот они, легки на помине.

Подошел купец интеллигентной наружности, бритый и с огромными волосами, какие носили литераторы в шестидесятых годах. Он раскланялся при виде Фофанова и, когда узнал, что я привез Фофанова не совсем здорового, искренно поблагодарил меня за заботу о великом поэте.

— Я, знаете, чувствовал, что они поэт, — обратился он ко мне, провожая Фофанова в его комнату, — а только сегодня убедился. Представьте себе, великий князь Константин Константинович в карете подъехал и визитную карточку им послал: передайте, говорит, и мою книжечку взамен за их сочинения! Извольте пожаловать и давайте вместе подсчитаем деньги, которые разбросаны на столе. Деньги-то, оказывается, присланы были еще при них, а они по столу раскидали, да и ушли. Тут копейки не могло пропасть.

Одним словом, Богачов чтил Фофанова, гордился, что в его гостинице живет поэт, оказывал ему неограниченный кредит и даже, когда как-то Фофанов явился в бочаговский ресторан с другого хода и потребовал водки, а ему буфетчик не дал, и он в ярости стал бросать бутылки в стойку и причинил много убытку, Бочагов махнул рукой на безобразие.

— Ничего-с, — сказал он, — исторический факт. Будут о нем со временем рассказывать.

Исключительным был этот трактирщик, и исключительным поэтом был Фофанов. Можно сказать, он пьянствовал всю жизнь. Он не мог писать, если не выпьет. Выпивши он говорил невероятные глупости, сравнивал себя с Иоанном Кронштадтским, с Толстым и с Иисусом Христом. А поэтическая фраза лилась из-под его карандаша или пера непринужденно, красиво, легко.

На себя я больше не брал поручения приводить Фофанова, как знаменитость, опасаясь скандалов, но Бибиков привез его к Андреевскому и, со свойственной ему бестактностью, выбрал тот вечер, когда Андреевский собрал гостей, чтобы поделиться с ними плодами своей собственной музы.

Фофанов молчал и скромно сидел в уголке. Стихи Андреевского были слабы, читал он их с адвокатским чувством, и гости его, правду сказать, скучали. Тут выступил, вдруг, Бибиков и предложил послушать Фофанова. У Андреевского оставалось еще, по крайней мере, двадцать стихотворений в запасе, но, в качестве любезного хозяина, он уступил, бросив на Бибикова гневный взгляд.

Фофанов выступил на середину комнаты и заголосил на манер библейского пророка, подняв глаза к потолку. Стихотворение произвело впечатление даже на Арсеньева, и все были в восторге. Контраст между этим невзрачным человеком и его громозвучными и яркими стихами весь был в его пользу.

Этот чудак, лунатик, галлюцинат, сочетание идиота и гения, по временам становился, однако, задумчивым, нежным и трезвым Правда, он переставал тогда писать стихи, но он становился положительно прекрасным в своей обворожительной застенчивости

Я пригласил его к себе в Киев, и он две недели прожил у меня, не выпил ни одной рюмки водки и не хлебнул пива. Когда ему хотелось возбуждения, он читал свои стихи, ходил по ботаническому саду, окруженный курсистками и гимназистками, опьяненный их поклонением, и признался мне, что он хотел бы жениться.

Действительно, возвратившись в Петербург и получивши какую-то долю наследства от оставшегося после смерти его отца участка под складом дров, он сочетал себя законным браком с одной кронштадтской миловидной учительницей, от которой у него произошло многочисленное потомство, между прочим, и некто Константин Олимпов, возгласивший в особом печатном манифесте, что он — бог-вседержитель, всемогущий, всеведущий и т. п. Пафос отца передался и Константину Олимпову по наследству, но он не получил от него ни искры поэзии, этого величайшего божественного дара, если уж говорить о поэзии, как о чем-то незаурядном и не поддающемся научному анализу.

Фофанов пронесся, как яркая звездочка, по литературным небесам. Его книга, изданная «Всемирною Иллюстрациею», наделала шуму. Он сразу вырос, вдохновенный лунатик.

Суворин немедленно назначил ему ежемесячную пенсию, и пригласил за особый гонорар писать стихи для «Нового Времени» по воскресеньям. Мы тогда многое решили простить Суворину за это литературное отношение к расцветающему таланту.

Фофанов писал небрежно, и на каких попало клочках. Однажды, у Пыпина на вечере, я расхвалил Фофанова, и тот просил меня, чтобы Фофанов дал что-нибудь в «Вестник Европы». Несколько стихотворений Фофанов принес Стасюлевичу. Поэту было сказано притти через неделю за ответом — в среду, ровно в час дня. Трудно было Фофанову быть аккуратным, но он явился в назначенный срок. Стасюлевич саркастически переспросил его:

— Вы — Фо-фа-нов?

— Я — Фо-фа-нов.

Стасюлевич порылся в ящике и двумя пальцами, едва прикасаясь ногтями к исписанным листочкам, достал и протянул поэту его стихи со словами:

— В порядочную редакцию надо представлять свои произведения в культурном виде, а на ваших бумажках и жирные пятна, и чернильные. Перепишите, и мы, быть-может, прочитаем вас. Честь имею кланяться.

Фофанов побледнел.

— А вы — Ста-сю-ле-вич? — спросил он с выражением самого искреннего и глубочайшего презрения на своем призрачном лице с огромными белыми волосами.

Рассказывая мне об этой сцене, Фофанов пояснил:

— Я хотел убить его вопросом! Я произнес сквозь зубы: Ста-сю-ле-вич.

Сцена эта не помешала, однако, Арсеньеву написать о нем, после пламенной беседы со мной и с Бибиковым, хвалебный отзыв в «Вестнике Европы».

Много лет под-ряд я встречал Фофанова, поселившегося в Царском Селе (теперь Детское) и приезжавшего за авансами, в петербургских редакциях. Он ходил в высоких сапогах, в тужурке, врывался в кабинет издателя или редактора, стучал кулаками по столу, требовал денег, предлагая взамен стихотворения.

Поразительно, что, когда он приезжал ко мне на Черную Речку со своими стихами и с требованием денег, он бывал всегда трезв, и жена моя удивлялась, что́ же именно преображает его, потому что ей тоже приходилось видеть Фофанова в свойственном ему трансе.

Умер он как-то вдруг, сравнительно еще молодым человеком, сорока одного году, и мы похоронили его на кладбище Новодевичьего монастыря. Ни одной прозаической речи не было сказано на его могиле. Его хоронили поэты и произносили во славу его певучие эпитафии. Был светлый, весенний день.

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ПЯТАЯ.

1885 — 1886.

Но возвратимся к половине восьмидесятых годов.

В Новом переулке находился, часто посещаемый тогда литераторами, после закрытия Пушкинского кружка, немецкий клуб (шустерклуб). Пишущая братия представляла в нем желанный элемент, потому что широко проедала и пропивала последнюю копейку, тогда как немцы, народ расчетливый, воздерживались от кутежей.

«Знаменитости» редко показывались в этом клубе, разве из любопытства; но уличные «листки» имели в нем своих постоянных делегатов.

Вероятно, в клубе самым почетным гостем тогда был Сергей Атава (Терпигорев), он пил «бутылками и пребольшими» и любил угощать. Кроме литературы, он вздумал заниматься еще подрядами и прогорал с шиком и блеском, о чем еще я буду более подробно говорить, как и вообще о жизни и смерти этого незаурядного человека.

Я приехал с Бибиковым в шустерклуб, и Атава сразу поймал нас в свои сети, пригвоздив к столику. Как всегда в клубах этого рода (например, в Приказчичьем, на Владимирской, тоже усердно посещавшемся литераторами), между столиками бродили «погибшие, но милые создания», и Атава объявил, что он уже сделал свой выбор:

— Я ангажировал самую толстую на весь сезон, — кричал он тоненьким голосочком, раздувая ноздри.

Как потом оказалось, Атава ангажировал ее на всю жизнь.

Выступила худенькая фигурка начавшего лысеть господина с выпуклыми печальными темно-кофейными глазами и в эспаньолке, черной, как уголь. Он гнался за красавицами.

— А, испанец... — взволновался Атава. — К нам!

Фигурка сконфузилась, немедленно остановилась, подошла и раскланялась.

— Рекомендую — маг и волшебник: украл штаны у приятеля, продал, на вырученные деньги купил газету и умудряется выжимать из нее ежедневно по целому рублю на клубничку. Ну, братец, не взыщи.

Атава слил тут в стакан остатки шампанского, которое мы пили, и предложил человечку.

— Пей!

Человечек взял стакан, кивнул длинным горбатым носом, и собрался пить. Но мне стало жаль его. Что за издевательство!

— Не пейте! Человек, подайте нам бутылку посвежее!

— Благодарю вас, — улыбнулся глазами человечек. — Сергей Николаевич рассказывают неточность. Я, положим, купил газету с аукциона за тринадцать рублей пятьдесят копеек, но к этому — я не крал брюков у приятеля. Зачем? Макаров лично одолжал их мне, чтобы я мог пойти в них на Апраксин купить себе собственные, именно на эти тринадцать рублей пятьдесят копеек... Ну, и что же из этого? Я и Макаров стали издавать газету. И так как его были брюки, и они принесли счастье, то он и подписывается, как редактор, натурально. Я же, чтобы вы знали, совсем не испанец, а я есть австрийский уроженец...

— Испанец! Поставь же и ты бутылку, — закричал Атава.

Видя, что дело может дойти до скандала, — потому что Атава норовил схватить человечка за нос, — я подмигнул Бибикову, и мы исчезли.

Не подозревал я тогда, что в шустер-клубе, где я был в первый и последний раз, я встретил уже человека, с которым впоследствии судьба свяжет меня на долгое время и который станет не только моим комическим «другом», но и моим хозяином, в качестве капиталиста и эксплуататора.

По четвергам я, обыкновенно, бывал у Репина у Харламова моста, где собирались знаменитые передвижники — Крамской, Шишкин, Ярошенко, Мясоедов и другие, нередко возглавляемые их апологетом Стасовым, громившим все, что, по его мнению, бесполезно, и в особенности эстетику.

Однажды он меня встретил на Невском и, указав на Казанский собор, закричал:

— Ну, что прекрасного в этом здании? Я каждый раз отплевываюсь от этого безобразия. Завести в этих ни к чему ненужных кораблях и пределах со временем библиотеку или музей не будет возможности — не перестроишь! Разрушить — не позволят, да и дорого обойдется. Просто памятник человеческого тупоумия. Но взгляните на этот дом. — Он указал на угловой дом, похожий на ящик. — Душа умиляется! Целесообразно, полезно, и, следовательно, прекрасно.

У Репина голос его гремел тоже, как труба. Меня он называл «Варом», находя, что у меня большое сходство с бюстом злополучного римского полководца.

— Вара из него сделайте, Вара! — кричал он Репину.

Репин, вместо Вара, сделал из меня обреченного на смертную казнь преступника, над которым уже занесен меч палача (позировал художник Кузнецов), а Николай угодник (Лев Толстой) останавливает руку палача. Поодаль стоит еще группа обреченных на смерть и в их числе худенький юноша (Мережковский).

Репин был очень гостеприимен, вечно работал, одаривал гостей своими этюдами и рисунками и любил литературные беседы. У него собирались и кроме четвергов на особые интимные вечера. Приглашались молодые писатели — Гаршин, Леман, Фофанов, Бибиков. В гостиной, погруженной в сумрак, усаживали меня, и я импровизировал рассказы с фантастическим содержанием. Фофанов выкрикивал свои стихи, Бибиков поражал памятью, с какою он мог продекламировать наизусть всего «Медного всадника». Присутствовали дамы, между прочим, какая-то красивая, чрезвычайно моложавая, баронесса, у которой был уже взрослый усатый сын — дипломат. Бывала Надежда Николаевна Леман; вдова композитора Серова; натурщица Вентури, выдававшая себя за кровную итальянку и морочившая даже итальянцев. Она говорила: «иль художнико» и страшно ломала язык. На самом деле, она была русская княжна. Эту Вентури Бибиков боготворил и познакомил ее с Полонским, на юбилей которого она явилась почти совершенно оголенная, в костюме Психеи. Другой раз в меблированных комнатах на Николаевской, где я временно проживал, собралось у меня много гостей, литераторов и художников, артистов и адвокатов, которых всегда манил к себе литературный мир. Бибиков привез Вентури; она вошла в комнату в ротонде, вдруг сбросила с себя ее и очутилась одним прыжком на столе уже совершенно голая и застыла в позе Венеры Медицейской. Было это так неожиданно, что водворилось на несколько мгновений молчание, которое прервал Репин.

— Замечательно; какая прелесть! Но не простудитесь, — поднял ротонду и накинул на нее.

Она сейчас же уехала.

Жила она в небольшой квартире на Пушкинской улице, и туда повез меня однажды старик Полонский.

— Сегодня, — сказал он, — я в эллинском настроении. Захотелось языческих впечатлений.

Вентури ожидала уже Полонского. В гостиной стояла гипсовая статуя Венеры, перед нею из медной курильницы дымился горящий ладан, было душно. В белом сквозящем пеплуме Вентури стала молиться Венере, правильно произнося нараспев греческие стихи.

Я спросил Полонского, из какого это поэта.

— А я сам не знаю. Эта странная женщина владеет древними языками, мне кажется, в совершенстве!

Было что-то комическое и в этом богослужении и в нашем присутствии на нем. Я смешлив от природы и с трудом удерживался. Полонский заметил и толкнул меня костылем, покачав головой.

С Вентури жила старая дама с манерами аристократки. Кажется, ее мать. Позировала Вентури и для Репина в его картине «Дон-Жуан», и для Константина Маковского. Когда же ей надоело ломаться и ходить в костюме прародительницы, она поступила на сцену и стала недурной артисткой, окончивши свои дни где-то в провинции.

Что ни день, то у кого-нибудь бывали журфиксы; между прочим, собирались у Евгения Утина, адвоката и сотрудника «Вестника Европы». Он убил на дуэли когда-то Жохова, тоже адвоката,

и носил на себе печать мрачной задумчивости. Как присяжный поверенный, он получал большие гонорары и широко жил. В его гостиной собирались всевозможные знаменитости, но, преимущественно, адвокаты, игравшие в литературу. Князь Урусов разбирал с увлечением Флобера, Спасович восторгался Мицкевичем. Сам Утин занимался анализом ничтожнейшего француза — Октава Фельо; Кони углублялся в Пушкина, Арсеньев изучал Шекспира, Андреевский Альфреда Мюссэ и Жорж Занд; мне был поручен Золя, и я в своем докладе указал на характерную для этого писателя особенность, как бытописателя человеческого коллектива — улицы, толпы, не плохого изобразителя и создателя типов. Доклад был напечатан тогда же в одном толстом журнале. Глубокомысленно присутствовал Стасюлевич. Мне сопутствовал, неизменно, Бибиков. Забегал Боборыкин и пользовался случаем поговорить о своих новых литературных планах и подготовлял Стасюлевича к приятной перспективе получить от него новый тридцатилистный роман.

Из художников бывал Ционглинский, только-что окончивший академию, изящный колорист. Он писал портрет Утиной. Бывал Константин Маковский с красавицей женой, с которой, впрочем, скоро разошелся, и с ее сестрой Султановой, женой того архитектора, который соорудил в Москве безобразный памятник Александру Второму. Она писала недурные повести под именем Летковой.

Помнится, раз зашел Салтыков. Он долго кашлял в передней, к огорчению Утиной, которой казалось, что великий человек нарочно кашляет, чтобы обратить на себя внимание. Когда минул припадок кашля, Салтыков спросил:

— А у вас что же? Карточный вечер? А Унковский и Боровиковский здесь? Нет? Андреевский читает об Альфреде Мюссэ и Жорж Зандихе? Ну, мне нечего делать. Пойду лучше домой.

Ушел.

В другой раз — случилось это уже в следующем году — Утин пригласил, по моей просьбе, Гончарова на чашку чая.

— Никого не будет, кроме вас, Бибикова, конечно, меня; а Кони и Андреевского я приглашу для оживления. Ведь вы помните, какое чудо Гончаров, когда начнет говорить. А как удивительно просто и живописно рассказывает он о своих встречах и путешествиях! Как сохранился старик, какой живой ум!

В назначенный час, предвкушая великое наслаждение, приехали мы с Бибиковым, и, с царственной точностью, пожаловал Гончаров. Ему было слишком за семьдесят лет, он двигался, смотрел и говорил, как молодой человек, бодро и возбужденно.

Уселись за круглый стол, и Гончаров, которого все считали консерватором, да он и был таким в общественной жизни, стал вспоминать с увлечением пятидесятые и шестидесятые годы.

Но тут появился Кони и Андреевский, тоже талантливые знаменитости, привыкшие хорошо говорить и, в особенности, сосредоточивать на себе внимание. Кони немедленно прервал Гончарова и стал подавать шестидесятые годы в своем освещении, а адвокат Андреевский любезно и грацизоно оспаривал его и выдвигал свою точку зрения. Гончаров вежливо подождал, не спорил и, оставя в стороне шестидесятые годы, перешел к характеристике Салтыкова, как писателя, и заговорил о русском юморе, который бывает. . .

— Или тихим безобидным смехом. . . — подхватил Андреевский.

— Или гневной и бичующей сатирою, поднимающейся до высот сардонического хохота, — любезно прервал Андреевского Кони.

Кони долго говорил, уже не прерываемый, и говорил превосходно, остроумно и литературно; но хотелось слушать не его. Когда он кончил, Гончаров взглянул на часы, ни слова не сказал больше о Салтыкове и о русском юморе и начал, было, о грядущих судьбах русского художественного слова; но и тут у знаменитых юристов нашлось свое авторитетное мнение об этом предмете, и они поспешно высказали его с подобающей логикой и убедительностью.

Гончаров мало-по-малу увял, простился церемонно с хозяином и с нами и, как ни упрашивал Утин, не остался ужинать и уехал к себе на Моховую.

— Чудак старик! — сказал вслед ему Андреевский, ероша на затылке свои прекрасные черные волосы и не замечая взгляда ненависти, устремленного на него Бибиковым.

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ШЕСТАЯ.

С. Я. НАДСОН.

«Книга воспоминаний», написанная человеком, которому случайно пришлось пережить своих современников, всегда начинается за здравие и кончается заупокойным вздохом. В настоящей главе мне придется в нескольких словах описать свои встречи с Надсоном.

Семен Яковлевич Надсон — молодой человек, происходил от слияния русской и еврейской крови и тем самым был, может-быть, обречен на выявление незаурядных способностей. Он был еще юнкером, когда, лично ли он сам, или через посредство товарища, доставил в «Слово» два стихотворения. Я мало обратил внимания на наружность поэта. Доставлявший стихотворения был выстрижен под гребенку и показался мне не таким брюнетом, каким впоследствии оказался Надсон, при более близком с ним знакомстве. Я принял стихотворения, как редактор «Слова», и они были напечатаны.

В них, помимо гармоничности стиха, была проведена некоторая общественная мысль, и я просил автора еще присылать стихотворения. Тогда стихотворный тариф колебался между десятью копейками и пятьюдесятью. Я назначил Надсону пятьдесят копеек. Сумма эта показалась представителю издателя Сибирякова А. Жемчужникову высокою, и, когда в следующий раз Надсон прислал стихотворения в мое отсутствие, ему было объявлено, что такого гонорара он больше получать не будет.

Может-быть, этим объясняется, что Надсон перестал давать стихотворения. Да и много было таких поэтов.

Стихотворения Надсона стали появляться в «Мысли» Оболенского и в других журнальчиках. Это было в 1878 году.

Когда, через несколько лет после того, я жил в Киеве, сотрудничая в местной газете «Заря», меня часто посещала молодежь — студенты и курсистки, и у меня устраивались литературные вечера, пока на них не обратила внимания местная жандармская власть в лице полковника Новицкого.

Однажды летом ко мне вбежала ватага молодежи с сенсационным известием.

— Вчера мы катались с Надсоном на лодке. Он декламировал нам свои стихи. С ним произошла большая перемена, он теперь религиозно настроен; однако, не прочь поухаживать даже...

— Ну, согласитесь сами, он поступил в монахи!

— Первый раз слышу. Я знаю, что он был уже офицером, а затем вышел в запас и болен.

— Нет, он теперь здоров. Он излечился в монастыре.

— Да в каком же он монастыре?

— В Выдубецком.

— Совершенно невероятно. Но, какой же он?

— Вы говорили, что у него правильные черты лица, а он курносый.

Я пожал плечами, а молодые люди продолжали описывать Надсона, его рясу, рассказывали, что он говорил, и старались воспроизводить стихи, которые он декламировал.

— Вообще, хотя он и монах, но чрезвычайно веселый.

Кто-то поправил, что не монах, а только пока послушник.

На другой день курсистка Сорокина, студент по фамилии Тулуб и местный поэт Гольденов рано утром позвонили у моей квартиры. Я отворил.

— Что случилось? Почему чуть свет?

— Да, знаете, — заговорили опять посетители, — невероятное происшествие.

— А именно?

— Дело в том, что Надсон оказался не Надсоном.

— Почему же оказался не Надсоном?

— Потому что приехал настоящий Надсон; вчера приехал.

— Вот, Гольденов, — заговорила Сорокина, — жил как раз по вашей рекомендации в имении Пащенков; так он только-что из их городской квартиры, где остановился Надсон, вместе со своей женой, Марией Валентиновной Ватсон.

— Да Мария Валентиновна Ватсон — жена писателя Ватсона! Она просто ухаживает за больным Надсоном, — пояснил я.

— Ну, это все равно. Можно быть женой, фактически не любя человека; это — еще лучше, — пояснила Сорокина.

Так или иначе, лже-Надсон был разъяснен.

Еще через несколько минут, запыхавшись, прибежал студент из того же кружка и объявил, что Надсон просит меня притти к нему, так как сам он сейчас болен.

Это было недалеко, и я отправился к Надсону. Обросший бородкой, в длинных черных, зачесанных назад волосах, бледный, темноглазый, Надсон оказался совсем непохожим на того молодого человека, который приносил в «Слово» стихи и рекомендовал себя Надсоном. То был товарищ Надсона, как объяснил мне поэт.

Мария Валентиновна вскричала, увидев, что вслед за мною ввалилась целая толпа поклонников и, преимущественно, поклонниц Надсона.

— Но, это целое паломничество!

Я рассказал Ватсон, что в провинции Надсон становится любимым поэтом, и тон его музы отвечает настроениям молодежи. Она рвется к чему-то светлому, а действительность мешает. Остается только жаловаться на судьбу и тосковать, да иногда негодовать.

— Семен Яковлевич ужасно устал, — шепнула мне Мария Валентиновна.

Я понял, что надо выпроводить гостей, но это было не в моих силах, да и, откровенно сказать, я не сумел бы этого сделать, а посетители и посетительницы всё прибывали и окружали Надсона, который явно страдал и уже не держался на ногах, а упал на диван и полулежал.

Я рассказал о лже-Надсоне.

— О, пожалуйста, — выслушав живой анекдот о себе, вскричал поэт, — нельзя ли об этом написать в «Заре»?

«Зарю» редактировал Кулишер. Ответственным редактором считался Павел Андреевский, брат известного поэта, а финансировал сахарозаводчик Бродский, что некоторое время скрывалось. Газета была крайне либеральной.

— Хорошо, это будет напечатано, — пообещал я.

— Ведь, вот, был же самозванец, который выдавал себя за вас, — сказал Надсон, — а у меня еще не было. Или я, в самом деле, становлюсь популярен?

У Надсона было, таким образом, еще юношеское тщеславие. Он радовался, что какой-то монашек выдал себя за него. Но, когда студент Тулуб прочитал стихи, записанные со слов лже-

Надсона, очень понравившиеся молодежи, а, между тем, стихи эти были ниже всякой критики и до-нельзя пошлы, поэт огорчился.

— Вот и пишите после этого! Сколько пошлых стихотворений выдавалось за Пушкинские. За границей до сих пор печатают пошлости, подписанные именами Пушкина и Лермонтова.

— Что делать, Семен Яковлевич, — сказал кто-то на это; — популярность также имеет свои шипы. Еще вам завидовать будут; еще Буренин вас не ругал, и хорошо, что томик ваших стихотворений издал Суворин.

— Правда ли, в самом деле, что вас издал Суворин? — спросил женский голос с оттенком удивления.

Мария Валентиновна вспыхнула и укоризненно посмотрела на меня. Откуда же могла узнать молодежь, как не от меня, кто издал первые стихи Надсона отдельной книжкой?

— Стихи Семена Яковлевича, действительно, печатались в типографии Суворина, во всяком случае.

— И мне это, по правде сказать, чрезвычайно неприятно, но я тут не при чем, — заметил Надсон.

Впоследствии, узнавши более подробно историю первого издания стихов Надсона, я мог бы прибавить к объяснению Марии Валентиновны, что Суворин, действительно, за свой счет издал стихи Семена Яковлевича после того, как Буренин их одобрил, но я тогда петербургских отношений не знал, и острый взгляд Марии Валентиновны брошен был на меня напрасно.

По направлению, Надсон, как поэт или как писатель, был либералом чистейшей воды. Точно также и Мария Валентиновна была либеральной дамой и ею осталась, конечно, доселе.

Надсон вскоре был приглашен Кулишером писать в «Заре». Ему были предложены критические фельетоны, и очерки его были изданы, при содействии Марии Валентиновны, впоследствии отдельным томиком и не представляли ничего особенного; все это давало, однако, поэту возможность кое-что заработать в Киеве, точно также, как киевская популярность подняла его фонды в издательствах, и местными книгопродавцами, если мне память не изменяет, предприняты были еще два следующих издания его стихотворений. При жизни же его вышло и четвертое издание.

Болен он был серьезно и опасно. Туберкулез разъедал его кости, он хирел, желтел и таял с каждым днем. Раза два я заходил к нему после первого визита, раз утром, раз вечером. Он лежал в постели и прочитал мне только-что набросанное стихотворение, в котором воспевался Герцен. Я похвалил стихотворение и сказал, что стих его напоминает лермонтовский. Мария Валентиновна и он стали возражать. Им не понравилось сравнение с Лермонтовым.

— Семен Яковлевич сам по себе.

— Я хотел бы быть только самим собою.

Я поспешил согласиться, что на Лермонтова, он, пожалуй, не похож; но, оказывается, и это не понравилось. И он и она были так нервны, болезненно чутки и подозрительны, что трудно было вести с ними дружескую беседу.

Между тем, надо было собрать денег Надсону, устроить в его пользу концерт. В концерте обязательно должен был участвовать я и приглашен был Тартаков, тогда только-что начинающий молодой певец.

Этот концерт состоялся в Купеческом собрании при огромном стечении публики. Молодежь бросилась на сцену и стала качать Надсона и меня. Жестокую овацию я перенес благополучно, а Надсона порядком растрясло. Несмотря на то, что у него была чахотка в последнем градусе, он читал громко и умел читать.

После концерта Надсон поехал на дачу в Боярки — пригородную местность. Там был сосновый лес, чудесным воздухом дышал Надсон, но, все-таки, здоровье его требовало еще более благоприятных условий.

Концерт, данный в его пользу в Петербурге, при участии Давыдовой и Марии Валентиновны Ватсон, которая туда поехала специально для этого, обеспечил ему возможность прожить зиму в Крыму. Он туда уже совсем собрался, но перед отъездом ему захотелось сбросить с себя клеймо литературного покровительства Суворина и одобрительного отзыва, сделанного по поводу его книжки Бурениным. Это казалось ему позором. Помню, как в кабинете у Кулишера он задыхался от негодования.

В «Заре» он вдруг напал на Буренина, чтобы отряхнуть с себя, как он выражался, прах нововременской грязи. Буренин отвечал статьей «Урок стихотворцу», и затем Надсон уехал в Крым, в котором медленно угасал, а Буренин ядовитыми издевательствами над поэтом преследовал его в своей газете, утверждая, что он находится на содержании у старушек. Много было в этом злобы; вызывала отвращение эта травля несчастного юноши.

После смерти его стихотворения выдержали множество изданий, и весь доход с них был отдан Литературному Фонду, так что если литературные кружки сколько-нибудь скрасили последние дни жизни поэта своей материальной поддержкой, то покойный Надсон расплатился с обществом тою же монетою и при том неоднократно.

Много шума наделала еще переписка с Надсоном какой-то графини Лиды, на письма которой поэт отвечал с искренним чувством. Графиня эта оказалась не графиней, а женой жандармского полковника или пристава. Повинны были в опубликовании этих писем ближайшие друзья Надсона, которые старались всячески о том, чтобы обратить на него внимание.

Нельзя, разумеется, никоим образом оправдать Буренина в его необузданном походе против умирающего поэта, но, с другой стороны, обвинение Буренина в том, что он убил Надсона, тоже легко-

весно. Разумеется, Надсон был отравлен фельетонами Буренина, но он умер бы и без них; так сильна была его неотвратимая наследственная болезнь.

Кстати мне вспоминается еще один штрих из жизни Надсона. Прощаясь однажды с Минским, он подарил ему на память о себе свою записную книжку. В этой записной книжке, рядом с разными рифмованными набросками и пустячками, оказалась ода, писанная рукою Надсона и посвященная Александру Третьему. Минский показал эту оду мне; я прочитал ее; и мы не обменялись ни словом по поводу ее. Возможно, конечно, что ода не была подана царю, а приготовлена была поэтом под влиянием одной из аристократических старушек, о которых писал беспощадный Буренин. Надсон написал и бросил ее.

Один из ближайших друзей Надсона, когда до него дошел слух об этой оде, объяснил ее просто. Ода, написанная в торжественных тонах, была, на самом деле, шуточкой. Конечно, это также возможно; и такое толкование приемлемее.

Затем в газете «День» Минский в 1913 — 14 годах, приехав в Петербург, напечатал свои воспоминания о Надсоне. Я не успел прочитать их, но на Минского поднялось такое гонение по поводу этих воспоминаний, что он поспешил вернуться поскорее в Париж.

На похоронах Надсона и во время открытия его памятника с бюстом, работы знаменитого Антокольского, роль руководительницы, так сказать председательницы траурного торжества, играла Мария Валентиновна Ватсон. Она стояла у входа на Волково кладбище и каждому, пришедшему поклониться праху поэта, приветливо жала руку.

Значение Надсона, как поэта, теперь совершенно упало, и унылый стих звучит, не трогая современника. Никто не унывает сейчас, кроме граждан с обращенными назад лицами, да и те требуют бодрой поэзии; но, все-таки, в эпоху, предшествовавшую революционному возбуждению и натиску, с каким русская общественность одержала победу над старой государственностью, Надсон занимает выдающееся место в пантеоне русской поэзии.

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ СЕДЬМАЯ.

А. К. ШЕЛЛЕР.

В журнале «Дело» главным сотрудником был в свое время Шеллер. Он заведывал публицистикой и критическим отделом. Его романы славились. Молодежь зачитывалась Шеллером. Был он писателем либеральным или слегка социалистическим. Современная терминология определила его, как буржуазного социалиста. Отстаивал он в своих произведениях женскую эмансипацию, громил взяточников, выводил героев по возможности со стальными

характерами, которые пробиваются сквозь толщу окружающей их пошлости и достигают счастливой пристани, в уюте которой успокаиваются вместе со своими возлюбленными.

Шеллер был сыном придворного лакея и в ранней молодости путешествовал с царицею и ее свитою в Канн, где она лечилась от чахотки. Молодого человека, уже тогда выступавшего в печати — кажется он начал в юмористическом журнале «Весельчак», — ласкали фрейлины, стараясь приблизить его к себе, воспитать в нем хорошие манеры, научить его говорить по-французски, развить в нем литературный благородный вкус, насколько это благородство понималось ими, изощренное на чтении французских романов. Шеллер, однако, довольно благополучно выбрался из этой придворной паутины, оставившей на нем некоторый след, но литературное влияние интеллигентских кружков, с которыми он сблизился, как начинающий писатель, оказалось сильнее.

Шеллер был эстонец родом, и добродетели эстонского мещанства были всосаны им с молоком матери. Он любил своих родных любовью, доходившей до какого-то религиозного обожания. Мать и отца он боготворил и не расставался с ними до самой смерти.

Один из старых сотрудников «Дела» — Александров рассказывал мне, что он бывал у Шеллера на журфиксах, в то время, когда отец и мать Шеллера были еще живы. Литераторы собирались в определенные дни у начинающего романиста, толковали о том, о сем и с нетерпением ожидали ужина, который всегда устраивался почтенными родителями Шеллера. Мать Шеллера уже коечто сварила и спекла на кухне, но не хватало главного. . . и вдруг, часов в одиннадцать, раздавался звонок, и в шинели вкатывался старик Шеллер. Из глубоких карманов своего плаща он вынимал бутылку с вином самого лучшего качества, а под мышкой держал, завороченную в сахарную бумагу, семгу или большую белорыбицу. Из задних карманов форменного платья он доставал ранеты, груши, конфекты. Даже шапка его оказывалась наполненной сладостями. Все это были остатки придворного обеда. Царского стола хватало всем служащим, делившим остатки между собою, а Шеллер получал еще львиную долю. Может быть тут есть и некоторая карикатурность. Александров любил сгустить краски, но общая картина была довольно верна, потому что мне пришлось лично наблюдать другого придворного лакея, квартировавшего недалеко от меня. Я часто видел, как он возвращался из Аничкова дворца домой, нагруженный бутылками, фруктами и другой гастрономией. Попутно он заходил ко мне и предлагал купить у него часть придворных продуктов по недорогой цене, и когда я спрашивал у него, откуда такая благодать, он отвечал:

— Помилуйте, мы делим, и если бы государь император не изволили начать входить в мелочи по части стола, то у нас было бы остатков втрое больше. А то они бюджет стали лично подвергать сокращению, не то, что блаженной памяти Александр Николаевич!

Несомненно, Шеллер, как романист, на первых порах подражал Диккенсу. Его «Гнилые болота», «Жизнь Шупова», «В разброд» и другие романы, где изображается быт маленьких либеральных людей, стремящихся к прогрессу, или быт разных аристократок, старающихся создать себе имя благодетельниц рода человеческого, в качестве патронесс детских приютов, где болезнь и смерть были обычными явлениями, написаны были под влиянием Диккенса, и это влияние осталось у него на всю жизнь.

В Киеве студенты зачитывались Шеллером. В Чернигове, где я был когда-то в числе организаторов городской библиотеки, публика на организационном собрании потребовала огромным большинством голосов, чтобы сочинения Шеллера были выписаны в двух или трех экземплярах.

Я представлял Шеллера пожилым человеком, а встретил в редакции «Живописного Обозрения» (куда я пришел по приглашению Шульгина) сравнительно молодого человека с рыжей бородой, лысого, косоглазого, чрезвычайно любезного и франтовато одетого. Это было в первый же месяц моего приезда в Петербург, в 1878 году. Я совершенно не был известен, и прием Шеллера, основавшего с Шульгиным «Живописное Обозрение», меня тронул. Он дал мне несколько тем для критических статей, которые были напечатаны. Но вскоре мое сотрудничество в «Живописном Обозрении» было прервано усиленной работой моей в журнале «Слово» (см. выше). Только уже в 81-м году, по прекращении «Слова» и другого журнала, где я сотрудничал в качестве редактора, «Нового Обозрения» (см. выше), я встретился с Шеллером на одном литературном вечере, и он, подойдя ко мне, поздравил меня с блестящим, как он выразился, «дебютом» в «Отечественных Записках». Попутно он пригласил меня возобновить сотрудничество в «Живописном Обозрении». Шульгин уже умер, журнал разросся, развился, имеет большое распространение и принадлежит богатому издателю Добродееву, который не стесняется хорошо платить сотрудникам. Кстати Шеллер пригласил к себе и на вечера.

По вечерам у него в определенные дни собирались преимущественно писатели и писательницы — Цебрикова, Дубровина, Ольга Шапир, Мария Крестовская, Федор Червинский, Муравлин-Голицын, Чуйко, Фаресов, Бибиков и какие-то полковники с литературными наклонностями, профессора, даже гимназисты и розовые кадетики, мечтающие о поэтическом будущем. Стены его квартиры были украшены портретами знаменитостей того времени. В гостиной шли споры, сообщались новости, разбирали те или другие литературные факты. На сцене была политика, театр, судебные дела, а в глубине квартиры, которая была, впрочем, невелика, сожительница Шеллера (сожительница не в смысле жены), старенькая классная дама Татьяна Николаевна, приветливое и в высшей степени гостеприимное существо, ждала гостей с чаем и закусками. Выпускал пар самовар, клубился табачный дым, всюду ярко горели керосиновые лампы, а снизу доносились мерные удары типографских машин. Это был чисто литературный угол, соединявший в себе все традиции шестидесятых годов и носивший печать бурных восьмидесятых годов, наполнявших всех чутких людей ожиданием каких-то великих предстоящих событий.

Придешь, бывало, к Шеллеру, а он лежит на кушетке, потому что большею частью чувствовал себя утомленным и больным, но страшно обижавшимся, если кто-нибудь не приходил, боясь обеспокоить его.

— Я становлюсь здоровым, когда меня окружают дружеские лица.

Иные думали, что он кокетничал своей болезнью, а он просто страдал геморроем и только не объявлял о своей болезни. В его отношениях к тогдашней действительности, в том числе и ко всем отсутствовавшим братьям-писателям, всегда сквозило нечто раздражительное, едкое. Обо всем и обо всех он говорил с кривой усмешечкой. Он чувствовал себя обиженным, потому что такие критики, как, например, Скабичевский, почти не признавали его. Его затмил Тургенев, и ему это не нравилось. Слава его была слишком кратковременна, не успела звезда его взойти, как уже закатилась. Стоять во главе руководящего журнала и очутиться в «подвальном», как он выражался, «Живописном Обозрении» — для него был невыносим такой переход, и он страдал. Я не встречал более самолюбивого и тщеславного человека в кругу писателей с большим, все-таки, именем.

—Да вас, Александр Константинович, знают все. Вы спросите у Бибикова, который только-что приехал из Киева. Нет ни одного интеллигентного молодого человека, который бы не читал вас, и знакомство с Шеллером обязательно для всякой молодой провинциалки, отправляющейся на курсы в Москву или в Петербург. Проглядите отчеты публичных библиотек, вас считают чуть ли не первым после Толстого.

— Да, с Толстым не сравняюсь! — грустно возражал на это Шеллер.

Иногда утешал его только Бибиков, отличавшийся тем, что мог, при помощи своей феноменальной памяти, сказать наизусть всего, например, Евгения Онегина. Перед тем, как итти к Шеллеру, он прочитывал несколько страниц из какого-нибудь его романа, приходил и начинал декламировать. На Шеллера это действовало, как музыкальная симфония: лицо его расцветало, он вставал с кушетки, веселый и бодрый, садился за чайный стол, и долго лилась его беседа о том, как в шестидесятых годах было хорошо, каким авторитетом он всегда пользовался в «Деле», как Благосветлов уважал его мнение, как Писарев искал его общества и Марко-Вовчок прислушивалась к его отзывам; и все решительно: Бажин, Омулевский и другие писатели старались ему подражать.

Разве мог бы явиться Омулевский, если бы не было Шеллера-Михайлова?

Как-то избрали Шеллера председателем Литературного Фонда. Это страшно обрадовало его, значит, он еще не забыт, на самом деле. Ему казалось, что было даже почетно быть председателем.

— Что ни говорите, — обращался Шеллер чуть не к каждому своему гостю, — а ведь председатель Литературного Фонда не последняя спица в колеснице, и официальные учреждения, адресуя мне бумаги, пишут на конверте: его превосходительству!

Это было наивно и почти забавно. Со всем тем Шеллер был добрейшим человеком. Он вечно ворчал и вечно делал всевозможные одолжения. С издателем — Добродеевым — у него шли постоянные распри из-за сотрудников. Он требовал, чтобы гонорар был повышен, требовал для них авансов, приглашал писателей, которые ужасали издателя размерами своего гонорара. Он много тратил времени на переписку со всеми. У одного меня накопилось более ста его писем. Быстро сближался он по-товарищески со всеми, кто у него часто бывал. Со мною он сошелся на «ты» чуть ли не на третье свидание с ним.

— Мне нужны люди, как воздух! — говорил он мне. — Я ведь романист, а, следовательно, как же я обойдусь без них, неужели высасывать их из пальца?

Как человек светский, и, некоторым образом, с придворным лоском, он строго соблюдал этикет хорошего тона: не признавал мягких воротничков, и когда заказывал мой портрет для «Живописного Обозрения», то просил меня сняться непременно в крахмальных воротничках, а не в мягкой рубашке, какую я, обыкновенно, носил. Визиты он сейчас же платил, на второй или на третий день, чуть ли не каждому, кто у него бывал. На это у него уходило также не мало времени, но, тем не менее, поразительна плодовитость Шеллера, как писателя. Он мог в неделю написать большую повесть, лежа на боку на своей кушетке. Писал он всегда сам карандашом и удивлялся моей способности диктовать.

Сколько я ни присматривался, никогда у него не было ни одного гостя, который не имел бы прикосновения к литературе. Он не признавал другого мира, кроме литературного. Допускались, разумеется, в виде исключения, издатели, и самым его усердным издателем был некто Губинский, от которого он получал всегда за каждую книжку триста рублей. Он мог бы пристроить свои сочинения у более «порядочных» издателей, но не любил «кланяться», как он выражался.

— Кто ко мне приходит, тому я и отдаю рукопись. В крайнем случае может быть я бы даже даром отдавал, если бы никто больше не требовал от меня материала за деньги. Главное — печататься!

Все же под конец жизни ему удалось продать Суворину полное собрание своих сочинений, что-то, кажется, за двадцать тысяч.

Чем дальше шло время, тем болезненнее реагировал Шеллер на современность. Журналов было много, но он жаловался, что журналов нет. Журналами он считал только такие издания, как «Дело», «Современник», «Отечественные Записки», «Слово», «Вестник Европы». Остальные журналы он называл предприятиями, и только. Книгу он тоже очень уважал. В свое время была очень известна его компиляция «Ассоциации», и он собирался писать историю коммунизма, начиная с Платона. Зимою он жил в Ковенском переулке в редакции «Живописное Обозрение», а летом то в Павловске, то на Каменном острове, окруженный своими юными поклонниками.

Помню последнее летнее свидание с ним. Я приехал к нему на Каменный остров, обедал у него, после обеда мы пошли гулять. Впереди нас шли дамы, тоже посетившие его — Дубровина и еще одна почтенная, пожилая поклонница его и Спасовича. Она мечтала всю жизнь об освобождении Польши, хотя была русская до мозга костей (Сахарова).

— Все это осуществится, — говорила она, — когда мы сделаем революцию. Только в революционном пожаре может перегореть та цепь, которая нас связывает с несчастной Польшей.

Эта дама с Дубровиной затеяли литературный спор и, идя впереди, и очутившись на Стрелке, куда мы направились, дама подняла юбку, и мы увидели, что она в красных фланелевых панталонах. Шеллера несколько шокировала такая странность одной из его дам, и он сказал:

— Посмотрите, до чего она революционна, даже штаны у нее красные!

Начиная с половины девяностых годов, в течение семи лет, я редко виделся с Шеллером в городе. Я страшно был занят газетной работой. Приходилось даже не спать по ночам, чтобы поставить дело. Я об этом буду писать еще в одной из следующих глав. Каково же было мое удивление, когда приехал ко мне Измайлов и сказал, что Шеллер из Ковенского переулка перебрался на Петербургскую сторону, на Введенскую улицу, что он болен, бросил «Живописное Обозрение», которое уже прекратилось, и зовет меня к себе.

Я поехал и застал Шеллера в тяжелом положении. Ему было шестьдесят два года, но уже было видно, что он доживает век. Он как-то странно пополнел, точно налился водою, еле передвигал ноги и говорил потухающим голосом. Он ласково поздоровался со мною, поблагодарил, что я его посетил, и сообщил, что он ездил на Митрофаниевское кладбище, чтобы выбрать себе могилу рядом с могилами своих родителей.

— Я очень прошу похоронить меня именно там, а не на Волковом кладбище. Я не такая знаменитость, — с горечью пояснил он.

Спустя несколько после этого, я прочитал в «Новом Времени» некролог Шеллера. Немедленно помчался я на Петербургскую сторону, вошел в крохотную квартиру писателя и узнал, что он жив. Он полулежал в кресле и читал «Новое Время».

— Я один из немногих писателей, — сказал он, — которые имеют удовольствие прочитать, как к нему относятся после смерти. Я доволен, я с удовольствием читаю о себе.

Он говорил еле слышно, смеялся и тяжело дышал. Умер он на другой день.

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ВОСЬМАЯ.

Н. С. ЛЕСКОВ.

Николай Семенович Лесков — писатель очень крупного масштаба и своеобразного лица.

Когда я первый раз вошел в литературный кружок Василия Степановича Курочкина, в 1870 году, имя Лескова, писавшего под псевдонимом Стебницкого, было у всех на языке. О нем говорили с презрением и отвращением, и даже уверяли, что он служит агентом в Третьем отделении, т.-е., что он шпион.

Началось это гонение на Лескова в период пожарной эпидемии, которая в 1861 — 62 годах прокатилась по всей России, а в Петербурге разразилась знаменитым пожаром Апраксина Двора. Тогда чернь успели убедить, что поджигают студенты. Такое обвинение являлось результатом негодования правительства на либеральные течения, вдруг развившиеся в русской интеллигенции и начавшие проникать в мещанские и рабоче-крестьянские круги.

Студентов сделали предметом общественной ненависти с провокационной целью, чтобы показать, куда может повести «необузданная» свобода. Пусть правительство ослабит только вожжи, как начнут гореть города, а мужики, воодушевляемые студентами, пойдут с топорами в руках и с горящими пучками соломы громить и жечь дворянские усадьбы.

Лесков, у которого душа была отроду злая и подозрительная, решил, как он мне объяснил потом, раскопать, откуда идет такое обвинение, вскрыть нарыв тонким дипломатическим скальпелем, и потребовал в газете «Северная Почта» — полуофициальном органе правительства, — чтобы участие студентов в поджоге было возможно беспристрастнее расследовано. Такое требование, однако, было приравнено к действительному обвинению студентов в поджоге Апраксина Двора. Строго говоря, у Лескова не было такого намерения, но он уж очень перемудрил, перехитрил. Под видом беспристрастия, под видом непоколебимой веры в честность полиции, желая накрыть ее собственным ее хвостом, он впал в тон доносителя, может-быть, неожиданно для самого себя. Перо водило

по бумаге, а он представлял себе градоначальника, который стоит перед ним и он ему докладывает:

— Надо же, в самом деле, быть осмотрительнее в своих подозрениях и только тогда дозволить публике говорить об этом в положительном смысле, когда действительно окажется обвинение правдоподобным, основанным на каких-нибудь фактах!

— Слушаю-с! — говорит градоначальник.

Когда письмо появилось в газете, все отшатнулись от Лескова, и легенда об его службе в Третьем отделении с быстротой молнии распространилась и держалась на протяжении многих лет.

В 1878 году князь Урусов — известный адвокат и знаток и любитель литературы, высылавшийся одно время из Петербурга за участие в Нечаевском процессе — не верил доносу Лескова или его службе в охранке, но, приглашая меня к себе на вечер, предупредил, что он заранее желает знать, как я отношусь к Лескову, потому что, если я отношусь к Лескову недоброжелательно, он его к себе не пригласит, хотя и считает его писателем, достойным уважения.

Я уверил его, что ничего не имею против Лескова, но другие гости Урусова, как Арсеньев, Стасюлевич и Утин, не согласились встретиться с автором письма о поджогах и таких романов, как «Некуда» и «На ножах».

Кстати об этих романах. Такие критики, как Скабичевский, работавший в радикальных органах, и другие, помнившие хорошо, что представляло собою литературное общество в 60-х годах, говорили мне, что на самом деле в этих романах фактически всё верно: жили коммунами на одной квартире люди обоего пола и нередко состояли в «коммунальном» браке. Тут они называли мне имена очень видных писателей; но гневались на Лескова за его тон. Он над всем этим издевался со своей «изуверской усмешечкой» и частным случаям придавал в своих повествованиях и описаниях общий характер.

Действительно, когда перечитываешь «Некуда» и «На ножах», приходишь в трепет от неистовой злобности, с какой романист выдвигает своих действующих лиц и заставляет читателя отступать перед их нутром, вывернутым наружу беспощадным ножом сочинителя. Все у него на ножах, а он сам еще, как мясник, орудует ножом над ними; тем не менее, ужасающее, по силе черных красок, дарование Лескова не может быть опровергнуто. Он — писатель единственный в своем роде.

Тут интересно сопоставить Достоевского и Лескова, которые, надо заметить, были именно сами на ножах друг с другом. Достоевский также не щадил человека, въедаясь в его сердцевину и показывая до чего он жалок, низок, несвободен и гнусен, но было в его мрачном творчестве что-то человеческое, гуманное, от чего читатель проникается не отвращением, а прощением; гнуснейший Федор Павлович Карамазов и тот внушает какое-то чувство,

похожее на сострадание, как жаба, которую — идешь, наступишь на нее, она раздуется, зашипит и, все-таки, раздавишь и как бы пожалеешь, потому что — живая тварь. Таким образом, Федор Карамазов у Достоевского все-таки — живая тварь. А у Лескова (Стебницкого) люди по роду своей деятельности, в сущности, хорошие и даже особенно хорошие, представлены в обличье негодяев, мерзавцев и отталкивающих, как мокрицы и клопы, эстетическое чувство читателя до болезненной отвратности. Какой-нибудь Федор Павлович Карамазов, читая «Некуда» или «На ножах», должен почувствовать радость за себя: вот они — какие хорошие люди, вот они — писатели, вот они — либералы какие; нет, если я мерзавец, так, по крайней мере, я сознаю себя и не выдаю себя за ангела.

Правда, у Лескова, в других его произведениях, сквозит уже темперамент не столько сатирика, сколько юмориста и превосходного бытописателя; но и в выборе его персонажей, как, например, в «Соборянах», угадывается, опять-таки, писатель с определенными симпатиями и тенденциями. Во всяком случае лучшей его вещью надо считать «Соборян».

В конце концов, он, проведя почти всю жизнь в литературном уединении, подпал под влияние Толстого, съездил к нему, умилялся образом жизни великого человека и с благоговением рассказывал, возвратясь из Ясной Поляны, как Лев Николаевич, сам, не затрудняя прислугу, выносит утром из своей спальни посуду с ручкой, как он борется с курением, хочет — и не курит; и с мясоедением: подойдет ночью к буфету, где стоят котлеты, посмотрит и назад возвращается; сапоги точает и печки крестьянкам складывает.

Познакомил и свел меня с Лесковым Виктор Бибиков. Бибиков был молодой человек из тех писателей, которые не оставляют следа в литературе, но которые, однако, являются, более или менее, соединительной тканью в ней. Они играют роль посредников между ее главнейшими органами. Как без Бибикова можно было бы соединить не только Лескова и меня, но Лескова и Арсеньева, этого белоснежного чистоплюя либерализма, писавшего в «Вестнике Европы» и державшего в нем первую скрипку, с необычайной моральной сухостью и строгостью?

Лесков, которого я увидел первый раз, был уже пятидесятилетним стариком, приземистым, широкоплечим, с короткой шеей, с большой седой головой, с немногочисленными на черепе волосами и с чрезвычайно живыми, темными и казавшимися черными, яркими глазами. На нем была цветная блуза. Он подошел ко мне и крепко меня обнял, прижавшись щекой к моей груди.

— Чудесно бьется у вас сердце, хорошее у вас сердце, — тоном искренним, но, однако, льстивым, начал Лесков.

С места в карьер он стал ругать Суворина, которому не мог забыть выходок против Стебницкого в «Петербургских Ведомостях» в шестидесятых годах.

— Благословляю час, — продолжал Лесков, — когда Бибиков надоумил вас посетить мое собрание редкостей, так как, действительно, они стоят того, чтобы на них посмотреть. У меня есть величайшие раритеты. Вы собирались посмотреть на богоматерь Боровиковского — вот она, матушка. Я и лампадку перед ней теплю. Удивительный лик, я бы не променял его на лик Мурильевской богоматери; русский лик и, отчасти, как-бы украинский. А это я купил где-то на рынке, Строфокомил — птица мистическая. . .

Он стал водить меня по своему кабинету и говорил, как много общего между нашими вкусами.

— У вас тоже, я слышал, есть недурная коллекция картин. Люблю картинки, но преимущественно образа люблю древнего письма — Строгановского, Поморского, Заонежского. Кресты и складни Поморские обожаю. Книги имею, древние индиклы; и обрел недавно «Путешествие Гогары» в редком списке, отличающемся от Сахаровского списка.

Я сказал, что я тоже счастлив во вчерашней своей охоте на книжном рынке. Нашел у букиниста книжечку духовного содержания, но еще не прочитал ее; составлена самим Николаем Семеновичем; и с рукописным посвящением Победоносцеву.

Лесков закрыл лицо руками.

— Да, приходится преподносить и Победоносцевым! — горестным баском проговорил он — приходится, — ибо, надо заметить, когда все решительно покинули меня, и я остался, как рак на мели, кто протянул мне руку помощи, как не Победоносцев? Он, конечно, не принадлежит к фигурам симпатичным, но у меня есть то, что называется чувством благодарности. Я в Синоде служил, и еще ныне состою, хотя уже и не хожу на службу из-за «Мелочей архиерейской жизни», — с едким смешком прибавил он, — рассердились на меня иерархи, нигде мне спокойствия нет. Ох, грехи мои тяжкие!

У Лескова Бибиков дневал и ночевал. Он знал всю его подноготную, подглядел какие-то его отношения с курсистками и раззвонил по городу. Мы узнали, что у Лескова есть приемная дочка, что известный в то время народник и социалист Фаресов, — его большой друг и поклонник, что он живет под приютом, начальница которого также его приятельница, что у него водятся деньги и что он покупает драгоценные камни и преимущественно архиерейские панагии, т.-е. иконки в роде камей, резанные на изумруде, аметисте, карбункуле и прочих твердых камнях.

Лесков, повернувшись лицом к толстовскому фронту, стал переделывать прологи и обрабатывать их в легендарные рассказы. Несколько таких рассказов он напечатал в «Вестнике Европы» при посредничестве Бибикова. Рассказы эти блещут, конечно, большими достоинствами, каким-то мистическим вдохновением, и отличались сладострастием или, вернее, сластобесием, одним сло-

вом, на моих глазах Лесков добился реабилитации своей, как писатель, и ему дана была полная амнистия либеральными кругами.

Он стал ересиархом, как он сам себя, в шутку, называл, т.-е. сделался учителем нравственности. Курсистки приходили к нему за разрешением своих сердечных сомнений. Он поучал их вере, указывал пути, по которым надо следовать к царствию божию, при чем под царствием разумел хорошую, светлую и честную жизнь на земле, но, впрочем, не без воздаяния за гробом. Наконец, он решил в «сердце своем» вразумить меня и специально с этой целью стал посещать меня на квартире.

Увидевши у меня красивую, молодую женщину, у которой был «византийский лик», Лесков, улыбаясь и откинув назад свою большую голову, отвел меня в другую комнату и молча покачал головой.

— Кто она вам?

— Она моя жена.

— Вот как? Та самая, о которой говорил мне Бибиков, и не жила с вами несколько лет?

— Да, не жила со мною несколько лет. А что, Николай Семенович, в чем дело?

— И ныне вернулась?

— Да, вернулась неделю тому назад.

— И вы с нею сошлись?

— Нет, она поселилась на отдельной от меня квартире с детьми.

— Для чего вы это сделали?

— Я бываю у нее ради детей, а она привезла ко мне сына сегодня.

— Но, значит, она разошлась с тем, с кем, как мне сообщал Бибиков, сходилась?

— Да, она разошлась с тем.

— Пока мне больше ничего не надо знать, — со вздохом сказал Лесков.

По правде, мне захотелось, чтобы он скорее ушел от меня.

— Да, — сказал я, — мне вам нечего больше сказать.

— Но, в качестве вашего старого друга, я бы желал поговорить с вами обоими, — продолжал Лесков, — и просил бы вас пожаловать ко мне с вашей супругой.

— Но зачем же?

— Единственно для счастья вашего и вашей супруги, — окинув меня всего глубоким и ярким взглядом, произнес Лесков и стал прощаться.

Мария Николаевна, между тем, уже оделась и вышла на лестницу.

— Вы, таки, большой ересиарх, — сказал я Лескову, провожая его.

— Я обязан вас соединить, — решительно сказал он, — я знаю по опыту, как тяжело одиночество. Вы можете наказать жену, даже телесно, но принять обязаны. Телесное наказание поможет ей...

— Достаточно, Николай Семенович, — расхохотался я.

— Я серьезно говорю, — продолжал Лесков, стоя у дверей, — в Домострое сокрыто не одно зерно истины. Нам нужно возвратиться к добрым, старым нравам, иначе погибнем.

— Убирайтесь вы к чорту, Николай Семенович! — резко оборвал я нашу беседу.

Он в пол-оборота гневно посмотрел на меня, и мы расстались.

Лесков начал против меня некоторые враждебные действия. В «Петербургской Газете» он напечатал против меня две статейки. В одной он усумнился в подлинности пересказа мною сообщения профессора Павлова, высланного из Петербурга в Киев за статью о тысячелетии России еще в 62-м году. Престарелый профессор, бывая у меня в Киеве, рассказал мне о том, что в сороковых годах Гоголь приезжал в Киев, и профессора университета во всем своем составе являлись к великому писателю, который остановился у некоего Юзефовича, а Гоголь вышел к ним в приемную и, как показалось представлявшимся, с большой важностью поздоровался с ними. На самом деле, вероятно, Гоголь был сконфужен и не знал, что им сказать.

В другой статейке Лесков придрался к слову «перезвон» в каком-то моем рассказе: нельзя говорить перезвон, а надо говорить звон, и тут попутно он составил целое наставление молодым писателям, в том числе и мне, как строго надо обращаться с каждым русским словом, в особенности имеющим церковный смысл, и, когда пишешь о колокольне или о церкви, хотя бы и мимоходом изображая эти здания, то, предварительно, надо изучить историю их построения, и тому подобное.

Я, в свою очередь, отвечал на эти выходки Лескова и в статейке под названием «Зазвонное клепало» развил перед ним целую эрудицию по части разных оттенков колокольного звона, почерпнув эту мудрость из какой-то брошюрки, попавшейся мне на книжном рынке. Теперь забавно вспоминать все эти мелочи, но тогда они характеризовали Лескова. Ко мне прибежал Бибиков от Лескова с предложением, что ересиарх не прочь примириться со мною, и что он сознает отчасти свою неправоту, но, в свою очередь, я тоже должен извиниться, в особенности, за «чорта».

Я написал Николаю Семеновичу, что извиняюсь за чорта, но, что между нами едва ли может установиться какая-нибудь связь в виду этических расхождений. Бибиков смеялся, когда прочитал мое письмо, и рассказал о том, как Лесков перед рождественскими праздниками водил его по магазинам и делал на его глазах разного рода закупки. В тот день, голодный и холодный, он обратился к Лескову с просьбой одолжить ему несколько рублей. Бибиков

был человек легкомысленный, и Николай Семенович решил, во что бы то ни стало, воспользоваться случаем и отучить его от легкомыслия, преподать ему урок доброго поведения. С этой целью он в каждой лавке, отбирая товар, требовал сначала дать попробовать: ветчину, фрукты, икру, сласти, и, пробуя, жуя, он поучал Бибикова:

— Все эти товары необходимы к празднику, как для того, кто покупает, так и для тех, кого он угощает, или намерен угостить. Каждый порядочный человек должен к этому празднику запасти столько денег, чтобы удовлетворить свои потребности в тех размерах, какие ему нужны, принимая в соображение круг его хозяйства, а хозяйство основывается человеком для того, чтобы не нуждаться ни в чем; а чтобы ни в чем не нуждаться — нужно работать; работая же нужно откладывать каждую копейку, запасая на черный день, и не то что на черный день, но и на светлый, на праздничный день. Например, иной молодой человек в ноябре месяце заработал, положим, пятьсот рублей и легкомысленно растратил их на женщин или на что-нибудь другое, более предосудительное; пришел праздник, у него денег ни копейки нет, и тогда он унижается и просит у более благоразумных старших товарищей своих одолжить ему сколько-нибудь, чтобы и он похож был на человека. Но старший товарищ сделает большую глупость, если поощрит его в этом, я бы сказал, грехе. Таким образом, Виктор Иванович, если я вам дам денег, то помните, что вы должны дать мне честное слово, в свою очередь, что этого не повторится никогда, и что в следующие праздники вы будете обеспечены, что примете во внимание, как тяжело потом брать взаймы.

Бибиков, передавая мне все это с точностью, в которой нельзя было сомневаться, благодаря его феноменальной памяти, воспроизводил малейшее движение и даже голос Лескова, а от меня направился к Лескову и там, может-быть, тоже воспроизводил мой голос и мою манеру говорить.

С Лесковым я все же еще раз встретился у Сергея Атавы, с которым, как оказалось, он был в «большой» дружбе.

Атава жил у Строганова моста на даче, на которой когда-то проводил лето Пушкин и создавал книгу о Пугачовском бунте. За чайным столом сидела семья Атавы, на столе стояла бутылка с редким вином, и на председательском месте сидел Николай Семенович. Мы пожали друг другу руки, и тоненьким голоском Атава закричал:

— Ересиарх-то, ересиарх! Знакомы вы с этою стороною почтеннейшего Николая Семеновича?

Я промолчал, а Атава (Терпигорев) продолжал:

— Сейчас прочитал мне целую проповедь, как надо вести себя, как подобает отпрыску старого дворянского рода блюсти порядок во всем и что для этого религия есть необходимый регулятор, а иконостас даже великолепное украшение в столовой, и предложил мне купить у него по недорогой цене архиерейскую куртку из золотой парчи. . .

— Ну, что же ты врешь, Сергей, — заметил Лесков, — парчевых курток-то архиереи не носят даже.

— Сам-то Николай Семенович из архиерейской ризы сшил себе такую куртку и знаете для чего? Чтобы потрясти воображение издателя, когда тот приходит и просит рукопись.

— Да полно тебе болтать!

— Я же правду говорю. Ну, разве нет у тебя такой парчевой куртки?

— Есть, есть, — согласился Лесков, — но куртка эта не архиерейская, а из парчи мною сделана, которую в одной ризнице я приобрел, старинная русская парча редкой красоты.

— Видишь, сознался. А еще разве у тебя нет зуба Бориса и Глеба, тоже феноменальная редкость.

— Нет, — вскричал Николай Семенович, смеясь, — зуба нет, но есть у меня зуб мудрости, которого нет у тебя, Сергей. И этот зуб мудрости говорит мне постоянно вот что: скажи ты своему приятелю, насмешнику Атаве, чтобы он угомонился на старости лет, поменьше пил бы вина и не издевался бы над тем, над чем издеваться грешно. Бог ему дал талант, а он его зарывает в землю.

— Пожалуй, в «Новое Время» действительно зарываю.

— Будь честен и правдив, Атава, и веди себя не так, как ты себя ведешь, что тебя уподоблять начинают, знаешь кому? Ноздрёву.

Атаве это не понравилось.

— Добропорядочному поведению учишь, ересиарх, а ложечку облизываешь и в общую вазочку с вареньем опускаешь, так-что надо переменить. Пожалуйста, Марфуша, выбрось это варенье и подай нам другую вазочку.

Такие сцены, как мне подтверждали, обыкновенно разыгрывались у Сергея Атавы, когда там появлялся Лесков. В конце концов, Лесков перестал бывать на даче у Строгонова моста. Он, впрочем, вскоре и умер, на шестьдесят первом году жизни. Атава поехал его хоронить.

После смерти писателя образ его возникает перед нами всегда несколько приукрашенным или в неточном виде.

Лесков был человек огромного дарования, но причина, почему современники относились к нему, большею частью, недоброжелательно и, сходясь, быстро расходились с ним, лежала в нем самом — в его чванстве, в его потребности непременно всех поучать, а самому быть образцом добродетели, в его подглядывании, в наклонности к слежке, к вмешательству в интимную жизнь каждого, кто соприкасался с ним.

— А если бы твою жизнь всю перетряхнуть, — сказал ему однажды Атава, — да проверить, правда ли о тебе рассказывает

Суворин, как ты щипал гусиным щипом свою жену на даче у Евгении Тур; потом бедная женщина не могла открыть плечей, потому что они были черные!

— Полно, — негодовал Лесков, — мало ли какие обо мне глупости рассказывает Суворин, я бы мог о нем еще больше наговорить.

— Ну, уж все-таки Суворин до этого не доходил, до чего ты доходил. А как ты истязал своего сына Андрея. . . а как. . .

— Не хочу слышать, не хочу, не хочу! — заявлял Лесков, надевал шапку и убегал.

Похоронив же Лескова, Атава устроил ему у себя поминки. Приехал Шубинский — редактор «Исторического Вестника», Пыляев — знаток Петроградской стороны и любитель литературы и драгоценных камней, и меня пригласили.

Как-ни-как, а большой и глубокий след оставил в русской литературе этот гордый, надменный, оклеветанный и одинокий писатель. Есть страницы в его произведениях, которые потрясают и полны тем настроением, какое порождают грозовые вечера. Его «Очарованный странник» нечто из ряда вон выходящее по силе изобразительности. Когда-то в киевский Владимирский собор, где работали художники во главе с Виктором Васнецовым, я принес книжечку с «Очарованным странником», и на два дня прекратились все работы. Жадно схватилась художественная братия за книгу и не могла оторваться от нее. Приехал митрополит Флавиан взглянуть, как идут работы, а ему объяснили, почему они приостановились. Он покачал головой, взял книжечку с собою, и потом Прахов рассказывал, что и он два дня не мог оторваться.

Во многих своих рассказах Лесков был фантастичен и мистичен, но когда хорошенько вглядишься в его картины, то приходишь к заключению, что они в высшей степени реальны, и, только благодаря его искусству, они кажутся сказкой; и самый простой случай, как, например, зарез мясником теленка, приобретает под пером Лескова характер какого-то потустороннего происшествия, отчего становится жутко.

На поминках восхвалялись между прочим, последние произведения Лескова, навеянные религиозным поворотом в творчестве Толстого (уж не помню всех прологов, переделанных им в рассказы), едва ли, однако, они могут быть интересны в наше время, зато такие вещи, как «Запечатленный ангел» или «Очарованный странник» навсегда останутся классическими сочинениями, и Лесков превосходит тут своим талантом не только Мельникова-Печерского, но иногда его смело можно поставить плечом к плечу и с Достоевским.

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ДЕВЯТАЯ.

Н. А. ЛЕЙКИН.

Однажды в конце семидесятых годов я зашел в магазин готового платья в Гостином Дворе. Приказчик стал бросать на прилавок пиджаки, чтобы я выбрал.

— Тут мокро, — сказал я, — вы испачкаете товар.

— Не очень мокро-с, — отвечал приказчик с улыбкой; — сладкий кружочек от стакана чая. Это господин Лейкин изволили пить чай, так мы из уважения к их посещению не стираем. Уже обсохло! — и он провел рукой по кружку.

— Почему же такое уважение к Лейкину? А я, правду сказать, не читал еще этого писателя.

— Как можно; вы извольте прочитать, очень смешно и убедительно пишет, положительно поднял «Петербургскую Газету»; без него — какая это была газета? в руки нельзя было брать, больше взятками промышляли. Бывало, придет сотрудник и норовит продернуть магазин; по лицу уже видишь, что замышляет; и дашь трешницу — отступись только. А как господин Лейкин вступили в газету, об этом что-то больше не слыхать стало. Сотрудники не нуждаются, есть чем платить. Лейкин больше апраксинцев изображают; все очень верно подмечают и, прямо сказать, цивилизации служат. Прогрессивный писатель, на каламбурном амплуа собаку съели, первоклассный сатирик, смело можно аттестовать.

— Помилуйте, в роде Щедрина?

— Не слыхали-с; с нас господина Лейкина достаточно. Каждый день читаем только господина Лейкина.

Я все-таки долго не принимался за Лейкина. В старых «Отечественных Записках» была напечатана его повесть из купеческого быта, я потом вспомнил, под названием «Христова невеста». Автором был описан купеческий предсвадебный пир, мальчишник и девишник в банях. От описания этого веяло какой-то древней, почти языческой, обрядностью, какими-то российскими сатурналиями.

Может-быть, из Лейкина выработался бы более серьезный писатель с бытовыми красками; но писать для журналов было невыгодно, и, Лейкин, обладавший коммерческим умом, предпочел ежедневный газетный фельетон в такой газете, которая могла быть распространена при его содействии в среде, из которой он сам происходил.

Он был мещанин. Семья его была мелкобуржуазная, все его интересы высоко не поднимались; хотелось ему иметь свой домик, своих собачек, послеобеденный отдых, свой квас после трехчасового предвечернего сна и свою, боготворящую его, публику. Всего этого он достиг.

Фельетоны его в «Петербургской Газете», в которую я, наконец, стал заглядывать, проникнуты были, действительно, иногда смехонадрывательным комизмом. Такие выражения, как «мое почтение с кисточкой», «вот тебе и фунт изюма» и тому подобные были введены им в употребление, и, если он выдвигал мошенника, то называл его «профессором». — «Что-нибудь созорничать — на это он первый профессор». Иные называли его юмористом, но юмора у него не было. Чтобы быть юмористом, надо быть глубоким человеком. Комизм и юмор — огромная разница. В сатире — страдание за человека и гнев и негодование на него и на обстоятельства, доведшие его до безобразия, до черного порока, до потери образа человеческого, до бездарной пошлости. А Лейкин старался только насмешить, и от этого безобидно было для гостинодворцев и апраксинцев его «каламбурное амплуа».

С Лейкиным я познакомился следующим образом: в юмористическом журнале «Осколки», который стал издавать Лейкин, не прерывая своего сотрудничества в «Петербургской Газете», участвовал Чехов под псевдонимом Чехонте, как и в других юмористических изданьицах. Когда Чехов прославился и загремел, в «Петербургской Газете» появилась карикатура: какая-то декадентская прожорливая птица схватила лапами меня и Чехова и куда-то тащит. Было это намеком на наши повести, появившиеся одновременно и показавшиеся карикатуристу изменою классическому стилю.

Тогда же в «Осколках» во всю страницу был изображен я с подлинным моим лицом, но с туловищем карлика. Я стою в редакции перед редактором, похожим на Лейкина, и предлагаю ему кипу рукописей. Под цветным рисунком этим было подписано: «Числом поболее, ценою подешевле».

Обе эти карикатуры были безобидны, но Виктор Бибиков рассердился и обиделся и, встретив на пароходе Лейкина, схватил его за плечи в припадке бешенства, вдруг охватившего его, и, по его словам, хотел выбросить несчастного комического новеллиста за борт, да Лейкин оказался грузным. При этом Бибиков кричал: «Как ты смеешь, свинья, оскорблять великих писателей!».

Скандал был большой. Публика отняла Лейкина, который, как и Бибиков, впал тут же в истерику.

Об этом происшествии сам же раззвонил по городу Бибиков, полагая, что он совершил подвиг, подсказанный ему чувством дружбы. Я обеспокоился, опасаясь, что Лейкин, да и другие, могли увидеть в этом мою руку, так как Бибикова можно было подбить на что угодно, в виду некоторой безумной складки его характера, и отправился к Лейкину принести извинение за дурака, выкинувшего такую бестактную и нелепую штуку.

Лейкин немедленно принял мои извинения, сказал, что он уже давно успокоился и не сомневался в том, что тут не было ни малейшей моей инициативы и, провожая меня в переднюю, потребовал, чтобы я непременно дал ему какой-нибудь рассказ.

Я обещал и теперь не помню, дал ли я какие-нибудь строки в «Осколки». Если же дал, то, вероятно, под псевдонимом, стишки «злодейские».

Через некоторое время я услышал однажды, что в другой комнате моей квартиры кто-то шагает полуторным шагом: Лейкин был хром на одну ногу. Он явился с визитом и с приглашением к нему на обед. При этом он выложил мне на стол большую стопку книг в разнообразных обложках.

— Я привез вам мои сочинения с просьбой непременно прочитать. Я, что ни говорите, маленький Щедрин.

Я ему рассказал, где я в первый раз услыхал о нем и где о существовании Щедрина и не подозревают.

— Ну, вот, видите, — с убеждением сказал Лейкин, — надо меня прочитать. Чехов на мне научился писать свои рассказы. Если бы не было Лейкина, не было бы Чехова.

Он сидел и как-то жевал губами, как бы предаваясь мечте. На нем было пальто, а из-под пальто виднелись штаны с красными лампасами.

— Какой это на вас костюм, Николай Александрович, — удивился я; — генеральские штаны?

— Как вам сказать, в роде генеральских. Ношу по обязанности службы. Я церковный староста в церкви Казачьего полка, — так это казацкая форма. У меня и медаль на шее на ленте есть. Нельзя без общественных отношений существовать, скучно было бы.

— Так что вы в церкви каждый праздник бываете?

— Ни одной службы не пропускаю, — с мрачной радостью объявил Лейкин. — Мы — юмористы народ серьезный. Не забудьте приехать ко мне, мы ожидать будем. Жена заведение содержит и девочек хорошеньких увидите.

— Как девочек, Николай Александрович?

— Да, так приятнее обедать, когда девочки хорошенькие служат. Крепостных теперь нет, да если бы и было крепостное право, с моим мещанским званием, не пользовался бы. Когда бы еще я дворянства добился, а тут белошвейное заведение, во всех отношениях большая выгода. Жена помогает мужу, так что женское равноправие соблюдено. У нас традиция шестидесятых годов.

При встрече с Чеховым я рассказал ему, какое комическое впечатление произвело на меня знакомство с Лейкиным. Чехов сказал:

— А что вы думаете, я, действительно, ему кое-чем обязан. Я никак не могу отделаться иногда от его влияния, а «каламбурное амплуа», которое вы подцепили в Гостином Дворе — прелесть что такое. У каждого из нас есть какое-нибудь «амплуа». Вот

и в моем покинутом псевдониме Чехонте, хотя он придуман был независимо от Лейкина, есть какой-то апраксинский запах, неправда ли?

С тех пор Лейкин состоял со мною, что называется, в дружеских отношениях. Я не был у него на обеде, на который он меня приглашал, но в день своего тезоименитства, как он выражался, он сам всегда приезжал за мною и вез к себе.

— У меня, ведь, вы покушаете, как нигде, — уговаривал он меня; — как только войдете в мой кабинет (теперь мой кабинет вновь отделан) — в мой дом, сразу увидите, что я человек шестидесятых годов.

В самом деле, вся стена его кабинета была завешана портретами Слепцова, Суворина, Добролюбова, Чернышевского, Буренина, Тургенева, Успенского и проч.

— Завтра повешу ваш, — сказал он; — потому что получил, наконец, с автографом. Одного только Достоевского нет. Обратился я как-то к нему: дайте, Федор Михайлович, вашу карточку, а он как зыкнет на меня: «А для какой надобности вам моя карточка; что я вам и что вы мне?». Тут я сразу увидел, что ненормальный субъект и решил обойтись без него. Пожалуйте в гостиную, там уже кое-кто собрамши; а в кабинет я не всякого пускаю; конюшня, да не для всякого жеребца.

В гостиной я встретил, можно сказать, всех персонажей его комических рассказов. Над диваном висел портрет его и жены. Оба они держали руки так, чтобы видны были перстни, которые художник изобразил добросовестно. Помнится, были и архиерейские портреты.

Персонажи были гостинодворские, как оказалось, родственники его и жены его, солидные купцы и приказчики с подхалимовским выражением лица. Одни важничали, другие старались быть «прогрессивными» и шаркали ножкой, когда знакомились, сладко засматривая в глаза. Дамы были солидные, с открытыми плечами. Жена Лейкина была тоже полная представительная дама в больших серьгах.

Конечно, была «собрамши» не подлинная аристократия Гостиного Двора, а промежуточный слой, с которым водил хлеб-соль Лейкин. Но появились, вскоре, один за другим и литераторы: Владимир Тихонов, Щеглов-Леонтьев, Назарьева, Дубровина, блеснул Чехов.

Подошел ко мне Лейкин и угрюмо прошептал:

— Подоспело порядочно народу, а то я боялся, что рыбу некому будет есть. Не всякому подашь такое блюдо двухаршинное; не в коня был бы корм, если бы не ваша братия. Вот, жаль, Федоров не пришел.

Федоров был официальным редактором «Нового Времени», известный когда-то водевилист. Он был большим едоком и также сложен как Лейкин, и также хромал, только на другую ногу. Его

прозвали комодом без одной ножки. Но, к величайшей радости Лейкина, явился, когда уже стали садиться за стол, и Федоров.

Двухаршинную стерлядь Лейкин сам разносил гостям и без милосердия накладывал кусок за куском на тарелку.

— Кушайте и помните, — говорил он, — где же так и покушать, как не у меня! Будете роман писать, опишите мой обед. Нарочно повара приглашал и целый день с ним советовался.

Девочки в белых пелеринках мелькали по столовой, убирая и переменяя тарелки, разливая вина, подавая кушанья.

— А, не правда ли, есть хорошенькие? — угрюмо спрашивал Лейкин. — Из них толк выйдет, жена в строгости содержит. Ни в одной белошвейной не найдешь таких хорошеньких, — продолжал рекомендовать он.

Девочки, действительно, были розовые, раскормленные и опрятно одетые.

— Мы не угнетаем, — сидя около меня говорил Лейкин; — эксплуатации не полагается у меня ни-ни. Кончают ученье и уходить не хотят. Весь нижний этаж скоро займет мастерская.

После обеда были устроены танцы. Какой-то гостинодворский кавалер дирижировал и кричал: «Плясодам! Кавалеры проходите сквозь дам»! и еще что-то из «каламбурного амплуа».

Заметив, что я улыбаюсь, разговаривая с Чеховым, Лейкин подошел, прихрамывая, и сказал:

— Мои натурщики. Что ни говорите, а я настоящий натуралист. Я ничего не выдумываю. Природа богаче писателя. Щедрою рукой сыплет она и не такие еще выражения; только подслушивай, да записывай.

Как-то я сидел одиноко у себя под новый год. Приезжает ко мне Минский с женою, Юлиею Безродною, оба принаряжены. Минский и говорит:

— Мы приехали за тобою к Лейкину встречать новый год. Он непременно требует, чтобы и ты приехал, а отдельно заехать к тебе у него не было времени. Поедем, веселее будет вместе.

Приехали мы на Большую Дворянскую. Дом Лейкина был ярко освещен. Гости только-что уселись за стол. Угрюмое лицо Лейкина даже расплылось в подобие улыбки.

— Ну, вот, наконец-то! У меня под ложечкой даже засосало, нет и нет вас. Чехов тоже не приехал, Баранцевич изменил. Не угодно ли взглянуть, места ваши никем не заняты.

От этого новогоднего ужина у меня осталось несколько комических штрихов.

Юлия Безродная чересчур насмешливо посматривала и знакомилась с обществом Лейкина. Ее смешили наряды дам, их вульгарные лица и развязность. Они хлопали рюмку за рюмкой вино и даже водку, как мужчины.

Сидевшая со мною рядом купчиха взяла на себя заботу угощать меня.

— Что вы так мало кушаете? — говорила она мне; — наверное вы наелись раньше. Как посмотришь на вас, сразу думаешь: ну, обжора, не откажется от хорошего кусочка; а, между тем, вы, как барышня. Вот, позвольте предложить вам, вот еще; вот это. Скажите, что вы обожаете, — гуся или утку? Нет, не желаете, к рябчику склонность почувствовали? Позвольте и рябчика вам положить. А, что, как вы думаете, хватит рябчиков на всю публику? — вдруг заинтересовалась она; — сколько нас за столом? Вы говорите восемнадцать человек? Ах, какой вы профессор умножения!

Мало-по-малу, Лейкин становился популярнее, богаче. Жена его, кажется, даже упразднила белошвейную, найдя для себя неприличным больше содержать ее. От генеральских штанов он не отказывался. Встретивши меня на Невском, Лейкин остановил извозчика, перешел на панель и рассказал мне, что едет к великому князю Алексею Александровичу и уже получил от него бриллиантовый перстень.

— Бриллианты дешевые, желтые, но дороги не бриллианты, а внимание. Он пригласил меня и сейчас еду к нему читать по утрам мои рассказы. Он находит, что я недурной рассказчик. Я, действительно, со сцены могу рассказывать, не только в кабинете у такой особы. Мне вот хотелось бы через него к царю проникнуть. Он наше русское направление любит, а я, хоть и маленький Щедрин, но русский с ног до головы. Да, жаль, сейчас, — сообщил он, понизив голос до шепота, — говорят, запил. Ведь, вот, что значит русская-то душа в нем сидит — требует!

Больше с Лейкиным я не видался.

ГЛАВА СОРОКОВАЯ.

Я. П. ПОЛОНСКИЙ.

Еще живя в Чернигове, я вошел в сношения, как начинающий поэт, с Полонским, который был тогда редактором только-что возникшего журнала «Пчела». Мое стихотворение было принято и напечатано, что было, конечно, молодому стихотворцу лестно, и именно потому, что принял Полонский.

Муза Полонского была мне знакома, разумеется, с детства, так как его стихотворениями изобиловали школьные хрестоматии. В особенности, популярна была его детская поэмка «Солнце и месяц», а в доме у нас распевали, да и везде, деревенские барышни, за четырехногим фортепьяно, романс его — «Под окном в тени мелькает русая головка». Помню, большая поэма Полонского «Собаки» была напечатана в «Отечественных Записках», и критика порядочно издевалась над его длинными бытовыми поэмами, а он защищался против нападок критиков, выставляя всю прогрессивность своей лиры и указывая на полное тождество проводимых

им идей с идеями Писарева. Считал он себя подлинным сыном сороковых годов, примкнувшим к движению шестидесятовцев.

Приехавши в конце семидесятых годов в Петербург, я узнал, что поэт Полонский служит в цензуре, правда в иностранной, что считалось не столь позорным, и что он уже в больших чинах, уже — генерал. На одном литературном вечере я увидал его высокую фигуру, опирающуюся на костыль. Мне до сих пор неизвестно, почему хромал Полонский; знаю только, что он был долгое время в Тифлисе и прекрасно описал его. Когда потом, уже в двадцатом веке, мне пришлось быть в этом городе во время войны, я поражен был необыкновенно точным рисунком и живописью, с какой Полонский изобразил столицу Грузии. И то сказать, что она не особенно, должно-быть, изменилась с сороковых годов, с тех пор, как там служил Полонский.

Первый раз я познакомился с ним на квартире у Минского. Приехав из Киева, я остановился у Минского, и часов в одиннадцать утра к нему приехал с визитом Яков Петрович. В общем разговоре я напомнил ему о том, что я был, так сказать, поэтическим крестником его, и он сейчас же вспомнил мое стихотворение и пожалел, что ему скоро пришлось выйти из «Пчелы», как редактору, иначе он придал бы этому журналу совсем другой характер. Он очень удивился, когда я сказал ему, что в провинции в большом ходу некоторые его романсы.

— А я, представьте себе, даже и не знал, что положен на музыку! Надо будет добыть, пойду по магазинам и спрошу.

Тут он пригласил меня заходить к нему и сказал, что у него приемы по вечерам и что пятницы Полонского уже известны в литературном мире.

В течение многих лет потом я бывал у Якова Петровича на углу Бассейной и Знаменской. Квартира его помещалась в пятом этаже, и он ежедневно, отправляясь на службу в Цензурный Комитет, имел мужество взбираться по крутым маршам вверх, опираясь, как Байрон, на костыль.

По пятницам у него собиралось много народу, всё больше литераторы и музыканты; часто бывал Рубинштейн. Концерты Полонского были всегда изысканны, с самыми последними музыкальными новостями можно было познакомиться прежде всего у него. Певцы, пианисты и пианистки исполняли лучшие отрывки из Вагнера, Сен-Санса и Грига, тогда только-что пробивавших себе дорогу в русском обществе, при чем Вагнер трактовался иными критиками как варвар.

За большим столом пили чай, а в промежутках между музыкальными номерами беседовали о литературных явлениях дня. Постоянными посетителями вечеров Полонского были, между прочим, Леонид Майков, историк литературы; Страхов, глубокий мыслитель в области, которая была уже чужда новому поколению,

почти метафизик; художник и романист Каразин; Соловьев, Михаил Петрович, впоследствии ставший грозным начальником печати, а до девятидесятых годов сотрудничавший в «Вестнике Европы», как эстет и художественный историк, знаток византийских древностей и интересный миниатюрист-иллюминист. Он показывал образчики своих произведений. Великолепно расписанное им евангелие он хотел преподнести царице и, должно-быть, преподнес.

Этот Соловьев, однажды, заговорив о византийских золотых эмалях, вовлек меня в беседу об этом предмете, о котором я имел тогда некоторое представление, благодаря коллекции, которую собирал французский артист Михайловского театра Мишель. Да, кстати, я знал и кое-какую литературу по этому предмету. Повидимому, Соловьев возымел обо мне преувеличенное представление, как о знатоке византийского искусства. Бывало увидит меня и сейчас же начинает толковать об эмалях, так что я стал избегать его.

Появлялись на пятницах Полонского Аполлон Майков, поэт Козлов, Плещеев, Арсений Голенищев-Кутузов. Из женщин писательниц заглядывали Панаева-Головачева, автор «Трех стран света» и сотрудница Некрасова. Вторая жена Полонского, Жозефина Антоновна, занималась скульптурой, и ей принадлежал памятник Пушкину, поставленный в Одессе, не могу сказать, чтобы хороший, впоследствии, кажется, разрушенный.

Сам Полонский, пока шумели, пели, играли и спорили гости в большом зале, просиживал в кабинете, где стоял полусумрак, курил крепкие сигары, пил чай и кому-нибудь из любителей поэзии читал свои, еще не вышедшие в свет, стихотворения, загробным певучим голосом в той манере, которая теперь, в последнее время, вошла опять в моду. По словам Полонского, Пушкин также читал свои стихотворения нараспев.

Когда взошла звезда Чехова, Полонский увлекся им, стал посвящать ему свои произведения, но Чехова, хотя он и бывал у него, я никогда не встречал на пятницах Полонского. Большим почитателем пятниц Полонского был поэт Случевский, редактор «Правительственного Вестника» и занимавший еще какую-то большую должность в Конюшенном ведомстве. У него из-под обшлага сюртука всегда выглядывали крупные звезды. Хотя к нему молодежь уже относилась как к истинному поэту, и, помню, в журнале «Весы» Валерия Брюсова его особенно выделили на фоне старых поэтов, как предшественника декадентской лирики, но, все-таки, я никак не мог забыть его стихотворений, напечатанных им когда-то в «Русском Вестнике» в начале шестидесятых годов. Там в стихах он позволял себе такие сокращения, как «на стрже» вместо «на страже» («ходят журавли на стрже»).

Случевский был доктор философии, гейдельбергский студент; он старался быть с молодыми литераторами, посещавшими Полон-

ского, как можно любезнее и проще, предлагал тосты за их здоровье и называл их товарищами.

Разумеется, Виктор Бибиков, милый вездесущий юноша, не преминул поразить Полонского знанием наизусть всех его стихотворений. Думается, он не пропускал ни одной пятницы, раньше всех приходил и позднее уходил.

Однажды, Полонский, уже уставший, простившись со всеми гостями, сидел у топившегося камина и слегка дремал. Бибиков пришел последним пожать ему руку. Полонский взял его руку и зажал в своей, да и заснул. Бибиков из благоговения к поэту не решился выдернуть свою руку. Так он простоял около получаса. Вошла Жозефина Антоновна укладывать мужа в постель, увидела, что он держит за руку Бибикова, и вскричала:

— Боже мой, да он вас забыл в руке!

Вообще забывчивостью и рассеянностью Полонский славился. Ему ничего не стоило за чайным столом в вазочку с вареньем погрузить окурок сигары.

У Майкова за ужином, Полонский, которому что-то не понравилось, встал с своего места и начал благодарить гостей за честь, которую ему оказали, посетивши его.

— Но, только извините, пожалуйста, за плохой ужин, — вообразив, что Майков у него в гостях, а не он у Майкова, заключил Полонский: — в особенности извиняюсь перед Аполлоном Николаевичем, что ничем мы не могли угодить ему. Он так ни до чего и не дотронулся. В другой раз ужин будет гораздо лучше, я сам присмотрю.

Кстати, еще анекдот о Полонском. Когда был его юбилей, царь пожелал видеть его. В назначенный день напялил он генеральский мундир и отправился представляться. Был он не один, с несколькими такими же счастливцами. Их выстроил церемониймейстер, и вошел царь, прямо направившись к Полонскому, обращавшему на себя внимание высоким ростом и костылем.

— Позвольте узнать вашу фамилию? — спросил царь.

Полонский растерялся и забыл свою фамилию. Он беспомощно пожал плечами и сказал:

— Вы извините, ваше величество, никак не могу припомнить, — и указал на свой лоб — вертится, вертится, а вот хоть убейте! — и потом, обратившись к церемониймейстеру: — доложите, пожалуйста, его величеству, как меня зовут.

— Это известный поэт, ваше величество: Яков Петрович Полонский! — доложил церемониймейстер.

Царь «милостиво» улыбнулся.

— Очень приятно, я с детства знаю вас. Не окажете ли честь мне и моему семейству позавтракать с нами?

С придворной точки зрения это была неслыханная милость. Полонский, однако, ответил:

— Нет, покорно благодарю, ваше величество, я только-что позавтракал, а дважды обременять желудок не имею привычки.

— Ну, как вам угодно, — отвечал царь.

— Экая ты телятина! — сказал ему Аполлон Майков, когда узнал об этом ответе царю.

— Что делать, вообще я глуп, — признался Полонский.

Глупость он считал для поэта вообще достоинством.

Я как-то был у Полонского, когда к нему в кабинет вошел, отдуваясь, полный и очень пожилой человек с красным носом, повидимому, страдавший сильнейшим насморком.

— Фет! — вскричал Полонский, — здравствуй, красавец, а я только-что перечитывал твои стихи! До чего ты очарователен, неподражаем и глуп, — и он бросился обнимать старого друга.

В 1887 году Полонский приехал в Киев и провел у меня целый день, с утра до позднего вечера. Это было летом, стояла чудесная погода. Благоуханный воздух, тополевые бульвары, южное солнце ободрили старика, подняли его нервы, он как-то вдруг помолодел, и костыль не помешал ему исходить со мною пешком чуть ли не весь город. У Софийского собора встретили мы синеглазую девочку лет четырнадцати.

— Смотри, какая прелесть! — вскричал он и тут же сказал экспромт в честь ее красоты.

Я понадеялся на память и не записал тогда восьмистишие, которым разрешился поэт.

Пешком взобрались мы и на Андреевскую гору, уже когда заходило солнце. С Андреевской горы вообще дивный вид на Днепр и заднепровские дали. Внизу расстилался Подол, тоже живописная часть города с зеленеющей Приоркой, где когда-то жили художники и мастера, выписанные Ярославом Мудрым из Византии.

— Как все ново, когда смотришь на природу с таких пунктов, каких еще не наблюдал. Такое впечатление, как помните, когда в первый раз, в детстве, вдруг слетит завеса с пейзажа, перед тем незаметного для вас. Да вот вам способ, кстати, как аспиранту живописи увидеть под новым углом зрения хотя бы солнечный закат. Встаньте к нему спиною, — и Полонский встал спиною, — теперь нагните голову до самой земли, вот так.

Он нагнулся и шапка слетела с его плешивой головы.

— И смотрите между ног на облака и на все!

Я последовал его примеру.

— Не правда ли, волшебство?

— В самом деле, что-то прекрасное, — отвечал я.

Так мы простояли около полуминуты на Андреевской горе. Никто нас не увидел, а то осмеяли бы.

Когда Полонского хоронили, собрались в церковь все его пятничные друзья, но еще больше было генералитета, и среди провожавших его прах появился великий князь Константин Константинович в звездах и в голубой ленте, а Случевский, возвращаясь с похорон, предложил всем поэтам, бывавшим у Полонского, перенести пятницы к нему и продолжать их в честь покойного.

Пятницы Случевского уже не носили, однако, такого торжественно-литературного характера, какой был присущ пятницам на углу Знаменской и Бассейной. Не было обаяния старины, не было того литературного воздуха.

От Полонского не пахло генералом; чиновником он был, можно выразиться, по недоразумению. Трудно было прожить стихами и пришлось так или иначе служить; но поэтическая физиономия Полонского совершенно заслоняла собою его мундир, да и тот был съеден молью, и надевал он его дважды: первый раз, когда явился к царю, и второй, когда отправился на тот свет. Случевский же, преимущественно, был чиновником, хотя он и томился жаждой поэтических лавров.

На вечерах у Случевского первую скрипку играл, обыкновенно, Фофанов, впрочем, бывал и читал свои стихи Брюсов, и появлялись Бальмонт и Сологуб. Музыкальная часть была упразднена. Много было начинающих поэтесс с прелестными лицами и слабыми стихами. Высоченный сын Случевского, печатавший свои статьи под псевдонимом лейтенанта С., иногда оживлял общество рассказами об Японии.

Когда Случевскому участники его пятниц сделали ужин по истечении года в ресторане «Малый Ярославец», Фофанов, которому предложено было прочесть стихи Случевского, встал, порвал приготовленное заранее произведение и произнес ругательное слово.

— Ну, какой же это поэт, — заголосил он, — кого мы чествуем, хотел бы я знать? Тайного советника, уродовавшего художественное слово всю свою жизнь!

Фофанова стали останавливать со всех сторон, но Случевский засмеялся и попросил не мешать. Он подошел к Фофанову и предложил выпить на «ты».

— На «ты» я могу с тобой выпить, — сказал Фофанов, — я уже тебя обругал как следует, но, все же, товарищем тебя я не могу признать. Ты не поэт, а сапожник.

Вечера Случевского еще не закончились, они давались еще и в следующие годы, но постепенно падали, все меньше и меньше посещались и, наконец, угасли.

Молодые поэты «вечеров Случевского» стали издавать под редакцией Лихачева журнальчик «Словцо», также не имевший успеха, и только о сборнике «Денница», изданном этим кружком, можно упомянуть с некоторым одобрением.

Кстати отмечу, что один фельетонист, бывавший на вечерах Случевского, метко назвал этот кружок «клубом взаимного восхищения».

Поэтические вечера в память Полонского были легализированы и возобновились в скором времени, не имея, однако, постоянного

пристаница. Поочередно они кочевали из дома в дом, собираясь то у Авенариуса, то у меня на Черной Речке, то у поэтессы Кильштет, то у Соколова. Членами этого кружка были, между прочим, Гумилев, Ахматова, Сологуб, Бальмонт, Городецкий, Фидлер, Быков, Случевская, Хвостов, Блок, Каменский, Аничкова, Соловьева-Аллегро, Вишневский-Черниговец и многие другие. Чтобы вступить в кружок, надо было уже иметь свою книгу стихотворений или же пользоваться общим признанием. Почти все поэты, жившие в Петербурге, входили в наш кружок. Я был избран председателем.

Справедливость требует сказать, что хотя мы обязаны были строго относиться к плодам нашей музы, но и этот кружок можно было бы назвать также «клубом взаимного восхищения». Был это последний кружок поэтов, дотянувших свое бытие до революционного перелома. Его можно помянуть во всяком случае добрым словом. На его собраниях было весело, все чувствовали себя непринужденно, по-товарищески, и, может-быть, на некоторых из начинающих поэтов он все же оказал благотворное влияние.

ГЛАВА СОРОК ПЕРВАЯ.

1885 — 1886.

В конце мая я вернулся в Киев, чтобы провести лето и осень дома в обществе Марии Николаевны. Литературный воздух, которым я должен был дышать, сгущался в Петербурге только в зимние месяцы; начиная с ноября и кончая мартом, в Петербурге было литературно, а в остальное время он пустовал. Конечно, в остальное время печатались газеты и издавались журналы, но преимущественно по инерции, за отсутствием литературных работников при помощи их заместителей и доверенных лиц. На летние вакации, обыкновенно, запасались опытные издатели необходимым материалом в зимний сезон, когда шумела настоящая литературная ярмарка. Кстати зимою оживлялась подписка на периодические издания, и провинция усердно слала деньги на литературу.

Часть лета мы с Марией Николаевной провели на даче. В сентябре у нас родился сын Максим. Стояли веселые, теплые дни, когда в гости к нам приехал Гаршин. Он был один, без жены. Еще веселее стало от него, такой он был жизнерадостный, милый и остроумный. Приехал Минский. Мария Николаевна еще лежала в постели после родов. Гаршин и Минский захотели представиться ей, она приняла их, и я помню, как, целуя ей руку, Гаршин сказал.

— А ведь, действительно, Рафаэль обессмертил вас!

В тот день мы вместе обедали и снялись втроем: Минский, я и Гаршин.

За обедом Гаршин потешал нас юмористическими стихотворениями Буренина, которые знал наизусть.

Приехал с женою художник Рашевский, старый мой товарищ по университету и по земству, пришел Демчинский, пытавшийся сделаться адвокатом и державший экзамен на кандидата юридических наук, но, за отсутствием голоса, не могший говорить и потому предпочевший со временем сделаться метеорологом и сельским хозяином. Еще подошло два профессора — Мищенко, переводчик Фукидида, и Козлов, философ, автор «Генезиса пространства».

Этот Козлов с шестидесятых годов сохранил незыблемую веру в греховность церковного брака и, несмотря на сравнительно преклонный возраст, ухаживал за курсистками, появляясь всегда в сопровождении двух, трех молодых девушек. В тот день приехал поздравить Марию Николаевну доктор Сабанеев, тоже один из моих университетских товарищей, отличавшийся искусством изображать в одном лице комические сцены из многих персонажей. В этом жанре он был неподражаем.

К тому времени вышло несколько моих книжек. О моей «Сиреневой поэме» Андреевский из Петербурга писал мне: «Максимушка! сколько поэзии!».

А я и в самом деле стал усиленно писать стихи...

В Киеве поселился Прахов, и около него закружился рой художников. Насмешливый Якубович, переводчик флоберовских «Искушений святого Антония», сожженных цензурою, говорил, что Прахов видит в России только колокольни, перелетает, как коршун, с одной на другую и золотит себе лапы об их кресты, почему и сделался профессором истории искусств. Профессором Прахов только числился, а на самом деле был подрядчиком-реставратором храмов. В данном случае ему была отпущена большая сумма на восстановление Владимирского собора, начатого в шестидесятых годах в византийском стиле и заброшенного.

Прахов выписал из Рима братьев Сведомских, Корбинского; из Петербурга — Селезнева, из Москвы — Васнецова. Исключительное право на работу в соборе мог бы иметь великолепный Врубель, в Киеве написавший для Кирилловского собора стильные местные образа под контролем Прахова же. Он глубоко проникнут был настроениями итальянско-византийского примитива. Кстати, Врубель и жил в Киеве, в меблированной комнате, в страшной бедности. Но Прахов охладел к нему. Богоматери Врубель придал черты характерного лица Эмилии Львовны — жены Прахова. Врубель был влюблен в нее, и это тяготило Эмилию Львовну; юного художника считали у Праховых талантливым и даже «страшно талантливым», но ненормальным.

— Влюбляйся, кто тебе не велит, но с тактом, не афишируй, не похищай чулков у недоступной богини твоей и не носи их

в виде галстуков, да еще меткой наружу! — говорил Прахов, смеясь над странностями Врубеля.

— Разве любовь мешает художественным настроениям? — возражали Прахову.

— Ему положительно мешает сделаться настоящим художником, — огрызался Прахов.

Эмилия Львовна приходилась неофициальною дочерью военному министру Милютину. Отсюда, может-быть, и карьера Прахова. Она была очень нехороша собой, рано поседела, курносая, толстогубая, с большими синими глазами; казалось, что она в голубых очках. И, однако, она была привлекательно-откровенная и добрая душа, прямая, литературно-образованная, светская женщина, с тою непринужденностью в обращении, которая, обыкновенно, удивляет мещан, предполагающих, что хорошие манеры заключаются в ломании.

В ее салоне я встретил как-то епископа Иеронима (Экземплярского). Она представила нас друг другу.

— Иероним-просто, а вот Иероним помноженный на Иеронима (Иероним Иеронимович).

Конечно, Васнецов был на месте в византийском соборе: яркое дарование, убежденный православный мистик и даже чуть не изувер; но нельзя скрыть, что и поэтическая мистика Врубеля оказала влияние на Васнецова через посредство Прахова, у которого было множество эскизов и рисунков отвергнутого им художника.

Врубеля привел ко мне Якубович, и он же ввел меня к Праховым. Врубель, пожалуй, мог показаться ненормальным, когда начинал говорить об Эмилии Львовне. Он как-то глупел от любви; а вообще же он был умным и интересным собеседником. С глазу на глаз он становился словоохотлив и развертывал большие знания в области истории искусств; он мог говорить и о поэзии и верно судить, но живопись была любимой темой. Характерной чертой его было отсутствие злоречия; он решительно ни о ком дурно не отзывался. Когда заходила речь об его явных недоброжелателях, он умолкал, начинал чувствовать себя неловко и старался перевести разговор на другой предмет.

В живописи ему хотелось добиться невероятных световых эффектов, и он толковал о разделении красок с авторитетом физика. Химию красок и, как он выражался, «физиологию спектра», он изучал усидчиво и прилежно. Книгу профессора Петрушевского о красках он раскритиковал и готов был, если бы представилась возможность, засесть за ее переработку.

— Тут нужна, — говорил он, — не только призма, преломляющая белый свет, но и призма, преломляющая лучи нашего художественного вдохновения!

— Это уж что-то из четвертого измерения, — с улыбкою заметил присутствовавший при одной такой беседе Иван Федорович Сабанеев.

— Пожалуй, — серьезно согласился Врубель. — Вдохновение может быть разложено только разве в призме высших измерений. Тут Эвклид не годится.

За меня Врубель цеплялся каждый раз, когда я шел к Праховым. Эмилия Львовна принимала его холодно, он садился где-нибудь в уголку и все время убийственно молчал, раздражая своим присутствием и своим стальным взглядом серых глаз Эмилию Львовну.

Несколько раз заговаривал я о заказах для Врубеля. Прахов только фыркал носом. Васнецов удивлял меня; ни словом не обмолвился он в защиту Врубеля, который об руку с ним делал бы чудеса, потому что Врубель, он и еще Нестеров были единственные и уже последние религиозные живописцы в мире. Но Васнецов предпочитал терпеть соседство Сведомского и других материалистов, которые портили обедню в соборе своими светскими картинами.

Нуждаясь в гроше, Врубель, маленький, худенький, почти всегда голодный, принужден был продавать свои акварели и масляные этюды ростовщику Дахновичу, все же обладавшему вкусом. Дахнович заказывал Врубелю картины, которые потом за огромные деньги были перепроданы коллекционеру Ханенку. Так, для «Девочки в коврах» позировала дочка Дахновича. Получил за нее Врубель в разное время от Дахновича сто рублей. Картину «Муза» написал он для меня и назначил за нее пятнадцать рублей. Я отдал за нее ему деньги, но не имел духу взять картину, когда получил от него извещение, что моя «Муза» готова, зато она и очутилась у Дахновича через некоторое время.

Как-то Врубель перебрался на Софийскую улицу в большую светлую пустынную комнату. Он пригласил меня, Сабанеева и Горленко утром к себе взглянуть на огромное полотно: «Поленицу», подмалеванную им. Мы пришли и диву дались. Берлинскою лазурью был бойко, магистрально, как выражаются французы, подмазан конь-першерон, а на нем верхом, по-мужски, вся голая, с оплывшим телом, сидит Эмилия Львовна, безумно похожая.

— Мне хотелось светом ее синих глаз окрасить всю картину, — сказал Врубель в ответ на наше молчание.

Кого только нельзя было видеть у Праховых: и нигилисты в блузах и рваных брюках, и генералы в мундирах, и бритые, с сладкими улыбками, ксендзы и актеры, и архиереи, старающиеся забыть свой сан, и губернаторы, и заезжие из столиц сенаторы, литераторы, фокусники, светские дамы, прикрывающие изысканными манерами свое умственное убожество, и балканские братушки, и абиссинские принцессы, и африканские принцы с голенищами вместо лиц. Вся эта смесь племен не стесняла друг друга —

и всех обязательно знакомила между собой Эмилия Львовна — и все чувствовали себя непринужденно за ее гостеприимным столом.

Почти три года длилось мое знакомство с Праховыми. Об археологических находках его во Владимире-Волынском я напечатал статью в «Вестнике Европы». Предметы, описанные им в усыпальнице князей Острожских, заслуживали внимания и являлись, на мой взгляд, скорее всего достоянием государственного музея. Но золотые перстни древней флорентинской работы стала носить Эмилия Львовна, а великолепные серебряные канделябры, в рост человека, застряли в ее гостиной.

— Я понимаю, — говорила она мне, — приятно хранить у себя возможно дольше такие изумительные вещи, пленяющие нас не столько своим уродством, сколько историческим происхождением. Я так и вижу, когда зажигают свечи на этих канделябрах, князя Острожского; входит приземистый, с трехсаженной белой бородой, которую впереди его несут, одетые в атлас и парчу, прелестные юноши. Но Адриан Викторович (Прахов) привез на днях из Египта двенадцать голов мумий и столько же набальзамированных кошек, и я не знаю, как от них избавиться. Я не сомневаюсь, что его жестоко там надули, потому что эта древность, которой три тысячи лет, уже страшно испортилась, и в столовую нашу нельзя войти, я начинаю бояться чумы!

Зиму я, по обыкновению, провел в Петербурге, где с январской книжки в «Наблюдателе» стал печататься мой роман «Иринарх Плутархов», наделавший шуму.

ГЛАВА СОРОК ВТОРАЯ.

1886.

Летело время и приносило перемены.

Самая главная перемена в моей личной жизни (не касаясь литературных отношений моих) произошла, подготовляемая исподволь, в моем домашнем кругу.

Вера Петровна, жившая со своим мужем — Щербаком — в Лебедине, где я посетил их в 1882 году и уже не застал в живых сына, овдовела и поселилась в Киеве у своей замужней состоятельной сестры, которая, однако, как домовладелица, могла дать ей только квартиру.

Вера Петровна потребовала от меня денег.

— Я продолжаю носить вашу фамилию, а Мария Николаевна пользуется моим именем — и отсюда вытекает ваша прямая обязанность поддерживать меня, несмотря на то, что между нами фактически все покончено. . .

Уже и раньше Мария Николаевна терзалась своей беспаспортностью. Астрономовы скрывали от нее, что она внебрачная дочь и что она по фамилии Дубровина. Отец умер со свойственной его турецкой душе беспечностью, а Мария Николаевна поссорилась еще в Петербурге с матерью и не хотела с ней ни говорить, ни видаться.

Приезд Веры Петровны в Киев удвоил тревогу в сердце Марии Николаевны.

— Теперь не знаю, как все это делается, — решительно сказала она мне; — но мне нужен законный брак. Пусть консервативно и даже ретроградно, но чем дальше, тем мне тяжелее оставаться в двусмысленном положении — и у нас пошли дети! — И тут она заплакала. — Ты разлюбил меня, — продолжала она, — увлекаешься литературой. Я ненавижу героинь твоих романов и, хочешь знать правду, — я уже не люблю тебя сама; потом ты узнаешь еще больше. — Скажи, а ты чист передо мною? — вдруг проговорила она. — Нельзя разлучаться на три, на четыре месяца. Мне хочется скромной семейной жизни, а ты вечно летаешь. Тебе пишут записочки и назначают свидания, как только узнали дуры, что ты приехал!

Она швырнула мне пачку распечатанных ею писем.

Была ранняя весна, и я, в самом деле, только-что приехал. Мне была прислана телеграмма в Петербург, которую я постыдился показать Марии Николаевне, но которая подвинула меня бросить некоторые важные литературные дела. Телеграмма была, как я был уверен, клеветническая, а все же больно ущипнула меня за сердце. «Поспешите — ваша красавица поскользнулась; образумьте». Это тем более уязвило меня, что на скользкие шаги, совершаемые мужьями в отсутствии жен и теоретически осуждаемые мною, я смотрел, наблюдая их в жизни, как она есть, снисходительно, считал их в порядке вещей. Что касается меня лично, к тому же, то Мария Николаевна была отчасти права. Если бы я был последователем Толстого с его совестью и с его нравоучительной потребностью публично каяться во всем нехорошем, что совершаешь на своем веку, я бы рассказал, кстати, подробно кое о чем, что заставляет меня краснеть до сих пор. Да, я не был чист перед Марией Николаевной. В тот зимний сезон в Петербурге, под влиянием темных приказов моего темперамента, у меня был мимолетный и потому скверный роман с одной молодой дамой. Речь Марии Николаевны ранила меня. Радужную паутину нашего семейного счастья надо было связать и заштопать. Я исповедал свой грех Марии Николаевне. Она только странно улыбнулась, выслушав меня.

— Это бывает, — сказала она, — и с женщинами.

На другой день Мария Николаевна созвала гостей; к нам собрались студенты, курсистки и вся молодежь, прикосновенная к литературе. Приехала романистка Шабельская-Толочинова.

В крайне возбужденном настроении, веселые и радостные влетели три сестры Сорокины, которые имели привычку влюбляться во всех писателей, в особенности в поэтов. И, конечно, записочки, распечатанные в таком внушительном количестве Марией Николаевной, принадлежали также и Сорокиным. Не знаю, как теперь, теперь времена стали серьезнее, но в ту пору барышни от нечего делать забрасывали такими, всегда безыменными, записочками какого-нибудь любимца публики — певца, профессора, музыканта, даже проповедника, громящего с амвона людские пороки и устрашающего грешников муками ада, — и затем издали следили, придет или не придет намеченная жертва на свидание.

Почтенная Шабельская-Толочинова, которой Мария Николаевна вручила всю полученную на мое имя амурную почту, обрадовалась случаю и произнесла целую филиппику против испорченности киевских девушек и дам. А так как она была чересчур серьезна, не говорила, а вещала, приводя мрачные примеры внезапного расстройства супружеских союзов и гибели невинных созданий из-за какого-нибудь пустого, на первый взгляд, легкомысленного шага, то молодежь, в конце концов, разразилась гомерическим хохотом, и Мария Николаевна сама не могла удержаться от смеха.

Шабельская-Толочинова обиделась и уехала, а через день наш ящик для писем оказался сверху донизу набит новыми приглашениями меня на свидания. Половина была писана одним и тем же почерком. На следующее утро Мария Николаевна опять вынула столько же записочек из ящика. Это, наконец, и ее раздосадовало.

— Что, однако, за неприличные шутки!

Эти милые три курсистки Сорокины — за всеми тремя тянулись хвосты поклонников — были дочерьми удивительного попа, отца Александра, редко не состоявшего под судом за венчания без документов и за форменные сражения с лаврскими и другими монахами, у которых он отбивал, вооружившись оглоблей, подводы с продуктами, назначенными для монастырской кухни. По его словам, военная добыча его при этом преимущественно состояла из поросят и кур. Ходил он в своей деревне Пирогове (в древности Пирогощи), в нескольких верстах от Киева, в красной рубахе, считал босяков хорошими людьми и уверял, что, когда будет революция, он вооружит их дрекольем и пойдет громить лавру. Хлебосол он был первый, пожалуй, в уезде, и крестьяне в нем «души не чаяли». В церкви он говорил проповеди, большей частью, нецензурные и, случалось, смешил паству, так что вся церковь покатывалась от хохота, но, случалось, и трогал до слез. Приезжал ревизор или следователь, но отец Александр был, как он себя называл, «простомысл, да мудр — аки змий».

Все благополучно сходило бы ему с рук, если бы не Соня, средняя его дочь, которая после Надсона, уставши влюбляться

в писателей, влюбилась в молодого еврея, раввинского сына, да и сошлась с ним, как с мужем. Раввин посмотрел сквозь пальцы на сыновнюю связь с христианкой и принял Соню к себе в дом. Отец Александр приехал в гости к раввину, а раввин заплатил ему визит. Между обоими попами, иудейским и православным, завязалась дружба, они сходились, спорили, но не расходились, и оба любили подвыпить. Отец Александр между тем тайно уже окрестил зятя и задался целью окрестить и самого раввина. Хорошенько напоив гостя и обладая богатырской силой, он у себя однажды схватил в охапку свата и трижды окунул его в бочку с водою: крещается раб божий такой-то, во имя отца и сына и святого духа... Анекдотическое происшествие это дошло до слуха митрополита; хотя раввин, спрошенный, как это было, категорически отверг самый факт проделанной над ним богоугодной шутки, однако, отец Александр был отстранен от священства и присужден, кстати и за все свои прежние вины, к заключению в Суздальский монастырь, дабы там толочь уголь; он не снес позора, он искренно был убежден, что это величайшая несправедливость, и умер до приведения приговора в исполнение. Вскоре умерла от родов и бедная Соня.

В 1886 году мы провели с Марией Николаевной, на даче в Китаеве, чудесное лето. Это было наше последнее лето. С нами жили Минские. Наверху над нами, в мезонине, жила семья волынского вице-губернатора, состоявшая из аристократической мамаши и нескольких красавиц-дочерей. Жена Минского, Юлия Безродная, все лежала на кушетке, болея почками, а Минский увлекся сначала масляной живописью и измазал все окрестности желтой, синей и всевозможных цветов красками, так что на лугу и в лесу нигде невозможно было сесть дамам.

— Что это? Откуда такая напасть? — отряхивая измаранные юбки и отирая руки о носовые платки, недоумевали дачницы, а им отвечали: «А это поэт Минский сделался художником и чистит палитру о траву, накладывая красок столько, что иному маляру хватило бы на окраску целой крыши». Когда окрестности нашей дачи Минский разукрасил таким образом, он разочаровался в пейзаже и решил заняться портретом. Для этой цели были привлечены вице-губернаторские барышни и терпеливо позировали ему в душной веранде. Минскому хотелось, во что бы то ни стало, добиться игры солнца на портретах.

— Какие идиотки! — ворчала Юлия Безродная, — представьте, они поочередно высиживают перед ним по два часа, не шелохнувшись, и готовы жариться на солнце, лишь бы угодить, а Вилочка, — так называла она мужа, — должно быть, уж бог знает что вообразил себе!

«Вилочка» уже в самом деле был зажжен лучами, исходившими от хорошеньких вице-губернаторских дочек. Когда же они уехали, я недели через две или через три, уже собираясь

переезжать в Киев, увидел на полу изорванным в клочки превосходный карандашный портрет Марии Николаевны, нарисованный хорошим художником. Я спросил у находившейся тут же Марии Николаевны, что это значит, как вдруг с кушетки вскочила Юлия Безродная, упала на колени перед Марией Николаевной, театрально заломила руки и сказала:

— Прости меня, милая, я виновата! Я нашла твой портрет у Вилочки, я ревнивая!

— А как он очутился у Николая Максимовича? — спросила Мария Николаевна.

— Я ему подарил портрет, — сказал я.

Тут Юлия Безродная повернулась ко мне.

— Простите меня, простите, вы!

Смешное впечатление от этих сцен до сих пор никак не выветривается из памяти, и, как ни пусты, они почему-то трогают меня; может быть потому, что я всегда любил и до сих пор еще люблю Минского, быстро воспламеняющегося поэта, каким он был в то время.

С Паньковской улицы, откуда был вид на Байкову гору с ее кладбищем (см. рассказ мой «Город мертвых»), мы переехали на Житомирскую в дом, стоявший против огромного старинного парка. Тут мне пришлось быть свидетелем кровавого происшествия, глубоко потрясшего меня. Парк на Житомирской улице тянулся, а может, и теперь тянется, если еще существует, до реки Глубочицы. В нем хорошо было бродить и мечтать, а иногда и работать в погожий день. Я лежал с книгой на траве, как вдруг услышал быстрый топот ног, тяжелое дыхание, и мимо меня промелькнула фигура солдатика, который с размаху, как рысь, вскарабкался на дерево и скрылся в его густых ветвях. Вслед за тем несколько пуль просвистало над моей головой, и с дерева медленно свалился солдатик. Подбежали другие солдатики с винтовками, бросился и я к трупу.

— Вы убили его!

— Нам что: приказано стрелять, когда арестант бежит... да мы хотели только попужать, а он, гляди, уже и умер.

Оказалось, что под арестом его ждало телесное наказание за грубость офицеру.

— Мы закон исполнили, нам ничего не будет.

— Но, все-таки, вы товарища убили, и смотрите-ка какой он красавец, — продолжал я, убеждаясь, что сердце уже не бьется у бедняги, предпочевшего смерть позору.

Много и других тяжелых минут пережил я в этом парке. Равновесие моей жизни, поскольку оно зависело от личного счастья, сильно пострадало. В поэме, написанной мною в те дни, «Заглохший сад» откровенно изображены мои тогдашние настроения.

Есть нечто роковое в обстоятельствах нашей жизни, как бы мы ни старались уединить их от влияния среды и пересудов общественного мнения. Проживание по паспорту Веры Петровны не даром, действительно, тревожило Марию Николаевну. Прошел год. Я несколько раз был у Веры Петровны и просил не делать истории с паспортом. К тому же, и полиция не наталкивалась на подлог. Но наш домовладелец, судебный пристав Друзякин, которому было предложено жандармским генералом Новицким смотреть за мною в оба, так как у меня, несмотря на отобранную от меня подписку, попрежнему иногда собирается молодежь, и я бываю, в свою очередь, на собраниях у киевских подпольников и на свиданиях с политическими заключенными в тюремном замке, обратил внимание, что упоминаемая в моем паспорте Вера Петровна слишком молода для показанных ею лет. Он донес, и мы очутились с Марией Николаевной в судебной камере.

Нам обоим грозило заключение в остроге что-то не меньше года. Давши следователю показания, из которых нельзя было выкроить ни малейшего оправдания на предстоящем суде, я отправился к знаменитому своими защитами присяжному поверенному Купернику.

Был он председателем драматического музыкального общества, лектором, славился необычайным уменьем делать из черного белое, любил литературу, как он говорил, до самозабвения, женат был на внучке знаменитого артиста Щепкина, и маленькая дочка его писала уже стихи. (Потом она стала известна под именем Щепкиной-Куперник, как автор недурных стихотворений и пьес.)

Куперник проживал на даче, по случаю летнего сезона, в сосновой роще, и был особенно музыкально настроен.

— Батюшка! — закричал он. — Тра-ля-ля, тра-ля-ля, бим-бом, какая прелесть! Вот так дельце! Какого я шуму наделаю! Не вы мне, а я вам заплачу — только потребуйте! И знаете что, даже если вас осудят, — а Марию Николаевну я наверное обелю — какая реклама для ваших сочинений — скорее заключайте договор с каким-нибудь издательством посолиднее!

— Не шутите, — возражал я, — надо найти способ погасить скандал.

— Нет, нет, ни за что!.. ни вам, ни мне нет ни малейшего расчета... Вы просили у законной жены развода?

— Фактически развод сделан... Фактически она сама состояла уже в гражданском браке несколько лет. Но формально она отклоняет... Не хочет.

— От души отлегло... Ну вот, тем лучше! — вскричал Куперник... Тир-лир-ли, тир-лир-ли... Трень, брень! У вас принципиальное дело. Вопрос огромной социальной важности. Преступление несомненное. И, однако, неотразимое, роковое. Вы были вынуждены... А сколько добра будет сделано! По рукам, по

рукам! Я безвозмездный ваш адвокат и за мной, кроме того, роскошный обед с шампанским в Европейской гостинице.

Дело перешло уже в Окружный суд. Судебный следователь, производивший следствие, зашел ко мне вечером и сказал:

— Как следователь, я вас должен был упечь. Но искренно, как человек, желаю вам добра, и примите мой совет. Надо не допустить до суда: на суде провалитесь. Так нет ли у вас в Петербурге, в числе знакомых, этакой какой-нибудь важной судебной птицы — например в Сенате...

Я назвал А. Ф. Кони.

— Превосходно! Сейчас же напишите ему и попросите приказать прикончить.

— Как приказать?

— Не в буквальном смысле, но его просьба и есть приказание. Он только черкнет словечко прокурору, и процесс задушат в зародыше!

В самом деле, спасибо Кони, так и случилось. Много значило тогда «словечко».

Когда Куперник узнал, он приехал ко мне с упреком:

— Как же можно было пренебречь высшими интересами ради личного спокойствия? И что это за проклятая страна, где даже такой столп правосудия, как Кони, может произвольно повалить его ради приятеля; а я уж и речь приготовил!

Дело было прекращено.

Марии Николаевне выдали какое-то временное свидетельство, и она должна была приписаться к мещанскому обществу, что было сделано, впрочем, не скоро, и за взятку.

Все же угнетенное состояние духа Марии Николаевны не проходило, несмотря на благополучный исход неприятного дела. Киевскому обществу стало известно, что она внебрачная моя жена, то-есть любовница, и при мысли об этом она закипала негодованием.

— Мне кажется, будто меня раздели, и я стою у позорного столба! — со слезами говорила она мне и чуждалась меня.

Еще за год пред этим у нас родился второй сын, Яков. Во время следствия Марья Николаевна совсем забросила этого ребенка. Да и старший, Максим, стал хиреть. Хозяйство предоставлено было на усмотрение служанок и велось непорядочно. Мария Николаевна прервала все знакомства и бывала только в театре. Весною взяла трехлетнего Максима и уехала с ним в Одессу на лиман. Крохотный Яша почти умирал, ручки и ножки его были тоненькие, как ниточки. Я провозился с ним лето. По совету докторов, его купали в настое на сене; и, в самом деле, ребенок порозовел, стал смеяться, пополнел и заговорил.

Вернулась Мария Николаевна вдруг и объявила мне, что она хочет устроить свои дела так, чтобы выйти замуж — не за меня, разумеется, даже если бы мог быть дан развод Верою Петровною, а за другого человека, мне неизвестного.

Что-то новое было теперь в ее прекрасных глазах.

На ее очаровательном лице играли необычные тени необычных настроений. Ей хотелось — и она об этом откровенно заявила — выждать еще только время и все обдумать, чтобы окончательно решить вопрос.

— А вы, при вашей потребности новых впечатлений, быстро утешитесь, — сказала она: — стоит вам только выбрать любую из ваших поклонниц.

Нет обид, оскорблений, даже несчастий и других душевных ран, которые не залечивались бы временем. Но время уходило, а Мария Николаевна холодно отгородилась от моего кабинета. И когда я передавал ей письма, приходившие на ее имя, она вспыхивала и, метнув в меня взглядом, убегала к себе и становилась еще сосредоточеннее.

— Ты, конечно, ждешь, чтоб я уехал поскорей, я же кончаю повесть и уеду, как только кончу, но когда — точно не знаю. Кулишер кстати просит меня исхлопотать ему право на новую газету. Так что, значит, вопрос о нашей дальнейшей судьбе будет выяснен по моем возвращении из Петербурга? И хотя я не очень-то верю в продолжение нашего разлада, но имей в виду, что бы ты не предприняла, я ко всему отнесусь с полной терпимостью.

— А! тебе будет безразлично?

— Но я не способен на ревнивые сцены и на месть.

— Ты меня, значит, нисколько не любишь!

Мария Николаевна никак не могла представить себе любви без ревнивых сцен, проявляющихся в тех формах, какие она наблюдала в мещанской жизни и о каких читала в романах. Должно быть тут играла роль еще и турецкая кровь. Во многих отношениях она подвинулась вперед за годы сожительства со мною, перестала быть застенчивой, развилась умственно, познакомилась со многими литераторами и почти в совершенстве изучила английский язык. Но зато и угол расхождения между нами в вопросах общественных, в морали и религии стал велик.

Глубокой осенью Павлик Андреевский, подставной редактор «Зари» и подставной ее издатель, не удовлетворяясь тем жалованием, которое получал у Кулишера, объявил себя хозяином газеты и перевел редакцию в свою квартиру. Сотрудники протестовали печатно против насилия; в числе их подписей были моя и Надсона. Кулишер сказал мне:

— Киев не может обходиться без либеральной газеты. В руках Павлика газета не пойдет; она станет порнографическим листком и, вероятно, скоро будет запрещена, так как он дойдет до крайнего предела дозволенного и шагнет дальше. Я слыхал, что вы собираетесь в Петербург, кстати возьмите разрешение на газету на свое имя. Мы с вами устроим хорошее культурное дело.

Что такое газетная работа и как приходится в ежедневном издании лавировать, я уже знал по «Киевскому Телеграфу», который я все-таки не уберег от царского запрещения. Либеральнейший Кулишер, который даже во сне грезил конституцией, правами человека и быть может даже республикою, велел, в дни приезда в Киев августейших гостей, печатать «Зарю» золотыми литерами. Во всяком случае, без любезных фраз, входивших в словарь эзоповского языка по адресу того или иного городового, редко можно было выпустить номер. У меня не было поэтому большого желания издавать газету, тем более, как признался Кулишер в присутствии профессора Мищенко, она могла быть поставлена на рельсы главным образом на средства богача Лазаря Бродского. Но я согласился побывать в главном управлении печати и попробовать. Меня тянул к себе все больше и больше Петербург, и я, кончив повесть, уехал в ноябре, не питая особой уверенности в успехе дела, порученного мне Кулишером.

День был снежный, когда я уезжал из дому. На крыльцо вышла меня провожать Мария Николаевна. Она была легко одета в какой-то живописный болгарский сарафан. Я оглянулся, и мне показалось, что это наше последнее прощанье, и я больше ее не увижу. За воротами застонал ветер. Я остановил извозчика.

— Кто-то крикнул, — сказал я ему. — Ты не слышал? Как-будто кто-то крикнул: — вернись!

Извозчик посмотрел на меня и, в ответ, ударил вожжей по лошади, санки помчались к вокзалу.

Первые дни моего пребывания в Петровской столице прошли в свиданиях и встречах с моими приятелями. Я повидал Урусова, Андреевского, Минского, конечно, Бибикова, Быковых и многих других; одним словом, закружился в вихре встреч.

Побывал также у Салтыкова-Щедрина. Несмотря на тяжелый удар, нанесенный старому писателю закрытием «Отечественных Записок», и на стеснения, которым стало подвергаться в корректном «Вестнике Европы» его независимое перо, он выглядел довольно молодцевато. Был бодр, не кашлял и, сверх обыкновения, был не в азиатском халате, а в щегольской пиджачной паре, и как-будто даже румянец играл на его повеселевшем лице. Я поздравил его с хорошим видом.

— Ну, нет, — возразил он, посмеиваясь и чиркая на одном из томов только-что вышедших из печати «Мелочей жизни» обычный автограф «от такого-то, такому-то», — я попрежнему переживаю гнуснейшие минуты, и недавно так сперло в зобу дыхание, что домашние чуть за попом не послали, но во-время догадались и послали за доктором; я пока и отошел. А сегодня завтракал только-что со своим соседом, и оттого у меня хороший вид, что я приятно настроился. Он человек откровенный. Я убеждал его писать мемуары от нечего делать...

— Михаил Евграфович, о ком вы говорите?

— А разве вы не знаете? О генерале Трепове. На одной площадке живет. Он тоже в отставке. Пускай пишет. Ему ведь приятно будет воспроизводить на письме все свои рукоприкладства и членовредительства, озаренные светлыми воспоминаниями полицейского всемогущества. Проглотил рюмку зубровки, крякнул и сказал: — «Да иногда приятно вспомнить». — Между прочим рассказал он мне о пьянчужке художнике Соломаткине. Городовой арестовал его где-то в канаве и привел для отрезвления в участок. Трепов же, как любитель всего изящного, издал приказ о докладывании ему особо об артистическом элементе. Единственно на предмет отеческого обращения с забывшими человеческий образ художниками! На выставке им была куплена картинка Соломаткина, изображающая городовых, которые принимают от купца подарок, как полагается, на светлый праздник. Конечно, Соломаткина, натерев ему уши покрепче, чтоб выбить хмель из него, представили Трепову в первую голову.—«Можете написать с меня портрет?»— спросил градоначальник.—«Что ж, я постараюсь».—А был Трепов во всех регалиях, собираясь к царю с рапортом.—«Только поскорее». — Трепов сел, а Соломаткин стал оглядывать его, склоняя голову направо и налево, по обычаю портретистов. Да как расхохочется! А уже и краски принесли, и кисти, и мольберт, и полотно из магазина Дациаро. — «Вы чего же заливаетесь?» — спросил Трепов — и рассказывает, что даже ему самому захотелось смеяться, так заразительна была юмористическая рожа Соломаткина. — «Помилуйте, — отвечает: — не могу равнодушно видеть генералов. Как наденут эполеты и пришпилят к груди все эти финтифлюшки, так под ложечкой и начинается... Щекотит до истомы. Вот и ваше превосходительство мне индейским петухом представились». — Но тут Трепов не стал разговаривать и прогнал Соломаткина. — «Я был оскорблен и однако я его не выпорол!» — с грустью закончил генерал. Не правда ли, тема благодарная? И я имел право приятно настроиться. Что же касается вообще здоровья, то я рад, в свою очередь, что вы, повидимому, серьезно поправились, и еще не так давно доктор Белоголовый спрашивал меня о вас и скорбел. Так я ему скажу, чтоб утешился!

Это была моя последняя встреча с Салтыковым. Когда он умер, я написал стихотворение на его смерть и отдал в «Наблюдатель». Пятковский, опасаясь, что оно не цензурно, попросил Василия Немировича-Данченко обелить его. Вышло оно в свет в довольно несуразном виде, хотя и не стало благонамереннее.

Решительно все петербургские знакомства и доброжелательные друзья не посоветовали мне ввязываться в газетное дело. С другой стороны, я почти не сомневался, что, все равно, власти снесутся с генералом Новицким и откажут. Для очистки совести я посетил начальника печати Феоктистова, и он объявил мне, что я не ошибаюсь, и разрешения на газету ни в каком случае не получу.

*

Кулишер, таким образом, остался не у дел, а «Зарю» Павлика Андреевского, в которой он подробно стал расписывать, как сложена его жена Наташа, цензура запретила, как и следовало ожидать. Кулишер прислал ко мне на подмогу профессора Мищенко, который много потратил слов, чтобы уговорить меня снова побывать у Феоктистова.

— Вам же было сказано, что газета разрешена не будет за вашей подписью. Пишите повести и романы, мы вас в этой области терпим. Да никакой либеральной газеты и никому мы в Киеве не разрешим!

Когда я рассказал у Евгения Утина на вечере, где заседал «Шекспировский кружок», о постигшей меня радостной неудаче, Спасович, Урусов и другие поздравили меня в один голос с таким исходом моего ходатайства.

— Художник, и оставайтесь им.

Не подозревал я, что через какой-нибудь десяток лет я, таки, запрягусь в газетную работу, стану публицистом и паршивенький «Биржевой Листок» превращу в большое издание с сотнею тысяч подписчиков, и буду писать для них ежедневно на протяжении семи лет. Но об этом — своевременно. . .

Журнал «Новь» Вольфа, издававшийся на американский лад, как-то быстро стал хиреть. Работали все выдающиеся писатели того времени, но в журнале не было направления, и во главе стоял не писатель, преданный литературе, а приказчик торгового дома — он же один из собственников фирмы. Был он высокого мнения о себе, находил направление излишним балластом и рукописи покупал, что называется, на вес.

— Мне имя нужно, — говорил он, — я за имя плачу.

Терпигорев-Атава, через неделю после приглашения, принес в «Новь» стопу мелко исписанной бумаги под заглавием «Город и деревня» и очень крупным почерком подписал: Сергей Атава. Вольф видел довольно часто это имя в «Новом Времени», немедленно подсчитал гонорар и уплатил автору крупную сумму. Но когда типография приступила к набору романа, то ни слова не могла разобрать; первые страницы были еще написаны со смыслом, но потом превращались в нечто несуразное. Автор имел терпение сам исписать страницу за страницей какими-то узоро-подобными строчками, или же поручил эту работу, которую он считал остроумною, каким-нибудь мальчишкам. Редактор же тер кулаком лоб и сконфуженно улыбался трехугольною улыбкой.

— В самом деле, я виноват, я имел неосторожность сказать Сергею Николаевичу, что у меня дело коммерческое и что я покупаю только имя. Вперед буду осторожнее. У нас не Америка, а Россия.

Чтобы поднять интерес к журналу, Вольф сам решил надуть публику и объявил в рекламе на новый год, что к «Нови» будет приложена огромная олеография с картины Зихеля в широкой

золотой раме. Сначала подписка посыпалась, но когда абоненты стали получать картину, то оказалось, что рама не настоящая, а нарисованная на олеографии. «Новь» пришлось прекратить на первых же порах.

Я пришел к Вольфу получить остаток гонорара, что-то рублей шестьсот. Но он удержал из этой суммы восемьдесят рублей, с ужимкой апраксинца дурного тона.

— Пожалуйста, оставьте мне эту мелочь на память!

— На память? — удивился я.

— Уступите.

Я уступил.

Впоследствии Вольф издавал «Задушевное Слово», дрянной журнальчик для детей, газету «Луч», в которой сотрудничал Григорий Градовский, организовал «Генеральный Банк» мошеннического типа и, наконец, сошел с ума.

ГЛАВА СОРОК ТРЕТЬЯ.

1886 — 1887.

В меблирашках на Николаевской я работал с утра до вечера, написал ряд повестей, издал несколько своих книг, они хорошо разошлись, некоторые вторым изданием, посещал Русское Литературно-драматическое Общество, что было на Мойке, при театре.

Общество это было самое разношерстное: членами его состояли и либеральные адвокаты — Урусов, Андреевский, Спасович, Утин, и нововременцы, и народники. Плещеев и Григорович читали свои произведения, при чем Григорович иногда просто рассказывал, а рассказывал он мастерски и удивительно красочно, ярко, живо, увлекательно. Выступали Полонский и Майков. Делал научные доклады Кот-Мурлыка (профессор Вагнер). Декламировали Арсений Голенищев-Кутузов, Случевский. На кафедре появлялись иногда совсем неведомые старцы, обросшие плесенью двадцатых годов, что-то когда-то написавшие, уже забытые и ставшие с тех пор сенаторами.

Профессор Висковатов доказывал, что списки лермонтовских поэм, находящиеся в его руках, самые верные, самые подлинные, самые точные, а мы сомневались.

А. А. Краевский был еще жив. Я встретился с ним на одном литературном вечере и познакомился.

— Тридцатые годы пожимают руку восьмидесятым! — сказал он любезно.

Был он небольшого роста, в черном сюртуке, слегка прихрамывал.

Я спросил его:

— Скажите, Александр Андреевич, можно ли считать стихотворения Лермонтова, известные в печати, более точными, чем те, которые попадаются или где-либо покоятся в списках?

— Пожалуй, что печатные точнее, хотя те и другие прошли через кузницу поэта, — живо отвечал Краевский. — Лермонтов был моим приятелем, мы были с ним на «ты»; стихи творил он мрачные, исполненные мощных вдохновений, а малый был веселый, игривый и шалил у меня в кабинете. Схватится за мое кресло и норовит меня опрокинуть, пока я не соглашусь с каким-нибудь его мнением. К стихам своим относился он, однако, чересчур серьезно. Как ухо его поет, так и должно было оставаться. Из «пламя», а не из «пламени» — хоть убей. Но потом вдруг раз двадцать перечеркает корректуру. В этом отношении он был тяжелый автор. Подлинные рукописи его я долго сохранял на память, и для публики стихи его являлись большею частью в неузнаваемо-прекрасном виде. Знаете сами, что от легкого штриха или перестановки слова зависит в иных случаях высшая красота произведения: тут нажать, там убавить, подчеркнуть, ударить. . .

— А нельзя ли раздобыть от вас хоть крохотный лермонтовский автограф? — дерзнул я обратиться с просьбой к Краевскому.

— Увы! Что было незначительного — я все роздал по рукам. А папку с его рукописями и черновыми я пожертвовал в музей — Боголюбову. . .

— Художнику?

— Ну, да, Боголюбову. Впрочем, зайдите как-нибудь ко мне. Авось отыщется что из переписки с Лермонтовым.

Я не успел побывать у Краевского — затерла петербургская сутолока.

Михайловский еще не имел в своем распоряжении «Русское Богатство»; название это пока смущало сотрудников «Отечественных Записок», решивших поднять только знамя народного социализма. Он сотрудничал временно в «Северном Вестнике».

С Михайловским я встречался несколько раз у Кулишера в семидесятых годах. Кулишер был этнограф и первый стал отрицать личное существование Христа. В легенде о нем он видел лишь один из новых и более совершенных метафизических пересказов весеннего языческого мифа о воскресении земли. Сотрудничал Кулишер в «Слове» и порывался в «Отечественные Записки», куда его Михайловский, однако, не пускал, находя чересчур сухим ученым. На вечерах Кулишера Михайловский бывал не один, а со своим кружком и с красивою, нарядною женою, обладавшею кошачьею грацией и синими глазами. Он вел себя, обыкновенно, буйно весело, молодой и жизнерадостный и, конечно, уже славный. Лица всех присутствовавших обращались к нему и ловили каждое его слово.

В самом начале восьмидесятых годов юноша Карпов, начинающий драматург, часто бывавший у меня в троицкой «Лихачовке», был судим и приговорен в Сибирь на поселение за прикосновенность к политическому подполью. Собраны были деньги Карпову на дорогу, но не хватало еще рублей пятидесяти. А так как Карпов

уже что-то печатал в журнале Оболенского «Мысль» и имел право на помощь Литературного Фонда, то я и обратился к Михайловскому, в то время влиятельному лицу в Фонде. Он сухо принял меня и почти отказал в помощи Карпову. Я подумал, что он опасается каких-либо трений с охранкой, и имел бестактность дать ему это понять.

— Ну, хорошо, — сказал он, безучастно взглянув на меня своими серо-голубыми глазами, — я препятствовать не стану.

Следующая встреча с Михайловским последовала у Евреиновой на редакционном вечере и затем у Минского. Я уже заметил, что он никогда не был один. Его сопровождали, обыкновенно, Н. Ф. Анненский, Южаков, Глеб Успенский. С людьми общественными и весело настроенными он сам был весел; с застенчивыми и молчаливыми становился угрюм.

Небольшого роста, густоволосый, от природы белокурый, но рано поседевший, красивый, Михайловский был любимцем студентов и курсисток, и на литературных вечерах, на которых читал невнятно и нудно по тетрадке, все же удостоивался громозвучных оваций.

Он был представителем всё никак неразгоравшейся надпольной революции, а в подпольной и заграничной, эмигрантской литературе участвовать избегал. Известно, как он отказал Лаврову в сотрудничестве с ним в журнале «Вперед». Его сподвижник и одно время спутник С. Н. Кривенко, принимавший на себя корректирование подпольных журналов и статей, говорил мне, что Михайловский был убежден в необходимости до поры до времени итти социалистам об руку с земцами. Что у него была также написана резкая статья по еврейскому вопросу, которая могла бы не понравиться не только самим евреям, но и «радикалам»; он поэтому ее в печать не пустил. Вообще он был очень осторожен, предусмотрителен и, смелый и отважный по внешности, в душе был расчетлив и очертя голову ни в какие литературно-политические авантюры не бросался.

С супругами Минскими я иногда бывал у Давидовой, жены виолончелиста, литературной дамы, имевшей у себя «салон». Бывал там и Михайловский с Успенским. Застали мы, однажды, у Давидовой и принца Петра Ольденбургского. За ужином Михайловский пил много, но, говорят, он никогда не пьянел, а Успенский и на этот раз скоро стал «мокр». После ужина молодежь затеяла танцы по предложению Успенского. Началась кадриль. Успенский танцовал визави с Ольденбургским.

— Наш друг, — сказал Михайловский Юлии Безродной, — с честью выдержал испытание и, смотрите, не выкинул ни одного коленца. Что значит присутствие его светлости!

Сибирские поселенцы, Короленко и Якубович (Мельшин), возвратились в Петербург и вошли в «Русское Богатство», которое

Михайловский преобразовал в хороший литературно-политический журнал, не сойдясь с Волынским; а Волынскому руководство «Северным Вестником» передала новая владелица журнала Л. Я. Гуревич. Номинально редактором «Северного Вестника» стал, между тем, М. Н. Альбов, а «Русского Богатства» — П. В. Быков.

Несмотря на подцензурность, «Русское Богатство» долго играло роль серьезного органа с определенным направлением, которое было узко — гораздо уже направления «Отечественных Записок», где все скрипки и флейты заглушал сатирический рупор-громовержец, сардонический смех Щедрина-Салтыкова, но зато стройнее был оркестр, дирижируемый Михайловским. «Отечественные Записки» читались всеми слоями русского общества — и губернаторы, и земцы, и студенты, и офицеры, и подпольники зачитывались ими ради их литературности и молниезарности; «Русское Богатство» было органом партии, шедшей в разрез с марксизмом, начинавшим все больше и больше приобретать сознательных и бессознательных сторонников в России. Уже ясно было, что ни народничество, ни толстовское непротивление злу и мораль идиотического Акима из «Власти тьмы» — «таё-таё»! — выдвинутая великим писателем для спасения нашей исконной тьмы, которую нельзя же разогнать непротивлением, — не годятся для новой России.

С другой стороны, именно благодаря подцензурности, «Русское Богатство» могло долго просуществовать, хотя правительство и находило, что журнал вреден. Он прежде всего боролся с государственным капитализмом прямо или косвенно, и полемика Михайловского с Плехановым, а Воронцова (В. В.) с Лениным-Тулиным допускалась, пожалуй, ради слабости полемистов «Русского Богатства». Побеждаемые и, следовательно, косвенно тем самым содействующие правительственной финансовой политике, к которой явно склонялся Витте, их постольку терпели, поскольку на верхах смешивали государственный капитализм одной категории, насаждаемый в целях обогащения и укрепления власти, с государственным капитализмом другой категории, имеющим в виду обездоление не народа, а правящей плутократии. С социал-демократическим отношением к государственному капитализму, как он проявит себя в будущем, Витте не считался, предоставляя охранке квалификацию партии и ее подавление в случае надобности. Финансовое ведомство просто хотело воспользоваться теоретическими познаниями социал-демократов и старалось по-своему применить эти познания к государственной машине. О большевиках и о грядущем их мировом значении еще и звука не было. Таким образом, социал-демократы представлялись и чиновникам, и большей части русского общества лишь партией, враждебной партии социалистов-революционеров, а социалисты-революционеры смешивались с народными социалистами. Вообще же, значит, сравнительно благонамеренной партией признавались социал-демократы, хотя нередко все социа-

листы, каких бы они толков ни были до проявления ими активности и после ее проявления, назывались иным невежественным прокурором, в роде Муравьева, во всеподданнейшем отчете «анархистами».

ГЛАВА СОРОК ЧЕТВЕРТАЯ.

В. М. ГАРШИН.

После душевной болезни, которою страдал Гаршин и которая дала ему страшную и вместе завидную возможность создать «Красный цветок», произведение, которое, на мой взгляд, превосходит своей чарующей фантастикой всех Гофманов и Эдгаров По и, во всяком случае, полно глубокого смысла, до которого не могли подняться те гениальные писатели, он зажил одно время, то нуждаясь, то пользуясь некоторым материальным благополучием, буржуазной жизнью. За ним ухаживала жена, его посещали солидные представители литературного и профессорского мира, его приглашали литературные салоны, избрали его в Комитет Литературного Фонда, служил он где-то бухгалтером, и мне не понравилось однажды, при встрече с ним, что он как-то странно пополнел, слегка пожелтел и обрюзг. То же самое бросилось в глаза и Евгению Утину.

Спустя месяц после этой встречи моей с Гаршиным, у мирового судьи разбиралось дело. Гаршин был привлечен к ответственности полицией за нарушение тишины и порядка в общественном месте. Была поймана молодая девушка на улице, которую нужда заставила торговать собою, а стыд не позволил пойти в участок показаться предержащим властям и получить казенный желтый билет. Гаршин проходил мимо, когда агенты полицейской морали тащили начинающую проститутку и поощряли ее к непротивлению затрещинами. Она кричала, он сам стал кричать, протестовать, собрал толпу; девочка, воспользовавшись замешательством, убежала. Судья приговорил его к трем рублям штрафа.

Гаршин, перед тем очень редко появлявшийся в николаевских меблирашках, стал посещать мои вечера, при чем его обыкновенно сопровождал Бибиков. В лице Гаршина я заметил новую перемену: щеки его горели, обрюзглость стала спадать и превратилась в худобу, в глазах стало выступать страдание, выдавливаться какое-то глубокое, тоскливое чувство, я бы сказал, потустороннее.

Перед этим Гаршин увлекался историческим сюжетом; ему хотелось написать роман, героем которого была бы сильная личность.

— И, конечно, такой личностью может быть только Петр Великий. Я хотел бы, чтобы Петр Великий удался мне не только как гений, но и как русская душа со всеми ее огромными достоинствами и такими же колоссальными слабостями.

Когда я был у него, он вынимал из письменного стола черновые листы и, указывая на них, выражал желание когда-нибудь прочитать мне первые главы.

Бывало, Гаршин явится ко мне на огонек, станет спиною к горящей печке и долго молчит. Только сверкают его черно-алмазные глаза, под взглядом которых становилось иногда жутко. Что-то гораздо более сильное и напряженно-ищущее выхода, чем та пальма, которая в его рассказе проламывает стеклянную крышу в оранжерее, томилось и рвалось в даль, в беспредельность ненаходящей удовлетворения мысли, из этих тоскующих глаз.

Зашел ко мне однажды, тоже на огонек, артист Далматов и стал наблюдать Гаршина.

— Что вы так на меня уставились? — спросил Гаршин.

— Вы удивительно похожи сейчас на того царевича, которого я видел на-днях в мастерской Репина. Настоящий, убитый Грозным, царевич.

Гаршин ничего не сказал, как-то еще больше осунулся, вяло подал руку и исчез с Бибиковым, который скоро вернулся.

— Я довел Всеволода, — начал он, — до квартиры. Он в удрученном состоянии. Последнее время мы сблизились с ним; ведь я знаю, что такое быть душевно-больным; и он мне сочувствует, и я ему. У нас с ним бывают особенные беседы, мы понимаем друг друга с полуслова. Посмотрите, какие у меня глаза: точь-в-точь как у Гаршина!

Бибиков подошел к зеркалу и стал таращить свои глаза. Правда, они были у него тоже красивые и большие, но в них бегал хитрый огонек, а хитрости не было у Гаршина ни искры. У него было выражение, какое мистик мог бы себе представить в глазах у печального ангела.

Мы немножко посмеялись над Бибиковым, но Гаршин внушал нам немалое беспокойство.

Почти целую неделю ежедневно приходил Гаршин, становился все в той же позе у печки и молчал, как-будто что-то собираясь сказать чрезвычайно важное, но что не укладывалось в речь и не находило слов.

Заговаривали с Гаршиным, шутили. Владимир Тихонов врал о том, как он воевал в Азии с турками и брал Ардаган, как грузинские княжны плакали, когда он был смертельно ранен, и как его спасла только чистая любовь, — не та, которую написал Бибиков, а та, которой он поклялся всю жизнь и которой он никогда не изменит.

Ничто не действовало на Гаршина. Ему трудно было даже стоять на ногах. Домой приходилось его провожать. Но вдруг, на полпути, он срывался, с удивлением смотрел на идущего с ним рядом приятеля и быстрым шагом удалялся от него.

Дня два его совсем не было. Бибиков был послан на разведки и вернулся с известием, что Всеволод Михайлович здоров и беспо-

коиться нечего. Так сообщила ему жена Гаршина; последние дни, однако, он чувствовал себя не в духе, потому что ему портил нервы Анатолий Леман — приходил и зачитывал своими рассказами.

Гаршин, уже после этой разведки, наведался ко мне в меблирашки и расположился у печки — на своем любимом месте. Даже что-то стал говорить о блуждающих душах.

— Выйдешь на улицу — откуда их столько? И что им нужно? И зачем они так жалобно смотрят и решительно все тоскуют, а ведь не сегодня — завтра конец их. . .

Вдруг вошел Леман и прямо направился к Гаршину, у которого лицо передернулось, словно он увидел нечто ужасное и необычайное. Он отделился от печки, подал знак Бибикову, и оба они, ни с кем не простившись — Бибиков усвоил уже все манеры Гаршина, — исчезли в коридоре меблирашек.

Помню, что Леман бросился за ушедшими, но мы догнали его в коридоре, почувствовав, что он кошмарен для Гаршина своей самовлюбленностью, самоуверенностью, «авторитарностью».

В один из следующих вечеров я, оставив гостей, вышел на несколько минут в ближайший магазин на углу Николаевской и Невского. Стоял туман, двигались извозчичьи лошади, как темные призраки, и волновались тени людей. На обратном пути в этом тумане, который Гейне назвал бы белым мраком, кто-то догоняет меня и дотрогивается до плеча. Оборачиваюсь — Гаршин. Из этого белого мрака на меня особенно остро и алмазно сверкнули его печальные глаза.

— Всеволод, здравствуйте, пойдемте ко мне!

Но он качнул головой — «нет» — и указал в даль.

— Пойдемте, — попросил я, — у меня «народ собрамши». Я вас угощу сибирским блюдом.

Он еще раз отрицательно качнул головой. Я хотел взять его под руку, но он уклонился, и опять слова замерли на его губах. У перекрестка клубы тумана, соединенные с клубами пара, выбрасываемого из горячих ноздрей лошадей, отделили меня от Гаршина, и он навсегда ушел от меня.

У себя я рассказал о встрече с Гаршиным. Леман, ждавший его прихода, повернулся и устремился к нему.

— Мне он нужен, — закричал он, натягивая пальто, — как воздух!

На другой день туман, стоявший над Петербургом и проникавший все собою улицы и переулки, рассеялся, и ужасный слух, по дороге в одну редакцию, был сообщен мне быстроногим репортером: «Гаршин бросился с лестницы и размозжил себе голову. Его сейчас отвезли в больницу, что на Бронницкой!».

Конечно, его торжественно отпевали. Собор на Измайловском проспекте был набит народом. Над открытым гробом Гаршина, стоявшим на возвышении среди церкви, траурным силуэтом выде-

лялась скорбная фигура его жены. Похоронили его на Волковом кладбище. Над свежей могилой покойного писателя я сказал коротенькую речь. Покойный беллетрист Киги, писавший под псевдонимом «Единица», подробно описал печальное торжество в «Неделе».

Гаршин был один из популярнейших писателей моего времени. Много лет спустя в рабочем клубе «Красная Звезда» в начале 1918 года в годовщину трагической смерти Гаршина был устроен литературный вечер в его память. Читать о нем был приглашен я, а после меня хорошее слово сказала Злата Ионовна Лилина.

Между прочим, тов. Лилиной было подчеркнуто, что Гаршин не мог выдержать трагедии разлада, который он носил в себе: всеми фибрами своего существования чувствовал, что есть единственный путь к удовлетворению существеннейших запросов проснувшейся души гражданина порабощенной России — революционный — и, однако, настолько был слабоволен, что не мог пойти по этому единственному пути.

Тов. Лилина была права; но корень трагедии заключался не столько в слабости воли, сколько в нашей интеллигентской рефлексии и в той оглядке, иногда мучительной и сокрушавшей часто и сильные нервы, которая, в бо́льшей или меньшей степени, была тогда свойственна всему молодому поколению. Выразительными певцами ее в прозе был Всеволод Гаршин, в поэзии — Семен Надсон.

ГЛАВА СОРОК ПЯТАЯ.

1887.

У меня в кабинете писала под диктовку госпожа У., «вдова» придворного священника, сошедшего с ума во время первой своей обедни, в присутствии царской фамилии, собравшейся послушать рекомендованного митрополитом только-что окончившего Академию проповедника. Он вышел из царских врат в сшитой из цветных клочков хламиде, и, с чашей в подъятой деснице, ухарски проплясал на солее, напевая, «камаринскую». Его посадили в желтый дом, а госпожа У. была так молода, что, рассказывая мне об этом трагическом для нее происшествии, заливалась истерическим смехом.

— Представьте себе, я же ему и хламиду сама шила! Он до последней минуты ничем не выдавал себя! Был такой серьезный и христиански настроенный!

Она нуждалась, у ней была годовалая девочка; жила она у родных. И они были не прочь сбыть ее с рук, лишь бы случай...

А случай тут как тут.

Раздался стук в дверь. Я отворил. И, вежливо раскланиваясь, вошел в маленькую переднюю при номере, в моднейшем коротеньком пальто, с искусственными богатырскими плечами и в атласном шапокляке, молодой человек, с пестрой физиономией — словно на

одну сторону его носа упало несколько розовых брызг. «С выраженьем на лице», он измерил меня глазами; точно срезал цилиндр с головы быстрым размахом руки, и, держа его на отлете, сказал внушительно:

— Висмонт.

Потом с такой же грацией он сбросил с ног кожаные галоши, внутри подбитые синим сафьяном, а на сафьяне блестели замысловато сплетенные серебряные монограммы.

— Что же вам угодно? — спросил я.

— Пан естесь поляк?

— Нет... А вы говорите по-русски?

— Говору.

И он стал объяснять, что он пришел в надежде, что я его земляк; если же он ошибся, то все же не сомневается встретить во мне доброго и отзывчивого человека, и т. д., и т. п.

— Хорошо, предположим. Но чем именно я могу служить?

В ответ он поклонился и протянул мне тетрадку.

— Ваш рассказ? Статья?

— Не статья и не мой рассказ, — отвечал он, — но вещь гениальная, как могут сочинять только наши варшавские поэты. То мой перевод. Прошу извинить.

Не помню, чей это был рассказ — Жеромского или другого беллетриста.

— Однако, что же мне делать?

— Я обращаюсь именно к вашей высокой протекции, — отвечал Висмонт, острым взглядом впиваясь мне прямо в глаза. — Мне кушать хочется. Иначе — оборони Боже! — я бы не стал беспокоить. Пристройте в «Наблюдатель» или же в «Ниву», либо в «Новь», — вам ничего не стоит.

— А вы переводили уже?

— Никогда в свете.

— Пробуете силы?

Я пробежал, не сходя с места, первую страницу рукописи и сказал:

— Ваш перевод, повидимому, никуда не годится. Не по-русски и безграмотно. Вы чем занимались раньше?

— Я прекрасно знаю польскую литературу.

— Но чтоб переводить, надо знать русский литературный язык.

— Очевидно, что так. Но я много трудился, кроме того, по сбору объявлений в Царстве Польском. Я также хорошо знаю Ригу. Але конкуренция довела меня, наконец, до минимума вещей. В таком случае я бы просил вас дать аттестацию в знакомую редакцию, где бы ваше слово открыло мне новую эру существования.

Я пожал плечами.

— Не знаю вас совершенно и затрудняюсь, как это сделать. Мне могут не поверить, тем более, что в этой отрасли я больше чем профан.

Г-жа У., не спускавшая глаз с молодого человека, небольшого роста, но с богатырскими плечами, вмешалась в разговор.

— Из «Биржевых Ведомостей» на-днях ведь получено предложение о перепечатке вашего романа. Может-быть, господин Висмонт взял бы на себя передать ваш ответ? И... кстати...

Висмонт прервал ее.

— Что за блестящая идея! Прошу, как знак особого доверия, поручить мне передачу.

Госпожа У. еще третьего дня должна была отнести в «Биржевые Ведомости» роман с моим разрешением. Теперь она нашла более удобным для себя разделить этот небольшой труд с господином Висмонтом. Нечего делать. Я написал Промперу и несколько строк о Висмонте.

Через неделю он явился с благодарственным письмом от Проппера за роман и за сборщика публикаций. В последние два дня в «Биржевых Ведомостях», в самом деле, замелькали объявления.

— Проппера я обязал, если он желает иметь хорошее дело, которое его бы кормило, отдать мне в полное распоряжение всю четвертую полосу, с куртажем в мою пользу, по крайней мере, шестидесяти процентов, — похвастал Висмонт и, махнув в воздухе раздушенным носовым платком, распространил такое благоухание, что госпожа У. чихнула.

Он оказался редким мастером по сбору объявлений. Легко было приносить объявления в газету, где было двадцать тысяч подписчиков; но газета господина Проппера, купленная им с аукциона за цену обыкновенных брюк, печаталась всего в пятистах экземплярах, в начале своего бытия. Что Висмонт, действительно, уже стал оперяться, свидетельствовали не только его пронзительные духи, но и щегольская трость с крючком в виде дамской ножки, украшенная дворянской короной на самом видном месте.

Висмонт стал довольно часто, а затем и ежедневно приходить и провожать домой госпожу У. Раз он дал мне понять, что он любит красивых женщин и что госпожа У., которая была хорошенькая, удовлетворяет его строгому вкусу.

Вскоре она стала его женой, а он — отцом ее девочки.

Перед отъездом моим в Киев я должен был сдать рукопись романа «Старый друг» Стасюлевичу. Последних листов долго не приносила госпожа У., она должна была переписать их начисто. Я отправился к ней, и уже не нашел ее на старом пепелище. Время, что я не видел ее, она употребила на устройство новой квартиры. Встретила она меня с самым счастливым выражением в глазах.

— Простите, мы вас не уведомили о нашем адресе. Мы хотели пригласить вас на наш свадебный вечер, но решили отложить празднование на осень. Взгляните и одобрите наше гнездышко!

Квартирка была небольшая и уже сравнительно хорошо убранная.

— Неужели публикация так много приносит, что вы в короткое время успели хорошо обставиться?

— Ну, разумеется, приносит. Рома работает день и ночь, но все, что вы здесь видите, взято пока в кредит.

Маленькая комната, куда меня ввела госпожа У., ныне госпожа Висмонт, называлась кабинетом. Не было, однако, в кабинете ни одной книги. На столе стояла великолепная пустая чернильница, а стены были сплошь увешаны рогами диких коз, лосей, зубров и женскими туфельками и ботинками самых разнообразных фасонов и величин.

— Зачем столько обуви, — спросил я, — неужели и это в кредит взято?

— О, нет! — с горделивой улыбкой произнесла молодая женщина, — это его трофеи. Рома большой любитель дамских ножек!

Впоследствии в книге моих воспоминаний мне не раз придется еще встречаться с фигурой Висмонта. Пока отмечу только, что его житейская карьера была неразрывно связана с благополучным прохождением по поприщу удач разного рода издателя «Биржевых Ведомостей» Проппера; и что, хотя они ненавидели друг друга, Висмонт считал, что Проппер ему всем обязан и что снижение куртажа его с шестидесяти на два процента должно быть приравнено к грабежу, — а Проппер — что и на два процента Висмонт ухитрялся жить, как князь, покупать драгоценных собак и даже имения, и что он, несомненно, обворовывал контору, — расстаться они все-таки не могли и шли об руку до конца, попутно обрастая шерстью, как матерые хищники, и щелкая зубами направо и налево. Проппер посмеивался над великосветскими ужимками Висмонта и над его тягою к титулам: он себе сочинил даже герб и приставил к фамилии частичку де, а Висмонт презирал Проппера за его плебейское происхождение и неуменье носить хорошо брюки и вообще быть представительною фигурою на бирже...

Вышло в свет, между тем, первое и единственное полное собрание моих повестей и рассказов в четырех желтых томиках во французском формате (двенадцатая доля), и я много получил денег. Успех издания побудил некоторых книжников спекульнуть на мне, и стали просить перепечаток моих романов для своих газет, для приложений, — Липскеров, Комаров, Каспари, — Панафидин издал серию моих романов — «заподлицо», как он выразился, с теми четырьмя томиками «полного собрания». Губин, издатель Михайлова-Шеллера, заглянул ко мне — седой, с рыжей бородкой и с жадными черными глазками. Он был, что называется, типичной книжной крысой. В цене мы с ним не сошлись. Шеллер передал мне отзыв его обо мне: «Молодые писатели, а уже зазнамшись».

Между прочим, был издан мною на очень хорошей бумаге рассказ «Город мертвых», появившийся предварительно в «Вестнике Европы». Было всего напечатано двести экземпляров, назначена

цена была высокая, а страничек было сорок, и меня поразило, что книжка разошлась в один день в магазине «Нового Времени».

— Как же тебе не зазнаться? — посмеялся Шеллер, приехавши ко мне и мельком сообщив, что осенью будет праздноваться его двадцатипятилетний юбилей.

— Ты вернешься в Петербург? — спросил он, видя мой чемодан, за которым приехал комиссионер, чтобы сдать его в багаж. — Конечно, вернешься? Литератор не может прожить без Петербурга!

На деньги, значительную часть которых я послал Марии Николаевне, я приобрел рояль, накупил других подарков и в великолепный весенний день, когда цвели вишни и зеленели тополя киевских высот, приехал домой.

ГЛАВА СОРОК ШЕСТАЯ.

1887.

Пустынею повеяло из закрытых окон нашей квартиры. Ничье лицо не мелькнуло за стеклами, когда экипаж въехал во двор. Извозчик внес за мною на лестницу вещи, я стал стучать у дверей, но долго я слышал за ними только плач ребенка. Наконец, щелкнул замок, и меня встретила молодая няня Яши, немка Матильда.

— Гутен таг, майн хер! — присела она.

—А Мария Николаевна дома? — спросил я, не доверяя предчувствию.

— Нет, Мария Николаевна, — объяснила мне немка, — уехала вчера в Одессу на лиман с Алексис Иванович и с Максим.

— Кто такой Алексис Иванович?

— Очень хороший господин, который за мальчиком ухаживает так преданно. У него там на юге много фрюкты, а Максим очень нездоров, он вообразил себя лошадкой и ходит на четыре ноги. Его надо купать в грязной воде.

— А, что же, телеграммы моей не получила Мария Николаевна?

— Она уже уехала, но я получила. О, как же, я получила!

Долго я ничего не мог сообразить, голова закружилась, я сел на диван.

— Идите к ребенку. Разве вы не слышите, как он плачет?

Неужели то, чего я ждал, но во что, однако, не верилось после наших прошлогодних объяснений, и что тлело под пеплом погасающего чувства, вспыхнуло и уже разрешилось?

В комнату вошел, шатаясь, быстро утешившись, голенький Яша. Он узнал меня и бросился ко мне на руки.

Никакого адреса Мария Николаевна не оставила. Только через несколько дней на имя Матильды пришло письмо. Мария Николаевна спрашивала, приехал ли я, и из распоряжений ее по хозяйству, адресованных няне и кухарке Анисье, занявшейся уже в отсутствии хозяев продажею разных продуктов, на ближайшем

рынке, для чего был пущен в оборот денежный запас, оставленный на стол Марией Николаевной — правда, небольшой, я имел право заключить, что жена не бросила дом и, может-быть, меня, и, во всяком случае, она еще связана семьей.

Читатель моих воспоминаний, сколько-нибудь интересуясь романом моей жизни, да не подумает, что я в чем-либо обвиняю Марию Николаевну и жалуюсь на нее. Может-быть, я сам гораздо более ее виноват: я не сумел удержать ее около себя. Мне все время хотелось жизни общественной, а она все более стремилась к замкнутой личной жизни. Ее романтическая натура рисовала ей картины непрерывного семейного счастья, ей нужен был вечный праздник любви, и она никак не могла представить себе, что труд писателя требует от него чего-нибудь другого, кроме мирного и сладкого воркования с избранной подругой. Красоту в жизни, в искусстве, в поэзии, которой она сама была не чужда, она понимала только совместно с любимым человеком. Неразделенный восторг, неразделенное поэтическое наслаждение, неразделенная радость, неразделенная улыбка уже огорчали ее; а с течением времени в ней разрослось то, что психологи называют «эгоцентризмом». Наши взгляды на многое, что делается в литературе, в политике, даже в науке, стали расходиться. Если мы начинали о чем-нибудь говорить, я должен был, во что бы то ни стало, во всем с ней согласиться, и непременно искренно. У нас никогда не доходило до грубой ссоры. Но уже давно мы начинали страдать от взаимного отчуждения, что проистекало, скорее, не в силу наших умственных несогласий, — впрочем, и логика у нас хромала в этом отношении, что была разной, — а из несходства наших подсознательных, органически строящихся, независимо от нашей воли и нашего ума, настроений и влечений.

Романтическая душа — (ей, например, прямо до смешного не нравились такие имена, как Иван, Гаврила и Степан, но она помирилась бы на Габриеле и дорого дала бы, как она шутя признавалась, чтобы я назывался Эдуардом), — все же она предпочитала сказке реальную действительность в пределах семейного кругозора; а мой романтизм не удовлетворялся этими пределами, он еще рвался к запредельности, к идеалам утопических философов, к поэтическим мечтаниям о лучшем будущем, о человечестве, которое уподобится радуге, слившей в своем сиянии все цвета света. Много было чарующего и обаятельного в глазах, в улыбке и во всех движениях, и в голове Марии Николаевны; и даже, когда мы разошлись совсем, я еще мечтал о вторичном сближении с ней и написал большой роман («Сердце скажет»), где изобразил наши отношения в придуманном, исключительно обвиняющем меня, близорукого, себялюбивого, и выставляющем ее, напротив, дальновидную и самоотверженную, в свете редкого душевного благородства.

Книга воспоминаний есть, однако, прежде всего исповедь. Автор их может иногда кое-что забыть, пропустить, может ошибиться

в дате или имени, в какой-нибудь мелочи, но беспристрастие и правдивость должны быть единственными руководителями его пера, потому что только при таких условиях его жизнь, хотя бы даже была она неглубока по сравнению с жизнями других людей, может дать понятие о пережитой им эпохе или эпохах и стать более или менее поучительной и исторически ценной.

Пришел рояль. Я его поставил в комнате Марии Николаевны. Мне казалось, что прислуга с некоторым соболезнованием следила за мною, когда я убирал эту комнату в ожидании возвращения Марии Николаевны, которое должно было последовать по истечении лечебного сезона, т.-е. приблизительно еще через месяц. От нее я получил два дружеских, но холодных письма. Об Алексее Ивановиче, о котором я так и до сих пор не знаю, кто он такой, и с которым, я уверен, у жены не было любовного романа, она писала, как о человеке ей необходимом на лимане: он водил Максима гулять, он торговался в ресторанах, заказывая особые диэтические обеды для ребенка, он предупреждал разные курортные неприятности, устраивал развлечения, он возил мать с ребенком в арендуемый им в Крыму небольшой виноградник, катал их по морю на яхте. Он предложил уплатить все расходы по счетам, которые подавали Марии Николаевне, и она пришла в умиление от его доброты, но твердо отказалась.

Приехала она из Одессы недели за две раньше — так же неожиданно, как и уехала. Удивительно похорошела, и поздоровел ребенок. Загар к ней не пристал, но Максим стал черен, как цыганенок.

— Имейте в виду, — сказала мне Мария Николаевна, — что я чрезвычайно благодарна вам за рояль, но я смотрю на этот подарок как на дружеский — как на память о прошлом. И, вообще, вы наговорили мне, как только увидели меня, столько любезностей и похвал моей наружности, что я испугалась, и, смотрите, как бы вы не изменили кому-нибудь ради меня. А потому, чтобы вам быть подальше от греха, я бы советовала вам завтра же тоже уехать на лиман — там великолепно! Вы какой-то желтый и худой, вам тоже надо поправиться.

Она закрыла дверь от меня на весь день, как только кончился наш обед, прозаический и молчаливый, и поэтому невкусный, и я, чувствуя себя обиженным, возбужденный и негодующий, пошел передохнуть к своему старинному университетскому товарищу, поэту Ивану Петровичу Иванову, котрый переводил поэмы Славацкого для «Отечественных Записок».

У меня было желание посоветоваться с другом, что мне делать; но какая-то гордость или ужас перед этим процессом разоблачения сковали мне язык. Я только сообщил Иванову, что из Одессы вернулась жена с мальчиком, а что завтра или послезавтра поеду я.

— Что так скоро? — вскричал Иванов. — Ну, да, тебе известно? Ты удираешь?

— Что мне известно? — в ужасе спросил я. — Кто тебе сказал?

— А писарек — пьянчужка в роде меня. Он двоюродный брат Гришки.

— Любопытно, что же он тебе мог сказать?

— Прости, я давно хотел тебя предупредить, да ты не являлся несколько дней, а я сам тяжел на подъем, но если тебе известно, то прими, пожалуй, меры на всякий случай. И едва ли так серьезно.

— Да ничего мне неизвестно! — возразил я.

— Ну, так вот. Писарек занимается в канцелярии генерала Новицкого, и над тобой, как ты только приедешь из Петербурга, приказано иметь строгое наблюдение на предмет. . . . . . уж не знаю чего. . . . высылки, что ли.

— Высылки?

У меня отлегло от сердца.

— Ну за что же?

— Чорт вас знает! Почему я знаю, за что. Ни за что. Хочешь, я писарька этого сейчас позову, и он за штоф водки пропьет генерала Новицкого со всей его канцелярией?

Мои политические прегрешения в общем были ничтожны, в смысле активности, до того, что я, перебирая в памяти всё содеянное мною за последнее время, мог остановиться только на вечере, проведенном мною за Днепром в Николаевской Слободке вместе с наборщиками, старыми моими приятелями по «Киевскому Телеграфу». Группа их, человек в двадцать, с несколькими курсистками и студентами нарочно уединились за город, чтобы выслушать мой доклад о последних политических процессах в Петербурге и о том, что пишется в эмигрантской литературе.

Откровенно сказать, я не без некоторого трепета сделал доклад, по возможности, в умеренных тонах. К тому же, я сознавал его неудовлетворительность, потому что многого и сам не знал, а те лица, от которых я мог бы почерпнуть более подробные сведения, исчезли с лица земли, или их гноили уже в тюрьмах и на каторге.

— Эх, ты, — пожурил меня Иван Петрович, когда я ему рассказал о Никольской Слободке, — младенец! Брал бы с меня пример, — он указал на опустевший до половины графинчик, — поверь, меня никогда не арестуют. В вине есть блуд, но и благонамеренность, или, я бы сказал, благоблудие.

Задребезжало стекло с улицы.

— «Под окном в тени мелькает русая головка», — пропел, осклабившись, Иванов и замахал рукой.

— Дома, дома. Всегда дома!

И продолжал:

— «Ты не спишь, мое мученье». . .

В комнату через минуту впорхнула опрятно и почти нарядно одетая молодая особа с румянцем во всю щеку, сероглазая, смею-

щаяся, с густыми светлыми волосами, с цветком в руке, и, слегка картавя, вскричала:

— Что же вы, милостивый государь, добыли мне пропуск?

— Вы бы еще закричали — куда и для чего. Я же не один.

— Я же вижу, кто у вас.

— Ладно, познакомьтесь: Ольга Михайловна Аренкова, дочь одесского хлебопромышленника, вдова российского офицера и сестра политического преступника. Ты понял, какой пропуск я должен был ей раздобыть? По всей вероятности, сия особа забыла, что я судебный следователь на службе его величества и принес ему в свое время всеподданнейшую присягу всемерно искоренять крамолу.

— Полно гаерничать!—махнула на него цветком Ольга Михайловна. — Я ночей не сплю, а он про всеподданнейшую присягу.

— Ей-ей, у меня душа уже в пятки ушла, — сказал Иван Петрович и стал ходить по комнате взад и вперед.

— Сие дело треба разжуваты, — заключил он, сел и сразу выпил две рюмки водки.

— У, противный пьяница! — произнесла Ольга Михайловна. — Зачем было обещать?

Но Иван Петрович уронил свою курчавую голову на обе руки и сделал вид, что опьянел. Или на самом деле осовел. Я толкнул его.

— В сад пойдем?

— Ты хочешь?

— Не хочу.

— И я... мм... не хочу.

И он захрапел.

Дворник Гришка, обожавший Иванова за веселонравие и щедрость, явился кстати, чтобы оберечь его и допить водку, а Ольга Михайловна сделала мне знак головой.

Мы вышли. Было сумрачно. На западе только-что догорела заря.

— А вы бы не могли пойти со мною завтра в тюремный замок и как-нибудь продвинуться со мною к решетке, будто вы мой родственник... и все, наверное, знают... авось, по личному впечатлению пропустят. А?

Я вспомнил, о чем предупредил меня Иван Петрович.

— Что ж, каши маслом не испортишь, — сказал я вслух. — Хорошо, я согласен. С удовольствием помогу вам. Авось.

Ольга Михайловна стала горячо благодарить меня.

— Я зайду за вами завтра. Отпрошусь со службы. Я в правлении железной дороги служу. Но где же вы живете?

— Вот, через несколько домов: за тем кварталом.

— Я провожу вас, можно? — И сама ответила: — Даже должно.

Мы прошли несколько шагов, разговаривая об ее брате.

ГЛАВА СОРОК СЕДЬМАЯ.

1887.

Недалеко от ворот стоял извозчик. Из калитки вышел актер Иванов-Козельский, знаменитый в то время провинциальный трагик, игравший в шекспировских драмах и трагедиях, по отзывам провинциальных критиков — наследник Мочалова с темпераментом военного писаря. Он, впрочем, и был когда-то военным писарем. Талантливая российская натура, и, в промежутках между спектаклями, горький пьяница и Дон-Жуан. Его легко было узнать при свете луны.

Была упоительная теплая ночь.

— Смотрите же, не забудьте, завтра я вас буду ждать с ужином, — услышал я женский голос — голос Марии Николаевны.

С Козельским я лично знаком не был, но он оказался знакомым Ольги Михайловны и, садясь на извозчика, раскланялся с нею с пьяной грацией.

Пролетка покатила, из калитки выглянула Мария Николаевна. Как раз с луны слетело облачко, и мы и Мария Николаевна очутились друг против друга в ярком луче серебряного света.

Точно так же, как Иванову-Козельскому Мария Николаевна, сказала мне Ольга Михайловна:

— Ну, так до завтра — до утра... смотрите же, не забудьте.

Она быстро повернулась и ушла, а я почувствовал на себе гневный взгляд пары прекраснейших в Киеве глаз.

— Скажите, пожалуйста, — начала Мария Николаевна, с небывалой до сих пор раздражительностью в голосе: — это что же за особа?

Я хотел взять под руку Марию Николаевну, но она отдернула руку.

— Не прикасайтесь ко мне.

— В таком случае позвольте спросить вас, а это что за господин, которого вы приглашаете к себе на ужин? Кажется, следовало бы пригласить и меня.

Никак не ожидал я: Мария Николаевна сделала тут же, еще во дворе, нехорошую мне сцену. К загадкам женской психологии относится, между прочим, эта странная двойственность души: — женщина уже разлюбила, а все-таки продолжает, заявляя об этом отвергаемому мужу, ревновать его даже в грубой форме. Или это желание выгородить себе еще бо́льшую свободу, или это еще остаток прежнего чувства?

Я шел и недоумевал. В комнатах Мария Николаевна совсем разнервничалась.

— Возьмите ваш рояль, я не прикоснусь к нему. Подарите его вашей новой возлюбленной! — кричала она.

Комично было бы оправдываться.

— Но, если она придет завтра к вам, — продолжала Мария Николаевна, — я велю ее вышвырнуть с лестницы.

— Вы этого не сделаете! — громко и холодно сказал я.

— Я это сделаю! — заявила Мария Николаевна и ушла, хлопнув дверью.

Утром, впрочем, она равнодушно встретила Ольгу Михайловну и даже приказала Анисье подать нам завтрак в кабинет.

Но завтракать было некогда.

В тюремном замке офицер, переговорив со смотрителем, долго сносился по телефону с Новицким, и только часа через два неприятного ожидания было разрешено ей и мне, выдавшему себя за родственника покойного мужа Ольги Михайловны, свидеться с политическим арестантом Аренковым.

Сравнительно недавно этот Аренков служил земским врачом, не помню в каком уезде, в Петербургской губернии; он благополучно вернулся из Сибири, где отбыл наказание. Но тогда, в 80-х годах, каждый заключенный имел основание ожидать, что ему уж нет возврата.

Аренков был юноша, и мне приятно вспомнить, что тем не менее он, разговаривая со мной через две решетки, не унывал, вел себя бодро и посылал сестре воздушные поцелуи. То, что было захвачено нами по дороге в магазинах и что не было исключено из списка дозволенных предметов, смотритель обещал передать по назначению.

— У нас нет варварства, мы не тираны, — уверял он, — мы, по возможности, бережем молодых людей. Они еще сделаются полезными гражданами, — пророчествовал он. И, прищуривая один глаз, признался вполголоса: — Когда-то и я читывал «Колокол» Герцена и стишки Полежаева... был и я тово...

Прошло несколько дней. Почти каждый день Ольга Михайловна бывала у брата и через неделю объявила мне, что поезд с политическими отходит завтра, во столько-то часов. Их направляют в пересыльную тюрьму. В числе прочих едет, конечно, и брат.

— Он передал мне, что политические желали бы видеть в числе провожающих и вас.

Иван Петрович ждал от этих проводов беды для меня. Однако, проводы состоялись мирно, и я отметил их в маленьком очерке, вошедшем в собрание моих рассказов («Семидесятые годы») под тем же названием. Было это трогательное зрелище. Как на картине Ярошенко, арестанты смотрели сквозь решетчатые окна на платформу, а молодые люди, как голуби, стояли группами на платформе, и солнце освещало всё и всех — и революционеров, и жандармов, и генерала Новицкого, вышедшего из первого класса, где он завтракал.

Он скосил глаза в мою сторону и что-то приказал своему адъютанту.

Тот через некоторое время любезно приблизился ко мне с рукой под козырьком.

— Вас мы просили бы не произносить никаких напутственных речей отъезжающим и затем, простите, пожалуйста, за нескромность, не можете ли вы осведомить нас, когда вы сами намерены уехать из Киева?

— Что вас так интересует мой отъезд? — спросил я.

— Мы не хотели бы замарать штемпелем ваш паспорт и огорчить вас.

Тем временем пробил второй звонок. У вагонов сгрудилась публика. Водворилось глубокое молчание. Вдруг поспешно и необычно громко забил третий звонок, и поезд двинулся. Вслед за ним по платформе двинулась молодежь, потрясая шапками, колыхались многоцветные зонтики, воздух прорезался женским плачем. Это рыдала Ольга Михайловна.

ГЛАВА СОРОК ВОСЬМАЯ.

1887.

— Когда же вы уедете? — неоднократно спрашивала меня Мария Николаевна.

А я в самом деле сбирался. Я только колебался между имением Василия Петровича Горленко, Ярошенко и Одессой, то-есть лиманом, куда меня тянуло не потому, что Мария Николаевна советовала лиман, а потому, что она там только-что была, и мне хотелось взглянуть, хотя бы издали, на Алексея Ивановича, который, по ее словам, там проживает по каким-то торговым делам своим, а пожалуй, может-быть, и поговорить с ним и поссориться.

Ничего не скрываю. Было и это. Легко писать романисту о себе в третьем лице. Но когда книга воспоминаний является вместе с тем и романом жизни их автора, то, правду сказать, писать трудно. То и дело спрашиваешь себя: а что если это исключить, потому что это ужасно личное? Но тогда, если исключить, нет исповеди, а есть какое-то лицемерное умолчание...

Я взял билет до Одессы, и последний вечер провел со своими крошечными сыновьями.

Заходило солнце, кидало на паркет оранжевые пятна золотого света, а детишки кувыркались по ковру и щебетали, подражая птичкам, бросились ко мне, хотели стащить меня с дивана, и в особенности забавен был еще не твердо державшийся на ножках Яша.

Внезапно вошла Мария Николаевна, забрала детей — им надо было уже спать — и в дверях напомнила мне, что вещи мои еще не уложены, и что мне поможет Матильда, которая ожидает приказаний.

— Вещи я сам уложу, — сказал я и пошел к Ивану Петровичу.

— А ты знаешь, — сказал он мне, — я-таки был тогда на вокзале и видел, как ты хотел говорить, да тебя остановил жандарм. Я, разумеется, сейчас же удрал, но пари держу, что Новицкий меня тоже заметил и на ус меня намотал. Как ты полагаешь, вместно ли мне, судебному следователю, с тобой теперь в публичном месте показаться?

— Я и не собирался с тобой итти на «Минеральные Воды».

— Впрочем, ничего, — сообразил Иван Петрович со смехом.— Есть тут другой садишка, мы туда двинем. Там водка хорошая, и какая там, брат, девочка служит, как поет, если в отдельном кабинете!

Вяло прошел час с Иваном Петровичем. Выпил он при мне графинчик водки, признался у меня на груди, что он пропил свой талант — сколько таких признаний пришлось мне уже слышать в литературном мире! — и что он по «уши врезался» в новое божество, в эту очаровательную прислужницу, которая, однако, всем улыбается, но недоступна, и до нее как «до звезды небесной далеко».

Я потому упомянул, между прочим, об этой девушке, тогда совсем молоденькой, что она впоследствии в Петербурге прославилась как певица под именем Вяльцевой.

Рано утром я уехал в Одессу.

Ольга Михайловна дала мне письмо к своим родным, которые указали мне на Большой Фонтан, где стоит монастырь, а при монастыре есть гостиница с дешевыми номерами и со столом.

Тянуло на лиман, но когда явилась полная возможность побывать и, может-быть, встретить Алексея Ивановича, неведомого, таинственного и что если несуществующего или, пожалуй, сочиненного, я почувствовал отвращение к разведке, устыдился самого себя и весь отдался тоске одиночества и несказанным чарам Черного моря.

Возвратившись в Киев, я не сразу приехал домой, а остановился у Иванова. Побывал у Новицкого, и тот самый адъютант, который посоветовал мне выезд из города, расшаркался передо мною и своим сахарным голосом сказал мне, что, пока не оформлено это «чисто дружеское» предложение, я, разумеется, могу считать себя свободным, не торопиться и употребить, сколько мне надо времени, на ликвидацию моих дел в городе.

— Мое служебное положение не позволяет, а то я охотно приобрел бы сам кое-что у вас из мебели и из картин.

Наступил решительный момент.

Дома я Марию Николаевну опять не застал. Она уехала в Нежин, и рано утром, когда я только-что оделся, вошла ко мне в дорожном ватерпруфе и, стоя в дверях, начала таким мертвым голосом, каким в старину говорили крепостные барыни, перечисляя слугам их вины, прежде чем отправить их на конюшню.

— Ложь! Я не люблю других! Это вы можете любить других. Я люблю другого! Я люблю его с детских лет. Я отдалась вам, потому что увлеклась возможностью уйти из родительского дома, где трудно было переносить деспотизм матери и сухость ее сердца. В сущности, она свела нас в надежде на ваши средства, ей казалось, что вы богаты. И, пожалуй, мы были такие нищие. Еще, если б вы не уезжали в Петербург каждый сезон и не бросали бы меня одну. Разве вы не могли бы продолжать скромно работать в лоне семьи?

И т. д., и т. д.

Мария Николаевна умела говорить книжно, и прежде это всегда случалось, она впадала в этот напыщенный тон, когда выражала мне какое-нибудь неудовольствие. Бедняжка величественно поднимала при этом голову и старалась смотреть на меня сверху вниз.

Легкая улыбка невольно пробежала у меня по губам.

— Ну, так вот! — гневно, повышая тон, продолжала она. — Я люблю его — и еще сегодня была в его объятиях, и поклялась быть верной ему женой. Я люблю Эдуарда Шанца.

— Не смешите меня, Мария Николаевна.

— Вам смешно, а я говорю священные для меня слова. Я в высшей степени говорю серьезно. Я его люблю, а вас не люблю, хотя вы и обладаете такими достоинствами, которых у него нет. Еще потому не люблю, что, кажется, я вас и не любила. Понимаете, я притворялась.

— Хорошо, так в чем же дело, Мария Николаевна?

— От вас я имею детей. Я заберу с собой. Они должны быть при мне, пока они маленькие, а когда подрастут, вы возьмете их к себе и воспитаете. Но до тех пор вы должны высылать мне деньги на них. Для вас было бы унизительно, надеюсь, если бы на их содержание стал тратиться мой муж.

— Вы правы, Мария Николаевна. Что же дальше?

— На первых порах я найму отдельно себе домик с садом... я уже насмотрела, но мне нужна обстановка...

— Кстати, Мария Николаевна, я перешлю в особом вагоне, так что не будет поломки, решительно всю нашу обстановку: посуду, рояль, большую часть книг, картины, которые вы любите.

— Благодарю вас. Я возьму для детей. Вы безалаберный человек, но я не сомневалась в вашей доброте, может-быть, именно потому, что вы безалаберный. Нужны деньги также на отъезд. Я не хотела бы, чтобы Эдуард тратился на меня, пока я не повенчалась с ним.

— Деньги есть. Я вам дам денег.

Мария Николаевна смягчилась. Кажется, она ожидала вспышки и мстительного порыва с моей стороны.

— Я пришлю вам детей. Проведите с ними день, пусть они помнят вас. Скажите, — она села на диван, — вы, приехавши, до

сего дня ссорились со мною. Хорошо, все равно, не ссорились — но что-то в этом роде.

— Вы сами избегали меня.

— Положим, я виновата. Нам незачем быть врагами, когда мы можем расстаться как друзья. Вы не сказали мне, как в Петербурге живут мои сестры и мать. Вы посещали их?

— Посещал, и они часто бывали у меня. Сонечка служит кассиршей в магазине, и мать живет фантазиями, бродит по улицам и с утра до вечера ищет денег. Нашла три копейки и бережет на счастье. Познакомилась во время своих исканий с другой старухой, которая ходит по адвокатам, чтобы предъявить иск северо-американскому правительству, так как ей принадлежит штат в Сиерра-Невада. Половину штата она из дружбы обещала подарить матери. На деньги, которые я дал, они купили великолепное трюмо и через неделю продали за пустяки. Маленькая Леночка добывает деньги надвязкой чулок.

— Довольно! — сказала Мария Николаевна, вскакивая с дивана. — Мне и без того на душе тяжело.

— Послушайте, — начал я, — можно было бы поставить крест на весь наш разлад.

Но она не дала мне договорить.

— Никогда! — вскричала она.

— Значит, я прикажу упаковывать мебель для вас?

Она кивнула головой, сделала было ко мне движение, пересилила себя и исчезла.

Через каких-нибудь два дня в квартире нашей лежала только куча сена, стояла моя железная койка, письменный стол и два стула. Я проводил детей и Марию Николаевну с прислугою, усадил в вагон и вернулся к себе с каким-то странным чувством облегчения.

ГЛАВА СОРОК ДЕВЯТАЯ.

1887 — 1888.

Последняя глава, посвященная, как и некоторые предыдущие, моей личной жизни, моему былому счастью и моим несчастьям, моим интимным переживаниям, может быть и не прочитана. Эти страницы я не выбрасываю только потому, что из песни слова не выкинешь, и потому еще, что если бы я их выбросил, то мне показалось бы, что я выбросил часть своей души. Меньше всего, конечно, я хочу себя оправдать в непостоянстве моих сердечных привязанностей и взвалить вину за непрочность моей связи с такой прекрасной женщиной, во многих отношениях даже замечательной и внушавшей всем знавшим ее глубокое уважение, на нее одну; она отличалась природной одаренностью и несомненным литературным талантом; я бы, именно, просил читателя, который пожелал бы познакомиться ближе с этой стороной моей биографии, пристальнее вникнуть в смысл наших отношений, таких ярких, таких, долгое время, возвышенных, таких радостных и так плачевно угасших.

Беспристрастно взвешивая факты прошлого, уже лежащие в могиле, я должен принять, скорее, бо́льшую часть вины на самого себя. Конечно, возможно, что семейное счастье в ближайшем, или в более или менее отдаленном, будущем станет выражаться в совсем других формах и, во всяком случае, в иных, чем оно выражалось в восьмидесятых годах в среднем обывательском кругу — даже в литературном — даже в высокоинтеллигентном. Но с точки зрения будущего судить прошлое едва ли справедливо. Таким образом, я бы должен был не доводить до крайности свою «снисходительность» по отношению к поведению Марии Николаевны.

Как потом, через несколько лет, она в письме, исполненном трагизма и раскаяния, писала мне из Нежина в Петербург, мне следовало бы удержать ее и не делать ей уступок. Это правда. Не было ли тут умысла? Не даром же я подчеркнул несколько строк назад, что, расставшись с Марией Николаевной, т.-е. с тяжестью наших недоразумений и взаимных попреков, я испытал «какое-то странное облегчение». Для меня кабинетная литературная работа и вращение в литературной сутолоке по целым месяцам в самой кузнице идей и журнальных событий было дороже мирной жизни в спокойном провинциальном городе в объятиях очаровательной женщины.

В том письме, где было столько позднего раскаяния и которое я много лет еще спустя не в состоянии перечитывать без волнения, Мария Николаевна, отмечая, что она разочаровалась в «другом» и прогнала его, в конце-концов говорит, что она сделала это, потому что он не выдержал сравнения со мною.

Я приехал в Петербург с грузом тяжелых мыслей в сердце и написал роман «Свет погас». Не помню, где он был напечатан. Должно быть, в «Наблюдателе».

Начались литературные вечера, концерты, спектакли, визиты. Прошел мирно, домашним порядком, но сердечно и, пожалуй, пышно двадцатипятилетний юбилей Шеллера.

В небольшую квартиру его с утра набилось много друзей, гостей и поклонников. Ему были поднесены серебряные и золотые подарки и, как водится, адреса. Вечером стали сходиться с ним на «ты» даже сравнительно малознакомые люди. Один из них, перед тем считавший за честь прикоснуться к руке этого писателя, как только допущен был к тыканью, хлопнул его по лысине и, обнимая, сказал:

— Ну, поцелуемся же, сукин сын!

— Вот, уж никак не ожидал, что на старости лет на моем юбилее удостоюсь такой фамильярности от человека, который до

того ошеломил меня, что я сгоряча забыл даже, как его зовут! — сказал Шеллер, оставшись в кругу близких друзей. — Что за удивительный русский обычай!

На юбилее Шеллера утром был, между прочим, Минский, уже расставшийся с Юлией Безродной. Он спросил о Марии Николаевне. Я ничего не ответил.

За юбилеем Шеллера последовал вскоре и пятидесятилетний юбилей Майкова, торжественный, прекрасный и холодный, как вся поэзия Аполлона Николаевича, с поздравлениями от академических организаций, с награждением свыше, с пышными речами и с классическою декламациею юбиляра. Сердечнее прошел сорокалетний юбилей Плещеева, либеральный, лирический и без особой пышности. Не было такой речи и такого приветствия, в котором хоть однажды не было бы слова «свобода». Кто-то упомянул, однако, о Петрашевском. Легкий шелест испуга пронесся по рядам поздравителей. Оратор смял речь и закончил ее общими фразами.

Через несколько лет после этого торжественного дня Плещеев получил миллионное наследство. Был он в родстве с каким-то патриархом времен Алексея Михайловича и случайно оказался старшим в роде. К нему в порядке преемственности и перешло плещеевское богатство. Салтыков-Щедрин сказал как-то:

— Алексей Николаевич (Плещеев) пропил уже одно состояние на содовой воде и разорился на лимонаде. С такой ненасытной жаждой и с таким брюхом, похожим на губку, он не задумается, пропьет и миллион, если получит.

На первых порах Плещеев довольно щедро раздавал друзьям по тысяче и больше. Кое-что досталось и на долю Петра Исаича Вейнберга, тоже большого либерала. Как были утопические социалисты, так были и утопические либералы. Петр Исаич был певцом такой утопической свободы. Кто ее тогда не хотел? И губернаторы, мечтавшие, в роде черниговского Анастасьева, о неограниченной свободе сечь крестьян и вообще по усмотрению — всех неблагомыслящих, и помещики, и ростовщики. Растяжимое было слово, а потому и терпимое цензурой.

Поселился я в квартире на Бассейной в доме Гербеля, составившего себе состояние переводами классических писателей.

Потянулись — не скажу, чтобы очень скучные—недели, месяцы, годы, наполненные литературной работой, поездками то в Москву, то в пригородные местности, коллекционированием редких книг, рисунков и офортов, посещением театров, клубов, выставок, добыванием денег для отсылки детям, для друзей, цену дружбы которых я знал, но которым не мог отказать при виде нужды, одолевавшей их.

В Москве я познакомился, поехавши туда на несколько дней по литературному делу, с двумя фельетонистами: с Дорошевичем и с Амфитеатровым. Дорошевич жил в меблированной комнате, еще худенький, длинноносый молодой человек, прославившийся уже своими остроумными фельетонами.

Дорошевич был сыном московской бульварной романистки Соколовой. Повидимому, он не получил никакого воспитания, и история великих людей застает его уже в шестнадцать лет писцом в полицейском участке. Раннее столкновение с жизнью в ее уличных и полицейских отображениях кладет свою печать на душу будущего писателя. Он весел, игрив, за словом в карман не лезет, если нужно, скажет дерзость, а не то многозначительно промолчит, что иногда бывает красноречивее слов.

Отсюда у него вырабатывается стиль, состоящий из коротеньких в одну или пол-строчку фразок, нередко колючих, как иголки. События дня и даже минуты для него имеют прелесть и занимательность только до событий следующего дня. Есть существа в природе, которые живут, только пока заходит солнце. Но ничто не сравнится с жизнерадостностью их танца в сиянии умирающего солнца. Дорошевич был такой эфемеридой.

Та девушка, которая славилась своей красотой в Киеве и способностью нежно сближаться только с теми, кто ей нравился, а нравились ей многие, как и она многим, и с которой Бибиков списал героиню «Чистой любви» (Михайловский похвалил роман), очутилась уже в Москве и жила с Дорошевичем. Сожительство, впрочем, было непродолжительное. Дорошевич не признавал еще длинных фельетонов и не писал еще больших книг, в роде книги о Сахалине. Со мной он был немного застенчив, пригласил взять экипаж и поехать всем вместе в какой-то сад, но мне было некогда, я был нерасположен и отказался. Во всяком случае, мы расстались приятелями.

В «Лоскутной» гостинице у Иверских ворот я застал у себя Амфитеатрова.

— Я только-что приехал, пообедал в ресторане и, узнав, что вы здесь, зашел к вам, — начал он. — Хорошо, что мы с вами не разминулись в коридоре. Я целый день езжу на своей лошади, потому что не могу терять ни минуты. Уйму зарабатываю и столько же проживаю. В конце концов долги. Время — деньги, совершенно верно. Но как вы поживаете, что пишете, что намерены делать в Москве, для чего приехали? Что вы думаете о «Новостях Дня», о «Московском Листке», о «Русском Обозрении» князя Цертелева? Когда вы уедете обратно в Петербург?

Он забросал меня вопросами. Мы вошли в номер, я смотрел на него, на его коренастую высокую фигуру молодого человека со втянутою в плечи шеею, близорукого и, тем не менее, всё, казалось, видящего и крайне наблюдательного.

— Ах, закис я в Москве, — начал он. — Провинция-матушка! Хотелось бы на голубятню, на колокольню, чтоб кругозор был пошире. Но позвольте спросить, вы знакомы с моими фельетонами?

— Мне присылают «Новости Дня».

— Не спрашиваю у вас мнения. В глаза трудно сказать. Однако, я пишу иначе, чем Дорошевич; во всяком случае я пишу серьезнее. Для большой газеты! А «Новости Дня» уже не для меня, будем прямо говорить!

Он рассказал мне, что был певцом, что мечтает о романе, о драме, что владеет стихом, что отец его — протопоп. Повез меня к себе, угощал, познакомил с своей женой, уже немолодой, бывшей артисткой, был удивительно словоохотлив и всё тосковал о большой газете, всё тянуло его в Петербург.

При встрече с Сувориным через несколько недель в «Литературном Обществе» я рассказал ему об Амфитеатрове в ответ на его жалобу, что он не может найти хороших фельетонистов.

— Чорт их дери, я позволил бы им писать что угодно, лишь бы они не трогали меня; да и меня пускай хватают за икры, но не ссорятся с Бурениным; а то ведь полемика внутри газеты хоть может быть и занимательна для публики, но я еще пока не хотел бы допускать.

Суворин всем писателям, которых он приглашал, говорил приблизительно эти же слова и обыкновенно заключал:

— У меня не газета... Вы хотите вместе с Салтыковым подсказать: а «чего изволите»? Но, если серьезно посмотреть, то не «чего изволите», а литературный парламент.

Амфитеатров заинтересовал Суворина, во всяком случае, и зимой я увидел в «Новом Времени» фельетоны, подписанные псевдонимом old Gentleman.

«Серьезный элемент» из «Новостей Дня» перекочевал в «Новое Время».

Ничем я так себе не повредил в либеральном лагере, как напечатавши, о чем я уже упоминал, несколько небольших рассказов, «чтоб Чехову не было одиноко», в органе Суворина. Некоторое время спустя ко мне приехал Суворин вместе с Чеховым и предложил постоянное сотрудничество. Условия, что называется, были блестящие.

— У вас темперамент, задор. Вы можете писать каждый день сколько хотите. Такой сотрудник «Отечественных Записок» как Сергей Атава у меня пишет, что ему взбредет на ум, а иногда и целый месяц ничего не пишет, и великолепно обставлен. Ваши сочинения потребуют со временем полного издания, и я буду вашим издателем. Все это вы должны принять в соображение. А либералы вам все равно хвост уже прищемили, и еслиб вы знали, чьи статьи печатаются в «Новом Времени» как передовые, в защиту православия! У меня лежит сейчас подлинная рукопись, под псевдонимом, которую я не счел возможным напечатать, и которая принадлежит вашему хваленому киевскому философу - атеисту К. Давайте для опыта, напишите что-нибудь маленькое, фельетонное, самое что ни на есть радикальное, и пришлите мне. Даю слово, напечатаю без изменений.

В самом деле, я послал заметку полемического характера против «Нового Времени». Суворин сдержал слово и напечатал, а на другой день поднялась такая буря в «Новом Времени», что о дальнейшем преображении «Нового Времени» в литературный парламент Суворин уже не помышлял.

— Нелюдимо наше море, — пропел Сергей Атава своим тоненьким голосочком, столкнувшись со мною во фруктовом магазине. — Вы счастливо отделались. Теперь житья вам не будет, а меня засосало, поглотил кит и не на три дня, а переварит меня и не изблюет во-веки.

На Бассейной в доме Гербеля меня посетили и стали у меня бывать, а я у них, юные супруги Мережковские. Ей было тогда около семнадцати лет, а ему, должно-быть, немногим больше двадцати.

Лет семь или восемь перед тем критик Введенский принес мне его стихотворения, написанные в неприемлемом стиле Жуковского. Они были гладки и сладки, но уже видно было, что из него выйдет писатель. И, действительно, он довольно скоро выработался и стал разносторонней литературной силой — и романистом, и стихотворцем, и критиком, и философом.

Зинаида Николаевна Мережковская, урожденная Гиппиус, была прехорошенькой девочкой, в коротеньких платьицах, с длинной русой косой, наивная и кокетничавшая своей молодостью.

С мужем, в ожидании гостей, она ложилась на ковер в гостиной и увлекалась игрою в дурачки или же являлась с куклою-уткой на руках. Утка эта должна была символизировать разделение супругов, считавших пошлостью брачную половую связь.

Мережковские завели у себя журфиксы, на которых бывали: неизбежный Бибиков, поэт Андреевский, Фофанов, Плещеев, Волынский, Кавос («литературный гость»), Минский, и впервые появился со своими стихами на литературном горизонте еще не печатавшийся Тетерников (Федор Сологуб).

Дам Мережковская не признавала. Исключение делалось только для Соловьевой-Аллегро. Бывал также брат Мережковского, потом казанский профессор, прославившийся своими изнасилованиями крохотных девочек и бежавший за границу. Тетерников служил учителем и смотрителем городской школы на Васильевском Острове, где имел квартиру; женат он не был и жил с сестрой, был уже сед. Приютил его у себя «Северный Вестник», напечатавший его рассказ «Тени». Содержание «Теней» понравилось критике; Венгеров восторгался, а состояло оно в том, что мать, делая из пальцев зайчиков на стене своему ребенку, сама проникается суеверным ужасом к игре теней и сходит вместе с сыном с ума.

Волынский, редактор «Северного Вестника», стал печатать также и рассказы Гиппиус, поощряя молодое дарование.

У Мережковских бывало молодо, литературно и как-то декадентски весело и странно. В темноватой гостиной на письменном столе Зинаиды Николаевны попадались иногда крайне неприличные заграничные издания.

— Зинаида Николаевна! — вскрикивал Андреевский. — Это что же у вас за книжки?

Она перелистывала их, точно в первый раз, и говорила:

— Но это мне очень нравится, потому что оригинально и нелепо.

Кавос, обыкновенно, лежал у ее ног на ковре со страшной экземой на лице, которое казалось густо осыпанным пудрой, неизменно веселый, с французскими фразами на устах и остроcловный. Сологуб читал, слегка картавя, стихотворения с философским содержанием, Минский также читал свои поэмы, и вопил Фофанов, с безумным восторгом рифмуя свой триолет, который отличался от обыкновенного триолета тем, что растягивался чуть не на триста стихов.

Однажды Фофанов пришел к Мережковским на вечер в огромном белом воротнике, резко выделяющемся на черной блузе. При ближайшем рассмотрении воротник оказался вырезанным из бумаги. Смешное и жалкое впечатление производил он в этом костюме; но он был вдохновенно настроен, так что впечатление это скоро изгладилось. Мережковская затем выдумала игру, повинуясь своему резвому темпераменту девочки. Она пряталась за опущенные портьеры в амбразуре глубокого окна и вызывала поочередно к себе гостей, словно на исповедь, которая продолжалась не больше полуминуты. Она что-то спрашивала и надо было ей что-то ответить. Детская игра эта была прервана внезапным криком Фофанова, который с выпученными глазами выскочил из-за портьеры и ринулся прямо в переднюю и на лестницу. Бибиков погнался за ним. Фофанов, одним словом, внезапно сошел с ума и явился к Репину. С большим трудом Репину и Бибикову удалось проводить его домой, но на другой день он уже был в больнице чудотворца Николая. Долго просидел он там и вышел на свободу лишь через несколько месяцев.

— На чем же ты помешался, Костя? — спрашивали мы его.

— На мухе! — отвечал он еще с оттенком ужаса в глазах. — Мне муха представилась, огромная муха величиной во все окно! Она меня преследовала и в моей памяти, и я не знал, куда от нее деваться. Я понял, что околдован, и выдумал молитву против мухи. Каждый день я тридцать три раза повторял ее. Смотрю, на другой день муха уже съежилась; становилась все меньше и меньше; наконец, уже в мае месяце, совсем крохотная стала, засохла и прилипла к стеклу. Тут ясно стало, что колдовство с меня сошло. Нет, я никогда больше не приду к Гиппиус. Конечно, я не верю в волшебниц, теперь не такой век, но знаете, господа, что-то есть. Я боюсь Гиппиус. Подальше от нее!

Помню, один тоже крупный поэт, уже не первой молодости, грозил, что застрелится, если Гиппиус будет играть им.

На самом деле Гиппиус как женщина была так же холодна и добродетельна, так же занята исключительно собою как и в своих стихах и рассказах. В ее поэтическом даровании всегда преобладал элемент игры, рассудочности, желания заинтриговать, а под конец, когда она пришла не только в солидный, но в возраст более чем зрелый, она ударилась в ханжество, стала членом религиозно-философского общества, проповедывала какую-то религиозную революцию; вспыхнул семнадцатый год и загремел октябрь, и на ее лире задрожали самые черные струны, а ее поэтический язык не гнушался проклятий красным матросам, напомнившим грязь, которою обливали с балконов парижские буржуазки арестованных коммунаров.

В то время, когда я пишу эти мемуары, принято видеть в социальном происхождении того или другого литературного и общественного деятеля некоторое обоснование его образа мыслей, мировоззрения и мироощущения. Зинаида Гиппиус была дочерью судьи, а ее муж, Мережковский—сыном придворного лакея, хранителя гардероба царицы. Хранитель же этот обладал значительным состоянием, которое давало возможность Мережковским ежегодно проводить за границей по несколько месяцев и, при незначительном на первых порах литературном заработке, безбедно существовать. Само собой разумеется, что привычка к этой безбедности не могла не наложить известную печать на Мережковских. Пока дело шло о свободе, как о некоторой отвлеченной категории, они были на ее стороне; но как только свобода стала пониматься иначе, и капитализм во всех его проявлениях пошатнулся и все его притязания оказались преступными — Дмитрий Сергеевич и Зинаида Николаевна повернули фронт и сделали крутую диверсию вправо.

Настоящие поэты, истинные — всегда искренние и честные люди. Супруги Мережковские были с хитрецою, с лукавством. Такие характеры сплошь и рядом встречаются среди обывателей, преданных заботам о личном благополучии и о своих собственных выгодах. Мережковские могли писать Суворину дифирамбические письма (опубликованные, когда представился случай, «Новым Временем»), а публично бранить его и отрекаться от сношений с ним. Каждый гражданин имел полное право, когда совершился большевистский переворот, уйти в сторону, никто его не принуждал сделаться коммунистом и даже беспартийным, выражающим сочувствие советскому строю. Достаточно было соблюсти только лойяльность и не искать советских служб, храня за пазухой камень. Беспартийная душа, с другой стороны, может быть коммунистически настроенной и не вступая в партию. Мережковские, однако, вели себя предосудительно. «Правда — настоящее царство антихриста», — сказал мне Мережковский однажды при встрече на

2-м году нашей революции, т.-е. в 1918. Само собой разумеется, при его православно-мистическом взгляде на историю дня, горевшую вокруг него, он имел право даже и так думать. Но когда через некоторое время тт. К. и Л. рассказали мне, жалуясь на Мережковских, что они бывали у них в гостях, посвящали им стихи и книги, условились написать биографический словарь всех выдающихся революционных деятелей, способствовавших октябрьскому перевороту, и с этой целью им были вручены редкие биографические документы и автобиографические очерки этих самоотверженных работников революции, и они получали всё время пайки и авансы, забрали материал и вместе с ним бежали за границу, насмеявшись над простотою и великодушием большевиков, — я почувствовал душевную боль. Было в этом что-то крайне антиморальное, не говоря уже о том, что они своим поступком подорвали доверие к другим писателям до-революционной эпохи, которые продолжали работать, сжились с республикою и решительно никуда не думали уезжать из России, разделяя в тяжелые годы все лишения и невзгоды с пролетариатом.

ГЛАВА ПЯТИДЕСЯТАЯ.

МИРРА ЛОХВИЦКАЯ.

На короткое время я уезжал на юг в Нежинский уезд, в село Володькову Девицу, к сестре своей Ольге, служившей там народною учительницею.

Вернувшись в Петербург, я застал письмо от двух учениц Литейной гимназии, сестер Лохвицких. Стояло только: «Можно ли к вам зайти по литературному делу? *Такие-то*».

Адреса не было. Я ничего не ответил, но уж после обеда в этот же день раздался резвый стук в дверь, и вошли две молоденькие гимназистки, из которых младшая была чересчур полна. Они развязно представились.

— Мы Лохвицкие, — начала старшая.

— И поэтессы, — пояснила младшая.

Я ввел их в гостиную, и с места в карьер младшая, Елена, встала и произнесла наизусть длинную поэму. Незачем передавать ее содержание, но меня удивило сравнительно зрелая обработка стиха и его певучесть. Я похвалил.

— Сколько вам лет? — спросил я.

Елена Лохвицкая читала, запыхавшись, и, переводя дух, отвечала с достоинством:

— Тринадцать.

— А вам? — спросил я у старшей.

— Пятнадцать, — произнесла она с самодовольной детской улыбкой. — У меня в запасе, — продолжала она, — имеется только восьмистишие о звезде, на которую я смотрю и на которую кто-то другой смотрит, и я думаю о нем, а он думает обо мне.

Она тоже встала с места в позу ученицы, отвечающей урок, и продекламировала свои стихи. Стихи тоже были певучие и обработанные. Ни сучка, ни задоринки.

— Никто не поправлял?

— Никто.

Младшая начала:

— У нас еще есть сестра. Она кончает Павловский институт и тоже пишет стихи, при чем гораздо лучше нас, так по крайней мере все дома у нас говорят.

— Ваш отец не был ли присяжным поверенным?

— Да, он был знаменитым присяжным поверенным, и мы хотели бы тоже быть знаменитыми. У вас мы проверили свои силы, узнали ваше мнение, но Мирра Лохвицкая на нашем семейном совете предназначена занять первое место среди нас. Вторая выступит Надежда, а потом уже я. И еще мы уговорились, чтобы не мешать Мирре, и только когда она станет уже знаменитой и, наконец, умрет, мы будем иметь право начать печатать свои произведения, а пока все-таки писать и сохранять, в крайнем случае, если она не умрет, для потомства.

Было это довольно комично и оригинально.

Старшая, Надежда, потом несколько раз приходила ко мне и вручила мне начисто переписанное ею стихотворение «К звезде» с надписью: *посвящается И. И. Ясинскому*.

— С просьбой, — сказала она, — не печатать ни в коем случае.

— А что же не приходит Елена? — спросил я.

— Как младшая она не хочет мне мешать!

Вскоре Надежда Лохвицкая как-то быстро выросла, стала франтихой, вышла замуж, стала носить другую фамилию.

Я жил уже на Черной Речке, когда она приехала ко мне, напомнила о детских визитах своих и объявила, что собирается, наконец, печатать стихи свои и юмористические очерки под псевдонимом Тэффи.

— Я к вам за напутствием и благословением!

Она смеялась, острила и стала сотрудничать в издававшемся мною журнале.

Об Елене Лохвицкой я узнал только, что она тоже вышла замуж и стихи продолжает писать, но не печатает, захваченная семейной жизнью.

Что же касается Мирры Лохвицкой, то в самом деле ее поэтическое дарование оказалось перворазрядным.

Вслед за сестрами она в одно из воскресений побывала у меня на Бассейной и пожаловалась на редакторов «Севера» Гнедича и Соловьева, которые не взяли ее стихотворения.

— Я считаю это обидой для себя. Я знаю, что я даровитее своих сестер, иначе я не приняла бы их жертвы не печататься, пока я печатаюсь.

— Но почему же вам всем трем не печататься?

*

Тэффи

— Тогда не будет благоговения. Начнется зависть и конкуренция. Согласитесь сами, однако, что если вы признали их стихи хорошими и достойными печати, а «Север» меня отверг, то чья же тут ошибка: Гнедича и Соловьева или ваша?

— Что же вы хотите, чтобы я вам сделал?

Она глубоко сидела в кресле, томно раскинувшись, словно дама, уже уставшая жить, хотя она была совсем молоденькая и казалась младше своих сестер — такая была худенькая — и сказала:

— Я сейчас вам покажу стихи; и прошу вашего суда.

Действительно, стихи сверкали, отшлифованные, как драгоценные камни, и звонкие как золотые колокольчики.

— Стихи прелестны, — согласился я, — но, знаете что? Их нельзя печатать.

— Почему? Ну, хорошо: я сейчас поняла, почему. Молодая девушка не имеет права затрагивать такие темы.

Мирра засмеялась и продолжала:

— Я вспомнила, как господин Соловьев, возвращая мне злополучное стихотворение, сказал с такой смешной серьезностью: «Но, сударыня, наш журнал читают также дети»... Да, он назвал меня сударыней! А я присела и сказала: «извините, милостивый государь».

— Дайте ему другое какое-нибудь стихотворение. У вас настоящий талант...

— Но, правда, я пишу лучше, чем сестры?.. Мне больше ничего не надо. Но беру с вас слово, что вы не расскажете сестрам о том, что я была у вас. Я для них — тайна.

Эта очаровательная поэтическая девушка, исключительно одаренная и, повидимому, не предназначенная к семейной жизни, вскоре завоевала видное место в литературе и вышла замуж за чиновника, повидимому, имевшего общение с поэзией только через посредство жены. Мирра Лохвицкая писала смелые эротические стихи, среди которых славится «Кольчатый Змей», и была самой целомудренной замужней дамой в Петербурге. На ее красивом лице лежала печать или, вернее, тень какого-то томного целомудрия, и даже «Кольчатый Змей», когда она декламировала его где-нибудь в литературном обществе или в кружке Случевского имени Полонского, казался ангельски-чистым и целомудренным пресмыкающимся. Измученная частыми родами и снедаемая какой-то вечной тоской, Мирра умерла во цвете лет.

ГЛАВА ПЯТЬДЕСЯТ ПЕРВАЯ.

1888 — 1893.

Женщина в роли секретаря гораздо исправнее нашего брата. У меня были молодые люди для переписки моих романов и ведения корреспонденции; но с тех пор как мы разошлись с Марией Николаевной, у меня в Петербурге, обыкновенно, писали под диктовку

барышни, и одна, Шурочка Лаврова, работала два года, пока не вышла замуж; другая, заступившая ее, была киевлянка. Она совсем девочкой приходила ко мне еще в Киеве и предлагала свой труд стенографистки, только-что окончив Фундуклеевскую гимназию. На ней был траур. Мне не нужна была ее работа, и я уезжал. Я сказал ей только, что если понадобится, я ей напишу, вернувшись в Киев. Но в Киев я не вернулся, и прошло несколько лет. Когда же Лаврова вышла замуж, я взял «Новое Время» и среди «Инт. мол. ос. ищ. м. у одинок. по хоз.» остановился на простом объявлении «стенографистка», без всяких квалификаций, и каково же было мое удивление, когда, в ответ на вызов мой, явилась та же самая, только уже возмужавшая девушка, на вид студентка, в пенснэ на розовом личике. Назвалась она Евгенией Степановной Диминской, и мы с нею поладили.

— Помните, вы были у меня в Киеве?

— Помню.

— Я обещал вам написать, когда мне нужна будет стенография.

— Да.

Она остановила на мне близорукий, недоумевающий взгляд и пожала плечами.

— Судьба, — сказала она, покраснев до бровей.

Начались занятия. Аккуратностью и усердием, при болезненной застенчивости, она отличалась изумительными. У меня и обедала; через день была свободна и ходила в зубоврачебную студию практиковаться, чтобы стать дантисткой.

Скоро сошлись мы.

Она смертельно боялась огласки.

Поэтому с трудом пришлось уговорить ее взять на себя роль хозяйки на моем обеде, на который были приглашены: Шеллер, Полевой, Мердер Надежда Ивановна, Чернова К. П. с мужем (актер), художники Сергеев и Рашевский.

Всё удалось кухарке Марье, она сияла. Лилась беседа и даже вино. Полевой поднял тост за здоровье Евгении Степановны.

— За душу дома! — сминдальничал старый писатель.

Вдруг отворилась дверь настежь, дунуло холодом, и вместе с двумя малютками вошла Марья Николаевна в шубе и с саквояжем через плечо.

Перед этим она прислала из Нежина письмо — оно сохранено мною, — красноречивое, нежное, страстное, с просьбой о прощении. Она хотела только одного: жить с детьми в маленьком домике одиноко в Царском Селе (чтобы и садик был). Я не успел ответить еще, а она уже приехала. Господин Шанц разочаровал ее, и она писала, что выгнала его из дому. Потом я узнал, что он женился на другой, соблазнившись хорошим приданым.

Первое впечатление, когда я увидел Марью Николаевну, — нерадость.

Я вскочил из-за стола.

Обед как-раз пришел к концу. Гости уже встали. Я ничего не сказал, бросился к детям — маленьким крошкам в заячьих тулупчиках, с красными от мороза щечками. Марья Николаевна припала к моей руке:

— Не отвергайте нас! Пощадите!

Дворник, между тем, вносил сундуки, узлы, коробки. Шеллер, Полевой, Черновы, Сергеев быстро собрались и уже одевались в передней. Марья уронила с подноса кофейник и чашки. Евгения Степановна растерянно стала помогать ей поднимать битую посуду. Рашевский, мой друг, старался увлечь Мердер в другую комнату. Одноглазая старуха, с седым шиньоном на затылке, похожим на клубок белых ниток, упрямо сидела на кресле, и зрячий глаз ее странно вертелся, насыщаясь редким зрелищем.

Впрочем, она грузно пересела на диван и спокойно принялась за виноград, глотала по ягодке, смотрела с любопытством.

Евгения Степановна привлекла к себе детей, сняла с них тулупчики и усадила за стол. К Марье Николаевне, как к старой знакомой, которую он знал еще в Чернигове, когда служил членом губернской земской управы, а она заведывала земской белошвейной, Рашевский обратился с расспросами... Светский человек, он хотел дружелюбным смехом, шуткой, развязным приятельским тоном разбить лед общего замешательства.

— Как доехали? Боже, какие детки, какая прелесть! Мне вы даже и руки не подали. Позвольте же вашу руку. Позвольте-ка мне освободить вас от шубки. Не опасайтесь, повешу на место. Я здесь свой!

Марья Николаевна дала себя раздеть и тихо сказала:

— Иван Григорьевич, мне хотелось бы извиниться перед гостями Иеронима Иеронимовича...

Рашевский рассмеялся.

— Жером, слышишь? Нас выпроваживают! Баронесса, меня ожидает извозчик.

Он изогнул кольцом локоть и вернулся к Мердер.

— Я так виновата, что своим появлением... — начала было Марья Николаевна, но Мердер или «Мердерша», как мы ее называли между собою, приветливо простилась с Евгенией Степановной и едва кивнула подбородком Марье Николаевне, уходя с Рашевским.

Марья Николаевна вспыхнула и несдержанно резким, «мертвым голосом», высокомерно произнесла, обращаясь ко мне и указывая умышленно невежливо на Евгению Степановну:

— А скажите, Иероним Иеронимович — (Мердерша остановилась в дверях), — это что же у вас за особа?

Евгения Степановна встала и сказала:

— Иероним Иеронимович подтвердит, не сомневаюсь, что я имею право считать себя его невестой. А вы кто?

— Сударыня, я мать его детей!

— Сударыня, я готова их усыновить!

Евгения Степановна также была величественна, застенчивая душа!

Есть союзы, которые, раз они распадутся, уже ничем вновь обратно их во-едино не связать. Между мною и Марьей Николаевной веяла чужая тень и заслонила собою наше прошлое. Все дороги к возврату заросли чертополохом, а пропасть, которую вырыла моя слабость... — как, однако, я бы перешагнул ее? Я не был ослеплен Евгенией Степановной, это не была непреодолимая страсть. Меня связала с нею, напротив, неоглядчивость ее порыва; но через эту пропасть мешал не только долг сделать прыжок, но и желания не было. Была жалость, не было былой любви. Не было ее совсем. Мне стало даже страшно перед опустошенностью моего чувства.

Устроились наши отношения так: Марья Николаевна с детьми осталась на этой квартире, а я взял другую, тоже на Бассейной, в пятом этаже, в две комнаты. Марья Николаевна не приходила ко мне. Приходили дети, проводили у меня целые дни. Приходила ежедневно Евгения Степановна.

Она была убежденной провинциальной «нигилисткой» с крайне неуравновешенным умом и со всеми предрассудками гродненской шляхтянки, хотя она была не полькой, а дочерью русского семинариста, чиновника - обрусителя. Свобода была ее религией, на церковный брак она смотрела как на устаревший обычай, который нужно соблюдать только для родителей, пока они живы, чтобы их не огорчать внебрачной любовью. Михайловский как публицист был ее богом, но также и Владимир Соловьев, Владимир Соловьев и Чернышевский! Она не могла обойтись без рождественской елки и без пасхальной заутрени; отдавшись мне, стала тихонько крестить меня на прощанье.

Через год Евгения Степановна кончила курсы зубоврачебного дела, получила диплом врача, и я помог ей завести хороший кабинет. На первых порах у нее было много пациентов. Я знаю, она отличалась такою же добросовестностью и аккуратностью в своей новой специальности как и в качестве стенографистки.

— Наконец, Иероним Иеронимович, вы помогли мне стать свободной и независимой. Я вечно буду вам благодарна; но хотелось бы продлить счастье, и хотелось бы, чтобы у меня была Зоя.

Если бы не дети, моя новая квартирка угнетала бы меня тяжелым одиночеством. Евгения Степановна вся отдалась зубоврачебному делу, уставала от практики, не могла уже работать у меня, и если забегала, то изредка и на короткое время. Вечера она посвящала театрам и симфоническим концертам или научным собраниям. Она усердно стала интересоваться медициной. Дела ее были блестящи.

ГЛАВА ПЯТЬДЕСЯТ ВТОРАЯ.

А. П. ЧЕХОВ.

Осенью 1893 года я, по литературным делам, уехал в Москву. Шеллер-Михайлов просил меня, между прочим, переговорить с Сытиным об издании полного собрания его сочинений. В сущности, это было уже второе издание. Первое разошлось еще в 70-х годах. В Москве мне пришлось остановиться там, где останавливались все писатели по традиции, в «Лоскутной» гостинице, и номер мой пришелся как-раз против номера, где остановился Чехов.

С Чеховым я знаком был уже несколько лет. Мы даже чувствовали друг к другу приязнь. Вообще он появился впервые в «Новом Времени» под своей фамилией, а не под псевдонимом, и сейчас же обратил на себя пристальное внимание всех литературных кругов.

Утром, помню, по делу Литературного Фонда я был у Евгения Утина в тот день, когда в «Новом Времени» взошла звезда Чехова.

— Обратите внимание! — вскричал Утин, и стал вслух читать рассказ Чехова о священнике, который, придя в гости, украл бублик, так он был голоден, чтобы принести его домой детям. — Как свежо! Чисто гоголевское дарование. А вот принеси такой рассказ моему уважаемому родственнику (Стасюлевичу), в «Вестник Европы», пожалуй, не принял бы. У этого Суворина все-таки, надо заметить, большое литературное чутье: нашел Чехова!

Между прочим, о том, как нашел Суворин Чехова, рассказал мне как-то Сергей Атава. По словам Атавы, он всегда увлекался рассказами начинающего писателя, пописывающего свои крохотные рассказики в «Петербургской Газете» — А. Чехонте. Как-то вечером к нему приехал Маслов, сотрудник «Нового Времени» (офицер необыкновенного роста и грациозной тончавости). Атава стал нахваливать Чехонте, а Маслов от него отправился к Суворину, который по вечерам лежал у себя в кабинете на кушетке и выслушивал от сотрудников, посещавших его, разные новости и советы, чтó предпринять в «Новом Времени», чтó писать, чтобы заинтересовать публику, и кого привлечь к сотрудничеству из новых сил. Суворин потребовал «Петербургскую Газету», прочитал рассказ Чехонте и послал ему пригласительное письмо. Результатом такого косвенного влияния Атавы на Суворина и явился дебют Чехова.

Утин позвонил по телефону Урусову, Кони, Андреевскому, и всем рекомендовал прочесть рассказ Чехова о голодном священнике. В один день упрочилась слава Чехова.

Ко мне приехал на другой день писатель Горленко и Щеглов. Щеглов, оказалось, уже хорошо был знаком с Чеховым. Они уговорили меня поехать к новому писателю и поддержать его на первых порах. Для каждого начинающего писателя важно, чтобы старшие товарищи не относились к нему равнодушно. Горленко отстал на полдороге, а мы приехали к Чехову, который, оказалось, приехал из Москвы и остановился у Суворина. Ему была отведена особая комната. После обмена нашими впечатлениями и литературными мнениями по поводу текущего журнального момента Чехов признался нам, что в «Петербургской Газете» он чувствует себя, по крайней мере до сих пор чувствовал, одиноким, потому что был с опущенным забралом.

— Когда пишешь под псевдонимом, который все считают за таковой, как-то не совестно. С позволения сказать, все равно, что под плотной маской раздеться до-нага и показаться перед публикой. Но извольте-ка раздеться и открыть лицо, да еще в газете с установившейся репутацией как «Новое Время»: по правде сказать, мурашки забегают. Но я сознательно стал писать в «Новом Времени»: авось, кто-нибудь поддержит меня в моем одиночестве. Суворин сам по себе очень хороший человек и к тому же даже Буренин, которого все не прочь повесить на первой осине, писатель с большим литературным влиянием, похвалит он или обругает в особенности если обругает — карьера писателя обеспечена. Худо, когда злой критик молчит о писателе, а когда он о нем звонит — в ноги ему надо кланяться.

Чехов несколько раз после того видался со мною, был у меня, у Шеллера, у Быкова. Стали всё чаще и чаще появляться его рассказы.

— Услужите, — сказал он мне, — будьте товарищем, дайте какой-нибудь рассказ в «Новое Время».

Мне, разумеется, не было ни малейшей надобности и ни малейшей выгоды появляться в «Новом Времени» после того, как я писал в «Отечественных Записках» и, в особенности, в либеральном «Вестнике Европы», который всеми силами души ненавидел «Новое Время». Вообще в «Новом Времени», по крайней мере на первых порах, являлись: Салтыков, Тургенев и другие тузы, а Стасюлевич не переваривал Суворина, в особенности после фельетонов Буренина. Но мне ужасно не нравилось по временам, с какой тупой и естественной, впрочем, в кружках ненавистью говорили о своих партийных врагах либералы, в свою очередь, если к ним хорошенько присмотреться, весьма не отличавшиеся ни чистотою своих нравов, ни строгостью отношения к своим обязанностям и явно поддерживавшие интересы эксплуататоров, на вид чрезвычайно культурных, а тем не менее со стальными когтями. Эта либерально-чиновничья, адвокатская и банкирская среда благообразных и лицемерно улыбающихся хищников, поющих о страданиях простого народа, была противна нашему тогдашнему молодому поколению писателей, вышедших из-под крыла «Отечественных Записок». Даже в этом журнале слово «либерал» не употребляли в ругательном смысле, а в кружке Стасюлевича, Утина,

Спасовича, Андреевского малейший протест против либеральной лжи вменялся нам в вину. Читаешь, бывало, новую повесть в рукописи, ее хвалят, даже чересчур, и тут же сыплются со всех сторон замечания: «Только, пожалуйста, уберите ваши выходки против либералов. Пора нам сомкнуть ряды, этак мы никогда не дождемся конституции, если будем выступать против свободы».

У них свобода и либерализм умышленно смешивались, и классовые противоречия смазывались жалобами на правительственные прижимки, одинаково тягостные для всех.

Таким образом, когда случайно, по знакомству с профессором Праховым, я познакомился с музыкальным критиком «Нового Времени» Ивановым и очутился на его литературном вечере, Суворин и Буренин уселись за ужином около меня и передали мне просьбу «моего приятеля», они так и назвали его, Чехова, дать хоть один рассказ для «Нового Времени», который мог бы появиться вместе с его рассказом. Я постеснялся отказать им, а потом вспомнил либеральные прижимки, на которые пожаловался мне также и больной Салтыков, отвергнутый, между прочим, «Неделею» «страха ради иудейска» и хотя принятый, но очень побледневший в «Вестнике Европы».

Рассказ мой, который я отдал в «Новое Время», назывался «Пожар».

— Да вас теперь съедят, — сказал мне с хохотом Чехов, приехавший ко мне и крепко пожимая мне руку, — тем более, что рассказ. . . — тут он расхвалил его.

Да и Утин, также приехавший ко мне, только уже не с благодарностью, а с порицанием, отозвался о рассказе как о таком, за который Стасюлевич заплатил бы мне втрое бо́льший гонорар, лишь бы он не появился в «Новом Времени». Вскоре после этого я напечатал еще несколько рассказов в «Новом Времени». Суворин обещал мне полную свободу писать что хочу, ругать кого хочу и что хочу, хотя бы самого Буренина. Но тем не менее я прекратил сотрудничество в этой газете, так как стал вчитываться в нее и убедился, что, в самом деле, кто чересчур увязнет в «Новом Времени», тот должен «оставить надежду навсегда». К этому заключению пришел в конце концов и Чехов. И я и он прекратили давать рассказы Суворину, и разница между нами была лишь в том, что Чехов начал в «Новом Времени» свою литературную карьеру, а я уже пользовался крупным именем, когда спустился до этой газеты. Здесь не было литературной ошибки, но был несомненно политический проступок. Как бы я ни был критически настроен по отношению к либералам, все-таки к нововременцам у меня должно было быть другое отношение, и мне надо было попрежнему сторониться от них. Справедливо упрекнул меня покойный Лемке на моем пятидесятилетнем юбилее, когда он, перечисляя в весьма повышенном тоне пройденные мною литературные этапы и восхваляя мои художественные произведения,

отметил появление мое в «Новом Времени» как нечто лежащее пятном на мне. Кстати он должен был бы присоединить к этому и появление моих рассказов и двух романов в «Русском Вестнике», который хотя после смерти Каткова и принял более умеренный характер, все же принадлежал к тем органам, где я не должен был выступать с самыми безразличными художественными вещами, невзирая на лесть, с которой ко мне обращался новый редактор, сравнивая меня с Достоевским по силе таланта (мы — писатели, к сожалению, легко поддаемся на издательский фимиам).

В «Лоскутной» я первым делом зашел к Чехову.

За несколько лет, что я не видался с ним, он мало изменился, только лицо как-то стало землистее. Мы вместе сели за обед, и Чехов начал мне жаловаться на Суворина.

— Конечно, что и говорить, Суворин называется моим благодетелем, он вывел меня в свет, он издавал и издает мои книжки и платит всё по четыреста рублей за томик, я, должно-быть, получил уже от него тысяч сорок за эти годы. Но сколько нажил на мне Суворин! Мне до сих пор трудно отскрестись от «Нового Времени», это на мне на всю жизнь останется. Москва только разве поддержит, а в Петербурге какой-нибудь «Вестник Европы» отказался меня печатать. «В степи» пришлось отдать в «Северный Вестник», правда, хороший журнал, но подписчиков там мало, а хочется публики. Даже во «Всемирную Иллюстрацию» я насилу пролез. . .

— Да нет, что вы! — вскричал я.

— Да ведь только благодаря вашему содействию.

— Да вы забыли, должно-быть, — повторил я, — в вашу честь редактор Быков даже пломбир необыкновенный закатил и гостей обидел, а всё на вашу тарелку выложил. Нет, вы там были желанным, и гонорар большой заплатили.

— Ну, да; но Стасюлевич так и не взял ни одной моей повести. Я особенно не убивался, но, кажется, я все-таки писатель. Я слыхал от Утина, что Стасюлевич из-за «сукина сына» клялся на всю свою жизнь не допускать меня на страницы своего журнала, а «сукин сын» только однажды и проскользнул «В степи»; да и как из песни выкинешь такое красочное выражение. Нет, я решил больше не издаваться у Суворина. Перекочевал в «Русскую Мысль», здесь ребята хорошие, как-будто даже социализмом попахивает, так что я начинаю мечтать, что у нас лет через двести начнется коммунизм.

Чехов подшучивал, обыкновенно, над всем и прежде всего над самим собою, шутил как-то кротко, но умно, что обыватели называют юмором и не всегда могут раскусить, в чем дело и в чем соль.

— Знаете, что́ я иногда думаю: хорошо бы нам писателям-беллетристам не участвовать совсем ни в каком журнале, чтобы быть независимыми. Отчего у нас никак не привьется книжная система? Вот светские писатели как Апраксин и Голицын-Муравлин, те

ухитрились все-таки создать себе имя, выпуская романы отдельными книгами. Правда, у них определенный круг читателей. Может-быть, тогда у нас и деньги водиться будут, а то тяжело без денег сидеть. Издатель бахвалится, что он тебя создал, взростил, взлелеял, накормил, одел, а на самом деле десятки нас от чахотки погибают, а издатель до ста лет доживет в благополучии. Я вообще заговорил о чахотке еще и потому, что у меня явные признаки этой проклятой немочи, полагаю, что мне больше десяти лет не прожить. Вы не спорьте, — это для меня аксиома. Хотел бы до того времени обзавестись хуторком, а еще приятнее было бы на берегу моря что-нибудь соорудить и там умереть, смотря, как в море лазурное погружается солнце пурпурное.

У Чехова, в самом деле, от времени до времени случались припадки кашля, но вообще он не производил впечатления больного. Так многие кашляли до семидесяти лет; что называется, скрипят и не умирают.

Одиночество Чехова часто разделяли молодые барышни, которые приходили к нему, сидели у него, что-нибудь вслух декламировали, большею частью филармонички, увлекали его на концерты. Он был любезным молодым человеком с той положительной складкой в обращении, какая обличает, обыкновенно, врача, изучающего мир сквозь реальные очки. Последнее обстоятельство не помешало Чехову, однако, написать, как раз во время нашего пребывания в «Лоскутной», почти мистический рассказ «Черный монах».

— Вы мне как-то рассказывали о каком-то адвокате, — признался мне Чехов, — который страдал тем, что мушволант [1] разрасталась по временам в целую призрачную тень. Никогда не следует делиться нам друг с другом своими замыслами; положим, у вас был не замысел, а факт в запасе, но видите, я из такого факта сочинил целое произведение. Я подложил под этот факт медицинскую теорию. Вообще, меня крайне интересуют всякие уклоны так называемой души. Если бы я не сделался писателем, вероятно, из меня вышел бы психиатр, но должно быть второстепенный, а я психиатром предпочел бы стать первостепенным.

— Вы, Антон Павлович, — возразил присутствующий тут при этом Говоруха-Отрок, он же критик «Московских Ведомостей», только-что расхваливший в ряде фельетонов рассказы Короленко (между прочим, за то, что он, рисуя даже полицейских чинов, не лишает их человеческого образа), — вы, ведь, первоклассный писатель.

— Не очень-то меня считают первоклассным, а происходит от того, что этот первоклассный писатель, о котором вы свидетельствуете с такой самоотверженностью, весьма и весьма сомне-

[1] Летающие перед глазами мушки.

вается в своих силах и работает не столько потому, что работается, сколько потому, что надобно.

— А вот, — продолжал Говоруха-Отрок, — Шеллер-Михайлов, из дружбы к которому приехал хлопотать в Москву Иероним Иеронимович, такой писатель, которого следовало бы взять да положить на диван вместе со всеми его сочинениями, и пусть себе лежит так до второго пришествия. Или вот еще Потапенко. Когда читаешь его романы и повести, то так и кажется, будто кто-то сейчас разулся. . .

Не успел кончить злобный критик своих слов, как вошел сам Потапенко, который явился для того, чтобы пригласить Чехова и меня на вечер в отдельный кабинет к Тестову, куда он уже привлек Апраксина как знатока по части еды и, так сказать, прирожденного метр-д'отеля.

— Может-быть, и вас можно было бы сопричислить, Юрий Николаевич? — обратился он к Говорухе-Отроку.

— Нет, уж я и так пришел к Чехову не без внутреннего трепета: а что, думаю, если не примет. Он только-что сломал решетку в «Новом Времени» и переселился в больницу «Русской Мысли», а на первых порах ужасно, как люди чисто плюют; да и повредить могу Чехову. Ясинский — тот уже обтерпелся; а что запоют Вукол Лавров и Гольцев да еще либеральнейший Муромцев, когда дойдут до них слухи, или кто-нибудь напечатает в «Московском Листке», что такие-то и такие-то знаменитейшие писатели, краса и гордость левой литературы, кутили у Тестова с мытарем и грешником из «Московских Ведомостей»?

Говоруха-Отрок истерически рассмеялся стонущим, плачущим смехом.

У Тестова ужинала с нами еще сестра Чехова, Мария Павловна, и должен был быть Левитан, у которого были какие-то недоразумения с правом жительства в Москве.

Этакий удивительный русский художник, даже с симпатией к колокольному звону и к тихим обителям — и тот терпел в Москве в качестве еврея! Кстати вспомню о другом художнике — скульпторе Аронсоне, которому дозволялся приезд в Петербург на время выставки его произведений только на месяц, а писатель Шолом-Аш совсем не допускался в Петербург, и когда кончился срок его, кажется, трехдневного пребывания (не помню, сколько дней полагалось для евреев оставаться в столице российского царства), спасался у меня на Черной Речке, чтобы иметь возможность закончить свои литературные дела.

Вечер у Тестова прошел весело, но, по мнению Чехова, не по-московски, потому что мало было выпито. Первый признак литературной, и всякой московской, пирушки выражается в том, что лезут друг к другу целоваться, а иногда пробуют бороться, при чем и порядочные люди напиваются, но, однако, не дерутся и не дебоширят, потому что у порядочных мало денег. Это не то

что какие-нибудь Морозовы, которые ворочают миллионами и считают себя в праве портить в ресторанах рояли, бить зеркала и рубить пальмовые деревья. Какой-то Тит Титыч выпорол даже знаменитого в Москве издателя уличной газетки и заплатил за это большие деньги. Еще кто-то несколько лет тому назад, когда издатель был еще просто редактором, вымазал ему горчицей физиономию всего за двадцать пять рублей.

Не помню, кто еще присоединился к нашей компании уже под конец, помню то, что он убеждал нас отправиться в игорный дом, в какой-то клуб, где играют богачи и где только-что вошла в моду «железная дорога», или по-просту «железка».

На следующий день Чехов поехал со мною взглянуть, что делается у Яра. Ночь была зверски морозная. У меня меховой шубы не было. У Чехова была русская шуба с высоким воротником. Я порядком озяб. Мы с Чеховым выпили бутылку теплого лафита. Румянец выступил на его лицо, но от двух стаканов вина он стал как-то еще трезвее и делал остроумные характеристики проходившим мимо кутилам и завсегдатаям Яра. По неуловимым для меня признакам узнавал он, кто из них занимается торговлей, кто комиссионерством, кто темным делом.

— А вот этот, наверное, торгует живым товаром, — указал он на одного солидного барина с накрашенными усами и с чересчур черной бородой, увешанного золотыми цепочками и сверкающего бриллиантовыми пальцами.

— Послушай, — обратился он к лакею, подававшему нам ужин, — скажи, братец, кто это такой, не бандер?

— Так точно, — ухмыльнулся лакей, — а вы, что же, забыли их обличье?

— Да я никогда и не видал его; куда нам, студентам, было знакомиться с такими важными птицами!

Бродившие по ресторану, в ожидании добычи, безработные певички, или цыганки с черно-алмазными глазами и в пестрых нарядах, вплоть до парчевого сарафана, внезапно набросились на нас, обсели наш столик и заказали себе несколько блюд. Лакей вопросительно посмотрел на меня и на Антона Павловича.

— Мы, — сухо проговорил Чехов, — денег не делаем, поищите себе других благодетелей, мы благодетельствуем только издателям, а не прекрасным девицам.

Это было сказано таким тоном и так решительно, что девицы нас сейчас же оставили в покое.

— Увидеть какого-нибудь Савву Ивановича или Нохим Борисовича, подражающего ему, как он рубит паркет, разувается и моет ноги в шампанском, не всегда можно удостоиться. Это дело случая, хотя гораздо скорее можно напороться на такую сцену, чем встретить здесь добродетельную женщину... Да и к чорту добродетель. Со временем о ней составится совсем иное представление.

В конце концов посетили мы и игорный дом. Невероятная скука охватила нас, как только мы вошли в пресловутый клуб и услышали шелест игральных карт. Я обратил внимание Чехова на физиономии игроков: каждый по-своему выражал присущую коммерческим душам жадность, но и это нас не очень развлекало.

Большею частью мы проводили время то у меня, когда приехала ко мне жена с обоими мальчиками, то в театре, то в номере у Чехова, где преобладала женская молодежь. Мне показалось, что Чехов как бы присматривается, на ком ему жениться.

Как-то зашел разговор о литературных меценатах.

— А что, если бы я попросил вас, Антон Павлович, исследовать почву в богатых купеческих домах, где вас, по слухам, усердно принимают, не нашлось ли бы издателя для Шеллера? Ему и нужно-то каких-нибудь всего тысяч пятнадцать, двадцать для первого издания.

Чехов набросился на меня.

— Не советую вам обращаться к меценатам. Это самый гнусный народ и всегда вся скверна из него вылезает, станет бахвалиться, требует унизительного поклонения ему, чуть ли не чтения вслух по утрам, когда он лежит в постели, готовых повестей. Меценат потому покровительствует писателю, что хочет подняться над ним, купить его и распоряжаться даже его личностью. Я знаком с некоей Варварой Алексеевной, богатейшей купчихой, но я не взял вот настолько одолжения от нее. Она готова была найти мне невесту с приданым и даже хорошенькую, но я только рассмеялся. Довольно уже с меня и такого мецената как Суворин.

— Ведь вы же с ним в дружбе, Антон Павлович!

— Да, и считаю его умнейшим циником, который со мною вдвоем становится искренним и хорошим человеком, но — все-таки тяжело. В его глазах я читаю, что без его помощи я не сделался бы Чеховым. Мне же стало с некоторых пор казаться, что некоторая доля морального воздействия на Суворина последнее время принадлежит мне, т.-е. он так или иначе и мне обязан. Конечно, он меня любит и я также его люблю за его ум и любовь ко мне. Так уж устроена душа человеческая, что любовь порождает любовь. Ну, а все-таки, если человек начинает на тебе ездить верхом, приятнее отделаться от него в том смысле, чтобы он не ездил. Пускай любит, но не ездит.

Я завел, наконец, переговоры с Сытиным о сочинениях Михайлова.

— Так-то так, имя почтенное, — сказал мне Сытин, — но устарел для нашего времени. Вы сами знаете, что народился новый писатель, и издавать таких как Михайлов дело не мое, а, например, Глазунова. Глазунов всё классиков издает; Михайлов, положим, не подошел к классикам, но в роде. Ранняя молодежь, может-быть, еще будет его читать. А вот я бы что-нибудь вас

попросил мне продать. Недавно «Наташку» вашу «Посредник» переиздал. Сколько вы с него получили?

— Я ничего не получил. «Посредник» издал без моего разрешения.

— Вы можете с него теперь взять, что хотите.

— Что вы, я ничего не возьму. «Посредник» издает с благой целью!

— Я тоже с благой целью издаю, — возразил Сытин, — я у Никольских ворот начал. Меня Дорошевич (тогдашний популярный московский фельетонист) как мало грамотного не раз надувал и, так сказать, обучал. Принесет что-нибудь из Пушкина, за свое выдаст, я и издам. За Тараса Бульбу еще заплатил ему двадцать пять, за дешевкой гнался, по правде сказать, и показалось интересным. Пришел квартальный в лавочку, я и похвастай: вот какой писатель выискался, далеко, говорю, пойдет; а он взял рукопись, прочитал, да и говорит: «В арестантское отделение угодит». За что, говорю? За то, говорит, что это Гоголя, а это Пушкина. Пришлось одно издание совсем уничтожить, а другое разобрать в типографии. Ну, а рукописи на память оставил. Дорошевич теперь знаменитостью сделался. Только я как читаю его фельетон, все думается: откуда он это слямзил? Моя неграмотность заставила меня между тем за ум взяться, и я за свой счет стал заводить в деревнях школы просвещения. Я чуть не тысячу книгоношей воспитал так и разослал по всем концам; и, знаете, не ошибся, потому что чем больше затрачено было на просвещение, тем больше мне было дохода, так что я могу в настоящее время ворочать уже и солидными предприятиями; может-быть, газету осную, так что буду богат, потому что объявлениями можно запрудить всю Россию; того же Дорошевича возьму за жабры, так что и на вас, между прочим, надежда.

— А вот что, Иван Димитриевич, — вспомнил я, — Чехов здесь, в Москве!

— Кто-то мне говорил об этом, — оживился Сытин, — пошлите-ка его ко мне, сварю я с ним пиво. У меня в запасе есть несколько свободных тысяч, попробую и я. Суворин его здорово использовал, да авось на мою долю хоть немножко еще осталось.

В «Лоскутной» я передал Чехову предложение издателя, начинающего богатеть. Чехов повеселел.

— Сказал, что есть несколько свободных тысяч? Как раз мне нужно тысяч семь на хуторок. Сплю и вижу. Кстати и земской медициной можно заняться в глуши. Как-ни-как все же я врач. Иногда начинает под ложечкой сосать. Ну, спасибо за приятное известие.

На другой день утром я поехал за покупками по поручению жены. Стояли все такие же страшные морозы. Вдруг мои санки на

Никольской улице чуть не сцепились со встречными санками, в которых сидел, высоко поднявши воротник своей русской шубы, Чехов. Он замахал мне рукой и весело закричал, хлопая себя по груди:

— А хуторок уже здесь! Я Сытина выдоил, он клялся, что последние деньги отдал, врет. Говорит, что не расположен больше ничего покупать, пока на мне не наживет, говорит, пробный шар пускаю. Сегодня вечером у вас чай пью, а завтра уезжаю совсем из Москвы! Еще раз — спасибо!

С тех пор лично я уже не встречался с Чеховым. Иногда мы переписывались. Кое-какие письма его были напечатаны мною по просьбе биографов Чехова, когда он умер. Одни письма хранятся еще у меня, а остальные автографы я подарил собирателям литературных документов Фидлеру, Юргенсу, да еще Измайлову.

В одном письме Чехов, узнавши, что я купил на Черной Речке кусочек земли и построил дом, спрашивает меня: «Завелись ли у вас уже собственные домовые?». Он писал о своем хуторе и был доволен. Письма его дышали удовлетворением собственника.

— А чертовская вещь эта собственность, — писал он, — увязаешь в собственности, как муха в меду, и отделаться от нее не можешь.

ГЛАВА ПЯТЬДЕСЯТ ТРЕТЬЯ.

1894.

Мечта Чехова о собственном хуторке, уже осуществленная, заразила и меня. Но как на зло, нельзя было и думать о тысячах. За маленький роман «Горный ручей» я получил в январе 1894 года всего шестьсот рублей, да и те надо было клещами вытаскивать из Пятковского.

— Подписка еще не закончилась, а вы уже требуете!

Дрожащими перстами вручил мне деньги редактор «Наблюдателя» в конверте, проводил глазами, куда я спрятал конверт, и напутственно посоветовал:

— Поезжайте на извозчике, а не идите пешком; могут вытащить. И у меня выудили вчера три рубля из кармана пальто, а уж, кажется, смотрю в оба.

Я заехал к Евгении Степановне на Каменноостровский. Она призналась мне, что страшно устала от практики и не прочь отдохнуть. Я предложил ей прокутить десятку в «Славянке». Мы пообедали, выпили полбутылки шампанского, угостили вином извозчика, и поехали из Новой Деревни домой. Но извозчик, подвыпив, заблудился в переулках и завез нас на Черную Речку в Головинскую улицу. Ехать дальше помешала снежная гора. Лошадь остановилась против пустыря, у входа в который торчал шест с надписью: «Сие место продается за шестьсот рублей. Спросить рядом». Прямо перст провидения!

Оказалось, что место принадлежит некоей Сверчковой, сестре известного художника. Она несказанно обрадовалась покупателю, и я вручил ей шестьсот рублей под расписку, а она подарила мне еще картинку своего брата, чему я тоже несказанно обрадовался. На другой день покупка была оформлена у нотариуса, и в один теплый мартовский день я осмотрел более пристально свое приобретение. На пустыре было только три дерева. Надо было на нем что-нибудь построить. Что же как не домик в две комнаты с кухней? Я приобрел бревен, и нашел рабочих.

Когда окончилась постройка, в крохотный домик, весь белый, с большими цельными окнами, окруженный цветниками, осененный деревьями, которые были пересажены из Удельного парка и быстро привились, дети приехали из Териок, где обыкновенно они проводили лето.

Домик мой описали, между прочим, репортеры, и хотя он был под железной крышей, снабдили его соломенной, что повлекло за собою некоторое недоразумение с городом, вскоре, конечно, рассеившееся. Домик, в самом деле, был так мал и нехозяйственно устроен, что в тот же год позади его был воздвигнут другой дом, попросторнее и похозяйственнее. Он не был, правда, похож на дом с колонками генерала Тиранна, но Иван Безземельный все-таки его бы одобрил. В усадьбе, которая быстро зазеленела и запестрела цветами и фруктовыми деревьями, была сооружена даже баня, а в своем леднике можно было вертеть мороженое и сохранять продукты. Завелись свои собаки и куры.

Мария Николаевна тем временем вышла замуж за некоего итальянца, старика Тениолати, большого любителя картин. Он же был и продавец древностей, и оценщик художественных вещей у Синего моста. Иногда она заезжала к детям на Черную Речку, заходила ко мне с мужем и иронически относилась к большой даче.

— Посмотрите на нее издали, — приглашала она: — не дом, а скворешница.

Действительно, в нижнем этаже были чрезмерно высокие потолки, и дом стоял столбом.

Тогда же между домами Максим посадил, купленное в садоводстве Регеля, деревцо, оказавшееся грушею. К концу года оно стало засыхать. Чтобы спасти его, я подумал, что следует деревцо туго перевязать проволокой. Я исходил из того соображения, что соки, питающие дерево, идут по его внутренним сосудам вверх, а возвращаются в землю по наружным и, если перевязать ствол, то соки перестанут уходить в землю, а будут задерживаться наверху и усилят рост листвы, цветов и плодов. И в самом деле дерево не только ожило, но и выкинуло удивительно густую зелень, множество цветов и затем чрез несколько лет стало приносить великолепные плоды. Об этом опыте своем я послал письменное сообщение в Общество садоводства и плодоводства, откуда, за подписью великого князя Николая Михайловича, и получил благодарственное письмо и известие, что я избран в действительные члены. Быть-может, я открыл Америку, но если бы я был биологом-специалистом, я мог бы распространить метод омоложения стареющего дерева на более высокие организмы, например на четвероногих животных и на человека. Но некогда было пристально заняться наукою, да и весь я ушел в литературу, а еще больше в личные дела, в обрастание семьею и сопряженные с этим процессом — надо назвать это настоящим именем — дрязги.

ГЛАВА ПЯТЬДЕСЯТ ЧЕТВЕРТАЯ.

1895 — 1896.

Тираж «Биржевых Ведомостей» (господина Проппера) с пятисот экземпляров дошел до восьми тысяч, а при помощи Висмонта, собиравшего объявления, газета сделалась доходной до такой степени, что редакция могла, наконец, от времени до времени покупать у авторов большие романы.

Между тем тяга собственности стала давать себя знать: поставить забор, провести свинцовые трубы на расстоянии пятидесяти саженей, перекрасить крышу, заплатить всевозможные страховые и земельные, наконец, моя нехозяйственность, — все это сделало то, что в одно прекрасное утро я проснулся без копейки, а на столе лежала повестка от взаимного кредита; надо было сделать вступной взнос. Я посмотрел на свои сапоги, и оказалось, что они лопнули, а галош не было. Пока не было у меня дома, я лично ни в чем не нуждался, дети тоже; а теперь я принужден был заботиться не только о доме, но и о дворниках, о кухарке, о горничной.

Евгения Степановна, к тому же, давно уже стала чувствовать себя будущей матерью. В это утро я получил от нее записку: «Приходите, и надо послать за акушеркой». Жила она уже недалеко от меня, в своей квартире, и практикой не занималась; временно оставила ее. С незапамятных времен я не закладывал часов, но тут подумал, что надо сейчас же бежать в ломбард. Некстати полил дождь. И чрезвычайно кстати въехал во двор на велосипеде г. Висмонт.

— Я по поручению Проппера, — объявил он мне. — Он чувствует себя признательным за те перепечатки, которые вы давали ему. Теперь он хочет приобресть у вас оригинальный роман, который нигде не был еще издан. Есть у вас такой роман?

— Есть.

— Как называется?

— «Нежеланные дети».

— Я имею полномочие заплатить вам, однако, не больше тысячи.

Висмонт получил роман, и, не взирая на дождь, напялил на себя кожан и умчался в пространство, а я, промочив ноги в дырявых сапогах (без всяких для себя последствий), бросился к Евгении Степановне.

— Я знаю, что у меня будет Зоя!

— Почему ты знаешь?

— Потому что я хочу, чтобы была Зоя. Я несколько лет хочу, чтобы была Зоя. Зоя — жизнь!

В самом деле родилась девочка, огромная, крикливая и здоровая. Евгения Степановна была наверху блаженства. Но молоко «бросилось ей в голову», опасная болезнь грозила ей, если бы доктор Волкова не отстояла ее... Все-таки несчастье это страшно отразилось на ней: началось заметное помрачение ее умственных способностей. Евгения Степановна стала раздражительной и крайне религиозной. В углу в каждой комнате появились иконы. Она торопила с крещением ребенка. Накануне крещения я, зайдя к ней, увидел у колыбельки Зои железную кочергу, перевязанную розовой лентой.

— К чему тут кочерга? — спросил я.

Но Евгения Степановна поднесла палец к губам и потрясла головой с испугом:

— Не трогайте.

Я не мог тогда представить себе, какую роль сыграет впоследствии эта кочерга в духовной жизни Евгении Степановны, но, в сущности, она уже играла роковую роль, только я не обратил внимания.

Когда Петр Васильевич Быков, усердно следивший за тем, сколько времени и какой писатель простоял на своем литературном посту, объявил в газетах, что я уже работаю пером двадцать пять лет, а Потапенко, писавший в «Новом Времени» фельетоны, восстал против публичности литературных юбилеев, я выбрал средний путь и пригласил товарищей по профессии к себе на дачу. Съехалось столько народу, что домик мой едва мог уместить всех. Издатели навезли мне серебра так много, что я прожил его только через двадцать пять лет.

В числе гостей, посетивших меня, были: Полонский, Градовский, Голенищев-Кутузов, Репин, Петр Соколов, Пыпин, Быков, конечно, всех я не в состоянии перечислить. Между прочим, я получил множество телеграмм и одну подписанную: Соловьев. Я подумал, что это от Владимира Соловьева. Но это был Соловьев, да не тот.

Из издателей обратил на себя внимание, приехавший с Градовским и с некиим Линевым, Проппер. Они были все во фраках и с тяжелыми серебряными подарками от «Биржевых Ведомостей».

Дмитрия Александровича Линева, писавшего фельетон в «Биржевых Ведомостях» под рубрикой: «Что думают и делают в провинции», я в первый раз увидел однажды в Москве, поднимаясь по

лестнице в «Лоскутную» гостиницу. По близорукости, я принял движущуюся ко мне навстречу сверху фигуру в черной николаевской шинели с бобровым воротником и в меховой шапке за свое собственное отражение в зеркале: до того шинель, шапка, рост, походка, длинные черные волосы, брови и точно так же подстриженная темная бородка как у меня ввели меня в обман. Но изображение двигалось и, наконец, сошлось лицом к лицу со мною.

— Я вижу перед собою писателя Ясинского? — спросило меня изображение, обнажая большие зубы из-под черных усов. — Конечно, я не ошибаюсь.

— Вы не ошибаетесь. А позвольте узнать вашу фамилию?

— Я большой ваш почитатель, и т. д. и т. д., тоже писатель, Линев.

Сходство Линева со мною бросалось издали, хотя вблизи исчезало. У него были другие черты лица, и Линев любил позировать, когда говорил громко, более или менее красно и всегда о высокой честности.

Меня тоже принимали за него, и он, зная об этом сходстве, однажды злоупотребил им.

Я отродясь не бывал в так называемом Благородном Собрании и вообще ни в одном собрании не танцовал. Линев, танцуя с дочерью гравера Рашевского, ни с того, ни с сего выдал себя за Ясинского, когда надо было представиться, а на другой день отец молодой девушки приехал меня приглашать к себе, в виду заключенного мною знакомства. Разумеется, подлог был разоблачен и заставил меня проявить, несмотря на всю кажущуюся его невинность, некоторый исключительный интерес к личности Линева, в особенности когда я рассказал об этой истории Шеллеру.

— Ничего нет удивительного. Он в свое время назывался еще князем Гокчайским! — брезгливо сказал Шеллер.

Сам Линев, до которого я добрался, дал мне честное слово, что ничего подобного он не совершал в отношении меня и что проделка принадлежит кому-нибудь другому.

Вскоре затем мне попалась книга его, автобиографического характера, которою, как оказалось, он начал свое литературное поприще. Название книги — «Исповедь преступника». Линев рассказывает в ней, что он был бедным еврейским сиротою, которого окрестил и воспитал исправник, в северо-западном местечке, что он служил юнкером, что он подделал подпись руки товарища на почтовой повестке, получил, таким образом, чужие деньги, пострадал, бежал из тюрьмы, выдавал себя за разных лиц и, наконец, стал грузинским князем, проник в Вену, увлек дочь богатого банкира, соблазнив ее своим титулом и пленительной наружностью, получил приданое и, вернувшись в Россию, наконец, попался и сидел в остроге, где, сознав свои недюжинные способности и с ужасом оглянувшись на пройденный путь, решил покончить с прошлым этой исповедью и начать новую жизнь.

Линев стал сотрудничать во «Всемирной Иллюстрации» и в московском «Курьере» купца Ланина. А затем переселяется в Петербург, становится членом Литературного Фонда и Похоронной Кассы, производит впечатление на либеральных литераторов своими речами на собраниях, которые он произносит, откинув голову, вперед ногу, кулак в грудь, повышая и понижая голос в патетических местах и поражая слух благороднейшею смелостью выражений. Наконец, он делается сотрудником второго издания «Биржевых Ведомостей», которое было разрешено Проpперу министром Витте, единственно для борьбы с противниками винной монополии и защитниками биметаллизма. Цена второго издания «Биржевых Ведомостей» была понижена до четырех рублей в год. Благодаря дешевизне и вопросам, которые затрагивал Линев в своих ежедневных беседах, тираж второго издания дошел до восьми тысяч во второй год, до десяти в третий, на четвертый год он считал уже шестнадцать тысяч постоянных подписчиков, а цензурный билет получал на тридцать пять тысяч, чтобы Висмонт имел право, собирая публикации, ссылаться на значительное распространение газеты. Первое издание — большого формата — носило характер солидного органа, но подписка его едва достигала семисот экземпляров. Это было только знамя газеты, а не сама газета — и притом знамя для втирания очков правительству. В первом издании печатались унизительно составленные отчеты о действиях правительства, о придворной жизни и биографические данные по поводу назначений на высшие посты тех или других сановников. Передовые статьи по внутренней и внешней политике писал Григорий Градовский, журналист, когда-то шедший об руку с князем Мещерским, служивший чиновником особых поручений при киевском генерал-губернаторе Безаке и усмирявший крестьянские бунты розгами, а впоследствии, уже в мое время, ставший большим либералом и сотрудником «Голоса», в котором он писал под псевдонимом Гамма. Когда совершено было убийство Александра Второго и шел процесс цареубийц, Гамма разразился фельетоном, в котором всячески старался отмежеваться от социалистов и спасти газету от обвинения в сочувствии «злодеям». Фельетон заканчивался исступленным призывом журналиста к палачу, как бы отождествляя себя с ним: «веревку, веревку!».

Помню, как покойный Новодворский прочитал его фельетон и насмешливо сказал: — «Сделай одолжение, вешайся, голубчик, кто тебе мешает. Туда тебе и дорога!». Между прочим, фельетон этот и все тогдашние статьи в «Голосе», с описанием драматургом Аверкиевым предсмертных судорог Софьи Перовской, побили рекорд трусости и фатального испуга, охватившего в марте и апреле 1881 года все либеральное русское общество, конституцию для которого старались вырвать из царских рук героические народовольцы. Правда, что не только презренный «Голос», но

и «Отечественные Записки» напечатали, хотя в более объективной форме, особую статью с великим соболезнованием о том, что случилось первого марта, и с осуждением «преступного деяния». Эта статья, как и все другие в этом роде писались в «Отечественных Записках» Елисеевым несколько семинарским слогом, — «стариком с двойственной душой» — говорил Салтыков.

Конечно, Гамма требовал веревку неискренно: он спасал шкуру свою и товарищей по редакции, а главным образом либеральный орган. Это не помешало ему поэтому сохранить ореол либерала, который он всячески старался обновлять, и в каждом номере «Биржевых Ведомостей» статьи Градовского, с одной стороны, направлены были в защиту винной монополии и против биметаллизма, а с другой — содержали в себе иногда довольно колючие замечания о тех или других распоряжениях министров (не включая Витте).

Второе издание «Биржевых Ведомостей» совсем не было распространено в Петербурге. Проппер считал, и конечно благоразумно со своей коммерческой точки зрения, что надо скрывать от зорких очей цензуры те провинциальные статьи, которые попадали в это второе издание и шли вразрез со статьями первого. Следует заметить все-таки, что и во втором издании, если выбросить действия правительства, преобладало либеральное направление с земской окраской, тогда как в первом издании направление было, между прочим, либеральное, а на самом деле — оно было консервативно-либерально-биржевое.

Не прошло и года со времени скромного юбилейного торжества моего, как в один июньский вечер я, сидя у детей в верхнем этаже, увидел из окна пана Висмонта в шикарном полосатеньком спортсменском костюмчике, восседающим на новеньком с иголочки велосипеде. Он остановился у крыльца, вручил стального коня дворнику, узнал, что я наверху, и взбежал по лестнице ко мне.

— Я приятно изумлен, — начал он, — чудесной внутренней отделкой вашего маленького палаццо. Везде эмалевая краска на стенах, лестница чугунная, золотые перила, на стенах антики; ну, как возьмешь вас голой рукой? .. А между тем, Героним Геронимович, я приехал именно вас взять. Конечно — прелиминарно, и поэтому начнем прямо быка за рога, и баста: — согласны или нет?

— На что согласен?

— А я вам сейчас объясню. Во-первых, это не каприз, а необходимость. Во-вторых, это прямая выгода, в-третьих, также выгодно и для меня. В-четвертых, если вы не поторопитесь, то, в память о той дружеской помощи, которую я нашел в вашем кабинете вместе со своим личным счастьем в лице Риммы Николаевны, я сделаю так, что и вам будет выгодно. В-пятых, принимая в соображение великолепный вид вашей усадьбы, хотя

и невеликой, я не сомневаюсь, что у вас имеются срочные платежи... В-шестых...

— Да перестаньте, скажите, в чем дело?

— В-седьмых... впрочем, еще не было в-шестых... Именно, сколько вы бы хотели получать в месяц жалования? А теперь, в-восьмых, и, честное слово дворянина, это уже конец: вы могли бы подписывать «Биржевые Ведомости» на условиях редактирования исключительно второго издания и постоянного сотрудничества в газете...

Предложение Висмонта в известной степени было принято мной, хотя, правду сказать, и неохотно.

Оставшись один после отъезда Висмонта, я взвесил все доводы против газетной работы и за газетную работу и пришел к заключению, пока априорному, что газетное дело ведется не так у нас, как оно должно было бы вестись, не навлекая на себя карающих громов правительственной цензуры и, однако же, ежедневно систематическим подбором, так сказать артиллерийским огнем фактов, почерпаемых даже из официальных источников и, в особенности, из достоверных сообщений корреспондентов, подтачивать и разрушать гнилые устои ненавистной современности. Достоверность же утверждать показаниями нескольких корреспондентов в роде того, как следователи ищут и находят правду путем очных ставок. Если, например, в Астраханской губернии какой-нибудь администратор берет взятки с рыбопромышленников, то об этом смело можно печатать, раз на него есть несколько жалоб в портфеле редактора; а если несколько таких взяточников обнаружено в разных других углах страны, да кстати в том или другом окружном суде или в судебной палате разбирается дело о взяточниках, то и готова целая картина одной из мрачнейших сторон текущей действительности в ряде убийственных сопоставлений не менее убийственных фактов. Этот метод фактического воздействия на общественную совесть должен быть, в конце концов, таким действительным и дать такие результаты, что самый горячий темперамент журналиста найдет себе удовлетворение, не прибегая к жалким словам и громким фразам, за которые газету всегда бьют по шапке.

Меня удерживало одно: первое издание «Биржевых Ведомостей», расходившееся в городе в незначительном количестве, но уже стяжавшее себе дурную славу. Проппер одно время прибегал к шантажу, объявляя в биржевом отделе газеты те фирмы, которые отказывались печатать объявления, некредитоспособными. Делал он это ловко, между строк. В банках его называли револьвером. На бирже — зайцем. Когда на другой день опять приехал ко мне Висмонт за «прелиминарным» ответом, я спросил его — правда ли, и он откровенно сказал, что правда.

— Постольку, поскольку это было несколько лет назад. Всякому же овощу свое время! Теперь, но! фэ! — и в помине нет.

Проппер начинает пользоваться уважением в торговом мире. Он страшный пролаз, я не спорю с вами, но он уже понимает, что можно получить благодарность от бразильской делегации и расхвалить ее кофе, который действительно хорош, но нельзя бесплатно омеблироваться на счет Гостиного Двора; к тому же не секрет, что Проппер взял хорошее приданое за своею женой. Поверьте, во «второе издание» он совсем не будет вмешиваться, так как оно в биржевом отношении его нисколько не интересует. Да и первое издание мы решили оберегать от какого бы то ни было пятна. Есть же большая разница между «Биржевыми Ведомостями» и «Петербургскою Газетою», и это не «Новое Время». Между прочим Проппер торопится и предупреждает вас, что если вы прелиминарно согласны и всё обдумали, что вы хотели обдумать, и да — решили, то он сам приедет к вам сегодня. Повторяю, не промахнитесь. Он не человек, а спрут.

Проппер приехал на извозчике и, войдя ко мне в мой флигелек, озабоченно попросил поскорее выслать извозчику рубль, чтобы не платить лишнего за простой.

— У меня принцип беречь копейку, — объявил он мне с приятной улыбкой на толстых, закопченных сигарою, губах.

Он не изменился за десять лет, с тех пор как я в первый раз встретил его, но в манерах его была самоуверенность, и он себя держал «с достоинством».

— Вы знаете уже, по какому делу я приехал к вам, и вам известно, что второе издание «Биржевых Ведомостей» так или иначе поставлено на рельсы и двинуто Дмитрием Александровичем Линевым. Но к этому прибавлю, что дальнейшее его сотрудничество я считаю, между нами сказать, уже бесполезным для газеты, и, как мне со всех сторон говорят, и я сам это вижу, публицистик он дурного тона. Всё кричит да бьет себя в грудь, да требует благородства от становых приставов, да если церковь пошатнулась за старостью, обвиняет в нерадении высшую администрацию, и о пустяках льет кровавые слезы. Он, конечно, имеет в своем распоряжении много благородных слов, но очень шумит и нервничает! Дайте покой!

— Вы хотите, чтобы я...

— Чтобы вы, — прервал меня Проппер, — были самостоятельным редактором второго издания «Биржевых Ведомостей», с контролем над первым изданием, и чтобы фельетоны ваши печатались хотя бы через день, захватывая общественные вопросы. Ведь это я предлагал вам еще полгода назад.

Правда, я вспомнил, жена Проппера, когда я был у него после своего юбилея с благодарственным визитом, спросила меня, почему я не пишу в газете ее мужа, а я дал уклончивый ответ, да и забыл о лестном предложении.

— Я понимаю, — продолжал Проппер, — вас, по некоторым соображениям, о которых я умалчиваю, могло коробить соседство

Линева... но к этому прибавлю, что Линев уже удален сначала под предлогом отпуска, это же назначение ваше действительным редактором не связывает вам рук распоряжаться по своему усмотрению. Состав редакции будет зависеть только от вас.

— Предположим, — отвечал я, — я изъявляю согласие и становлюсь редактором вашей газеты, но мне хорошо известно, что главное управление по делам печати относится ко мне крайне подозрительно и даже отрицательно. Я несколько раз подавал прошение разрешить мне — не газету, нет, а самый безобидный литературный журнал и всегда получал отказ.

— Знаю. Я уже был в главном управлении, и новый начальник печати Соловьев показал мне дело о вас. Он обещал утвердить вас, так как лично познакомился с вами у Полонского и успел оценить ваши археологические познания.

Я покраснел.

— При чем тут археология? Об археологии я имею такое же представление как о луне, т.-е. очень слабое. Во всяком случае, что общего между археологией и журналистикой?

Проппер развел руками и сказал юмористически:

— Таков взгляд начальства. Затем Соловьев написал ваше имя на бумажном квадратике, а на другом ничего не написал, свернул их в узенькие трубочки, взял мой цилиндр, бросил в него обе трубочки, поставил на стол его и, по крайней мере, минуту, если не две, молчал и велел мне молчать, после чего приказал: «Достаньте из цилиндра один из билетиков». Я сейчас же достал. «Разверните». Я развернул. На билетике стояло ваше имя. «Решено, — объявил Соловьев, — пусть Ясинский изъявит согласие и, вопреки неблагоприятному мнению о нем, он будет утвержден». Таким образом, Иероним Иеронимович, вам остается только надеть сюртук и отправиться к Соловьеву.

Жалованье Проппер предложил мне пять тысяч в год с тем, что каждый год он будет мне прибавлять по тысяче, не считая построчника.

Свидание с Соловьевым на Театральной улице произошло при следующих обстоятельствах.

В приемной, в ожидании, когда их пригласят в кабинет начальника, сидели, отвернувшись друг от друга, два седых старика: Суворин и Стасюлевич. Я занял третье место. Карточку мою принял канцелярист и снес по назначению. Через минуту меня вызвал Соловьев.

— Здравствуйте, здравствуйте, — начал он, поднимаясь мне навстречу. — Вы хорошо сделали, что приехали и, значит, согласились. Впрочем, я не сомневался. Я верю в игру случая. Есть что-то мудрое в его игре: мне было указание. Садитесь. Ничего, пусть те подождут. Да будет вам известно, что в кондуитном списке, составленном нашим цензором — кем, не скажу, и при

помощи какого литератора, тоже не скажу, — вы аттестованы как весьма неблагонамеренный писатель, стоящий, повидимому, вне партий, а на самом деле остающийся верным анархическому знамени и избирающий для пропаганды вредных идей в художественной форме наиболее распространенные органы. Словом, не прочь проповедывать в каких-угодно храмах, лишь бы вас слушали. Посему считаетесь опасным.

С недоумением я смотрел на него. Он хитро засмеялся и вдруг повысил голос и почти грозно вскричал:

— Но я выше всего этого. На меня не может повлиять в отношении вас кондуитный список. Я не верю этой книжонке (и он бросил в ящик книжку, которую называл кондуитным списком). Я верю своему чувству. Я сам литератор. Я уважаю писателя, я люблю прекрасный русский слог. Я только-что прочитал ваш роман «Кровь», и я оценил ваш талант, который, вижу, расцветает. Как только Сипягин назначил меня начальником печати, я немедленно решил произвести реформы во всем журнальном и газетном мире, удалить всех остальных редакторов и за-редакторов, всех зиц-редакторов, и заменить их действительными литераторами, строго рекомендовав им полную независимость, и пусть издатели берегутся! В этой книжке вас называют социалистом, но я сам социалист (страшно понизив голос) — повторяю — сам социалист. Я только государственный социалист. Я социал-монархист. Я того мнения, милостивые государи! (он опять встал с места и сделал жест по направлению к пустому ряду стульев, стоявших вдоль стены) — я того мнения, что в социализме есть зерно истины, что капиталисты, поскольку они обирают рабочих — великое зло, и что только государство, при твердой власти, может притти на помощь угнетенным классам и заставить капиталистов поделиться с бедняком отнятым у того грошом. Вы не слыхали: этот грош называется прибавочной стоимостью! А так как я к сожалению еще не министр и не первое лицо в государстве после императора, то я не могу провести государственный социализм в широком масштабе. Но как начальник печати я употреблю все усилия, и уже употребляю, чтобы богатые издатели потеснились и дали бы рядом с собою место своим сотрудникам. Сотрудники делают журнал или газету, и кладут в карман издателя вот столько денег... (он указал на пространство между обоими концами стола), а получают столько — (он показал милостивым государям кукиш) — у меня этого больше не будет. Прошу вас слупить с Проппера, сколько вам не жалко. Пройдите в канцелярию, и, будучи уверен заранее, что мы пришли с вами к соглашению и вы отнеслись уже сочувственно к моей программе государственного социализма, я еще сегодня на утреннем приеме у министра сделал представление об утверждении вашем в звании редактора «Биржевых Ведомостей». Формальную бумагу получите от Адикаевского. Можете заходить ко мне, когда вам взду-

мается, и мы еще поговорим с вами о книге Нижегородцева и о новейших открытиях по части византийского златокузнечного дела, имевшего колоссальное влияние на соответствующее искусство в древней Руси, в особенности в княжеский период нашей истории.

Он кивнул головой и отпустил меня.

В передней Суворин обратился ко мне с тревожным вопросом.

— Ну что? Как он? Говорят, зверь? За что он вас пушил?

Стасюлевич только произнес, как бы ни к кому не обращаясь:

— Бывали времена... Прежде всего надо не сходить с законности. Борьба с произволом до конца.

И застегнул сюртук на лишнюю пуговицу, когда канцелярист выбежал из кабинета:

— Господина Стасюлевича просит его превосходительство.

ГЛАВА ПЯТЬДЕСЯТ ПЯТАЯ.

1896.

Я «вступил в отправление своих обязанностей». Проппер в редакторском кабинете представил мне сотрудников. Это большею частью были молодые люди, еще студенты — Бонди, Иноземцев, Коншин (бывший редактор, он же и зиц-редактор), Коробков, Дубинский, Николай Феопемптович Соловьев (композитор и музыкальный критик), Градовский и Линев.

Молодые люди, Бонди и Иноземцев, подошли ко мне неодинаково. Бонди — с манерами светского человека, преданный мне еще до знакомства со мною, считающий, что я своим вступлением в редакцию делаю ей великую честь; он немедленно изъявил полную готовность неуклонно следовать моей программе и ждать от меня директив, во благо газеты: он исполнит всё без возражений. Он сам в душе литератор, ему надоело царствование Линева, и он так же не выносит его плаксивого стиля как и либеральных шаблонов Градовского, у которого в буквальном смысле слова в запасе не больше пяти мыслей, одеваемых им в одни и те же фразы изо дня в день.

— Я буду принадлежать к вашей партии, — объявил мне Бонди.

— Как к партии? В редакции есть партии?

— Может-быть, нельзя назвать это партиями, но есть уже течение за вас, есть и против. Во-первых, боятся, что вы введете своих сотрудников и, значит, заместите ими некоторых старых. Во-вторых, Линева не так-то легко выжить. Напротив, он будет стараться выжить вас. Мне же лично хотелось бы только, чтобы газета стала действительно литературною, и раз она возглавляется вами...

— Но знаете что, — сказал я, пожимая руку Бонди, — может-быть, со временем в газете будет введено коллегиальное редактирование. Покамест, сколько я замечаю, здесь всё в сыром виде. «Оркестра» нет. Дайте присмотреться и собраться с силами. А что касается Линева, то я не считаю его даже противником.

— Между нами сказать, — продолжал молодой человек, — он имел большое влияние на господина Проппера, и, мне кажется, вам придется еще повоевать.

Меньше всего я имел в виду такого рода альтернативу. Проппер и я — с одной стороны, Проппер и Линев — с другой. Я покачал головой.

Иноземцев, тоже еще не кончивший студент, но, как мне о нем сказали, уже семейный, и такой социалист, что семь очков вперед даст Линеву! Вел он себя увальнем. На губах играла застенчивая и вместе насмешливая улыбочка слегка скошенного рта. Глаза маленькие, большой, упрямый лоб.

— Вы что же поделываете в «Ведомостях», Иван Григорьевич? — спросил я.

— Второго издания я не касаюсь. Это Бонди обслуживает оба издания, а я только в первом, — уклончиво ответил он.

— Но и первое издание тоже находится под моим контролем, и я его подписываю.

Он промолчал.

— Поступила корректура с описанием металлического завода. Знаете, чья статья?

— Моя. Описывать заводы и фабрики — мое дело.

— Значит, в вашем ведении фабрично-заводский отдел. Я вот сейчас пробежал корректуру. У вас, повидимому, очень точно изображена казовая сторона производства, и вы не пощадили красок для представления дел завода в блестящем свете. Хозяин, конечно, более чем доволен, капиталист блаженствует, но вам должно быть известно, что чем более блестяще положение капиталиста, тем...

— Хуже рабочим? — хотите вы сказать, — прервал меня Иноземцев и покраснел.

— Я хотел заметить вам, — продолжал я, — что в корректуре я тщетно искал хоть намека именно на положение рабочих. Если дивиденд завода так велик, то какова заработная плата?

— Обыкновенная... вообще разная... Но ... но распространяться об этом у нас нельзя. Вы спросите, почему? Потому что... — он сердито метнул на меня глазами, — потому что на это есть подпольные газеты, или если их нет, то могут быть.

— В подпольной газете преобладает пропаганда. Ее дело — агитация словами, а задача надпольной прессы — фактами и цифрами. Колоссальный дивиденд, умопомрачительные данные доходности предприятия, и тут же — как оплачиваются мастера, рабочие, чернорабочие. И только, и больше ничего. Но контраст

будет разителен, и смысл описания капиталистического предприятия оправдается.

— Видите ли, это значительно изменяет дело. Хорошо, если Проппер не обратит внимания. Он имеет привычку в последний момент даже раздувать доходность описываемого нами предприятия по каким-то своим личным соображениям.

— Не хотите ли вы сказать, что ваши описания служат рекламой капиталистам, и за это хорошо оплачиваются?

— Не утверждаю, но допускаю, что так. Однако, не из этих ли денег и вообще из публикационных сумм оплачиваются высокие гонорары редакторов?

— Верно. Но в таком случае мы все-таки, допуская те или другие отчеты хотя бы дутых промышленных предприятий, должны не забывать извлекать из'них пользу для нашей основной цели служения интересам общественности в широком смысле слова.

— Вы подразумеваете пролетариат? Вы правы. Пожалуй, что Проппер и не заметит.

—Таким образом, я попрошу вас, Иван Григорьевич, дополнить вашу статью недостающими цифрами. В крайнем случае, сошлитесь на меня.

— Так поступать во всех предстоящих случаях?

— Да, несомненно. Я вас очень прошу. Скажите, вы не знаете, сколько получает Бонди жалованья?

— Владимир Александрович получает двадцать пять рублей.

— А вы?

— Сорок, потому что я семейный.

— Вы будете получать оба по семидесяти пяти.

— Проппер не даст.

— Я начну с того, что недостающие до семидесяти пяти рублей суммы будут в обоих случаях вычитаться из моего жалования в вашу пользу.

— Думаете, Проппер устыдится?

— Разумеется.

Иноземцев скривил губы, еще гуще покраснел и сказал:

— Не имею права отказаться. Благодарю вас.

Что касается Григория Градовского, то этот почтенный, уже очень пожилой, либеральный писатель с подмоченной репутацией, как называл его Буренин, имел привычку вести себя в кабинете редактора, как вел бы столоначальник, являясь с докладом к директору департамента, не садился, а стоял почтительно-непринужденно, вынимал статью, написанную на большом листе бумаги, одну и другую, по внутренней и по внешней политике, и читал с большим достоинством «на случай совместного обсуждения и необходимых разъяснений некоторых темных пунктов». Я конфузился. Мне стыдно было, что Г. Градовский, фигура чуть не до потолка ростом, стоит как школьник передо мной. Бонди был прав. Статьи Градовского представляли собою набор пустейших либеральных фраз, достоинство которых заключалось лишь в том, что едва ли кто прочитывал их до конца. Что действительно редко кто читал передовые статьи «Биржевых Ведомостей», служит следующий анекдотический факт, случившийся некоторое время спустя после моего поступления в редакцию. Некто Багницкий выпускал по ночам первое издание. Во второе издание я редко назначал передовые статьи. Было поздно. Багницкому, человеку необыкновенно веселому и легкомысленному, надоело сидеть в типографии. Он спешил домой, а вдруг метранпаж обратился к нему с просьбой приделать кончик к передовой статье Градовского, так как мальчик просыпал набор, и не хватало хвоста. Оригинал же затерялся в корректорской. Не знаю, что осенило Багницкого. Он взял и чиркнул: «отче наш, иже еси на небеси», и так до самого «аминя». Наборщики были с ним в разладе. Они «отче наш» набрали и спустили в машину. Утром беру «Биржевые Ведомости» и в ужас прихожу. Что-то о Гладстоне, о нашей восточной политике, и вдруг «отче наш»! Ну, думаю, начнется перепалка в газетах, посыплются письма от подписчиков; да, должно-быть, я был единственным читателем злополучного номера. Ни малейшего отклика в газетах, ни одного открытого письма от подписчика! Никто не ткнул редактора носом, и только Багницкий получил от меня предложение немедленно взять расчет в конторе. Любопытно, что даже Градовский не прочитал в печати свою статью.

Сближение с сотрудниками, приглашение новых и спаяние их с общим составом редакции совершалось не так-то легко. На первом редакционном ужине все долго смотрели почти неприязненно друг на друга. Проппера же несколько озадачило требование мое обращать внимание в заводских и фабричных корреспонденциях не только на доходность предприятия, но и на среднюю заработную плату. Его очень смущало, почему я каждый раз требую отметки, чтó именно уделяется рабочим и сколько остается чистой прибыли капиталисту. Зачем тут упоминать еще о рабочих; ясно блистательное состояние дел фабриканта, и довольно! Линев был мрачен. Иноземцев задумчив, но, очевидно, он уже склонялся на мою сторону.

Подписка на июль месяц значительно упала в «Биржевых Ведомостях»; я говорю о втором издании. Она шла по четвертям года; но с октября вдруг посыпалась в таком изобилии, что с Проппером сделалась лихорадка.

— Что же это будет, Иероним Иеронимович? — приставал он ко мне, — ведь будет пятьдесят тысяч, если не семьдесят!

Письма из провинции стали приносить мне ежедневно целыми корзинами. Вместо бесцветного Дубинского, писавшего под именем Полтавского литературно-критические заметки, я пригласил Измайлова, а вместо Григория Градовского, ушедшего в газету «Луч» Вольфа, стал писать передовые статьи по политике некто

Бурдес, бойкий, остроумный публицист с комической внешностью и с оригинальными взглядами на текущие события; впрочем, оппортунист, как того требовала тогдашняя царская действительность.

Роль «Биржевых Ведомостей», именно как органа Витте, была сыграна еще до меня. Проппер с Линевым били в акцизный барабан до изнеможения. Строго говоря, в этом, даже оглядываясь назад, нельзя видеть ничего позорного. Витте был умный человек; может-быть, единственный государственный человек своего времени, обладавший не только пониманием прошлого, но и предвидением будущего. Он-то, действительно, был государственным социалистом и обладал достаточными способностями для проведения этого, как называл Соловьев, монархического социализма в жизнь ради обновления аппарата, пришедшего в ветхость. Конечно, остановить колесо истории и направить ее по тому пути, на котором монархия не сломала бы себе голову, в конце концов было уже невозможно. Но гибель монархии, если не династии, Витте, конечно, мог бы отсрочить десятка на два, на три лет, если бы в руках его сосредоточена была вся власть и если бы историко-политическим подбором вся правительственная машина не представляла собою в общей массе скопище глупцов, идиотов, казнокрадов, палачей, невежд, развратников и ханжей.

Витте, использовавший «Биржевые Ведомости», не касался к ним больше. Так или иначе, его реформа была проведена, и «Биржевые Ведомости» не были уже больше нужны для цели, которую он себе намечал. С Витте я был знаком еще в Киеве, еще в 1870 году, когда он служил на железной дороге, только-что начавшей строиться, и приходил в редакцию «Киевского Вестника», где я сотрудничал. Встретившись с Витте в Историческом Обществе, я не напомнил ему об этом знакомстве, но он, когда зашла речь о Проппере, сказал:

— Он чистокровный издатель. У него одна цель — разбогатеть. Я его больше не принимаю. Ему следовало бы не злоупотреблять моим именем. Я исхлопотал ему второе издание, и нахожу, что вы ведете его на пределе возможности. Смотрите, не поскользнитесь. Вас же я знаю как писателя с незапамятных времен. В крайнем случае, прошу вас не стесняться, и, если что вам понадобится, я к вашим услугам.

Проппер как хозяин был, в сущности, очень несносен. Он во все вмешивался, называя себя только казначеем газеты, торговался с сотрудниками из-за каждой копейки, в особенности если расход выходил за пределы утвержденного им бюджета.

С каждым днем росла подписка. Проппер богател не по дням, а по часам. Редакция и типография помещались в наемном доме; Проппер стал часто вслух мечтать о собственном доме. Но его расчетливость и неуместная скупость долго рисовали мне его как человека недалекого. Случайно работниками его оказались люди

способные. Я не говорю о Линеве и о себе. Но его управляющий конторой Сыров более, чем умело, вел дело; пан Висмонт собирал объявления всякими правдами и неправдами; и так уже построен мир, что как только начинает везти капиталисту, и он видимо на глазах у публики раздувается, все о нем кричат, восхваляют его ум, энергию, сплетничают о нем, тайно ругают, завидуют, а явно жмут ему руку, говорят комплименты, невольно убеждают его, что он умный человек, что не будь у него семи пядей во лбу, ни за что бы ему не подняться и не возвыситься над другими умными людьми, и не обратить их в своих рабов.

Как я ни уговаривал Проппера, как можно справедливее ценить рабочую силу, он, то и дело, урезывал, при малейшем удобном случае, гонорар сотрудникам. Назначу десять копеек за строчку, а он выторгует пятачок и даже двумя копейками не побрезгует. По поводу сверхурочной платы наборщикам у меня вышло с ним уже в то время, когда газета приносила десятки тысяч чистой прибыли, трагикомическая свалка. Была спешка, всю ночь не спали наборщики, все утро, весь день, бессменно, и сделали то, что требовалось.

Чахоточный метранпаж Семенов был бледен, шатался: не человек, а тень. Пришел ко мне в комнату и сказал:

— Заступитесь за нас: мы из сил выбились, до получки еще три дня ждать, а нам сегодня надо выдать сверхурочные, как обещано г. Проппером, по полтора рубля на рыло, — между тем он и полтинника не дает и выгнал нас от себя; кроме вас найдется, говорит, много наборщиков. Вы все пьяницы... Конечно, к сожалению, найдутся, но, все-таки, пока найдутся, мы решились на крайнее средство. Бросим работать, и газета завтра не выйдет... И чорт с нею. Я только вот ради вас, что вы стараетесь для нашего брата... вот и обращаемся... я, значит, как метранпаж — в роде представителя.

Меня взволновал Семенов. Я у него был на квартире перед этим. Молодой человек жил с семьею, в двух душных крошечных комнатках; человек он был непьющий; у жены и у матери был такой истерзанный унылый вид, и дитя кричало в жару. Вопиющей нуждой веяло от всей жалкой обстановки. А ведь метранпаж, еще квалифицированный работник, некоторым образом мастер! Какую же нужду должны были терпеть другие наборщики?!

В эту минуту, услыхав, что у меня Семенов, Проппер вышел в приемную. Я даже не узнал его, столько злости и холода было в его голосе, ненависти в глазах, и столько высокомерия проявила его, начинавшая полнеть, фигурка.

— Господин Семенов, — начал он, — обращается не по адресу, это не дело господина Ясинского, а если хозяин что̀ решил и что̀ сказал, то он знает лучше, для чего он это сказал и почему он так решил. Я сверхурочных не признаю, я обещал заплатить, если найду нужным. Но последнее условие мое рабочие пропустили

мимо ушей: — если найду нужным и если работа будет выполнена к двенадцати часам ночи, в крайнем случае — к пяти часам утра... А вы когда ее сдали?

Газетная работа — нервная работа. Сознание унизительности положения помощника или сотрудника капиталиста, который думает, что он будто делает огромное дело — и ведь действительно огромное, — но которое делают другие — все эти Семеновы, да, пожалуй, и Ясинские — развило во мне внезапный взрыв такой ярости, какая давно не потрясала меня, человека вообще кроткого. Я схватил Проппера за плечи — сила у меня всегда была большая — и потряс его в воздухе.

— Паук, — закричал я, — немедленно заплати рабочим, что обещал!

Проппер, как сноп, опустился на стул, в изнеможении раскинул руки и умирающим голосом произнес: — Хорошо.

Номер вышел благополучно, но Проппер заболел и три дня не являлся в редакцию.

В один из этих дней к воротам моей чернореченской усадьбы подкатил фаэтон, запряженный парою лошадей, и из экипажа выпорхнула мадам Проппер в элегантном костюме, в сторублевой шляпке; и когда я вышел ей навстречу, она протянула мне обе руки и любезно и дружески на своем польско-русско-французском жаргоне — воспитывалась она в Вене и не знала ни одного языка и в то же время знала все — сказала:

— Я приехала за вами, узнавши, что вас нет еще в редакции; и, пожалуйста, вылечите мне мужа вашим присутствием, потому что он лежит и чувствует себя убитым, пока не увидит вас!

Я поцеловал руку мадам Проппер, и мы поехали.

Правда, Проппер лежал. Большие, темные глаза его радостно воззрились в меня.

— Конечно, я сейчас же стану здоров, — объявил он: — мне уже захотелось курить, а это хороший знак. После такого обращения со мною, которое я, очевидно, заслужил, я хотел бы, чтобы оно оставило во мне более приятное воспоминание. Я верю, что мы сойдемся на «ты», потому что это было очень интимно, и потому, что когда люди интимны между собою, то могут говорить друг другу всё в глаза без обиняков, не правда ли? И так как я кое-что обдумал за этот тяжелый промежуток времени, то я — не как поэт, нет, во мне нет ничего поэтического! — а как коммерческий ум, извлекающий из всего пользу, должен притти к заключению, и уже пришел, что заработная плата всем решительно в «Биржевых Ведомостях», от самых первых работников и до последнего сторожа, должна быть значительно повышена, что нам даст возможность вербовать друзей, а не врагов, для «Биржевых Ведомостей». Может-быть, Иероним Иеронимович пойдет дальше и потребует, чтобы сотрудники стали

участниками в деле, то, может, я и на это соглашусь — со временем! — с некоторым усилием заключил он.

Мы пожали друг другу руки.

Флора Мартыновна, жена его, между тем, приготовила завтрак, велела откупорить бутылку шампанского, и ссора была погашена.

— Вероятно, подписка тогда еще более поднимется? — отчасти насмешливо спросил Проппер, возвращаясь к своему великодушному решению.

— Будет сто тысяч.

Справедливость требует отметить, что, хотя Проппер и продолжал болеть душой, когда приходилось переплатить какую-нибудь копейку, в «Биржевых Ведомостях», до конца их бытия, гонорар и заработная плата стояли выше, чем в других периодических изданиях.

А бедный метранпаж Семенов вскоре совсем зачах и умер. Чрезвычайно тяжело он умирал. Я посетил его и как-раз пришлось присутствовать при его кончине. Последнее слово его было к жене:

— Как-то ты теперь... без меня...

Я сказал Народному Проппер, и он назначил вдове маленькую пенсию, а Семенов был похоронен за счет «Биржевых Ведомостей».

ГЛАВА ПЯТЬДЕСЯТ ШЕСТАЯ.

1896 — 1899.

Линев сотрудничал не более недели при мне.

С уходом Линева атмосфера в «Биржевых Ведомостях» расчистилась. На редакционном совете, который я собрал, был возбужден вопрос о направлении газеты. Это был щекотливый вопрос. Проппер потребовал, чтобы совершенно был устранен из обсуждения биржевой отдел в виду того, что никто из нас, литераторов и публицистов, в нем ничего не смыслит. Иноземцев стоял за линевщину.

— Только делать это надо даровито!

Я предложил придерживаться научного социализма, вспомнив статьи Зибера в «Слове». Плохо был я знаком с научным социализмом, но немногих знаний моих достаточно оказалось, чтобы покорить Иноземцева и других.

— Тем более, — сказал я, — что начальник печати Соловьев, несмотря на все его деспотические замашки, сочувствует социализму, правда, государственному — он государственный социалист, как и Витте. Но это уже доказывает, что научный социализм в известных пределах может быть терпим у нас. Знамя мы выкидывать не будем, а постараемся поглубже проникнуть в общественность и по мелочам проанализировать нашу государственность. Нам незачем приставать ни к народникам, ни к либералам, ни тем более к оппортунистам нововременского типа. Будем смотреть



на второе издание «Биржевых Ведомостей», как на орган здравомыслящей, честной, преследующей пользы благосостояния и просвещения, быстро растущей независимой партии.

— В таком случае, пускай будут ваши фельетоны с завтрашнего же дня подписываться так: Независимый, — сказал Проппер.

В течение ровно семи лет без перерыва, не пропуская ни одного дня, стал писать Независимый в «Биржевых Ведомостях», и со временем из Минусинска Амфитеатров, сосланный туда за свой фельетон «Обмановы», писал мне: «Нет ни одного уголка, такого темного и захолустного в России, где бы не было известно ваше имя. Журнал — пирожное, бросьте; а газета — вот хлеб, вот обед!».

Были в жизни «Биржевых Ведомостей» не только трагикомические случаи, но и трагические. Я не говорю о многочисленных судебных преследованиях, которым подвергался Независимый. Чтобы совершенно обезопасить корреспондента от каких бы то ни было репрессий местного и общего характера, я заявил в газете, что ничьего имени ни под каким предлогом я ни судебным ни административным властям не выдаю и прошу поэтому читателей соблюдать строжайшую осторожность и правдивость в своих письмах ко мне, чтоб не подводить меня. Можно сказать, удивительно, что меня привлекли к ответственности только семнадцать раз. Мне стыдиться было нечего, я выходил на суд открыто, без защитника, и из семнадцати раз только два раза был оштрафован по пяти рублей.

Трагедия же заглянула к нам в редакцию, более или менее, серьезно три раза. Первый раз я был вызван к Соловьеву по поводу статьи моей об эксплуатации крестьян графом Ридигером, богатейшим помещиком северо-западного края.

— Вот и система ваша фактических аппошей, — вскричал Соловьев с пеной у рта, когда я вошел к нему в кабинет. — Я только-что от министра, и из-за вас неприятно выходить мне в отставку. Я чересчур распустил вас, господин редактор! Вы, в самом деле, вообразили, что у нас какой-то государственный социализм. Об этом можно мечтать.

— Мечтать о государственном социализме! — вскричал я.

— Ну, да, мечтать! Или не подавать виду. Согласитесь сами, Ридигер, чорт его бери, но он личный друг государя. Он пожаловался на вас, а государь распушил министра. А вы знаете, что́ это такое?.. Некоторым образом государственное бедствие. Ну, да как поправить? Теперь в этом вопрос. Ведь вы не напечатаете, что это неправда, что все это ложь, фантазия Независимого.

— Отчего же, Михаил Петрович, можно напечатать, что и самого Ридигера нет, и что он тоже фантасмагория, но только в форме правительственного сообщения на основании известной статьи цензурного устава.

— Да вы мне тут не шутите, — захрипел Соловьев, — у меня экзема сделалась после объяснения с министром... не до шуток!

— Местные корреспонденты, не один, а их несколько, и в их числе даже одно правительственное лицо, — подтверждают, что факты не искажены, а мною даже еще сглажены. Ясно, что остается только место правительственному опровержению.

— Хорошо-с! Я воздействую на Проппера.

Он вызвал Проппера после меня. Проппер вернулся от него, трясясь всем телом.

— Надо напечатать от редакции извинение.

— Ни за что!

— Но необходимо для спасения газеты: будет приостановлена.

— Ничего не значит, тем выгоднее для газеты (я вспомнил тактику Пятковского). Отдохнем. Ты поедешь за границу, а у меня будет время написать роман.

Три дня прошло в мучительном ожидании. Наконец, Соловьев опять вызвал меня.

— Ты победил, галилеянин! — вскричал он. — Сегодня получено от Ридигера письмо с просьбой напечатать, что виновник злоупотреблений и притеснений крестьян — управляющий помещиком удален. Так вот напечатайте и воздайте должное Ридигеру. Согласитесь сами, беспристрастие выказано им редкое. Он признал силу печати. Ну-с, а теперь я эту толстопузую каналью, наш цензурный комитет, хочу подтянуть. Между нами сказать: я ведь в полном одиночестве! Приезжайте ко мне сегодня обедать. Я угощу вас таким вегетарианским обедом, какого и на Черной Речке не бывает.

После обеда он стал показывать мне свои миниатюры.

— Но, вот что удивительно! — вдруг признался он. — Я всю эту красочную пестрядь на полях книги пишу с натуры. Закрою глаза, посижу, увижу, что́ мне надо, и рисую. Бывает чрезвычайно ярко и реально, а иногда сумрачно. А вот сейчас... — Соловьев впал в столбняк, глаза его поблекли и нижняя челюсть отвалилась; прдолжалось это несколько секунд. Он встрепенулся и продолжал: — Что-то серое, как дым бьется, уже не так заметно и пропадает... а похоже было на змея-искусителя с человеческой головою и с такими глазами, как у Проппера.

Ну, думаю, началось. Пора уходить, и сказал вслух:

— Вам надо отдохнуть. Это у вас послеобеденные видения.

— А у вас это бывает? — таинственно спросил он меня. — Вот Победоносцев мне говорил, что у него бывает, только он тогда скверными словами ругается, самыми что ни на есть отборными, извозчичьими, и прогоняет беса.

Второй за Ридигером случай был с Дубасовым.

Адмирал Дубасов завладел осиновой рощей, большим лесным участком, которым искони владели крестьяне. Сельское общество пожаловалось Независимому, прислало мне все документы в заверенных копиях и судебное решение в пользу Дубасова, явно не-

справедливое и незаконное. Сроки еще не прошли. Я написал ряд статей в защиту крестьян. Это ободрило их, они перенесли дело в Сенат и выиграли. Как ни странно, но поверенный крестьян, при докладе дела, ссылался на статьи Независимого, и Сенатом они из любопытства были заслушаны. О такой победе над Дубасовым Независимый немедленно раззвонил по всему русскому миру, так как дело было типичное и не одна осиновая роща оттянута была от крестьян, и не одним Дубасовым.

Адмирал, пылая гневом, приехал в Петербург, пришел в контору «Биржевых Ведомостей», стал бить по конторскому прилавку своей клюкой, грозил револьвером, кричал:

— Подайте мне сюда ваших жидов, я размозжу им головы, как они смеют поганить мое честное имя. Подайте Проппера! Кто такой Независимый? Подайте сюда Независимого!

По приказанию Проппера к Дубасову вышел управляющий делами «Биржевых Ведомостей» Сыров.

— Редактором у нас Проппер не состоит. Он только издатель, а редактор такой-то, он же и Независимый, живет там-то.

В редакцию я приезжал к четырем часам. Проппер встретил меня бледно-зеленый от ужаса. Он сказал о Дубасове и выразил смелую надежду не из очень приятных, что адмирал приедет ко мне на Черную Речку воевать и может застрелить меня «из ружья». Он не один, а с ним какой-то унтер с огромнейшими усами и с ног до головы вооруженный.

— Подумайте только, — лепетал Проппер, — ему ничего не стоит убить человека, потому что не надо забывать, как он храбро взрывал на Дунае турецкий броненосец.

В ответ я выразил тоже смелую надежду, что Дубасов не окончательно же глуп.

Окончательно глуп он не был, но все-таки глуп.

На следующий день на Черную Речку явился от него этот усатый «унтер».

— Адмирал Дубасов изволит требовать вас к себе для необходимых объяснений.

— Скажите адмиралу Дубасову, что редактор «Биржевых Ведомостей» может принять у себя его от четырех до шести часов ежедневно на Мещанской в редакции.

Дубасов этим не ограничился. Он прислал ругательную записку мне на Мещанскую, подобную тем словам, которыми Победоносцев, по свидетельству Соловьева, имел привычку отгонять от себя злого духа. Я корректно ответил, что, следовательно, свидание наше, которого так добивается адмирал, состоится, очевидно, у мирового судьи. Но к суду я его не привлек. Он поспешил уехать из Петербурга. В сущности, трагический случай этот мрачным представлялся только Попперу, а на самом деле я с своим помощником Бонди хохотал над ним.

Но вот настоящая трагедия разыгралась в 1899 году, когда полиция избила студента университета. Факт был душу возмущающий, и нельзя же было не откликнуться на него, нельзя было подать его, как факт, характерный для нашей социальной физиологии и только. Надо было воззвать к боевому темпераменту, если таковой еще не заглох в русском обществе. Ужасно это чувство гражданского негодования, которое охватывает в такие моменты публициста! Сознание своего бессилия и жажда мести, гневного отклика. Хотелось крикнуть: будьте вы прокляты! В редакции были заготовлены две статьи, обе передовые: одна более умеренная, другая — к моменту страстная, — и та и другая, в сущности, под занавес, т.-е. под закрытие газеты. Собрали редакционный совет и единогласно решили: под занавес, так под занавес! Вдруг мне докладывают, что в приемной дожидает меня Демчинский по важному делу.

Демчинского я знал еще в Киеве. В Петербурге он содержал цинкографию, потом стал предсказывать погоду и поддерживал знакомство с Витте.

— Вы, разумеется, — начал он, — в затруднении, можно ли смело реагировать на студенческое избиение. Кровь студента вопиет. Я только-что говорил с Витте, и он попросил передать вам, чтобы вы не стеснялись.

Я вернулся в кабинет, где заседала редакция, и передал, что советует Витте. Была пущена самая острая статья и прибавлено к ней еще два, три словечка.

Конечно, громы и молнии. Меня и Проппера вызвал Соловьев, и минуту, которая казалась часом, пронизывал нас змеиным взглядом.

— Кто автор этой статьи? — прошипел он, наконец.

— Вот, — указал на меня Проппер.

— Да-с, вы имеете о государственном социализме превратное представление. Это не революция, милостивые государи! Это приостановка «Биржевых Ведомостей» на шесть месяцев! И в дальнейшем — подцензурность.

На улице Проппер сказал мне:

— Я поеду к Витте.

Но Витте его не принял, или его не было дома; и пришлось «Биржевым Ведомостям» одеться в траур.

ГЛАВА ПЯТЬДЕСЯТ СЕДЬМАЯ.

1899 — 1902.

Проппер всем сохранил жалованье на время приостановки газеты и, прочитав вопрос в моих глазах, когда он объявлял об этом, прибавил: «И даже наборщикам». Соловьева это расположило в пользу «Биржевых Ведомостей». Он сказал мне:

— Надо будет исходатайствовать сокращение срока приостановки.

Проппер, между тем, приняв русское подданство, стал «кровавым» русским: на светлый праздник пригласил к роскошному пасхальному столу всех служащих и христосовался с наборщиками и сторожами трижды — чмок-чмок чмок! Было всем радостно, потому что еще накануне получилось официальное извещение о разрешении выходить в свет «Биржевым Ведомостям», под цензурой Африкана Африкановича Елагина, из «толстопузых», — бонвиван он был и взяточник. Ему сейчас же было назначено четыреста рублей «жалованья», которое ему Иноземцев и отвез, а элегантная мадам Проппер изготовила пышный букет роз, увитый богатой шелковой лентой, на которой золотом было тиснуто: «Михаилу Петровичу Соловьеву от воскресших».

Об этом букете я узнал уже через несколько дней от самого Соловьева.

Подцензурность почти ничего не изменила в поведении «Биржевых Ведомостей». Второе издание особенно стало даже как-то дерзновеннее. Мы удаляли одним взмахом пера земских начальников, становых и даже исправников, не говоря уже об урядниках.

Это всемогущество «второго издания» было значительным явлением и радовало то, что на Руси весь персонал народных учителей, все почтово-телеграфные чиновники, в пользу которых не мало копий преломил Независимый, и при том не бесплодно, все железнодорожники, наконец, были спаяны уже и представляли собою некоторым образом организованную армию бедноты, что впоследствии и дало себя знать, когда был кликнут клич ко всеобщей забастовке.

К великому сожалению, «Биржевые Ведомости» отпугивали от себя, однако, своим названием промышленных рабочих. Еще кустари переписывались с Независимым, но рабочие фабричные и заводские редко писали о своих нуждах. И это не потому, что в то время еще не было рабочего движения. Ведь не было еще и крестьянского движения. Помню, как из одной текстильной фабрики пришло несколько жалоб на следующий способ объегоривания: сдают рабочие мастеру известное число аршин ткани; мастер быстро меряет и на каждый аршин прикидывает вершок, два, а иногда и четверть аршина, так что к прибавочной стоимости выработанного рабочими товара еще присоединяется пример. Я рассказал об этой подлости, обнаружение которой на фабрике привело к забастовке, и статью свою Независимый назвал «Примером». Цензор просмотрел ее, но в самый решительный момент вдруг понял игру слов и ночью прилетел ко мне:

— Помилуйте, что же это вы делаете? — вскричал. — Это же пример всем другим рабочим, значит? Дескать, бастуйте вы, братцы!

Я его уговорил, пустил даже в ход «государственный социализм» Соловьева. Он выпил графинчик зубровки, обещал, что статья пойдет в следующем номере, но так она и не пошла.

Все же от времени до времени статьи в защиту интересов рабочих у нас проходили чаще, чем в других газетах.

Потом Федор Калинин, первый председатель революционного петербургского пролеткульта (он же по прозвищу Аркадий), служил в мое время мальчиком в типографии «Биржевых Ведомостей» и мне было приятно и «гордо» узнать от него, что первым толчком ко вдумчивому отношению к печатному слову, а затем и к жизни, дали ему статьи Независимого. Такие признания для писателя дороже всех юбилейных лавров.

Следить из года в год за тем, как развивались «Биржевые Ведомости», как они временами то тускнели, то разгорались, какие выдерживали невзгоды, с кем дружили, с кем вступали в полемику и как лавировали среди Сциллы и Харибды жестокого времени, как постепенно богател Проппер, и как от него отставали в этом отношении сотрудники и рабочие, как он покупал имения и строил дома (разнесся слух о том, что он купил в Австрии или где-то в Италии землю, дающую право ему на звание графа, а в «Новом Времени» Столыпин утверждал даже, что он видал карточку Проппера под графской короной), как он добивался сделаться гласным думы и за деньги сделался, как, разумеется, ему стал уже претить левый запах «второго издания», и как ноздри его приятно щекотал запах, издаваемый буржуазными клоаками, и т. д. и т. п., — обо всем этом долго было бы распространяться, да и места впереди уже мало.

Как только убит был министр Сипягин студентом Балмашевым, Соловьев зашатался, и должность его занял Зверев. Года два еще тянул я лямку Независимого; и однажды, описывая роскошь, какою окружал себя в Сибири один крестьянский начальник, я пошутил в своей статейке что-то насчет ананасов, да и статейку озаглавил «Ананас».

А тогда ананас еще помнили по манифесту, в котором один абзац начинался так: «А на нас господь возложил священное бремя» и т. п. в таком роде. Поэтому слово «ананас» стало произноситься верноподданными с сдержанной улыбкой, произносилось, произносилось, и сделалось нецензурным. Курьезно, но ведь это же было! Сказать ананас, да еще в печати — значит придать ему особый неблагонамеренный смысл.

Зверев вызвал сначала Проппера, а затем меня.

— Помилуйте, — солидно и серьезно заговорил этот почтенный и заслуженный ученый, еще недавно читавший в университете греческую литературу: — подумайте, что вы написали: «ананас»! Ананас! — повторял он. — Сколько язвительности. Должно быть, вы полагали, что мы не заметим этого ананаса, который вы изволили поднести его величеству, с таким, я позволю себе выразиться,

коварством. Правда, Африкан Африканович проморгал. Он говорит, что даже и забыл о высочайшем манифесте. Тем хуже для него. Я не имею права вам предложить выйти в отставку, это касается ваших экономических отношений с издателем, но советовал бы больше не подписывать газету.

Я решил исполнить совет глубокомысленного профессора. Я устал и надоело работать на мельницу не столько уже общественности, сколько на мельницу г. Проппера. В особенности терзали меня постоянные жалобы подписчиков на мошеннические публикации. Разные канальи изобретали — то за одну марку, то за три марки секрет приобресть сто рублей, то за двенадцать рублей гарантировали полтораста рублей заработка, то предлагали помаду для рощения волос, то граммофоны за три рубля, то журнал с двенадцатью красавицами в натуральную величину. Хотя четвертую страницу, где печатались объявления, подписывал уже пан Висмонт, но, тем не менее, морально отвечал я за всякое плутовство, на котором покоилось благосостояние «Биржевых Ведомостей».

Еще за год перед тем Сытин накануне новогодней подписки приезжал ко мне и предлагал единовременно двадцать тысяч и затем какое угодно жалованье, если я переведу свои статьи за подписью Независимый к нему в Москву в «Русское Слово», редактором которого и стану.

— Я вот стою у вас у дверей, — сказал мне Сытин, — и до тех пор не сяду, пока вы не согласитесь. Проппер не в состоянии вам платить столько, сколько я вам заплачу. Я ваши сочинения за огромные деньги куплю и издам, и подписку из «Биржевых Ведомостей» мы перельем в «Русское Слово», как вот вино переливают из стакана в стакан!

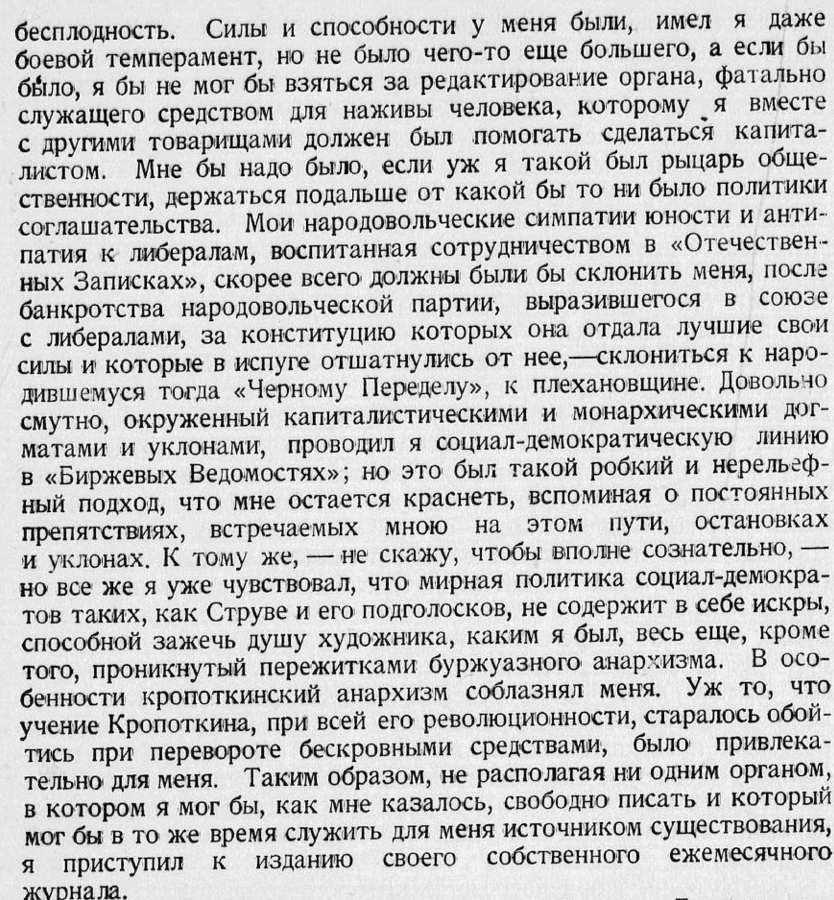
Было выгодно, и Проппер на моем месте не задумался бы ни минуты, но я все-таки отказал Сытину.

По просьбе сотрудников, я провел еще подписку на 1902 год, и Проппер расстался со мною после роскошного ужина и не менее роскошных, пышных прощальных речей.

ГЛАВА ПЯТЬДЕСЯТ ВОСЬМАЯ.

1902 — 1903.

Входил я в «Биржевые Ведомости» с преувеличенными надеждами; ушел в значительной степени разочарованный. Я в течение семи лет точно стоял на какой-то вершине, откуда видел перед собою нашу необъятную страну со всеми ее богатыми и роскошными возможностями роста и процветания, но связанную, скованную, бьющуюся в тенетах неволи и даже не бьющуюся, а оцепенелую, иногда только судорожно подергивающую закоченевшими мышцами. Работа, которую я вел, раскрыла мне глаза на ее почти



бесплодность. Силы и способности у меня были, имел я даже боевой темперамент, но не было чего-то еще большего, а если бы было, я бы не мог бы взяться за редактирование органа, фатально служащего средством для наживы человека, которому я вместе с другими товарищами должен был помогать сделаться капиталистом. Мне бы надо было, если уж я такой был рыцарь общественности, держаться подальше от какой бы то ни было политики соглашательства. Мои народовольческие симпатии юности и антипатия к либералам, воспитанная сотрудничеством в «Отечественных Записках», скорее всего должны были бы склонить меня, после банкротства народовольческой партии, выразившегося в союзе с либералами, за конституцию которых она отдала лучшие свои силы и которые в испуге отшатнулись от нее,—склониться к народившемуся тогда «Черному Переделу», к плехановщине. Довольно смутно, окруженный капиталистическими и монархическими догматами и уклонами, проводил я социал-демократическую линию в «Биржевых Ведомостях»; но это был такой робкий и нерельефный подход, что мне остается краснеть, вспоминая о постоянных препятствиях, встречаемых мною на этом пути, остановках и уклонах. К тому же, — не скажу, чтобы вполне сознательно, — но все же я уже чувствовал, что мирная политика социал-демократов таких, как Струве и его подголосков, не содержит в себе искры, способной зажечь душу художника, каким я был, весь еще, кроме того, проникнутый пережитками буржуазного анархизма. В особенности кропоткинский анархизм соблазнял меня. Уж то, что учение Кропоткина, при всей его революционности, старалось обойтись при перевороте бескровными средствами, было привлекательно для меня. Таким образом, не располагая ни одним органом, в котором я мог бы, как мне казалось, свободно писать и который мог бы в то же время служить для меня источником существования, я приступил к изданию своего собственного ежемесячного журнала.

Соловьев был еще у дел, и он разрешил мне «Ежемесячные Сочинения».

Перед тем незадолго я напечатал, в противовес восторженным статьям, появившимся в первом издании «Биржевых Ведомостей», по поводу приезда в Петербург французского президента Фора и его встречи, резкий памфлет в «Северном Вестнике», за что мне сильно досталось от министра. Соловьев передал мне, что чаша терпения «его высокопревосходительства» в отношении меня переполнилась. Поэтому он посоветовал мне, когда я обратился за разрешением журнала, назвать его как можно скромнее и политику из программы его исключить.

Уже в первый год журнал мой не принес мне убытка. Стоил он три рубля в год и роскошно издавался, с портретами писателей на меловой бумаге. Но допущена была огромная ошибка. Я давно носился с мыслью написать роман «Первое марта», и написал.

Он был набран, стал печататься из книжки в книжку, а из него цензура вырезывала целые страницы, этого мало — Победоносцев потребовал его к себе, «пришел, — по словам Соловьева, — в ужас» и потребовал прекращения журнала, если я не соглашусь на дальнейшие изменения. И тогда было стыдно, и теперь стыдно вспомнить — впоследствии заслуженно вылит был на меня ушат грязи по этому поводу Пешехоновым, — но я струсил. Уступил. Только журнал мне опротивел. Удивляюсь, как еще прошла сравнительно благополучно последняя заключительная глава романа. Подлинник, не искаженный цензурой, хранится у меня. Если бы я не был так стар, я мог бы еще питать надежду издать его отдельной книгой. Но увы!

«Ежемесячные Сочинения» выдвинули Валерия Брюсова и Константина Бальмонта. Журнал пользовался в общем популярностью в России и даже за границей, но уж у меня не лежало к нему сердце. Я прекратил его и заменил журналом «Беседа», который назвал органом вольной мысли. Существовал он семь лет, и литературная совесть не упрекает меня ни за одну его страницу. Издавался журнал изящно, хотя проще «Ежемесячных Сочинений». Книжка была почти всегда в десять листов, а подписка стоила рубль сорок в год, и то потому, что сорок копеек надо было платить за пересылку и доставку на дом. Иначе она стоила бы всего рубль, но от этого чем больше было подписчиков, тем убыточнее было дело. Дошло до семнадцати тысяч подписчиков, а от торговых векселей нельзя было отделаться. Долги росли. Кое-как выручали художественные приложения. «Живописец» продавался отдельно, и его приходилось переиздавать. Прилагалась к журналу серебряная 84-й пробы закладка. Все-таки долги росли.

Чтобы помочь делу, контора «Беседы» открыла в Кокушкином переулке книжный магазин; два года существовал он и на третий прогорел.

Некто Маныч, при посредстве которого сбывал свои рассказы и повести Куприн, предложил мне (за несколько сот рублей куртажа в его пользу) продать полное собрание моих сочинений Сойкину. Я согласился. Петр Петрович дал за имевшиеся на лицо сочинения в разных периодических изданиях и в отдельных книгах двадцать пять тысяч, а за те, которые я потом напишу и где бы то ни было напечатаю, по пятидесяти рублей за лист. Я принял предложение, заключен был договор и подписан. Оказалось, однако, что у Сойкина денег нет и что он может заплатить мне только векселями. Векселя я взял и учел во взаимном кредите, но вскоре Сойкин обанкротился, администрация, назначенная над его делами, не согласилась, чтобы я продал Марксу сочинения. Маркс же предлагал сорок тысяч. Таким образом, я представляю собою единственного писателя, который сам купил свои собственные сочинения и остался до конца жизни без полного собрания своих сочинений. Какой-то трагический курьез. Правда, Сойкин

через некоторое время кое-как вознаградил меня, напечатавши несколько моих книг. Между прочим, около того времени я издавал еще журнал «Провинция» с сильным общественным уклоном. Он имел большой успех, но последняя книжка была арестована, и цензура приостановила его.

ГЛАВА ПЯТЬДЕСЯТ ДЕВЯТАЯ.

1903 — 1904.

В конце лета 1903 года ко мне прибежала маленькая Зоя с Языкова переулка, где она жила с матерью и с теткой Надеждой Степановной, и я удивился, что она одна. Девочка была бледна и вся дрожала от испуга. Я не успел еще расспросить ее, в чем дело, сам я только-что оправился от тяжелой болезни, как вслед за нею буквально примчалась тетка с удивительно веселым, странно возбужденным лицом и блистающими глазами. Самое странное и вместе ужасное заключалось в том, о чем она заговорила... но я полагаю, что незачем передавать тех диких мыслей, выраженных в еще более диких словах, срывавшихся с ее воспаленного языка. Она внезапно захворала душевным недугом.

Но этим не кончилось. За старшей сестрой степенно вошла во двор (было ясное утро), нарядно одетая и необыкновенно похорошевшая, Евгения Степановна. У нее тоже странно блестели глаза. Она начала с того, что быстро рассказала о длинной прогулке, совершенной ею по окрестностям города; она была в Лесном и даже на Удельной. Ее поразило, что везде на церквах пустые кресты. Вера истекает, и эта пустота крестов — страшный символ грядущих бедствий! На Зою, которая отшатнулась от нее, она равнодушно посмотрела, повидимому, не узнавая ее, а меня приняла за своего покойного отца.

Зою я передал молодой девушке, жившей у меня, Клавдии Ивановне, воспитательнице детей моих, и хозяйке дома, а сам, едва волоча ноги, прошел с Евгенией Степановной к ней на квартиру, где застал молодого доктора, который, оказалось, второй день уже наблюдает обеих сестер. Прислуга разбежалась. Сейчас же Евгения Степановна завела с врачом метафизический спор, беспорядочный, отрывистый, парадоксальный, тот гениально-безумный разговор, который является продуктом последней вспышки погасающего интеллекта.

Скоро началось битье окон. Больная обнаружила гигантскую силу, схватила железную кровать, и на секунду ее успокоил только вид кочерги, перевязанной, как всегда, алой лентой.

— А, вот мой бог! — вскричала она.

С величайшими усилиями нескольким человекам удалось укротить второй бешеный порыв, охвативший несчастную. Двоюродные сестры Евгении Степановны, жившие в другой квартире, рядом,

были очень обеспокоены, куда девалась Зоя. Я объявил им, что она у меня, а они рассказали, что Евгения Степановна грозила ей кочергою, и девочка выскочила от нее в окно.

Бесконечно тяжелую страницу моих воспоминаний об этих мучительных переживаниях я не решаюсь включить в мою книгу, да она и не написана, это было бы свыше моих сил. Точно также я пропускаю описание своих посещений больницы, где содержалась Евгения Степановна в совершенно безнадежном состоянии. Несколько лет спустя она умерла в больнице «Всех Скорбящих». А Надежда Степановна совершенно выздоровела через год. В качестве стенографистки она служила в окружных судах и здравствует даже, кажется, в настоящее время, работая в одном из приволжских городов.

Не успело восстановиться мое здоровье — болезнь мою доктор Нечаев признавал крайне опасной (у меня был, от курения сигар, отек легких, — и я, казалось, умирал, и уже опухли ноги, грозя водянкой) — и возобновиться порядок моей жизни, трагически нарушенный духовной смертью Евгении Степановны, как в слезах и трауре приехала на Черную Речку Мария Николаевна. Умер Тениолати, ее новый, но старый годами муж, и она была в отчаянии. Она упала на пол, билась головой о паркет, спрашивала, что ей делать. Все свои вещи — мебель, рояль — она оставила на квартире. Родственники покойного приехали, забрали всё себе и выгнали Марию Николаевну. Она была мать моих сыновей, и я должен был помочь ей. Я устроил ее, и до конца жизни своей она получала от меня сравнительно приличную пенсию, была кроме того постоянной переводчицей в «Наблюдателе», работала в других журналах, и полное собрание своих переводов она продала Суворину. Умерла она, впрочем, в тяжелых условиях нового быта, когда иссякли все источники, на которые можно было существовать раньше людям с старыми привычками, старого закала.

На Черной Речке некоторое время я жил в своем крохотном домике анахоретом. Полное уединение, все время в работе. В большом доме цвела и развивалась молодая жизнь, оттуда неслись звуки рояля, шумела молодежь, дети выдумывали разные игры, бегали в горелки по саду. Клавдия Ивановна управляла всем порядком, и, несмотря на свою юность, она все это делала расчетливо и умно. В ней не было ни капли институтского легкомыслия, хотя она вышла из института года три назад перед тем. Она обладала литературной грамотностью в лучшем смысле этого слова и вела, кроме того, секретарское дело, заведывала конторой моих журналов и сотрудничала в них, делая всегда толковые выдержки из литературных новинок. В конце концов, она стала моей женой, и я прожил с нею до 1918 года. В сущности, это было самое счастливое время моей жизни. Такого личного счастья, какое она мне дала, я бы желал каждому. Но часто мне кажется, что это было исключительное счастье, неповторимое. Трудно найти

такое полное согласование во всем, что может сблизить мужа и жену, более или менее стоящих на известном уровне культуры, потребностей знания и интеллектуального совершенствования. Ей был обязан я тем, что, прекратив «Ежемесячные Сочинения», основал «Беседу». Точно также по ее почину был основан журнал «Провинция». Клавдия не была прекрасна лицом, но я не встречал более милых глаз, более чарующей улыбки, и в беседе с нею я всегда находил высокое удовлетворение. По истине это была святая женщина. На меня она не закрывала глаз. К недостаткам моим, к неровностям моего характера, к моим эстетическим увлечениям, отдаваясь которым я иногда ущерблял интересы семьи и ее личные, она относилась со снисходительной терпимостью. Она была воплощенное прощение, воплощенная любовь, настоящая, неиссякающая. Через полгода после ее смерти я издал «Книгу любви и скорби», посвященную ей.

Но надо же возвратиться к той жизни, которая творилась за оградой моей маленькой чернореченской усадьбы.

ГЛАВА ШЕСТИДЕСЯТАЯ.

1905.

1905 год начался в огненном зареве, брошенном на русскую историю кровавой банею 9 января.

Тот государственный «социализм», на котором сломал себе голову недалекий, но по своему честный чиновник, Соловьев, как и многие в то время, полагавшие, что можно совместить несовместимое, был еще в моде у охранки. Она создала Гапона, тоже сломавшего себе голову на организации преданных правительству рабочих, как таковой организованной силы, которая могла бы служить престолу в борьбе его с зазнавшимся капитализмом. Во всяком случае, для успеха государственного социализма — а он, пожалуй, и мог бы на время иметь успех — нужно было, чтобы у государственного кормила сидели не Романовы-Обмановы, да к тому же, еще и кретины, а стоял бы такой гениальный человек, как Петр Великий, так-сказать природный, хотя и родившийся в парчевых пеленках, большевик. В какой степени расчеты пролетариата на помощь царскую в борьбе его с капитализмом за свои экономические инетересы оказались ошибочными и вздорными, доказывается страшной расправой с петербургским пролетариатом, одурманенным поповско-социалистическими речами Гапона.

Накануне 9 января я был в редакции «Современного Мира» (он же «Мир Божий», который Куприн называл еще «Жир Мобий») на совещании прогрессивных редакторов под председательством Короленко. Литераторам хотелось выработать такую программу, которая более или менее объединяла бы их в их публицистических выступлениях. Конечно, трудно было связать кадетов в один узел с социал-демократами, хотя бы и меньшевиками, органом кото-

рых мало-по-малу становился «Жир Мобий». Все же говорились страстные речи. В особенности что-то очень страстное сказано было Александром Кугелем. Собрание окончилось около одиннадцати часов. Полиция, повидимому, была ложно осведомлена, что на этом собрании будет Гапон. Он уже к тому времени потерял кредит у охранки. Общая волна увлекла щепку, которая хотела управлять стихиею, да еще такою, как пролетарская. Рабочая масса организовалась, Гапон сделал свое дело, но организовалась во имя некоторого социалистического идеала, будто бы разделяемого высшей властью. Приготовление к мирному походу на Зимний Дворец, чтобы непосредственно побеседовать с царем, как с отцом, обойдя средостение, буржуазное и чиновничье, испугало полицию; показалось ей, что это уже революция, что надо будет употребить силу и пустить в ход холодное и огнестрельное оружие, чтобы указать массам их надлежащее место и положить предел всеобщему волнению, охватившему страну. К тому же, уже к Святополк-Мирскому, тогдашнему диктатору и лже-пророку политической «весны», обращалась, во главе с Максимом Горьким, либерально-радикальная делегация и поставила ему на вид, что необходимо предупредить движение дарованием обществу — читай буржуазному — писанной конституции, которая гарантировала бы ему разные свободы. Во всяком случае, какие бы то ни было собрания накануне рокового дня взяты были под особые подозрения, и поэтому около редакции на улице стояли конные стражники и шмыгали шпики. А так как у меня были длинные волосы, еще не очень седые, и я был в шляпе и в длинном пальто, то едва я отъехал на извозчике от подъезда — извозчик же был у меня месячный и летел по зимнему пути стрелой, — как за мной погнались конные полицейские. Они успели поровняться со мной, и я слышал, как один из них сказал: «Да нет, это не он, это Ясинский». Тут они повернули лошадей назад, а мы поехали тише. Еще я должен был заехать к приятелю, ждавшему меня с ужином, и, наконец, возвращался, верно, часу во втором или в третьем по Строгановой набережной вдоль Большой Невки, когда нам повстречался длинный обоз, весь нагруженный некрашенными дощатыми гробами. Извозчик шарахнулся в сторону. Проехал обоз.

— Что бы это значило? — спросил я в испуге.

Извозчик помотал головой и замолчал. Только уж поворачивая на набережную Черной Речки за Николаевскую церковь, он разжал губы. Я понял из его объяснений, что гробы были заказаны в Новой Деревне «на всякий случай». Значит, в ожидании завтрашнего выступления обманутых рабочих хладнокровно были заготовлены гробы, чтобы в них похоронить «бессмысленные мечтания» петербургского пролетариата!

Я обо всем рассказал Клавдии Ивановне, и мы провели тревожную ночь. Мы поздно заснули. В спальню утром ко мне вбежал дворник, татарин Аким, и закричал:

— Вставай, барин! Может, нам что надо делать. В городе шибко стреляют. На Каменноостровском пули свищут. Шибко свищут. Как бы чего, храни бог, к нам не залетело.

Подробности гапоновской демонстрации известны. К тому же, я очевидцем ее не был.

Пролетарская кровь брызнула 9 января, конечно, неожиданно для полиции и для полоумного правительства во все самые отдаленные углы страны. Журнал, издававшийся мною, «Провинция», в котором велась Клавдиею Ивановною сводка всех революционных и контр-революционных выступлений, всех творившихся неправд и редких победоносных проявлений правды, представляет собою в настоящее время библиографическую редкость. Это довольно точная запись событий беспокойного, лихорадочно-метавшегося во все стороны, исторического 1905 года. Журнал почти до конца революции довел свою сводку. В следующем году в «Беседе» был напечатан роман Максима Белинского «Белая горячка». В нем «сардонически шаржирована» была, как показалось критике, действительность, а на самом деле она еще превосходила мои описания своей белогорячечностью. Время же всеобщей забастовки, в подготовке к которой и некто Независимый имел свою долю участия, изображено мною было в романе «Революция». В нем же описал я, как очевидец, и кровавое столкновение двух демонстраций, революционной и контр-революционной, у Городской Думы.

В течение года несколько раз князь Шаховской, новый начальник печати, погибший впоследствии при взрыве дачи Столыпина, несколько раз вызывал меня к себе и грозил закрыть «Провинцию», в особенности за освещение действий саратовского губернатора, предательская политика которого разоблачена была «Провинцией», в коротенькой, но яркой статейке благодаря ее фактичности. Широковещательно и «умно» был составлен графом Витте манифест о конституции, но помню, как я, выйдя из дому, на углу Головинской и Сердобольской был остановлен группой рабочих, собравшихся около манифеста. Одних умиляло слово «граждане». Но большинство недоумевало.

— Так-то, гражданин Ясинский. . . будем уж и мы гражданами друг друга называть. . . Как вам представляется, есть ли тут хитрость? Обманом как-будто попахивает. Можно ли положиться, да и стоит ли полагаться. . .

Хотя я читал Лассаля, и мне было знакома его великолепная брошюра о сущности конституций, писанных и неписанных, составляющих всегда результат соотношений действительных сил в государстве, однако, я придавал манифесту бо́льшее значение, чем следовало, и только через несколько дней понял, что политическое чутье невежественных, по сравнению со мною, рабочих было на более верном пути.

ГЛАВА ШЕСТЬДЕСЯТ ПЕРВАЯ.

1906 — 1909.

В первом номере «Беседы» за 1906 год была напечатана, по поводу годовщины 9 января, превосходная статья Федора Черного «Красное Воскресенье». Она впоследствии много раз тоже перепечатывалась в разных провинциальных газетах. Цензурный комитет, опустивший руки в тот день, когда была объявлена свобода печати и пообещана конституция, снова поднял голову после расправы с восставшей Москвой, наложил арест на мою книгу, и в контору «Беседы» как-то утром явились городовые во главе с приставом, благообразным молодым человеком.

— Позвольте, дядюшка, рекомендоваться, — обратился он ко мне. — Я Радченко.

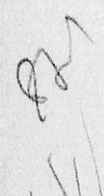
— Почему вы называете меня дядюшкой?

— Потому что я имею честь состоять вашим племянником, правда, не родным, но все-таки в этом роде. Я сын вашей кузины Софьи Валентиновны и бывший офицер.

— Состоите на полицейской службе?

— Как видите. Не успел занять должность, как принужден был явиться к вам далеко не с приятным визитом. Можете дать мне показание, что первый номер журнала «Беседа» уже весь разошелся и у вас осталось только пять экземпляров, которые я и арестую на основании полученного мною предписания.

К сожалению, весь комплект «Беседы» еще не был разослан подписчикам. Я отклонил сделку с приставом, и, во всяком случае, неполучение абонентами в самом начале подписного года журнала сильно повредило конторе. Подписка пала, почти прекратилась.



Между тем, «Биржевые Ведомости» на несколько недель, еще в декабре месяце, стали органом кадетской партии под редакцией Милюкова и выходили в свет под названием «Народной Свободы». Как говорил мне Проппер и г. Бонди, помощник редактора (редактором подписывался сам Проппер), это было самое печальное время «Биржевых Ведомостей».

— Кадеты, — жаловался он, — съели всю подписку во мгновевение ока и стали уже отучать публику, воюя со всеми другими партиями. А у меня было правило — ни с кем не воевать. И также они раздражили против себя цензуру. Я опасаюсь полного разорения, и, в предупреждение гибели газеты, я расстался с ними, и пускай они заводят свое дело.

В общей сумятице перемешались все шашки. То приходили к заключению, что надо действовать соединенными силами против общего врага; то быстро расходились и грызлись. Редактор «Света», Комаров, органа до тех пор крайне консервативного, испугался и приехал ко мне с просьбой преобразовать газету, чтобы она отвечала времени. Редактором «Света» я отказался быть. Я предложил Комарову переменить название, — вместо «Света» назвать газету «Новый Свет», и для пробы послал ему несколько статеек за подписью «Независимый». Уже после появления второй статейки Комарова приятно, а на самом деле крайне неприятно, поразило, что от какого-то еврейского общества из черты оседлости получилось за многими подписями благодарственное письмо. Но посыпался и ряд злобных писем, пропитанных ненавистью, укорявших «Свет» в измене. Наконец, очень скоро после двух статеек Независимого об избиениях полицией и черносотенцами в Курске гимназистов и гимназисток, Комаров объявил мне, что он ошибся и что правительство удержит старый курс и даже восстановит его, так что «Свет» не может дольше служить каким бы то ни было революционным целям и идеалам, а потому и название «Новый Свет» он, во всяком случае, считает преждевременным.

Когда вновь обратился ко мне Проппер на квартире у г. Бонди, который успел тем временем жениться на дочери какого-то статс-секретаря, состоялся дружеский вечер примирения. Экспансивная мадам Проппер наговорила мне комплиментов на четырех языках и в сущности ни на одном, расцеловалась со мною, и я опять стал сотрудником «Биржевых Ведомостей», категорически, впрочем, отклонивши от себя честь подписания газеты.

Бездоходные и даже убыточные журналы мои связывали мне руки, и я невольно, в качестве мелкого предпринимателя, впал в поток крупного капиталистического предприятия в лице Проппера, предложив ему через его редактора Гаккебуша, приглашенного на место Бонди, основать литературный еженедельный журнал «Новое Слово». Я выработал программу и был приглашен редактором этого журнала. Он поднял авторитет «Биржевых Ведомостей» и имел огромное распространение — до полутораста тысяч, хотя издавался, надо сказать, на скверной серой бумаге, т.-е. «хозяйственно», в течение долгих семи лет.

Отдавши свои силы «Новому Слову», которое требовало ежедневного усидчивого труда, я должен был закрыть и «Беседу», и «Исторический Журнал» и сделался батраком капиталиста. Прежде Проппер покупал маленькие каменные дома, теперь он построил огромный пятиэтажный дом, завел роскошные печатные машины. Тогда-то «Вечерка», тоже основанная при мне, в первое мое редакторство, быстро расцвела в качестве популярного желтого листка под редакторством Бонди.

Когда началась война, Проппер прекратил «Новое Слово».

— Когда гремят пушки — имеет значение только газета, — сказал он.

Кажется, он хотел упразднить и «Огонек», но Бонди указал ему на этот еженедельный журнал, как на новый источник обогащения в период войны:

— Стоит только начать печатать в «Огоньке» портреты, хотя бы крохотные, всех решительно офицеров, отличившихся в боях и получивших какие бы то ни было награды или раны — даже царапины. Во-первых, каждый офицер пожелает иметь журнал, где появилась его физиономия. Во-вторых, тем же желанием загорятся его родные и близкие знакомые.

Доводы Бонди Проппер принял во внимание, и, в самом деле, уже в 1915 году «Огонек» стал расходиться в восьмистах тысячах экземпляров.

ГЛАВА ШЕСТЬДЕСЯТ ВТОРАЯ.

Л. Н. АНДРЕЕВ.

Умер Победоносцев, и так сильно было его влияние, что даже цензура почувствовала некоторое облегчение. В первом номере «Исторического Журнала» я вывел его в некоторых отношениях его к Александру III, и это благополучно прошло. Прошел также великолепный рассказ Андреева «Семь повешенных». Розанов напечатал в «Новом Слове» сильную статью в защиту евреев.

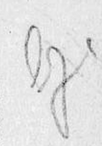
Любопытный был человек этот Розанов. О нем начальник печати Соловьев говорил, что вся его мудрость заключается в мизинце и что он с большим талантом умеет высасывать ее оттуда. В «Новом Времени», подделываясь к общему направлению газеты, Розанов, при всем его кажущемся прямодушии и «необыкновенной откровенности», ухитрялся писать прямо иногда невозможные вещи. Так, вдруг, появилась его статья в «Новом Времени» о том, как «Русское Богатство» было подкуплено японцами, которые заплатили народным социалистам, работающим в этом органе, сто тысяч рублей. Такой извет или донос на «Русское Богатство», которое только-что обрушилось на меня, как на писателя другого направления, не признающего авторитета Михайловского, показался мне, тем не менее, крайне гнусным. Я при встрече с Розановым объявил ему, что дальнейшее сотрудничество его в «Новом Слове» не может быть терпимо и по какой именно причине. Розанов сконфузился и оправдывался:

— Помилуйте, мне говорил Струве!

До последнего времени я считал, что Розанов просто клеветник. Но вот в «Былом» в 1917 — 1918 годах были напечатаны воспоминания Бориса Савинкова. Он подробно рассказал историю своих сношений с Азефом и, между прочим, упомянул, как о факте неоспоримом, о ста тысячах, полученных сотрудниками «Русского Богатства» за статьи против войны и за соответствующую революционную пропаганду в стране. Между прочим, на эти деньги был снаряжен пароход, а на пароход погружено огнестрельное оружие, которое должно было быть доставлено в Россию, но судно потерпело крушение в Балтийском море. . .

В освещении Бориса Савинкова факт рисуется несколько иначе и становится, так сказать, историческим; но есть время и время, и поступок Розанова оправдания себе все-таки не находит.

На Леонида Андреева, как на выдающегося писателя с огромным будущим, пришлось мне первому обратить внимание, что и отмечено было в отдельной книге, посвященной ему критиком Боцяновским. Яркое дарование, философский обобщающий ум, положим, мрачного направления, так называемая андреевщина рано уже сказалась в произведениях этого писателя. Но ему, что называется, посчастливилось. Он принадлежал, несмотря на его «социализм», к определенно выраженному типу буржуазных художников, и в этой определенности типа, может-быть, и был залог его успеха. Он сразу стал понятен всему читающему миру, потому что все тогда были настроены пессимистически и враждебно, враждовали, но не надеялись на победу, пожалуй, это и был буржуазный социализм, насколько он проявился в словесном искусстве. В то время, как быстро клонившаяся к упадку литература ударилась в порнографию и даже издавался журнал, называвшийся «Проблемы Пола», с одной стороны, а с другой—капиталистический распад, «заумничество», акмеизм, смакование лимбургского сыра и испорченного рябчика вместо питания здоровою пищею, какою до тех пор изобиловал русский литературный стол (прошу извинить меня за этот образ), — андреевщина пленяла русского читателя своим гробовым дыханием, мрачной величавостью вызываемых им призраков. Его «Жизнь Человека», «Черные Маски», «Анатема» отвечали настроениям развитого, воспитанного в художественных традициях буржуазного читателя, сознательно, а в общем может быть и бессознательно ожидающего конца века в широком масштабе этого слова, т.-е. какого-то страшного суда, полного прекращения того порядка вещей, к которому он привык и который дает ему пока возможность хотя бы наслаждаться тою же андреевщиною.



Андреев шел по литературной арене с гордо поднятой головой. Длинные, черные волосы, задумчивое, горящее внутренним огнем, лицо. Ходил он в бархатной или суконной блузе с лицом, так сказать, «под Христа», и в обществе был молчалив. За Териоками, в Финляндии, он построил себе дворец, где жил, как герцог Лоренцо, герой его «Черных Масок». Никогда еще в России литературный гонорар не поднимался до таких размеров, как при Андрееве. Двести, двести пятьдесят, триста рублей считались уже максимумом до Андреева. Андреев стал получать полторы тысячи за лист.

К его зàмку прилегал парк в четыре десятины. У него было тринадцать слуг, и все они получали большие жалованья. В Вальмен-Су, где жил Андреев, часто съезжались гости и пировали у писателя, а он читал им свои произведения. Я приезжал к нему

с Измайловым, который был его поклонником, и встречал у него весь цвет тогдашней литературы. Приезжал и он ко мне на Черную Речку, но я чувствовал, что он не только меня посещает, но и «удостаивает». Все же я его искренно любил, потому что он был честный малый, к сожалению, не очень начитанный, но, однако, хорошо знавший некоторых итальянцев, Ибсена и Диккенса. Наедине с приятелем он становился необыкновенно разговорчив. Однажды мы с ним проговорили весь день, потом всю ночь. Располагал к дружеской беседе и его оригинальный, почти фантастический, прекрасный кабинет, с великолепными видами из зеркальных окон на лиловые дали финляндской природы. Его жена была его секретарем и стенографисткой. Часто уезжал он за границу, или на север, в Финляндию.

В числе его слуг был лже-слуга, т.-е. человек, скрывавшийся под чужим именем, политический беженец, кажется, по фамилии Румянцев. Он вел себя с Андреевым, понятно, как товарищ; приходил и курил его папиросы, ходил в его рубашках, надевал его костюмы, и, как мне признавался Андреев, он стал на самом деле его господином, шантажировал его, иногда упрекал его богатством, роскошью.

— Напрасно я ему доказывал, что вся эта обстановка, которою он меня корил, представляет собою только средство, орудие моего производства, а он смеялся, он не понимал этого. В его душе странно смешались заветы опрощения Толстого и эс-эровские идеалы.

Кончилось тем, что как-то рано утром Андреев сделал выговор Румянцеву за то, что он запятнал все его пиджаки и блузы, так что не в чем ехать в город. Слово за слово, и ссора дошла до роковой вспышки. Румянцев схватил револьвер и выстрелил в Андреева. Андреев ответил тем же Румянцеву. Они не попали друг в друга. Румянцев спохватился, убежал, а мать Андреева, почтенная простая старушка, подошла к телефону, и в то время, как сын ее лежал в истерике, сообщила сгоряча в охранку о случившемся. Румянцев был арестован, эс-эры узнали. Разнесся слух крайне неблагоприятный для Андреева, что будто им выдан Румянцев; наконец, все это как-то уладилось — в общем благополучно, но репутация писателя, как социалиста, была поколеблена, запятнана, и надо заметить, как это ни странно, сам Андреев сделал уклон вправо. Повидимому, до тех пор, он сам считал себя эс-эром, но тут превратился в социал-патриота.

Еще накануне этого превращения я, по просьбе редакции «Биржевых Ведомостей», поехал в Вальмен-Су и пригласил Андреева к постоянному сотрудничеству в газете, пообещав ему крупный гонорар. Андреев приехал к Propперу, целый вечер просидел у него, и относительно гонорара издатель определенно, в конце концов, с ним не договорился. В это же время министр Протопопов предложил Пропперу, по его словам, пять миллионов рублей,

как компаньон. Правительство не прочь было сделать «Биржевые Ведомости» своим органом. На совещании сотрудников, на которое был приглашен и я, предложение Протопопова было единогласно отклонено. Сотрудники заявили Пропперу, что или Протопопов, или они; и что, как только Проппер заключит условие с правительством, немедленно все должны будут заявить в других газетах, что выходят из «Биржевых Ведомостей», и каждая газета с удовольствием, разумеется, напечатает это. Проппер испугался и переговоры с Протопоповым порвал. Но зато с Протопоповым связался Амфитеатров, и пошел в компанию к нему Леонид Андреев. Хотя, с разрешения Протопопова, Амфитеатров напечатал в «Русской Воле» статью, в которой не особенно одобрительно отзывался о своем же хозяине, тем не менее на газету легла уже тень, какая вообще ложится на оффициозные органы. Леонид Андреев стал восхищаться бельгийским королем Альбертом, повлиял на Репина, написавшего картину для прославления этого короля, и, хотя я уже перестал видаться с ним, за множеством других впечатлений и знакомств, и просто потому, что как-то неловко было выслушивать от него какие бы то ни было объяснения по поводу перемены им фронта, но я уверен, что и шестьдесят тысяч, которые он получал за редактирование «Русской Воли», едва ли утешали его. Я полагаю, что, напротив, он испытывал сильные угрызения совести; какой бы он ни был патриот, и как бы он ни был проникнут даже искренним сознанием необходимости воевать с немцами, как с «врагами человечества», он же должен был знать цену Протопопову. Этот суконный фабрикант, ставший министром, был, к тому же, очень недалеким человеком и был убежден, что на свете нет честных людей. Репортер «Биржевых Ведомостей» Ган пошел к нему, как интервьюер, а Протопопов дал ему заведомо ложные сведения о своих выступлениях в Государственной Думе, и когда Ган позволил себе усомниться, Протопопов сунул ему в руку деньги, Ган отбросил от себя бумажку на стол и поспешил уйти. Протопопов бросился вслед за ним, догнал на лестнице, стал извиняться и просил, вместо денег, принять в знак памяти золотые с бриллиантами запонки, которые тут же стал вынимать из своих манжет. Гану пришлось обратиться за необходимыми сведениями в другое место, и тогда Протопопов стал интриговать, жаловался, чтобы Гану было отказано от сотрудничества в «Биржевых Ведомостях». Проппер все же «министру не уважил».

Леонид Андреев в своем, как мне, влюбленному в него, ни горько это сказать, лже-патриотизме дошел, когда у нас вспыхнула победоносная революция, до воззвания к британским лордам о помощи России, яко бы погибающей под неумелым правлением большевиков!

Коммунистическая партия великодушна, и можно не сомневаться, что Андреев, как писатель, в свое время замечательный,

35 тысяч

как мыслитель, владевший в совершенстве художественным словом и подаривший своему отечеству ряд превосходных произведений, не будет отвергнут, и советская история литературы помянет его и добрым словом.

ГЛАВА ШЕСТЬДЕСЯТ ТРЕТЬЯ.

1910—1911.

Неутомимый друг мой П. В. Быков, А. А. Коринфский и редакторы газеты «Копейка» — тоже друзья мои — А. Э. Коган и М. Б. Городецкий стали звонить в газете и на частных литературных собраниях, что я работаю уже, как журналист, беллетрист и поэт, сорок лет и что необходимо отпраздновать мой юбилей. Был составлен организационный комитет, появились статьи широковещательные, шумные, хвалебные и, как всегда кажется юбиляру, пристрастные, но в данном случае (оглядываюсь назад) продиктованные искренним чувством. Статьи Измайлова и Щеглова-Леонтьева, гордившегося своим родством через Павлищева с Пушкиным и известного в то время юмориста, драматурга и инициатора Народного театра (см. его книгу: «Народный Театр»), и сейчас волновали меня, когда, перебирая свой архив, я встретил их и не без удивления перечитал. Точно также удивила и взволновала меня статья злополучного Меньшикова, которому я не подавал руки, когда мы с ним встречались, и который, тем не менее, в своем фельетоне, посвященном мне, скорбя о том, что меня поглотила газетная работа, называет меня автором «гениальных» рассказов.

Юбилей состоялся в начале января 1911 года в залах ресторана «Контана». Были приняты перегородки, разделявшие залы друг от друга, и собралось больше тысячи человек. Предварительно утреннее торжество было устроено в Консерватории. Меня забросали цветами. Ужасно неловко было и странно сидеть на первом месте в президиуме за красным сукном, слушать приветственные речи множества депутаций и, наконец, надо было ответить на них. Из всех адресов, поднесенных мне (некоторые были очень пышные, богатые, в шагреневых и серебряных переплетах), сердечнее других тронули меня поздравления крестьян и выборгских рабочих. На крестьянскую признательность я имел некоторое право—я боролся за крестьян в печати; я обличал их невежество и мрак, в котором они коснеют. Я не льстил им, но я отстаивал их права на светлое будущее, на помещичью землю. А что я сделал рабочим? Они могли во мне чтить литературного работника — т.-е. беллетриста, поэта, писавшего не для пролетариата, а «вообще», при чем то, что я писал «вообще», едва ли дошло до них хотя бы сотою долею. Дошли какие-то слухи да видели меня на митинге в доме Нобеля, где я очень плохо председательствовал, якшался кое с кем из фабричных мучеников. Депутация же состояла из двадцати человек!

(Чтобы не пропустить приятного для меня факта, я тут же отмечу, что потом, через несколько дней, почти все члены рабочей депутации посетили меня на Черной Речке, и Клавдия Ивановна угостила их хорошим завтраком. Они сидели у меня часа два или три, а, когда ушли, Клавдия Ивановна со слезами умиления на глазах, сказала:

— Право, какое сравнение с теми литераторами, которые бывают у нас? Интеллигентные, хорошие люди, а о чем они говорят? Всё сплетничают, интригуют, смеются друг над другом, тогда как эти люди, которые были у нас, ни одного пустого слова не сказали. Они поднимали такие вопросы и так их разрешали, что с ними я за короткое время поумнела. И, знаете, я начну серьезно теперь изучать научный социализм, о котором мы с вами иногда толкуем, но не очень прилежно работаем над ним.)

Вечерний, или, скорее, ночной юбилейный праздник, по общему признанию, был необычайно пышен. Все залы были убраны венками цветов, на полу набросаны были розы, столы ломились под фруктами и какими-то невероятными закусками. В каждом зале было несколько пьяных киосков. Устроены были маленькие сцены и на них подвизались актеры и актрисы, пели какие-то романсы мои, кем-то положенные на музыку. Я и не знал, что есть ноты с моими стихами. За ужином опять речи. Певец Фигнер и певица Медея Фигнер перекликались между собою с разных концов стола, за которым я сидел, и лились чарующие звуки. Жена Дорошевича, редкая красавица, тоже артистка, сверкала необычайной величины бриллиантом, горевшим на ее груди (кстати, она тут же потеряла его после ужина, а, может-быть, садясь в карету на обратном пути, на рассвете). Куда ни кинешь взгляд — всё знаменитости, весь наш Олимп, вся плутократия: банкиры, банкирши, гостинодворские купцы; музыканты; графы; генералы. И напрасно искал я, куда девалась Клавдия Ивановна, где она. Она готовилась к вечеру, и для нее было сшито даже новое платье. Почему она не сидит со мною по правую сторону, а сидит какая-то дама, мало знакомая мне? Налево сидела Зоя, уже пятнадцатилетняя девочка. Я спросил ее:

— А где Клавденька?

Она пожала плечами:

— Не знаю.

И тоже стала искать глазами Клавдию Ивановну, с которой была дружна.

Дочь рабочего Васильева, воспитанница Клавденьки, тоже была на-лицо, а самой ее не было. Я так был огорчен отсутствием любимого человека, что, в ответ на новую приветственную речь, я мог сказать только несколько бесцветных слов. Шум был страшный и усиливался по мере того, как татары разносили шампанское, и, то и дело, хлопали пробки.

Наконец, уже после ужина, когда все встали при звуках торжественной музыки, и стали парами ходить по залам и топтать цветы — и все эти женщины, сами похожие на цветы, старые и молодые, все прекрасные или бывшие прекрасными, веселые, радостные, постоянно целовали меня, я встретил Куприна.

— Ты не видел Клавдию Ивановну? — спросил я.

— Отец, тебя зацелуют на смерть! Поделись со мною хоть несколькими поцелуями!

Действительно, к числу обязанностей, выпадающих на долю юбиляра, относится обязанность быть зацелованным. На Куприна набросилось несколько дам. Поцелуйная повинность моя была облегчена.

Оказалось, что Клавдия Ивановна также меня ищет. Она подошла ко мне, несколько смущенная в сопровождении своей воспитанницы и Зои, которые встретили ее первые, раньше меня. Улыбаясь, она рассказала мне:

— Мне дала понять какая-то дама, знакомая Проппперов, что я, в качестве гражданской жены, не имею права сидеть рядом с вами на юбилее!

Меня взорвало до крайности это сообщение. Юбилей был отравлен. Оказывается, рабочие тоже хотели быть на вечере, но им сказали, что все билеты разобраны. Я же просил, чтобы крестьянские и рабочие депутации, приносившие мне поздравления, были приглашены бесплатно на вечер. Измайлов, член комитета, извинился. Он искренно хотел, чтобы рабочие были, но кто-то отменил. Он не знает — кто. Пошлость просочилась сквозь поры богатого наряда, в который был одет мой праздник, конечно, буржуазный праздник, великолепный, небывалый, но буржуазный.

Составилась, между тем, группа участвующих в вечере, и фотограф уже поставил аппарат. Меня посадили на определенное первое место в группе. Я подозвал Клавдию Ивановну и попросил ее сесть рядом, но чей-то голос, может быть одного из неизвестных мне распорядителей, сказал:

— Здесь могла бы сесть мадам Проппер.

Клавдия Ивановна упорхнула в сторону.

Зоя и ее подруга Васильева уселись рядом, чтобы никого не пускать. Все это становилось даже смешно. Клавдия Ивановна забилась в самую глубину группы, так что почти не вышла на снимке при свете магния, который вдруг неожиданно вспыхнул. Я немедленно с семьей покинул вечер, а бал продолжался до рассвета.

Так была проглочена мною первая капля яду, или, вернее, буржуазное общество, чествовавшее меня, на золотом блюде поднесло мне и жабу.

Вскоре после моего юбилея редакция «Биржевых Ведомостей» предложила мне осенью совершить путешествие по голодным губерниям. Бедствием были поражены такие губернии, как Самарская,

Пермская, Уфимская, Оренбургская, Тургайский край. Двадцать три области! Путешествие могло продолжаться месяца три. Я охотно двинулся в дорогу.

Уфимская губерния произвела на меня особенно безотрадное впечатление. Правительство считало, что голодное бедствие, поразившее уезды Уфимской области, представляет собою временное явление. Кое-как можно поправить дело, отпустив крестьянам муки в долг, а затем через год, или даже через пол-года, взыскав с них ссуду, «мерами кротости», то-есть выколотив из них недоимку нагайками, как это водилось с незапамятных времен и во всех других губерниях. Но объехавши по крайней мере сто деревень и пересмотрев продовольственные дела в местных уездных земских управах, а затем и в губернской земской управе, при содействии председателей и других либеральных земцев, я убедился, что Уфимская губерния поражена была не временным, а хроническим голодом, уже много лет под-ряд.

Что ни деревня, то в буквальном смысле слова куча грязных изб, и каждая куча похожа была на муравейник, растоптанный самым безобразным образом разбойничьей ногой урядника, станового или губернатора, одним словом, лицом, которое на то уполномочено царским правительством. Можно сказать, я изучил до мелочей каждую избу, если только можно назвать логовище, которое я посещал, таким роскошным словом.

Войти в избу нельзя было даже человеку среднего роста, надо было вползать. Очутившись в избе, и едва выпрямившись, я различал кучу глины, в которой прямо руками было с боку сделано углубление. Это — печь. Обыкновенно, она праздновала, а иногда в ней дымилось несколько прутиков. В душной и вонючей избе стоял собачий холод. Прямо на нарах, тускло освещенных крохотным оконцом, лежала крестьянская семья под тряпками, согреваясь прикосновеньями друг к другу: бабушка с иссохшим лицом, молодайка, похожая на бабушку, дети разных возрастов, мальчишки и девчонки, мужик, начинавший корчиться при виде меня и зашедшего со мной сельского старосты.

— Хочу ашать! Ашать хочу! — кричал он.

Богатых, разумеется, в деревнях не было. Равенство нищеты было ужасающее; но лавочники — они же и кулаки — были. Приходилось удивляться, что могли высасывать из погибающего населения эти жалкие пауки, дети которых тоже кричали, что есть хотят, и лица которых были угрюмы. Один такой лавочник не мог даже разменять мне пяти рублей. «Бальшой рубль! Очень бальшой рубль!». Он мял ассигнацию в руке, долго бегал с нею по деревне и вернул, не разменяв денег.

Губерния населена башкирами, земли которых расхищены были еще в семидесятых годах прошлого столетия. Тогда они вели полукочевой образ жизни. Летом выезжали в степь и жили в кибитках, среди своих стад, а зимою лежали на нарах, курили табак и пили

чай до одурения, жили безбедно и может быть избы их были несколько более похожи на человеческие жилища, приспособленные к зимнему проживанию в них. Но чиновники, наезжие дворяне, купчики, захожие торгаши, решили с общего безмолвного согласия, как это всегда водится при объегоривании одною более культурною, жадною и хитрою расой другой — отсталой и низшей, обобрать башкир, ограбить на законном основании. Надававши в кредит легкомысленным и ленивым кочевникам, проводившим на нарах всю зиму в дикарских мечтаниях о лучшей доле, разных пестрых товаров, табаку, чаю, фарфоровой и металлической посуды, лент, тюбетеек и всякой дряни, они брали в залог землю, а в закладных писали, что земля продана, потому что башкиры до тех пор не знали разницы между «заложил» и «продал», да и в бытность мою еще не знали. Когда же земли были таким образом отняты от владельцев, и пришлось бывшим хозяевам платить за право кочевать по степям, пасти скот за плату, не сметь ничего посеять для себя, то в каких-нибудь пятьдесят лет население было доведено до полного обнищания, разорения и одичания. Мне случалось проезжать деревни, где половина изб была заколочена, солома с них снята, и на небесном фоне выделялись только ребра оголенных крыш. Были деревни, вымершие от голодного тифа.

Я встречался с врачами, стоявшими во главе отрядов красного креста. Бедствие было так велико, что отряды эти тонули в нем, захлестываемые им, потому что оказывались неспособными остановить его напор. Как остановишь смерть, каким лекарством излечишь голодный тиф или оденешь голого человека! К тому же, и врачей было мало. Почти одновременно со мною из Москвы тамошняя земская организация для борьбы с голодом снарядила и отправила в Уфимскую губернию тридцать врачей, но от них местная власть потребовала представления удостоверений, что они благонамеренные люди и едут в разоренные и умирающие деревни не с тем, чтобы их бунтовать и набирать из них кадр мятежников для свержения существующего порядка вещей, а с тем, чтобы их лечить.

Скрепя сердце, уступая общественному мнению, кое в какие углы были допущены благотворительные отряды, состоявшие из интеллигентных барышень, фельдшериц и благонамереннейших священников, — им разрешалось устраивать общественные столовые. Полиция косилась на такие столовые за их бесплатность. Что если этим подрывался авторитет попечительного правительства? Отряды пропагандой вредных идей не занимались; но уже самое пребывание в крае этих снаряженных на общественные средства отрядов внушало подозрение. Возможно, что темные мозги голодных башкир, тоскующих в гнилых землянках, уже делают какие-либо невыгодные для правительства сравнения и заключения!

Я заходил в такие столовые. Иные отряды могли оделить несколькими тарелками супу десятка два детей, да десятка два больных, посылая им на дом пищу; а суп варился из крупы, дого-

нявшей одна другую, из лошадиных ребер и копыт. Тошнило от чайной ложки супа. Хлеб можно было получать крестьянам, и тоже бесплатно, но по восьмой или, самое большое, по полфунта.

Губернаторы самое слово «голод» запрещали произносить, и требовали писать не голод, а «недоедание»!

Чтобы рассказать все, что я помню, что было записано мною и уже давно утеряно и что осталось в памяти из этого путешествия, понадобился бы особый том.

В Орске, где томился в ссылке Шевченко, я посетил бывший острог, и больше по догадке, чем по указаниям, нашел его каморку в уцелевшем здании, занятом теперь почтовой конторой.

— А Шевченко у нас, действительно, есть и теперь, — сказал мне старик, которому было уже лет девяносто и который мог бы слышать о поэте. — Шевченко есть! Цырюльник!

В городе было множество ссыльных рабочих. Я встретил троих знакомых из числа работавших в Выборгском районе на заводах Барановского и Лесснера. Положение их было отчаянное. Их было до тысячи, голодать им не было разрешено, т.-е. получать какую бы то ни было помощь в тяжелые дни острой нужды. Они сплошь превратились в босяков, совершенно изъятых из круга лиц, которых местное благотворительное общество могло бы накормить хоть лошадиным супом. Большая смертность была распространена между ними. Они так же, как и башкиры, но только с бо́льшим основанием, считали, что правительство решило их истребить.

Знаменательно, хотя не было в этом ничего мистического, разумеется, что в голодной стране, т.-е. на огромном пространстве страшное опустошение стала причинять крыса. Если мало-мальски где-нибудь заводилась пища, доставлялся крестьянину хлеб или начинало пахнуть обедом — в дом устремлялась голодная крыса. Бывало, спишь в какой-нибудь башкирской деревне или в переселенческой избе, а крысы бегают по мне, и просыпаешься от их прикосновения.

— Отчего у вас так крыс много? — спросил я у одного ахуна.

— Оттого крысы у нас бегают в доме, — отвечал он, — что каждый день еще у нас обедают и ужинают. В деревне хлеба нет — сам знаешь — и крысе тоже приходит абдраган (смерть). Кладей нет — голодная крыса в нашей деревне бесится.

Я часто поэтому вспоминал епископа, которого съели крысы. Конечно, трагическое происшествие с епископом случилось в голодный год. Крыса — символ голода. Горе скупым епископам! И разве не отражается башкирская и татарская голодовка на петербургских, московских и лодзинских фабриках? Что́ если мыши начинают уже перебираться во дворец епископа Гаттона?

От Орска до Актюбинска, слишком полтораста верст, пришлось ехать на почтовых, а перед этим я ехал на своих лошадях, купленных у одного киргизского князя. Но они уже отказались служить.

Это путешествие на почтовых было самое медлительное и тяжелое. Лошади везли не больше пяти верст в час. Начался теплый буран. Совсем испортилась дорога. Высокие горы, оползни; грохочут камни по склонам; и какие камни: малахит! Верблюды занимают всю дорогу; лошади застревают в кучах оползшей грязи, смешанной со снегом. То сугробы, то весенняя распутица. Того гляди, пойдут реки, а мостов нет. В одном месте пришлось ночевать в санях. Шумел ветер, и казалось, что кругом саней топчутся и обнюхивают меня какие-то звери. Но спалось прекрасно — лучше, чем в страшных землянках. Только на рассвете ямщик прискакал из аула с лошадьми. Он рассказал о киргизских разбойниках, которые раздевают проезжих до-нага, а в случае сопротивления убивают. Их тридцать головорезов; впрочем «тебе бояться нечего, потому что будешь писать правду в газеты, и, может-быть, царь прочитает и тогда киргизскому народу станет легче жить», — объявил ямщик.

В Актюбинске — (город хуже всякого поселка, когда-то бывший столицею монгольской империи) — я сел в андижанский поезд и на пятый день был в Петербурге.

ГЛАВА ШЕСТЬДЕСЯТ ЧЕТВЕРТАЯ.

1913 — 1914.

1913 год был тяжелым годом для меня. Надвинулась старость, и я стал страдать каменной болезнью. Признаки ее тревожили меня еще во время моего путешествия по Тургайским степям, теперь болезнь, что называется, галопировала. Ежедневно приезжал ко мне на Черную Речку специалист и, по его словам, подготовлял к операции. Фамилия у него была громкая и его искусство прославлялось за границей. В руках у меня была его книга, где описывалось четыреста произведенных им операций путем камнедробления без вскрытия полостей. Он посоветовал мне, наконец, покупаться предварительно в море и поехать в Евпаторию месяца на полтора. Я так и сделал.

Собственность — ядро каторжника. Жена не могла сопровождать меня, потому что надо было смотреть за хозяйством и производить «серьезный» ремонт в доме. Меня взялась сопровождать родственница, но от этого нисколько не стало мне легче.

Каждое движение мое отзывалось невероятными болями: ни стоять, ни сидеть, ни лежать, ни ходить. Я вспомнил бедного художника, сделавшего много иллюстраций к моим произведениям, чеха Брожа, который умер от камня. Местные знаменитости хотели меня непременно взрезать, иначе, по их словам, могло плохо кончиться. Одесский хирург Сабанеев, старый мой приятель, прислал мне телеграмму: «Приезжай к нам, милый Жером. Взрежем, и все будет хорошо».

Я бросил совсем ходить к врачам, резаться мне не улыбалось, и, почувствовав некоторое облегчение от усиленного купания, я прилетел в Петербург и тут только узнал, что я лечился у однофамильца знаменитого Кребса, который пожурил меня: я упустил много дорогого времени, между тем, как операция могла бы кончиться в один час, а на подготовку надо было потратить всего две недели.

Кребс положил меня в Максимилиановскую лечебницу. Операция продолжалась сорок пять минут, и можно сказать, что она была почти совершенно безболезненна, хотя от хлороформа я отказался, так как ужасно неприятно не сознавать себя в то время, когда тебя препарируют. А доктор, великолепный знаток и любитель Пушкина, работал весело, с уверенностью мастера, не сомневающегося в своем искусстве и в успехе, и читал мне вслух целые строфы из «Полтавы» и, между прочим, о том, как свирепый Орлик пытал Кочубея. С тех пор прошло одиннадцать лет, и я забыл, что такое каменная болезнь.

Я снова принялся за прерванную литературную работу. Спасибо Кребсу!

Группа молодых людей, посещавших меня — Сергей Городецкий, Пимен Карпов, Мурашев, Игнатов, Клюев, Есенин, Горянский и еще несколько других, образовали литературный союз, который должен был сделаться колыбелью пролетарских писателей. Меня выбрали председателем, и общество получило разрешение устраивать публичные литературные чтения, спектакли, лекции, иметь свой клуб, издавать сборники и книги и носить название «Страда». В сущности, таким образом, было положено начало рабоче-крестьянскому Пролеткульту. Вернее — сделан был опыт. На Серпуховской улице, при материальном содействии инженера Семеновского, нанято было большое помещение с театральным залом. Сейчас же художники — некоторые с большими именами — принялись бесплатно расписывать и строить декорации, и «Страда» начала жить при благоприятных условиях. Вход на вечера оплачивался грошами, и гроши собирала касса, но не было дефицита, а все участники работали бесплатно, мы и обходились своими силами. Для первого сборника были собраны недурные статьи, стихотворения, рассказы и романы. Я редактировал. Финансировал сборник все тот же Семеновский, находившийся в особо добрых отношениях с Игнатовым, который служил актером у Суворина в Малом театре. Буфет был дешевый. Кажется, дороже пяти копеек ничего не продавалось. Посещали нас рабочие и маленькие буржуйчики в роде приказчиков помельче. Кресла продавались не свыше двадцати пяти копеек. Составлена была широкая программа, и намечены были при «Страде» разные культстудии. Предполагалось, что мы будем преподавать рисование, живопись, искусство выразительного чтения, общедоступную философию, естествознание, философию общественности, вообще историю и историю труда.

Все это были благие пожелания, и всему этому было положено начало.

Несмотря на некоторые трения внутри между отдельными членами «Страды», всё, повидимому, складывалось хорошо и сулило сочувствие пролетарских масс, а, следовательно, и успех. Я прочитал несколько лекций о Клюеве, о Горянском (изобретателе прозаических, рифмованных рассказов и поэмок, предшественнике Демьяна Бедного), об Есенине и др. Был составлен и уже напечатан первый сборник. Я написал к нему предисловие.

Но, когда я прочитал на собрании членов нашего общества предпосланные мною к сборнику строки, где я подчеркивал принадлежность почти всех сотрудников сборника к крестьянскому и к рабочему классу, поднялся, к моему величайшему удивлению, ропот.

— Зачем об этом упоминать? Какое кому дело, из какого мы класса?

Я вычеркнул то, чем хотел похвастать, в качестве председателя «Страды»...

Любопытно, кстати, что свидетелем того же самого ропота, вызванного теми же причинами, я был еще раз. Часто посещал я художников в клубе Куинджи, в качестве постоянного гостя. Случилось это, когда там обсуждался каталог картин Академии Художеств, составленный Исаковым. В маленьком докладе, сделанном куинджистам, я подчеркнул, что почти девять десятых наших художников вышли из крестьян, и величайшие из них, как напр. Айвазовский, Куинджи, Репин и очень многие другие, принадлежат к «низам», и, что если бы Россия была всегда свободной страной, то, несомненно, народ, в том смысле, в каком мы это слово употребляем, выделил бы из себя даровитейших людей на всех поприщах и, может-быть, в гораздо большей пропорции, чем дала их дворянская среда. Помню, как художник Богданов-Бельский первый напал на Исакова. Этот художник, крестьянин по рождению, носил уже под галстуком какой-то крест, и ему, повидимому, было неловко, что его считают мужиком, он уже вышел из своего класса, поднялся ступенькой выше! Художники вступились за «честь» Куинджи.

ГЛАВА ШЕСТЬДЕСЯТ ПЯТАЯ.

1915 — 1917.

Я все жил на Черной Речке, и, может-быть, я никогда так много не сочинял, как в эти последние годы, предшествовавшие революции, и никогда так мало не печатал. Была потребность творчества, хотелось зафиксировать все то, что в течение жизни, наконец, уложилось в более или менее определенные образы. Конечно, в значительной степени, окончательной отделке того, что я писал, мешала моя публицистическая деятельность, мелкая, «боевая»,

исполненная забот, как обойти тот или другой подводный камень, а подводных камней было много, не только цензурных, но и чисто редакционных. Я все больше и больше не сходился с «Биржевыми Ведомостями». В этой газете не стеснялись, впрочем, работать некоторые выдающиеся наши эмигранты под разными псевдонимами. Когда объявлялись Проппером литературные конкурсы, в числе премированных авторов оказывались революционеры. Но внутри у нас стали происходить трения партийного характера. Из «Речи» Проппер перетянул к себе некоторых сотрудников. Это были, так сказать, левые кадеты. Они объединились в такой степени, что Проппер нашел необходимым пойти им навстречу. С другой стороны, он, в качестве человека предприимчивого и предусмотрительно-расчетливого, решил преобразовать свое издательское предприятие в акционерное общество, большинство акций записать на себя, с тем, чтобы оставаться господином положения, положить предел ропоту эксплуатируемых им работников и в то же время приобрести репутацию в высшей степени современного, прогрессивного, великодушного и благородного издателя. Сотрудники, получившие паи, были бы, естественно, всегда на его стороне, получая гроши в виде дивиденда, тогда как он попрежнему откладывал бы в год по несколько миллионов в карман, рассовывая деньги во все заграничные банки и оставляя только часть в русских, для отвода глаз. Акционерное общество было основано немедленно после того, как дошло до сведения Проппера, что сотрудники собираются и что-то против него замышляют. На этих конспиративных собраниях предложение мое о том, чтобы литературная братия привлекла к себе печатников и наборщиков и слила бы свои интересы с их интересами, было с недоумением отвергнуто. Мне оно казалось в высшей степени уместным, а товарищам моим показалось неуместным. Проппер роздал паи: кому пятьдесят, кому двадцать тысяч, и тотчас же, по желанию, паи могли быть куплены его же конторой обратно. А мне он предложил пай в шесть тысяч, получить который я отказался. Точно также я отказался от получения жалованья за последний год.

Тут произошло еще маленькое осложнение, о котором не мешает упомянуть. «Биржевые Ведомости» настолько уже стали влиятельной газетой, что министр Протопопов хотел, во что бы то ни стало, как я упоминал выше, сделать ее своим органом. По некоторой дальновидности, а, главным образом, принимая в соображение настроение своих сотрудников, Проппер отказался. Но тогда была выдвинута против «Биржевых Ведомостей» тем же Протопоповым следующая махинация. За подписью экономиста Кауфмана, Леонида Андреева и некоторых других видных литераторов и научных работников должно было появиться в «Речи» и в других газетах протестующее против Проппера письмо. Проппер испугался и аннулировал письмо в зародыше, сделав блестящее литературное предложение Леониду Андрееву, как наиболее яркому представителю

буржуазного социализма. Письмо не появилось, удар был отведен, и Андреев, соблазненный Проппером, явился в редакцию «Биржевых Ведомостей». Он провел у Проппера день, вечер и ночь, но хитрый издатель уже нашел, что после того, как Андреев отказался от своего протеста, ухаживать за ним ему нет расчета. Соглашение его с Леонидом Андреевым не состоялось. Тогда Протопопов переманил Андреева к себе в «Русскую Волю». Туда же переманил он и принявшего фамилию Горелова Гаккебуша, редактора «Биржевых Ведомостей», вместе с управляющим его делами Сыровым. Андреев, чтобы отомстить Пропперу, хотел приобщить и меня к «Русской Воле», несмотря на мой разлад с Амфитеатровым. Я же вообще отказался от газетной работы. Кое-какое литературное участие я еще принимал в отделе «Биржевых Ведомостей», который вел Аким Волынский, в том отношении, что печатал там свои стихи, главным образом, переложения философских афоризмов Ницше, придавая его сверх-человеку облик большевика. Вскоре, впрочем, я и совсем перестал сотрудничать в «Биржевых Ведомостях». Последний фельетон мой, появившийся в «Биржевых Ведомостях», носил название «Двор». Последнее стихотворение мое в этой газете было написано на анархо-коммунистическую тему: «всё для всех и все богаты».

Многие из молодых людей, часто посещавших меня на Черной Речке, ученых, литераторов и художников, спорили со мною, нередко сердито, и даже уходили с клятвою никогда не подавать мне руки из-за того, что я не соглашался с их эс-эровскими взглядами и называл взгляды эти устарелыми. Большевистский демократизм пугал их, а демократическая республика казалась им идеалом государственности. Некоторые из них — за границей, а иные ярые спорщики давно уже стали большевиками, еще раньше меня записавшись в партию. При теперешних встречах со мною они с благодарностью вспоминают наши чернореченские пререкания.

Черная Речка, давно уже оставленная мною, иногда мне снится, и, не скрою, конечно, мне жаль ее, как колыбель тех впечатлений, тех радостей более или менее безмятежной домашней жизни, которая протекла там вместе с Клавдией Ивановной, моей незабвенной подругой. Позволю себе подчеркнуть здесь, что никто меня не гнал с Черной Речки непосредственно; я добровольно расстался с нею. Умеренная жизнь, которую я вел, дала Клавдии Ивановне возможность скопить и, накануне семнадцатого года, заплатить последние, оставшиеся от долга нашего, три тысячи золотом по залогу дома частному лицу, предпочитавшему, однако, получать с нас только проценты. Это была вдова мелкого кредитного чиновника. Ей хотелось во что бы то ни стало продолжить закладную. Но Клавдия Ивановна сказала мне, когда я стал склоняться в пользу вдовы: «это может связать нас с нею в такой момент, когда морально нам выгоднее будет имущественно быть свободными». Не обладала знаниями и научным предвидением Клавдия

Ивановна, но у нее было «чутье». Тонкие нервы ее предчувствовали заранее не только грозы небесные, но и земные. И уже в октябре того же года я писал, что с удовольствием готов отказаться от своей маленькой собственности в силу какой-то принципиальной потребности. И Клавдия Ивановна, и я, и дочь моя Зоя — мы были восторженно настроены совершившимся перерождением страны. Отдать все, что имеем — вот как могли мы пока принять участие в революционной работе. Да и оглядываясь на свою эгоистическую жизнь в кругу интеллигентных знакомых, в вихре художественных впечатлений, среди великолепных книг, мы считали себя недостойными долгое время даже войти в партию. Меня в газетах «ругали» в прозе и в стихах большевиком. Я, где только можно было, агитировал за большевизм, а все еще считал себя только кандидатом.

Уже во время последних выборов в Государственную Думу я отказался быть представителем партии свободомыслящих. На Черной Речке у нас продолжали бывать по временам некоторые лесснеровские рабочие из свободомыслящих, но уже ставшие социал-демократами. С военных фронтов доходили, между тем, все более и более тревожные слухи. В газетах прославлялись подвиги наших войск, а, на самом деле, они терпели неудачи. Вздымалась дороговизна. Из частных разговоров с рабочим людом Выборгской стороны все больше и больше приходилось убеждаться в неизбежности назревающего взрыва.

Словно в тумане, рисуются мне летние и зимние месяцы 1916 года. Однажды я поздно ночью возвращался на извозчике из города на Черную Речку. Я был в легком пальто, озяб и заехал поужинать в «Виллу Родэ», карточный увеселительный «зáмок», ярко горевший электрическими огнями и шумевший музыкой и цыганскими и французскими шансонетками. Когда я вошел в ресторанный зал, где я давно не был, меня поразило в нем не только необычное движение, но и необычный беспорядок. Кое-где столы были перевернуты, публика стояла кучками и кричала; кто хохотал, кто спорил с пеной у рта и тряс кулаками. Офицеры горячо что-то объясняли штатским, лакеи стояли у стен, заложа руки за спину, хозяин, впоследствии заведывавший продовольственной частью в Доме Ученых, перебегал от группы к группе и, повидимому, старался всех успокоить и уладить какой-то скандал.

— В чем дело? — спросил я его, когда он проходил мимо.

Он остановился, наклонился к моему уху и только успел произнести:

— Распутин набедокурил!

Разумеется, поужинать мне не удалось, но я узнал, что на сцену выходил пьяный Распутин и громогласно хвастал, что если он захочет, то и Сашка выйдет, а не только он, и благосклонно покажется публике; что какие-то аристократические офицеры, в числе их

называли графа Орлова-Денисова, поняли, что под Сашкой Распутин разумеет царицу, бросились и стали его избивать; но, что теперь дело уже кончилось миром, благодаря вмешательству французских артисток. В номер, где заперлись враждебные стороны, поданы были большие миски шампанского и какая-то особенно крупная посуда в роде бочки, в которой будут кого-то купать в знак примирения. Публика, кажется, ждала дальнейших событий или, во всяком случае, финала, а я ушел. Несколько дней спустя, я не помню, может-быть, через две недели после этого, в газетах стали появляться робкие заметки об убийстве Распутина при содействии великих князей, при чем убийцами называли не то Дмитрия Павловича, не то Пуришкевича, знаменитого черносотенного депутата Государственной Думы, не то Юсупова, князя Эльстон-Сумарокова. Потом газеты были заняты описанием распутинских галош, найденных где-то в канале, наконец, его трупа, утопленного в Неве. Пошли слухи об эксцессах царственной скорби, порожденной трагической смертью «чудотворца». Вероятно, двор был в отчаянии. Великокняжеские убийцы, очевидно, связывали с убийством Распутина возрождение монархического принципа, а монархический принцип, напротив, уже нашел в его смерти и свою гибель. И, в самом деле, до того образ Распутина слился уже в представлении публики с образом Николая Александровича, что на убийство одного из этих уродов публика стала смотреть, как на полное освобождение от давящего всех произвола. Оживилась Государственная Дума. Высоко подняли голову кадеты и перестали отталкивать от себя социалистов, которых еще недавно называли ослами, а социалисты, в особенности народники и эс-эры, наметили уже свою линию. Под лозунгом «ответственности» министров, мечтали кто о республике, кто о монархии, которая была бы послушным орудием в руках буржуазии. Минул январь и февраль. Дороговизна возростала. Хвосты у лавок растягивались иногда на две версты. Жаждущие купить чего-нибудь на пятачок дешевле заблаговременно становились в ряды с трех часов ночи.

В конце февраля вечером я отправился повидать Измайлова в редакцию «Петербургского Листка». С ним я поддерживал личные дружеские отношения, тогда как в политических взглядах мы не сходились, и я напечатал у него за все время только два маленьких «праздничных» рассказа — рождественский и новогодний. Уже слетали сумерки. Стояла оттепель, таял снег. На Каменноостровском проспекте извозчик отказался ехать дальше: улица была запружена народом. Я встал с санок и присоединился к толпе. Шли выборгские рабочие торжественной, мерной поступью и пели Марсельезу, которая вскоре сменилась Варшавянкой. По пути некоторые городовые отдавали честь шествию, но большею частью уходили в сторону. Пока полицией не сделано было ни малейшей попытки рассеять толпу. На Невском к шествию примкнули еще группы уже не одних только рабочих. Печально грянули звуки:

«Вы жертвою пали в борьбе роковой», и манифестация протянулась до Знаменской площади, неясная, туманная, подобная темной туче, спустившейся на землю и таившей в себе громы и молнии. Возможно, конечно, что она и мимо пройдет. Некоторые признаки полицейской тревоги стал явно обнаруживать Невский. Городовой с трудом пропустил меня на Екатерининский канал.

Я застал редакцию «Петербургского Листка» пораженной страхом и трепетом.

— Нет, туча не пройдет! — сказал я Измайлову.

Впрочем, он был настроен сравнительно оптимистически.

— Во всяком случае, — сказал он, — народ вступится, наконец, за Государственную Думу и потребует ответственных министров — единственно, что может удовлетворить Россию. Нам нужна и твердая власть и умная!

— А что, если это классовая война, пришедшая на смену германской?

Измайлов замахал руками.

— Завтра, к сожалению, мы не выходим, — начал он, — и трудно предвидеть, чем обрадуют сегодня репортеры, которых я отправил в Таврический дворец. Так или иначе, все-таки наступило что-то решительное. Как бы только не пересолила рабочая масса! Пять дней самое большее, — заключил он, — и я надеюсь предложить вам, Иероним Иеронимович, такие условия, от которых вы не откажетесь. При свободной печати, которая обязательно, наконец, будет дарована народу...

И т. д. стал распространяться мой приятель, убеждая меня не уезжать обратно на Черную Речку, потому что мало ли что может случиться; но я уехал.

Не в течение пяти дней, а уже через два дня выяснилось положение. Рабочая масса не пересолила, а, строго говоря, не досолила. Буржуазия двадцать седьмого февраля при помощи солдат и рабочих одержала победу над правительством, взяла в свои руки власть, и, несмотря на попытку Милюкова сохранить монархию, у кормила правления очутилось временное правительство.

Я не пишу историю времени, моя книга есть книга моих личных воспоминаний; и чем ярче развертывается история коллектива, тем меньше места занимает в ней история личности. К тому же, моя личность с момента провозглашения в России нового порядка вещей утратила свою былую активность. Новая жизнь потребовала новых людей. Мне все казалось, что я еще новый человек, но тут я понял, став лицом к лицу с революцией, что я вышиблен из седла. Все мои симпатии были, разумеется, на стороне революции, но на мой взгляд она только началась. То, что совершилось в течение каких-нибудь двух, трех дней было, можно сказать, лишь первым шагом к углублению революционного пожара. Однако, пойдут ли события таким образом, какого требует революционный идеал пролетариата?

Молодые люди, служившие конторщиками в «Биржевых Ведомостях», братья Дабужские основали уличный листок «Бич» еще в 1916 году, быстро разбогатели, приобрели «Журнал для всех», недавно очень популярный и распространенный, и предложили мне редакцию, подписав со мною условия, без ограничения меня относительно направления. Я деятельно принялся за работу. До октября месяца я составлял книжки, оплачивал из средств Дабужских материал, кроме своих рукописей, и, так как я не мог найти ни одного сотрудника, который в состоянии был бы освещать задачи революции, то сам взялся за это и вел «Дневник Редактора». Опасного антагониста себе я встретил в лице Амфитеатрова, который редактировал «Бич». Амфитеатров высмеивал рабочих депутатов и изображал большевиков чудовищами. Нельзя сказать, чтобы «Бич» велся бездарно. В нем сотрудничал, напр., Князев, тогда еще не большевик, хотя и несомненный социалист. Дабужские, согласно условию, набирали номера «Журнала для всех», ничего не изменяя в них, т.-е. совершенно не вмешиваясь в редакцию, и мало того, отливали стереотипы в расчете на большую подписку. Бумаги у них было в запасе много; а тем не менее, они, по совету Амфитеатрова, откладывали выпуск книжек из месяца в месяц. Они были очень любезные люди, но считали, что мои статьи, где я проводил взгляды, бесившие Амфитеатрова, могут очень не понравиться временному правительству, и оно обрушится на журнал, тем более, что оно уже явило несколько примеров своей нетерпимости. Перед выступлением рабочих третьего июля Дабужские подали мне надежду, что, наконец, журнал пойдет. Однако, победа правительственных войск над рабочими опять испугала их. Трудно представить, что я переживал, как публицист, глубоко убежденный в своей правоте. Когда-то царь Николай Павлович сказал, что в России — свобода, ибо никому не возбраняется мыслить про себя что угодно, лишь бы только не высказывать мыслей и не приводить их в исполнение. Именно таким идеалом свободомыслящего и даже свободнопечатающего гражданина очутился я в революционной России. Корректуры моих статей, образовавших изрядный том в течение нескольких месяцев и не имевших возможности появиться в журнале, который я же редактировал, хранятся у меня и ввергают меня иногда в тоскливое настроение. Два раза только я получил возможность высказаться почти свободно, благодаря снисходительности Измайлова, редактора «Петербургского Листка»: первый раз по вопросу об амнистии, когда я предложил даровать ее всем не только политическим, но и уголовным преступникам, на том основании, что старый режим со своими социальными неправдами в значительной степени должен считаться главным источником и виновником преступности в народе, а второй раз, когда мне, как писателю, надо было высказаться по поводу полугодичного юбилея революции. Юбилей пришелся на август месяц. Тогда возлагали большие надежды на Корнилова, а смешного с моей точки зрения Керен-

ского, корчившего из себя Наполеона, разъезжающего по войскам, и произносившего речи в сером походном сюртуке, газеты называли: «любимым дофином освободившейся демократической России, благороднейшим энтузиастом революции, человеком, которому выпало на долю почти недостижимое на земле счастье и дожившего до осуществления самой обольстительной, самой далекой мечты своей, ибо волшебная принцесса Грёза сама давалась ему в руки!». Многим и тогда уже все это казалось, разумеется, пошлостью, либеральной сахарной ерундой на розовом масле. В статейке моей, которую редакция сопроводила уничтожающим примечанием, что она не отвечает за ее содержание, я открыто высказался за прекращение войны, за недоверие Корнилову и за программу большевиков. Тогда такие взгляды считались «контрреволюционными», в торжество же якобы контр-революции, т.-е. большевизма, начинал уже слегка верить и сам дофин. Уже им было высказано сожаление о том, что он не умер два месяца тому назад, когда «земля обетованная новой России носилась перед ним в лучезарном сиянии великого возрождения». Керенского называли еще «светлым духом Ариэля», и, какой ужас, вдруг он погибнет! Ленина же выводили в образе грубого, полудикого Калибана, который вдруг предстанет перед нами, как в шекспировской «Буре», в виде «взбунтовавшегося раба». Кстати напомнить, что выражение «взбунтовавшиеся рабы» впервые по адресу большевиков вылетело из уст «лучезарного» Керенского. Впрочем, в либеральном обществе, после поражения рабочей партии третьего июля, была уверенность, что «контр-революция» побеждена, что ее силы разбиты и еще не пришли в себя, еще не оправились от удара и не осмелятся еще ни на какие выступления против «революции». На собраниях либеральных газет, между прочим, было постановлено ни в каком случае не углублять революцию, потому что иначе дело дойдет до коммунизма, а это было бы ужасно, ибо Россия очутилась бы на краю гибели.

По мере того, как большевики, выжидая полного разложения. Думы, где Родичев, Керенский, Гучков тесно объединились в общем чувстве тревоги и объявили, что демократия и буржуазия только при совместных усилиях в состоянии спасти государство и «революцию», делали свое дело, решив во что бы то ни стало потушить пожар мировой империалистской войны гражданской войною. Казалось в высшей степени немудрой такая тактика; но время показало, что Ленин, первый провозгласивший лозунг гражданской войны против империалистской, был прав, и не оказалось ужаса в том, что революция, руководимая «любимым дофином пробудившейся России», должна будет погибнуть не в борьбе с врагом, а с собственным разложением. «Помилуйте! — восклицал один тогдашний популярный публицист (не назову его, он, в сущности, почтенный человек и теперь посильно служит республике), — это было бы тем

кощунством против духа святого, которое одно не прощается даже всепрощающим учением Христа».

Так или иначе, после полугодичного юбилея февральской революции старая — буржуазная Россия стояла уже у грани: быть или не быть. Возлагались большие надежды на демократическое совещание, которое собралось для конструкции правительства. Хотя кадеты потеряли доверие, но демократическое совещание, через свою комиссию, завело переговоры с Кишкиным, Коноваловым и Набоковым, не признававшими демократии. Парламенту должен был предшествовать пред-парламент. Шли споры об «ответственности» и «неответственности». Положение осложнялось еще вновь возникшими забастовками. Забастовщиков буржуазная пресса громила, как преступников и государственных изменников. Государственными преступниками и изменниками считались также большевики и анархисты. Один либеральный фельетонист называл их даже грабителями и ворами. На самом деле, железнодорожная забастовка, напр., явилась в результате шестимесячного бесплодного ожидания улучшения положения тружеников железнодорожного транспорта. «День» и «Речь», то и дело, кричали по поводу каждого выступления пролетариата: «позор и срам!». «Русская Воля» кричала о необходимости утверждения «личного начала». Твердая государственная воля, по мнению газеты, должна будет воплотиться в Керенском. А Керенский, — все же он был неглупый человек, — все больше и больше проникался сомнением в своих силах, хотя бывший царь, уезжая в Тобольскую ссылку, и благословил его на правление, сказав, что на одном Керенском покоятся все надежды на спасение России.

Двадцать пятого октября вечером я и Клавдия Ивановна стояли у окна и через вершины деревьев смотрели, как на темной черте неба вздрогнули молнии, и вслед за тем загремели орудийные выстрелы. Пролетарская революция атаковала, наконец, Зимний Дворец, где заседало временное правительство, где обитала «бабушка русской революции» — Брешко-Брешковская и откуда только-что бежал к своим верным войскам Керенский, чтобы, в свою очередь, бежать и от них, переодеваясь бабой, как утверждает это в своих воспоминаниях очевидец бегства тов. Дыбенко.

ГЛАВА ШЕСТЬДЕСЯТ ШЕСТАЯ.

1917.

Выбитый из седла февральскою революциею, я был посажен в седло великим Октябрьским переворотом. Депутация от Кронштадтских матросов обратилась ко мне с просьбой приехать в крепость и прочитать лекцию о большевизме в литературном его освещении. Повидимому, от меня Кронштадт потребовал художественного изображения большевика. Матрос Писахов, когда-то

бывавший у меня на Черной Речке, заявил мне, что в Кронштадтском Совете им уже были прочитаны какие-то мои статьи и фельетоны, отображающие более или менее нашу современность. Я пообещал, что приеду.

В городе повсеместно уже водворился порядок.

Вдруг, вошла Клавдия Ивановна и объявила, что приехал автомобиль из Зимнего Дворца. Вслед за нею вбежал Игнатов, тот молодой товарищ, с которым в двенадцатом году мы производили неудачно закончившийся опыт организации на частные средства пролеткульта на Серпуховской улице.

— Комиссар народного просвещения т. Луначарский командировал меня пригласить вас к нему для привлечения вас к общественной работе.

— А вы что же делаете сейчас? — спросил я Игнатова.

— А я комендант Зимнего Дворца.

Веяло сыростью и уже заброшенностью от длинных, широких и пасмурных коридоров исторического дворца, по которым мне пришлось итти. Наоборот, кабинет, в котором принял меня товарищ Луначарский, оказался уютной небольшой комнатой, украшенной маленькими голландскими картинками в потускневших рамках.

Раньше с Луначарским, когда он работал в «Дне», я знаком не был. Первый раз видел я его. Если бы я пришел к редактору какого-нибудь вновь затеваемого журнала, он, вероятно, оказал бы мне такой же литературный прием. Прежние царские министры, когда к ним приходилось «являться» по какому-либо делу, старались так обойтись с литератором, чтобы не особенно испугать его и выказать себя по возможности снисходительно ласковыми и как бы исполняющими приятный долг знакомства с представителями чуждого им мира. Тов. Луначарский совсем не походил на министра, и, хотя он был несомненный министр и член очень могущественного правительства, казалось, что он конфузится. Он улыбался, а глаза его, очень яркие и наблюдательные, были устремлены на меня.

— Не очень-то нас любят в Петрограде, — начал он, усадив меня. — Интеллигенция нас, кажется, совершенно отрицает. В «Биржевых Ведомостях», где вы сотрудничали, я прочитал недавно фельетом Любоша: он подозревает, что в нашей партии нет ни одного сильного и даровитого человека, и он ждет только гибели для России от нашего торжества. Иные же противники удивляются, как могли мы успеть завладеть властью; но если вы еще не знаете, то скоро прочитаете подробности ухода, или, выражаясь высоким слогом, свержения временного правительства в бездну небытия. Его власть разложилась и сгнила еще скорее царской. Та держалась века, а эта буржуазная власть не просуществовала и восьми месяцев. Совершенно верно, что гораздо труднее будет построить новую Россию, и в самом деле мало людей, а кругом себя

мы видим только враждебные лица... бойкотируют целые учреждения, не доверяют нам... время, конечно, покажет, кто прав, мы или они. Сейчас мы занимаемся подсчетом наших сил, и вы попали в регистрацию... Вы хорошо знаете языки? — спросил он меня, и на мой ответ, что я бегло не говорю ни на одном иностранном языке, он выразил сожаление. — Мне казалось, что вы могли бы быть полезным республике на дипломатическом поприще, в крайнем случае корреспондентом при каком-нибудь посольстве. Но и то сказать, нас, вероятно, еще не скоро признают. Мне сейчас сказал Игнатов, что вас приглашают в Кронштадт. Поезжайте. Вас, значит, знают там и хотят вас?

Из Зимнего Дворца в автомобиле Луначарского меня повезли на Балтийский вокзал, оттуда в Ораниенбаум, а из Ораниенбаума на пароходе в Кронштадт. Еще не замерз залив, но снегу было много, и весь Кронштадт покрыт был белым саваном. Однако, было что-то веселое в этой зимней белизне. Чем-то новым и молодым веяло от Кронштадта. Матросы встретили меня и проводили на броненосец «Народоволец».

Я вошел в кают-компанию, и как-то странно было увидеть, непривычно для глаза, морских офицеров, почти застенчиво обращавшихся с матросами, хотя по внешности всё еще сохранялась у них командная поза. Все-таки облако тоскливой приниженности не сходило с лиц офицеров и тогда, когда нижние чины покинули кают-компанию из вежливости, а не из дисциплины. Среди офицеров солидно держал себя судовой священник. Тогда еще священники не были упразднены во флоте. Он первый, единственный вступил со мною в разговор о том, чтó будет, или чего можно ожидать для русской интеллигенции. Должно быть, ответы мои не очень понравились священнику.

— Но все-таки бог останется? — допытывался он.

— Бог останется, — отвечал я, — но только другой будет бог. Мы создаем себе бога, в зависимости от наших взглядов, убеждений, знаний, симпатий и наших отношений к людям. Полагаю, что бог большевиков во всем не будет похож на того бога, который был в ходу в царское время.

— Фейербаховщина, фейербаховщина, — проговорил священник. — Я, впрочем, и сам увлекался Фейербахом, — и, подумав, прибавил, принимаясь за поданную матросами снедь: — но только все это суета. Как бы сказать: суемудрие!

После чая матросы пригласили меня к себе, в свою кают-компанию.

— Скажите-ка нам, товарищ, слово, — попросили они.

— Давайте-ка лучше так поговорим. В живой беседе свободнее рождается слово. Вы о чем хотели бы поговорить сейчас, например?

— А вот все о том, на чем же нам остановиться? У нас много эс-эров. Почитай, что вся братва, но мы за большевиков. Кроме того, есть у нас анархисты. Товарищ Ярчук у нас хорошо говорит. Мы хотим, чтоб вы к нам завтра в Совет пришли и там бы что-нибудь на этот счет сказали.

— Я ведь не пророк и не очень глубоко стою в потоке новой жизни, который бурлит, шумит и опрокидывает ветхие здания. Я только вижу и знаю, что история идет неуклонно вперед, и, как в земле древнейшие слои почвы и коры сменяются, с течением веков и тысячелетий, новыми слоями и так называемыми формациями, так в человеческом обществе одни общественные периоды уступают место другим: старые новым, а новые новейшим. Феодальное право сменяется буржуазным, а буржуазное смещается пролетарскими порядками. Пришла буржуазия и потопила дворянство или обуржуазила его на свой лад, а вот идет пролетариат, и что же, в конце концов, не покорится его силе? Сидел Илья Муромец тридцать лет сиднем и вдруг встал. Поднялся великан. Горы трещат, и моря кипят. Расплескивают их шаги великана. Без коммунизма не обойдется, товарищи, дело, и не сегодня, завтра, а уж кончено — начался поток, а когда земля обсохнет, кто останется жив, не узнает — такими яркими цветами загорится она и так преобразится.

Матросы довольны были моей беседой. Они отвели меня в какую-то директорскую каюту, из трех отделений, где имелась даже особая ванна, и отдали ее в мое распоряжение на ночлег.

На другой день, вечером, в огромном зале инженерного училища я должен был прочитать лекцию. Я остановился на большевизме, в свете ницшеанской философии, но, правду сказать, поставленную мною кверху ногами. Мне казалось и до сих пор кажется, что применение к большевизму ницшеанства — наиболее подходящая его философия.

Перед началом лекции я был приглашен к Кронсовет. Мне оказали честь, отведя место на трибуне, у президиума, и я, в кратком слове приветствуя Кронштадт, высказал несколько пространнее о грядущем коммунизме то, что намечено было мною в беседе с матросами «Народовольца».

Состав Кронсовета был в партийном отношении преимущественно эс-эровский. Но в то военное время еще не обострялись партийные расхождения, по крайней мере в Кронштадте. Масса матросов, причисляя себя в эс-эрам, благодаря производившейся усердной агитации партийных работников, не отделяли себя в то же время от большевиков, и, когда мною было произнесено с трибуны Кронсовета, что очень скоро разовьется, если уже не развивается, над русскою страною, в первую голову, коммунистическое знамя, в рядах членов совета произошло движение, и эти слова были встречены рукоплесканиями, и только часть депутатов хранила молчание.

Голос у меня небольшой, и меня страшила колоссальность зала. Афиши были развешены только утром, но публики, тем не

менее, было много. Зато погода с утра и до полночи неистовствовала. Это был настоящий шторм. Только Виктор Гюго мог бы передать переливы громов, ураганных раскатов и стоны и вой бури, которая, как шутили матросы, тоже прилетела послушать, что я буду говорить о большевизме.

Три часа с перерывами читал я лекцию и, чем дальше, тем я больше убеждался, что меня слушают, что буря не мешает, а, напротив, как-то поднимает настроение и лектора и слушателей, и что в зале, очевидно, великолепный резонанс. Матросы, сидевшие на последней скамейке, у задней стены, передавали мне потом, к моей великой радости, что ими не было упущено ни одного слова.

Ночью в моей каюте несколько матросов, угощая мня чаем, рассказали мне подробности кронштадтского избиения морских офицеров.

— Может-быть, сгоряча и были убиты немногие, которых следовало бы пощадить, как сохранена была жизнь другим,—говорили они,—но уж очень тяжела была офицерская лапа. Так что не очень разбирали на первых порах. Не выносили, если вдруг заругается, вместо того, чтоб повиниться. Ну, и как вспомнишь товарищей, которых расстреливали... И, оно, конечно, нашими же руками... Эх, единодушия не было у нас!.. Кажется, чего проще, а между тем, бывало, товарищ, которого приговорили к расстрелу, сам просит: цельте, братцы, в сердце, чтобы не мучиться... И мы все это терпели! Адмирал Вирен приказывал честь отдавать его дому — даже его лошади! Ежели по-человечески идешь со своей дамочкой под руку — и вдруг попадешь ему на глаза — тридцать дней ареста!.. Еще у нас тринадцать палачей проживало — так мы их тоже порешили.

Матросы, Щекин и др., между прочим, рассказали мне, что между собою они образовали товарищество, в котором насчитывается уже несколько десятков человек: они не пьют, не курят, не произносят скверных слов и ведут целомудренную жизнь.

— Что же, и выдерживают? — спросил я.

— Пока выдерживаем, друг от друга скрыть не можем, а у нас строго. Мы по глазам узнаем.

В самом деле, лица у них были свежие, чистые, как у девушек.

Странно было видеть и не хотелось верить, что эти прекрасные, добродушные и даже помыслами старающиеся не грешить молодые люди могли собственноручно казнить неугодных им офицеров. Но ведь точно так же и эти погибшие офицеры были тоже «прекрасными» молодыми людьми, многие из них добродушные, светские, влюбчивые и даже сентиментальные юноши; но однако же они, даже не в революционном порыве, а обдуманно, хладнокровно и с сознанием, что это необходимо для благополучия их дворянского класса, били матросов по «мордам», изводили их арестами, расстреливали, и, расстреляв, бросали в море.

И еще особое впечатление произвел на меня в тот приезд Кронштадт: повторяю, он был какой-то новенький, совсем не такой, как раньше, в дореволюционное время, словно ему надо было пролить кровь нескольких сот человек, чтобы обновиться, помолодеть, расцветиться радужными надеждами.

Увы, не бывает бескровных революций, и еще гораздо ужаснее (потому что кровопролитие не приносит плода, а напротив убивает жизнь в зародыше) — контр-революция.

Сейчас, после Кронштадта, я получил приглашение от Выборгского отряда красноармейцев и вместе с товарищем Егоровым отправился в Выборгский военный клуб, где прочитал в сжатом виде то, что было мною читано о большевиках и большевизме в Кронштадте.

На нашем вечере присутствовало много посторонних слушателей — не только красноармейцев. Между прочим, было много финских коммунистов. Они подходили к нам и дружески жали руку. Кстати, сообщали, что в Финляндии большевистский переворот встречен сильною в этой стране буржуазною партиею враждебно, и она возлагает надежды на иностранную помощь. Но Финляндия встретит контр-революцию мужественно.

Тогда, правду сказать, еще не верилось в контр-революцию. Еще радужно настроены были революционеры и примкнувшие к революции.

А гроза над Финляндией уже собралась. Да и в России было не благополучно.

В Петербурге «бойкот» начался почти сейчас же после 25 Октября и почти сейчас же обнаружил себя. Первосортная интеллигенция — профессора и литераторы подали пример маленькой интеллигенции, которая, в сущности, интеллигентна была только потому, что она была сколько-нибудь грамотна и, сама будучи пролетарски неимуща, была настолько тупа, что не могла осознать своего унизительного положения в этом столкновении буржуазии с пролетариатом. Эта жалкая интеллигенция была похожа на тех безземельных дворовых людей, которые в эмансипацию продолжали служить господам и получать от них пощечины, гордясь своим собачьим инстинктом преданности.

Так называемая свободная печать, которую большевики, овладев властью, долго не трогали, всячески разжигала в массах интеллигентской черни ненависть к новым советским порядкам.

Позволю себе сделать здесь замечание, обще-политического характера. Много зла принесла России восставшая интеллигенция и вызванная ею, во всяком случае, необычайно усиленная ею, контрреволюция разных Колчаков, Юденичей, Деникиных, Врангелей и других отечественных Редедей и бандитов, но не бывает худа без добра. Наш пролетариат приобрел закалку духа в этой гигантской борьбе на всех фронтах шестой части света, на которой раскинулась Россия, и проявил величие этого духа, приобревшее

ему, в конце концов, мировую славу и историческое значение. Несомненно, с другой стороны, что если бы интеллигенция сразу приняла октябрьский переворот и не только признала бы, но и прониклась бы идеологиею пролетариата, она искривила бы линию его политического и экономического направления к той вселенской великой цели, к которой он теперь устремлен роковою силою революционного разбега. Интеллигенция внесла бы в пролетарскую идеологию свою оглядчивость, свой скептицизм, недоверие к своим силам, благоговение перед изжитыми формами либеральных общежитий, перед обветшалыми научными авторитетами, свою изломанность сердца, свою достоевщину, которая так пришлась по вкусу западно-европейской интеллигенции и которая нравится еще мне лично, потому что я все же, хоть и коммунист, но не могу отрешиться от многих слабостей и уклонов древней русской интеллигенции, но которая — достоевщина — по моему глубокому убеждению должна быть чужда нашему молодому пролетариату, а если будет принята им, то может подействовать на него, в известной степени, как яд.

ГЛАВА ШЕСТЬДЕСЯТ СЕДЬМАЯ

1917 — 1918.

Целая литература возникла в современной печати по поводу такого незначительного факта, как мой, показавшийся внезапным, большевизм. На самом деле, редактированный мною «Новый Журнал для всех», издававшийся братьями Дабужскими, о чем я уже писал, весь буржуазно-революционный сезон семнадцатого года велся исключительно в большевистском направлении, и не моя вина, что издатели, под влиянием Амфитеатрова, который редактировал другое издание их «Бич», хотя и набирали все статьи, которые я посылал в типографию, даже отливали их для стереотипа, однако трусили выпускать журнал в свет при временном правительстве. Для меня, поистине, это была трагедия. Каждый день Дабужские обнадеживали меня, что журнал будет выпущен сразу, и каждый день надували. За свои статьи я денег не получал от конторы, хотя статьи сотрудников оплачивал. Между прочим, у меня на руках остался талантливо написанный роман Марка Криницкого «Черные флаги», в котором была изображена группа анархистов, завладевших дачею Дурново. А сыр-бор загорелся после того, как в «Известиях Центрального Исполнительного Комитета и Петроградского Совета Рабочих и Солдатских Депутатов», в номере 228, недели через две после переворота и моей поездки в Кронштадт, появилась статья народного комиссара по просвещению А. В. Луначарского, под названием «Сретение».

Я знал несколько языков, как переводчик, и улавливал дух языка и стиль писателя, но не владел живою речью, и даже французский язык стал меня затруднять под конец жизни. А. В. Луначарский предлагал мне занятия при дипломатической миссии в Берлине, но пришлось отклонить предложение—не позволила воспользоваться им простая добросовестность. По возвращении из Выборга, я приглашен был в Наркомпрос и стал заниматься в Пролеткульте, как редактор. Через меня прошел ряд сборников. Всё это были пролетарские произведения, среди которых более выдающиеся принадлежали товарищам: Кириллову, Маширову, Поморскому, Безсалько, Арскому и многим другим. Из беллетристов крупные надежды подавал Безсалько, преждевременно скончавшийся от тифа, молодой человек, происходивший из низшего духовного сословия и работавший в пятом году в Екатеринославской губернии: он сослан был в Сибирь, затем эмигрировал в Париж. Его роман «Катастрофа», вышедший с моим предисловием и под моей редакцией, свидетельствует о значительном даровании этого беллетриста, не успевшем расцвесть.

Еще в царское время графиня Панина, ставшая впоследствии при Керенском министром народного просвещения, основала нечто в роде народного университета, который был хорошо обставлен — и учебными средствами, и был не беден преподавателями. Кружок рабочих, посещавших Панинский университет, несомненно, с большою пользою для себя был проникнут социалистическими идеями и задумал издавать свой орган под названием «Грядущее». Печатался журнал тощими тетрадками с разгонистой печатью, но в нем попадались искры, обещавшие не погаснуть.

Председателем Пролеткульта был товарищ Федор Калинин — подпольная кличка его была Аркадий — милый человек, когда-то бывший мальчиком в типографии «Биржевых Ведомостей». Секретарем же пролеткульта был товарищ Игнатов, молодой человек, уже опытный в ведении просветительного дела в рабочей массе, так как он был секретарем в обществе «Страда», где я был председателем. Оно преследовало такие же цели и задачи, только в меньшем, разумеется, масштабе. На мою долю выпало не только просматривать рукописи пролетарских писателей, но и редактировать «Грядущее». Товарищ Игнатов вскоре нашел возможным перевести Пролеткульт из здания Наркомпроса у Чернышева моста в огромное здание бывшего Благородного Собрания на Екатерининской улице, переименованной поэтому в Пролеткультскую.

Одно время жизнь закипела в Пролеткульте. Найдены были огромные склады великолепной бумаги, и Пролеткульт стал издавать не только журнал, но и книги. Деятельным сотрудником Пролеткульта явился поэт Садофьев. Он стал товарищем председателя, а председателем, после Федора Калинина, был избран поэт Кириллов, в то время блиставший яркостью и смелостью своих образов и провозгласивший, что «мы растопчем Рафаэля». Эта поэтическая дерзость пленяла молодые умы.

В числе поэтов, ставших печатать свои стихотворения в «Грядущем» следует назвать Ионова и Тихомирова, кроме упомянутых выше. У нас часто устраивались в великолепном зрительном зале чтения, и ставились спектакли артистами Мгебровым и Викторией Чекан. Товарищ Луначарский приезжал и говорил речи. Устраивались выставки художественных работ.

И жена моя Клавдия Ивановна, отношение которой к пролетариату было известно еще за долго до переворота, благодаря ее участию в собраниях на Черной Речке в нашем доме, приняла приглашение занять место делопроизводителя в Наркомтруде, а когда Комиссариат переехал в Москву, стала делопроизводителем в Пролеткульте.

Время было какое-то весеннее, романтическое, полное грандиозных ожиданий, боевое. Со всех сторон сравнительно небольшая территория, на которой утвердилась Советская власть, была охвачена мощным натиском белых, которых поддерживала вся Европа. Надвигалась чудовищная нищета. Тем не менее, не было уныния. В сердцах горело чувство жертвенности. Никто не отказал бы отдать не только имущество, но и жизнь. Энтузиазм был преобладающим настроением трудящегося люда.

Но рядом с этим дрожал, как гремучий студень, едва сдерживаемый гнев против большевиков, переходящий в глухую ненависть в разнообразных слоях населения — и среди врачей и среди бывших домовладельцев, но еще владевших домами и надеющихся на возврат возлюбленной собственности из рук белых освободителей, и среди инженеров, и среди писателей и литераторов, и, в особенности, среди торговцев. Мережковский, встречаясь со мной и порывисто целуясь, кричал голосом, как из бутылки: «А надо, надо бежать от антихриста! Несомненно, пахнет серой!». Другой очень видный беллетрист, и ныне здравствующий, за время пребывания своего в недрах отечества, повидимому, переменивший взгляды и отвергнувший факты, которые считал неопровержимыми, совершенно убежденно доказывал тогда мне, сойдясь как-то на улице, что единственная цель засилья большевиков — германизировать Россию, и что не дальше, как через полгода, у нас воцарится Вильгельм. В семье доктора, ординатора больницы, в присутствии его самого (и он не опровергал!) рассказывали мне, что среди детей ходит эпидемия сапа их изолируют и расстреливают: таким образом, на днях было расстреляно более тридцати малюток. Слухи самые вздорные передавались из уст в уста в лавках и столовых.

Тем временем росла дороговизна, а то, что выдавалось бесплатно, или почти бесплатно, во всю эпоху военного коммунизма, совсем не удовлетворяло аппетитов, самых скромных, хотя иные ловкие люди ухитрялись получать по несколько пайков. Был у меня сосед по дому, инженер, так тот привозил себе на дом продукты целыми возами. Он получал их на тысячу рабочих, которых

он, по контракту с казною, держал на срочных земляных работах. Обыкновенно, человек двести он отпускал на день-на два, а то и на неделю, в деревню на побывку, а пайки их забирал себе и торговал ими; и вероятно оставалось у него в кармане и их жалованье, так как официально они числились на работе. Он привозил также — мне было видно из окна второго этажа — грузовики с роскошной мебелью и с такими огромными коврами, что их тут же, не внося в комнату, разрезали на меньшие. Однажды инженер был арестован, и ко мне прибегала его жена с просьбой о покровительстве, оказать которое я не мог, а если бы и мог, то не оказал бы. Подружившись с каким-то «комиссарчиком», он налетел на гостиницу «Москва» и разобрал каменную стену, за которою спрятано было большое количество заграничного вина. Захватить вино им не удалось, потому что налетел на них комиссар постарше. Все-таки сосед благополучно отвертелся от этой уголовщины.

На фоне страшной нужды и нищеты совершались такие проделки смелыми, дерзкими и жадными людьми довольно часто. Их принимали за правительственных агентов и беспрекословно подчинялись их требованиям трусливые мещане, окончательно убеждаясь, что это и есть большевизм.

Кроме занятий в Пролеткульте, типография «Герольда» предложила мне редактирование еженедельного журнала, который был назван мною «Красный Огонек». Тогдашний комиссар печати, покойный Володарский, пригласил меня к себе в бюро. Минуты две мне пришлось его подождать. Он вошел в комнату, несколько тяжеловатой походкой. Был это совсем молодой человек.

У Володарского не было в обращении европейского лоска и европейской любезности товарища Луначарского. Происходило все это не из застенчивости, а от частого соприкосновения с рабочей массой в Америке, куда он эмигрировал в свое время и откуда приехал.

— Я хотел вам сказать, — начал он деловым тоном, и скорее суховато, чем сочувственно, — что ваш «Красный Огонек» я отношу к изданиям, хотя и не вполне пролетарским, но вполне благоприятствуемым властью. В виду этого, узнавши, что ваш издатель меньшевик, я предложил бы вам не обращать внимания на его директивы, буде он таковые уже вам предъявляет.

— Нет, — возразил я, — издатель не вмешивается в ведение журнала.

— В таком случае, почему же вы как-будто избегаете поставить наш девиз на обложке журнала?

Я отвечал, что мною уже сделано соответствующее распоряжение.

— Хочу вас также предупредить — заготовить несколько тысяч лишних экземпляров «Красного Огонька, так как наша экспедиция намерена покупать у вас пока по пяти тысяч журналов. Затем позвольте пожелать вам успеха.

Я больше не встречался с Володарским: вскоре его убили.

Служба моя в Пролеткульте не требовала от меня утреннего пребывания в редакции. Что же касается Клавдии Ивановны, то она должна была являться ровно в десять часов. При большой дороговизне, и при невозможности купить что-нибудь, иногда, очень часто за отсутствием необходимого, деньги не являлись неотложно нужными. Более или менее, без них можно было обойтись. То, что у нас реквизировали в Московском банке десять тысяч, нас не огорчало. Но Клавдии Ивановне хотелось, во что бы ни стало, служить Республике и нести общественные обязанности. Наша домашняя экономика поэтому обменялась своими функциями в некоторой степени: жена уезжала с Черной Речки в Пролеткульт, а я спешил сделать кое-какую черную, домашнюю работу, в уверенности, к тому же, что после пяти часов мы вернемся, прихватив с собою какого-нибудь товарища и будем пить у себя чай и ужинать после скудного пролеткультского обеда. Это не избавляло Клавдию Ивановну однако от такой черной работы, к которой у меня не было привычки и в которой не было сноровки. Вечер она отдавала мелкой стирке и чистке своего костюма на следующий день. Прислуги у нас давно уже не было, а когда нас не бывало дома, то мы оставляли свой хуторок на произвол судьбы, и ни разу не случилось ни одной пропажи. Работал я в Пролеткульте через день, и через день в «Красном Огоньке», так, что обе работы друг другу не мешали.

Я назвал пролеткультский обед скудным. Но его столовая, на первых порах, отличалась от всех других столовых обилием и некоторой даже изысканностью. Имелись большие запасы продуктов в упраздненном Благородном Собрании. Зато, как только истощились запасы, обеды стали хуже, и уже к половине восемнадцатого года можно было сколько-нибудь сносно пообедать в Пролеткульте за пятнадцать рублей, тогда как жалованья мы получали всего по пятисот рублей в месяц. Следует вспомнить, впрочем, что одно время и народные комиссары получали столько же, наравне с низшими служащими. Буржуазная публика среднего достатка, во всяком случае, валом валила в нашу столовую. Часто бывала, между прочим, у нас артистка Барятинская (Яворская) и кисло улыбалась.

Иногда в Пролеткульт заглядывал молодой, с худощавым лицом интеллигентного рабочего, еще недавний политический каторжанин, товарищ Ионов. Он познакомился со мною, и первое впечатление от него было, что он истинный любитель и знаток хороших книг. Он и носил всегда в кармане какой-нибудь умопомрачительный томик.

Наше издательство щеголяло великолепными бумагами, но нельзя сказать, чтобы книги печатались со вкусом. Их однообразная обложка отличалась бедной прямолинейностью и в то же время отсутствием изящной простоты. Только-что выпущенная

в свет поэма моя «Последний бой» встречена была юмористическим взглядом товарища Ионова.

— Советская книга должна будет, — сказал он, — манить к себе глаз читателя, прежде чем он доберется до содержания, которое тоже должно быть на высоте внешности книги. Смотрите, вот стихотворения Суинберна: еще не прочитаешь, а книжка уже нравится, даже помимо популярности поэта — тянет к себе.

Товарищ Ионов заведывал «Издательством Петр. Совета Рабочих и Красноармейских Депутатов». Издательство только-что начиналось и существовало всего полгода. Тогда все было молодо. Он предложил мне издать мои стихотворения, выбрав из них такие, которые более отвечали бы времени. Книжка, под названием «Воскреснувшие сны», действительно, была издана превосходно. Затем предполагалось, что я возьму на себя обязанности комиссара Первой Государственной типографии. Но тут неожиданно постигло меня страшное горе.

ГЛАВА ШЕСТЬДЕСЯТ ВОСЬМАЯ.

1918 — 1920.

Был праздник. Радостно светило осеннее солнце. Наш сад еще не потерял листвы и играл всеми красками, начиная от янтарной и кончая темнобурыми красными, предзимнего увядания. Мы сидели в столовой, бывшей нашей гостиной и приемной, и пили утренний чай. Клавдия Ивановна просматривала только-что полученные газеты.

— Что это за болезнь — испанка? — спросила она.

Я не мог ответить.

— Вообще войны порождают разные эпидемии, которые с течением времени, в зивисимости от условий среды, видоизменяются, — начал я. — Когда я был в Галиции, там народ умирал от болезни, похожей на холеру, и, однако, врачи утверждали, что это не совсем холера. Эпидемия свирепствовала недалеко от тех мест, где были зарыты в общей могиле убитые, иногда по несколько тысяч человек. А что такое испанка, может-быть, тебе объяснит доктор, который вон идет.

В окно можно было увидеть нашего старого друга, редко пропускавшего наши воскресенья. Он сейчас же принял участие в чаепитии, с сахарином вместо сахара, но тоже не мог объяснить, что́ такое испанка.

На другой день местный врач Студенцов сообщил мне, встретивши на улице, что рядом с нами в доме богатого инженера умерла от испанки молодая цветущая девушка.

Еще прошел день. Клавдия Ивановна вернулась из Пролеткульта огорченная внезапным отъездом дочери моей Зои. Она служила одним из секретарей в Пролеткульте. Помимо того, что

всю работу Зоя свалила на Клавдию Ивановну, которую она, надо заметить, очень любила и была с ней дружна, обидно было, что тут замешалась какая-то тайна, которою молодая девушка с другом не поделилась. Я догадался, какая это тайна: Зоя вышла замуж за поэта Поморского. Может-быть, она опасалась, что Клавдия Ивановна не одобрит ее брак, а, может-быть, и это вернее, ее влекла прелесть некоторой таинственности в таком личном деле.

В среду Клавдия Ивановна отправилась на службу, после ночной и дождливой бури, сломавшей яблоню в саду. Вечером приехала, усталая и бледная. На столе шипел поставленный мною самовар, жарилась яичница на примусе. Клавдия Ивановна легла на диван, подложила под голову подушку; в окно барабанил дождь, я читал вслух «Записки» Лили Браун.

— Съешь, пожалуйста, чего-нибудь!..

— Решительно ничего не хочется... Я совсем и не обедала сегодня, даже чаю не могла пить... Всё так отвратительно. Вот лежала бы этак, кажется, всю жизнь и слушала бы Лили Браун.

Потом спохватилась.

— А вдруг разлежусь и не встану?

Взяла подушку и стала подниматься по витой лестнице к себе в спальню.

Она легла в кровать и, в самом деле, уже больше не встала. К утру у нее сделался жар. Я бросился к доктору Студенцову. Он на пороге сказал мне:

— Вы застали меня во-время: я только-что от пяти больных испанкою и собирался ехать еще к нескольким. Штука заразительная, и, не беспокойтесь, я дезинфицировал себя.

Клавдия Ивановна только-что говорила в полном сознании; но когда мы с доктором поднялись к ней наверх, глаза ее были туманны. Она не узнала доктора и даже меня, она уже бредила. А когда перед вечером Студенцов посетил больную, он нашел, что у ней началась агония. Это были тяжелые и страшные минуты. В одиннадцать часов ночи Клавдия Ивановна пришла на секунду в сознание и знáком показала, чтоб я ее обнял и поднес к открытой форточке. Дождь перестал итти. По прояснившемуся небу, одна за другой, пролетело несколько падучих звезд; а когда я положил больную обратно в постель, она заметалась, сбросила с себя душегрейку, легла на левый бок, уронила голову и умерла.

Мы похоронили ее на четвертый день, на Серафимовском кладбище. Похороны были гражданские. Белый гроб был украшен красными лентами, и с такими же лентами были венки. Небольшая кучка друзей, успевших узнать из «Красной Газеты» о кончине Клавдии Ивановны, шли за гробом. Были сказаны над ее могилой хорошие речи. Знаю, искренние речи, потому что все любили эту женщину.

Партия, в которую она записалась пока только в качестве кандидатки, потеряла в ней не очень, может, важного, но преданного и самоотверженного работника. В особенности хорошую речь, трогательную и глубоко прочувствованную, сказал поэт Кириллов.

Одновременно с нею, тоже от испанки и так же внезапно, на другом конце города скончалась ее любимая сестра (их звали энсепараблями) Таиса. Ее похоронили рядом с Клавдией Ивановной, всего через день.

Смерть жены заставила меня не явиться в срок к занятиям в Первую Государственную типографию, и комиссаром был назначен другой товарищ. Тогда товарищ Ионов, спустя некоторое время, посетил меня в моем чернореченском уединении и предложил место в «Издательстве Совета Рабочих и Красноармейских Депутатов».

Издательство тогда было маленькое, но, несмотря на отсутствие знающих дело сотрудников, шло оно хорошо. Тов. Ионов работал. Книги выпускались за книгами, и уже к концу девятнадцатого года оно так расширилось, что учреждение было из Смольного переведено в новый дом (бывший Зингера). Сначала занято было что-то около пятнадцати человек в издательстве, а в настоящее время (1925 г.) работают в нем уже более трехсот.

Наступление Юденича, весь Петербург в рогатках, в проволочных заграждениях и в батареях на земляных насыпях, необыкновенный подъем духа рабочих, темные, раздражающие слухи, падение и обратное взятие таких пунктов, как Красное Село, Гатчина, Павловск, Красная Горка, измена генералов и быстрая победа Красного Петербурга, геройская смерть на боевых позициях некоторых славных товарищей — все это быстро промелькнуло в незабываемой исторической перспективе великих событий, построивших, в конце концов, титаническое здание СССР.

Между прочим, в, двадцатом году, в чрезвычайно роковой момент для моего отцовского чувства, я обратился к товарищу Зиновьеву с просьбой о телеграмме, которая приостановила бы на время, до пересмотра дела в Центре, один смертный приговор, до исполнения которого оставалось всего восемь часов. Казнь должна была совершиться в городе Гомеле. Товарищ Зиновьев собирался уже сесть в автомобиль, чтобы ехать на вокзал для присутствия на Бакинском съезде. Для меня незабываемо то, что сделал тогда товарищ Зиновьев. Телеграмма была послана им немедленно. Дело было пересмотрено, смертный приговор отменен, и, с другой стороны, я должен сказать кстати, что человек, получивший, таким образом, жизнь и свободу, оказался полезным и честным слугою Республики. Вечная признательность моя товарищу Зиновьеву!

ГЛАВА ШЕСТЬДЕСЯТ ДЕВЯТАЯ.

Меня спросят, — что́ же я сделал, как писатель, как литератор и поэт, в годы моего действительного приобщения к коммунизму?

По сравнению с моей литературной работой в дореволюционное время, я, можно сказать, почти ничего не сделал.

Иногда я писал статейки в пролетарских газетах (вернее, в советских, где писатели, вышедшие из пролетариата, до сих пор участвуют в незначительном проценте, а газеты и журналы, издаваемые государством, ведутся бывшими сотрудниками упраздненных буржуазных изданий; выдающееся положение в печати, не говоря уже о менее ответственных постах, нередко занято работниками пера, стоявшими, по степени своих дарований и способностей, в старое время на заднем плане). Заметки мои и стихи появлялись, правда, очень редко в «Правде» и в «Красной Газете». Как редактор, я пополнял своим пером пробелы в журналах, которые мне приходилось редактировать. Два или три фельетона, полубеллетристического содержания, я поместил в «Правде». Но, чтобы постоянно писать и печатать в ежедневном органе соответственные статьи, нужна и постоянная спайка с ним, постоянное пребывание даже в занимаемом им помещении, постоянное общение с его сотрудниками и с движением того сырого материала, который текущая жизнь прибивает к его письменным столам и наполняет его портфели. При значительном, хотя на вид и незаметном, многообразии — по крайней мере, в течение первых пяти лет, когда дряхлость еще не посетила меня — моих партийных занятий совершенно естественно, что я мог даже не всегда исполнять только такие работы для периодических изданий, которые требовались от меня редакторами. Между прочим, более продолжительную литературную лямку я нес в газете «Красный Балтийский Флот», и в ежемесячном журнале «Красный Флот», где печатал отчеты о своих командировках, рассказы (морские), стихотворения (поэма «Море»), а в сборнике «Красные Вымпела» большое стихотворение «Шлиссельбург».

«Книга воспоминаний», или, правильнее, «Роман моей жизни», занявшая два слишком года усиленной работы, была принята Ленгизом и ныне напечатана...

Знаю, она полна недостатков, пропусков, некоторых умолчаний, в ней много недосказано, потому что иначе она разрослась бы до непозволительных размеров. А надо было спешить, товарищ читатель: мне уж семьдесят пять лет...

УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН.[1]

А

---

[1] Близкие автора, домашние и слуги, названные по именам, а также имена и фамилии литературных персонажей в указателе не помещены. При справках надо иметь также в виду, что во многих случаях в тексте имеется только фамилия того или иного лица, а имя и отчество даны лишь здесь. *Ред.*

Д

Е

Ж

З

Р

С

Т

У

Ф

Х

Ц

Ч

Ш

Щ

*

ОПЕЧАТКИ.

	Напечатано:	Следует читать:
Стр. 133, 1 строка сверху	Эльт	Эльпе
„ 202, 13 „ „	стороны	старины
„ 236, 3 „ „	Киги	Кигн

СОДЕРЖАНИЕ.